

Конан Дойль




L

r



Артур Конан Дойль



Собрание
сочинений
в восьми
томах

Том 7

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

МОСКВА 1966

Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
М. Урнова.

КАК БРИГАДИР ПОПАЛ В ЧЕРНЫЙ ЗАМОК

Это хорошо, друзья мои, что вы оказываете мне почтение, — почитая меня, вы платите дань уважения и Францин и самим себе. Перед вами не просто старый седоусый вояка, уплетающий яичницу и запивающий ее вином; перед вами осколок истории, последний из славного поколения солдат — тех солдат, что стали ветеранами еще в мальчишеском возрасте, научились владеть саблём раньше, чем бритвой, и в сотне сражений ни разу не дали врагу увидеть, какого цвета их ранцы. Двадцать лет мы учили Европу, как нужно воевать, а когда научили, то только термометр, но не штык оказался причиной поражения Великой армии. Своих лошадей мы ставили в конюшни Неаполя, Берлина, Вены, Мадрида, Лисабона и Москвы. Да, друзья мои, еще раз говорю: вы не зря посылаете ко мне ваших детей с цветами, ибо эти уши слышали громкие трубы Францин, а эти глаза видели ее знамена в таких местах, где, быть может, никто их уже не увидит.

Даже теперь, стоит мне задремать в кресле, как передо мной проносятся эти великие воины — егеря в зеленых куртках, великаны-кирасиры, уланы Понятовского, драгуны в белых плащах и колыхающиеся медвежьих шапок конных гренадеров. Я слышу частый, глухой бой барабанов, а сквозь клубы дыма и пыли вижу ряды заго-

релых лиц и длинные красные перья, реюшие над саблями, взятыми на плечо. А вон едет рыжеголовый Ней, и Лефевр с бульдожьей челюстью, и чваиливый, как истый гасконец, Лани; и, наконец, среди сверкающей меди и развевающихся плюмажей я различаю его, человека с бледной улыбкой, сутулыми плечами и отсутствующим взглядом. И тут сном моим приходит конец, друзья мои, ибо я вскакиваю с кресла, выбрасываю, как шалью, руку вперед и ору не своим голосом, а мадам Тито опять подсмеивается над стариком, который живет среди теней.

Но хотя к концу наших кампаний я был полным бригадиром и имел все основания надеяться, что скоро буду дивизионным генералом, все же, когда мне хочется рассказать о радостях и тяготах солдатской жизни, я вспоминаю о первых годах своей службы. Вы сами понимаете: если у офицера под началом множество людей и коней, у него столько забот с рекрутами и конским пополнением, с фуражом и кузнецами, что жизнь для него — штука нелегкая, даже если он противника еще и в глаза не видал. Но если он всего-навсего лейтенант или капитан, то на его плечах нет никакой тяжести, кроме разве эполет, так что он может в свое удовольствие бренчать шпорами, щеголять доломаном, пропускать стаканчик и целовать свою девушку, не думая ни о чем, кроме амурных походов. Вот в такое-то время у него бывает немало всяких приключений — об этой поре моей жизни я много мог бы вам порассказать. Пожалуй, сегодня я расскажу вам о том, как я побывал в Черном замке, о необычной цели, которой задался младший лейтенант Дюрок, и о страшной стычке с человеком, которого раньше звали Жаином Карабеином, а потом бароном Штраубенталем.

Надо вам сказать, что в феврале 1807 года, сразу после взятия Данинга, майору Лежандру и мне было поручено привести из Пруссии в Восточную Польшу четыреста голов нового конского пополнения.

Жестокие морозы, а особенно великое сражение под Эйлау истребили столько лошадей, что нашему прекрасному Десятому гусарскому полку угрожала опасность превратиться в батальон легкой кавалерии. Поэтому мы с майором знали, что на передовых позициях нас

встретят с радостью. Продвигались мы еле-еле — лежал глубокий снег, дороги были сущей пыткой, а помогали нам всего человек двадцать раненых, возвращающихся в строй. Кроме того, если у вас запас фуража всего на сутки, а иногда и того нет, трудно заставить коней идти иначе как шагом. Знаю, знаю — в исторических книжках кавалерия всегда несется бешеным галопом; но я, участвовавший в двенадцати кампаниях, говорю: слава богу, если моя бригада идет шагом на марше, зато умеет рысью скакать на врага. Заметьте, это я говорю о гусарах и егерях, а уж что касается кирасиров или драгуи — то тем более.

Я большой любитель лошадей, и мне было приятно, что у меня их целых четыре сотни, всех возрастов и всех мастей, и у каждой свой норов. Большинство лошадей было из Померании, но попалось несколько из Нормандии и Эльзаса, и мы, бывало, потешались, наблюдая, как они отличаются друг от друга характером — точь-в-точь как жители тех мест. Мы заметили также — и это потом не раз подтверждалось, — что характер лошади можно определить по масти; светло-гнедые, например, кокетливы, нервны и со всякими причудами, каурые имеют отважный нрав, чалые послушны, а пегие упрямы. Все это, конечно, не имеет касательства к моей истории, но как же иначе старому кавалеристу вести свой рассказ, если все началось с того, что ему дали четыре сотни лошадей? У меня, знаете ли, такая привычка — говорить о том, что меня интересует, — ну, надеюсь, что и вам это будет интересно.

Мы перешли через Вислу напротив Мариенвердера и должны были двигаться дальше, к Ризенбергу, как вдруг в мою каморку в почтовой конторе, где мы остановились на постой, вошел майор Лежандр с какой-то бумагой в руке.

— Вам придется меня покинуть, — сказал он с выражением отчаяния на лице.

Мне-то отчаиваться было нечего: по правде говоря, он не заслуживал такого помощника, как я. Но все же я молча отдал честь.

— Вот приказ генерала Лассалля, — продолжал майор. — Вы должны немедленно отправиться в Россель и явиться в штаб-квартиру полка.

Ничто не могло доставить мне большего удовольствия. Я уже был на хорошем счету у начальства. Стало быть, полку предстонт какое-то сражение, и Лассаль понял, что моему эскадрону без меня не обойтись. Правда, приказ пришел не совсем вовремя, ибо у почтмейстера была дочь — молоденькая черноволосяя полька с кожей цвета слоновой кости — и я рассчитывал поболтать на свободе с этой девницей. Но пешке не приходится возражать, когда палец шахматиста передвигает ее с одного квадрата на другой, так что я сошел вниз, оседлал своего рослого вороного коня по кличке Барабан и тотчас же пустился в путь.

Ей-богу, для бедных поляков и евреев, живших беспросветно унылой жизнью, было, наверное, сущей отрадой видеть, как я скачу мимо их дверей. В морозном утреннем воздухе мощные ноги, великолепные спина и бока моего черного Барабана лоснились и переливались при каждом движении. А у меня и сейчас от стука копыт по дороге и звона уздечки при каждом взмахе дерзкой головы кровь начинает бурлить в жилах — представьте же себе, каков я был в двадцать пять лет — я, Этьен Жерар, лучший кавалерист и первая сабля во всех десяти гусарских полках. Цвет нашего Десятого полка был голубой — небесно-голубой доломан и ментик с алой грудью. В армии говорили, что, увидев нас, население бежит со всех ног: женщины — к нам, а мужчины — от нас. Тем утром в окнах Ризенберга блестела не одна пара глазок, словно молвивших меня чуточку задержаться, но что оставалось делать солдату — только послать воздушный поцелуй да позвенеть уздечкой, проскакав мимо.

Мало приятного в такую стужу трусить верхом по самой бедной и некрасивой стране во всей Европе, но небо зато было ясное, и огромные снежные поля искрились под ярким холодным солнцем. В морозном воздухе пар клубился у меня изо рта и белыми султанчиками вылетал из ноздрей Барабана, а с удил свисали сосульки. Чтобы согреть коня, я пустил его рысью; самому же мне нужно было столько обдумать, что я не обращал внимания на мороз. К северу и югу тянулись бесконечные равнины с редкими группками елей и чуть более светлых лиственниц. Там и сям виднелись

домишки, но всего три месяца назад этим путем прошла Великая армия, а вы знаете, что это значит для страны. Поляки были нам друзья, это верно, но из сотни тысяч солдат только у гвардейцев были фургоны с продовольствием, а остальным приходилось самим заботиться о пропитании. Так что меня несколько не удивило, что нигде нет и признаков скота, а над безмолвными домами не вьется дым. Не очень-то благоденствовала страна после посещения великого гостя. Говорили, будто там, где император провел своих солдат, даже крысы подыхали с голоду.

К полудню я доехал до деревни Саальфельдт, но так как отсюда шел прямой путь на Остероде, где находилась зимняя ставка императора, а также главный лагерь семи пехотных дивизий, то дорога была забита каретами и повозками. Очутившись среди артиллерийских зарядных ящиков, фургонов, курьеров и все возрастающей толпы новобранцев и отставших от своих частей солдат, я смекнул, что мне, пожалуй, долго придется добираться до своих товарищей. Но на полях лежал снег глубиной в пять футов, и мне ничего не оставалось, как плестись шагом по дороге. Поэтому я немало обрадовался, увидев вторую дорогу, которая отходила от главной и тянулась через еловый лес к северу. На перекрестке стояла маленькая корчма, а у дверей ее садились на лошадей дозорные Третьего Конфланского полка гусар — того самого, где я был потом полковником. На ступеньках стоял их офицер, тщедушный, бледный юноша, смахивавший больше на молодого семинариста, чем на командира этих отчаянных голворезов.

— Добрый день, сударь, — сказал он, видя, что я придержал лошадь.

— Добрый день, — ответил я ему. — Я лейтенант Этьен Жерар из Десятого гусарского.

По лицу его я понял, что он обо мне слышал. После моей дуэли с шестью отличными фехтовальщиками имя мое стало известно всем. Однако мое простое обращение согнало с него робость.

— Я младший лейтенант Дюрок из Третьего, — представился он.

— Недавно в полку? — спросил я.

— С неделю.

Так я и думал, судя по его бледному лицу и по тому, что он позволил своим солдатам ротозейничать возле нас. Не так уж давно я сам испытал на себе, каково школьнику командовать кавалеристами-ветеранами. Помню, я заливался краской, когда мне приходилось адресовать отрывистые слова команды людям, у которых за плечами было больше сражений, чем у меня лет, мне было бы гораздо легче сказать: «С вашего позволения мы сейчас построимся» или «Если вы не возражаете, мы пойдем рысью». Поэтому я не стал осуждать юнца, заметив, что его люди немного распущены, но бросил на них такой взгляд, что они застыли в седлах.

— Позвольте спросить, мсье, куда вы направляетесь по этой северной дороге? — обратился я к молодому офицеру.

— Мне приказано нести дозор до Аренсдорфа.

— С вашего разрешения я поеду с вами, — сказал я. — Очевидно, окольным путем доедешь быстрее.

Так и оказалось, ибо эта дорога уводила от армий в места, где хозяйничали казаки и мародеры, и дорога была настолько же пустыня, насколько первая переполнена. Мы с Дюроком ехали впереди; сзади стучали копытами лошади наших шестерых солдат. Он был славный малый, этот Дюрок, хоть и напичкан всяким вздором, которому учат в Сен-Сире, и об Александре и Помпее знал больше, чем о том, как задать корму лошади или ухаживать за конскими копытами. И все же, как я уже сказал, малый он был славный, еще не испорченный походной жизнью. Я с удовольствием слушал его болтовню о матери и сестричке Мари, живших в Амьене. Наконец мы очутились у деревни Хайенау. Дюрок подъехал к почте и вызвал почтмейстера.

— Не скажете ли, — спросил он, — живет ли в ваших краях человек, называющий себя бароном Штраубенталем?

Почтмейстер покачал головой, и мы двинулись дальше. Я не обратил внимания на его вопрос, но когда в следующей деревне мой спутник повторил его и получил тот же ответ, я не удержался и спросил, кто такой этот барон Штраубенталь.

Мальчишеская физиономия Дюрока вдруг зарделась.

— Это человек,— сказал он,— к которому у меня есть очень важное поручение.

Это, конечно, мало что мне объяснило, но по его виду я понял, что дальнейшие расспросы были бы ему неприятны, и я промолчал, а Дюрок продолжал спрашивать каждого встречного крестьянина о бароне Штраубентале.

Я же, со своей стороны, старался, как и положено офицеру легкой кавалерии, составить себе представление о рельефе местности, определить направление рек и запомнить места, где должен быть брод. С каждым шагом мы удалялись от лагеря, который мы объехали кругом. Далеко на юге в морозном небе виднелись столбы серого дыма — там располагалось наше сторожевое охранение. На севере же, между нами и зимними квартирами русских, не было никого. На самом краю горизонта я дважды видел поблескивание стали и указал на это моему спутнику. Расстояние не позволяло нам определить, что именно блестело, но мы не сомневались, что это был казачий пик.

Солнце уже клонилось к западу, когда мы поднялись на небольшую горку и увидели справа деревушки, а слева — высокий темный замок, окруженный хвойным лесом. Навстречу нам ехал на телеге крестьянин — лохматый, угрюмый парень в овчинном полушубке.

— Что это за деревня? — спросил Дюрок.

— Это Аренсдорф,— ответил тот на варварском немецком наречии.

— Значит, ночевать я должен здесь,— сказал мой юный спутник. Затем, повернувшись к крестьянину, задал свой неизменный вопрос: — Не знаешь ли, где живет барон Штраубенталь?

— Да вон там, в Черном замке,— сказал крестьянин, указывая на темные башенки над далеким лесом.

Дюрок слегка вскрикнул, как охотник, увидевший взлетевшую дичь. Похоже было, что малый лишился ума — глаза его засверкали, лицо покрылось смертельной бледностью, а губы скривила такая улыбка, что крестьянин невольно шархнулся в сторону. Как сейчас

вижу: юноша весь подался вперед на своем караковом коне, жадно вглядываясь в высокую темную башню.

— Почему вы называете этот замок Черным? — спросил я.

— Да так его все зовут в здешних местах, — сказал крестьянин. — Говорят, там творятся какие-то черные дела. Не зря же самый отъявленный нечестивец в Польше живет здесь уже четырнадцать лет.

— Он польский дворянин?

— Нет, у нас в Польше такие злодеи не водятся, — ответил он.

— Неужели француз? — воскликнул Дюрок.

— Говорят, он из Франции.

— А он не рыжий?

— Рыжий, как лиса.

— Да, да, это он! — воскликнул мой спутник, от волнения дрожа с головы до ног. — Меня привела сюда рука провидения! Пусть не говорят, что на земле нет справедливости. Едем, мсье Жерар, я должен сначала определить своих солдат на постой, а потом уже заниматься собственными делами.

Он пришпорил лошадь, и через десять минут мы подъехали к дверям аренсдорфского постоялого двора, где должны были ночевать солдаты.

Но дела моего спутника меня не касались, и я даже не мог себе представить, что все это значит. До Россея путь был не близкий, но я решил проехать еще несколько часов, а потом в каком-нибудь придорожном амбаре найти ночлег для себя и Барабана. Выпив кружку вина, я вскочил на лошадь, но из гостиницы вдруг выбежал Дюрок и схватил меня за колено.

— Мсье Жерар, — часто дыша, заговорил он. — Прощу вас, не бросайте меня одного!

— Дорогой Дюрок, — ответил я, — если вы мне объясните, в чем, собственно, дело и чего вы от меня хотите, то мне будет легче ответить, смогу ли я вам помочь или нет.

— Да, вы мне могли бы очень помочь! — воскликнул он. — Судя по тому, что я о вас слышал, вы единственный человек, которого я хотел бы иметь рядом этой ночью.

— Вы забываете, что я направляюсь в свой полк.

— Сегодня вы все равно до него не доедете. Вы будете в Росселе завтра. Оставайтесь со мной, вы окажете мне огромную услугу и поможете в одном деле, которое касается моей чести и чести моей семьи. Но должен вам признаться, что дело это сопряжено с немалой опасностью.

Это был ловкий ход. Конечно, я тотчас же соскочил со спины Барабана и велел слуге отвести его в конюшню.

— Идемте в дом,— сказал я,— и вы объясните, что от меня требуется.

Он провел меня в комнату вроде гостиной и запер дверь, чтобы нам не помешали. Он был ладно скроен, этот мальчик; свет лампы освещал его серьезное лицо и очень шедший ему серебристо-серый мундир. Я глядел на него, и во мне поднималось теплое чувство к этому юнцу. Не скажу, чтобы он держался точно так, как я в его годы, но было в нас нечто схожее, и я проникся к нему симпатией.

— В двух словах всего не расскажешь,— сказал он.— Если я до сих пор не удовлетворил вашего вполне законного любопытства, то только потому, что мне очень трудно об этом говорить. Однако я, разумеется, не могу просить вашей помощи, не объяснив, в чем дело.

Должен вам сказать, что мой отец, Кристоф Дюрок, был известным банкиром; его убили во время сентябрьской резни. Как вам известно, толпа осадила тюрьмы, выбрала трех так называемых судей, чтобы устроить суд над несчастными аристократами, и тех, кого выводили на улицу, тут же раздирали в клочья. Мой отец всю жизнь оказывал помощь беднякам. У него нашлось много заступников. Он был изнурен лихорадкой, и его, полуживого, вынесли на одеяле. Двое судей склонялись к тому, чтобы оправдать его; третий же, молодой якобинец, могучий детина, который верховодил этими несчастными, стащил моего отца с носилок, стал пинать своими тяжелыми башмачищами, а потом вышвырнул за дверь, где его мгновенно растерзали на куски, но об этих ужасных подробностях мне тяжело говорить. Как видите, это было убийство даже с точки зрения их незаконных

законов, ибо двое их же собственных судей выступили в защиту моего отца.

Когда снова воцарился порядок, мой старший брат стал разыскивать того человека — третьего судью. Я тогда был еще совсем мальчишкой, но это семейное дело обсуждалось в моем присутствии. Того детину звали Карабеном. Он был из гвардии Сантерра и славился как ярый дуэлянт. Когда якобинцы схватили одну даму — иностранку, баронессу Штраубенталь, — он добился ее освобождения, взяв с нее слово, что она будет принадлежать ему. Он женился на ней, присвоил ее имя и титул и после гибели Робеспьера удрал из Франции. Мы так и не смогли узнать, что с ним случилось.

Вы, наверное, думаете, что, зная его имя и титул, мы легко могли бы его разыскать. Но вспомните, что революция лишила нас денег, а без денег вести поиски было невозможно. Затем настала Империя, и дело для нас осложнилось еще больше, потому что, как вам известно, император считал, что 18 Брюмера уладило все счета и что с этого дня над прошлым опущена завеса. Но мы не забывали нашу семейную трагедию и не отказывались от своих планов.

Брат мой вступил в армию и прошел вместе с ней всю Южную Европу, везде расспрашивая о бароне Штраубентале. Брат был убит под Йеной прошлой осенью, в октябре, так и не отмстив. Теперь настала моя очередь продолжать дело, и мне посчастливилось: через две недели после вступления в полк в одной из первых же польских деревень я нашел человека, которого мы искали столько лет. Больше того, у меня оказался спутник, имя которого в армии произносят не иначе, как в связи с каким-нибудь смелым или благородным поступком.

Все это прекрасно, и я слушал его с большим интересом, но все-таки мне ничуть не стало яснее, чего же хочет от меня юный Дюрок.

— Чем могу вам служить? — спросил я.

— Поедемте со мной.

— В замок?

— Именно.

— Когда?

— Немедленно.

— А что вы намерены делать?

— Там посмотрим. Но я хочу, чтобы вы были со мной.

По правде сказать, не в моем характере отказываться от приключений, и, кроме того, я сочувствовал этому малому. Прощать своих врагов — это, конечно, хорошо, но желательно, чтобы и у них тоже было что прощать нам. Я протянул ему руку.

— Завтра утром я должен ехать в Россель, но сегодня я к вашим услугам, — сказал я.

Устроив солдатам удобный ночлег, мы оставили их на постоялом дворе, и так как до замка было не больше мили, мы решили не тревожить лошадей. Откровенно говоря, мне противно видеть кавалериста, идущего пешком: насколько он великолепен в седле, настолько же неуклюж, когда шагает, придерживая рукой саблю и ставя иоски внутрь, чтобы колесики шпор не цеплялись друг за друга. Но мы с Дюроком были в таком возрасте, когда человека ничто не портит, и могу поклясться, что ни одна женщина не поморщилась бы при виде двух молодых гусар — одного в голубом, другого в сером, которые в тот вечер вышли из аренсдорфской почтовой конторы. Мы оба были при саблях, а я еще вынул пистолет из кобуры и сунул под ментик, ибо чувствовал, что нам сегодня придется жарко.

Дорога к замку шла через непроглядно темный еловый лес; мы не видели ни зги, и только звезды иногда поблескивали вверх. Вскоре, однако, лес расступился, и прямо перед нами на расстоянии выстрела из карабина показался замок. Это было огромное неуклюжее здание, судя по всему, очень древнее, с круглыми башенками на каждом углу и большой прямоугольной башней на той стороне, что была ближе к нам. Во всей этой темной массе не видно было ни огонька, кроме одного светящегося окна, и ни звука не доносилось оттуда. Мне казалось, что в этой громаде, в ее безмолвии таится что-то зловещее, чему как нельзя больше отвечало название замка. Моему спутнику не терпелось поскорее добраться до него, и я зашагал вслед за ним по плохо расчищенной дороге, которая вела к воротам.

У обитых железом ворот не было ни колокола, ни молотка, и, чтобы привлечь к себе внимание, нам при-

шлось колотить рукоятками сабель. Наконец ворота открылись, и мы увидели тощего старика с ястребиным лицом, заросшего бородой до самых висков. В одной руке у него был фонарь, другой он придерживал рвущуюся с цепи огромную черную собаку. Он грозно взглянул на нас, но при виде наших мундиров лицо его стало замкнуто-угрюмым.

— Барон Штраубенталь в такое позднее время никого не принимает,— сказал он на отличном французском языке.

— Можете передать барону Штраубенталю, что я проехал восемьсот лиг, чтобы повидать его, и не уйду, пока не повидаяю,— заявил мой спутник таким голосом и с таким выражением, что я сам не мог бы сказать лучше.

Страж искоса взглянул на нас, нерешительно теребя свою черную бороду.

— Сказать по правде, господа,— произнес он,— барон уже выпил кружку-другую вина и будет для вас гораздо более интересным собеседником, если вы придете завтра утром.

Он приоткрыл ворота чуточку шире, и за его спиной в освещенном холле я увидел еще троих молодцов довольно зверского вида; один из них держал на цепи второго, такого же чудовищного пса. Дюрок, должно быть, тоже увидел их, но это несколько не повлияло на его решимость.

— Довольно болтать,— сказал он, оттолкнув стража в сторону.— Я буду разговаривать только с твоим хозяином.

Молодцы в холле расступились, и он прошагал мимо них — так велика власть одного человека, знающего, чего он хочет, над несколькими, не слишком уверенными в себе. Мой спутник властно, как хозяин, тронул одного из них за плечо.

— Проведи меня к барону,— сказал он.

Стражник передернул плечами и ответил что-то польски. Никто, кроме бородатого, который уже успел прикрыть и запереть ворота, по-видимому, не говорил по-французски.

— Хорошо, проведем,— злое усмехнулся он.— Вы увидите барона. И, думаю, мне, пожалуй, что не послушались моего совета.

Мы пошли за ним через обширный холл с каменным покрытым шкурами полом и головами диких зверей на стенах. Бородатый открыл дверь в дальнем его конце, и мы вошли.

Это была маленькая, скудно обставленная комната с теми же признаками обветшалости и запустения, которые нам встречались на каждом шагу. Вылинявшая обивка на стенах отстала в одном углу, обнажая грубую каменную кладку. В противоположной стене была вторая дверь, прикрытая драпировкой. Посредине стоял квадратный стол, заваленный грязными тарелками и жалкими остатками еды. Тут же валялось несколько пустых бутылок. Во главе стола лицом к нам сидел грузинский великан с львиной головой и густой копной ярко-рыжих волос. Борода его, спутанная, всклокоченная и жесткая, как коиска грива, была того же цвета. Мне приходилось на своем веку видеть странные лица, но я еще не встречал такой животной жестокости, какая была в этом лице с маленькими злыми голубыми глазами, морщинистыми щеками и толстой отвисшей нижней губой, выпяченной над уродливой бородой. Голова его склонилась на плечо, он смотрел на нас мутным, пьяным взглядом. Однако он вовсе не был сильно пьян — просто наши мундиры слишком многое ему сказали.

— Ну что, мои отважные вояки, — икнув, произнес он, — что нового в Париже? А? Я слышал, вы собираетесь освободить Польшу, но пока что сами стали рабами — рабами маленького аристократа в сером сюртуке и треуголке. Говорят, у вас больше нет граждан — одни только господа и госпожи. Клянусь чем угодно: в одно прекрасное утро немало голов опять покатится в корзину с опилками!

Дюрок молча подошел к нагалецу и стал рядом.

— Жан Карабен, — вымолвил он.

Барон вздрогнул, и взгляд его, казалось, сразу отрезвел.

— Жан Карабен, — произнес Дюрок еще раз.

Барон выпрямился, сцепившись в ручки кресла.

— Что это значит? Почему вы твердите это имя, молодой человек? — спросил он.

— Жан Карабен, вы тот, с кем я давно уже нищу встречи.

— Допустим, я когда-то носил это имя, но вам-то что, ведь вы тогда, наверное, были младенцем?

— Я — Дюрок.

— Неужели сыи?..

— Сыи человека, которого вы убили.

Барон деланно засмеялся, но в глазах его мелькнул страх.

— Кто прошлое помянет, тому глаз вон, молодой человек! — крикнул он. — В те дни решалось, кому из нас жить: нам или им, аристократам или народу. Ваш отец был жирондистом. Он погиб. Я был монтаньяром. Многие из моих товарищей тоже сложили свои головы. Все зависит от того, кому как повезет на войне. Мы — вы и я — должны забыть об этом и постараться понять друг друга. — Он протянул ему руку, шевеля красными пальцами.

— Довольно! — сказал юный Дюрок. — Если б я мог разрубить вас саблей сейчас, пока вы сидите в кресле, я бы сделал благое, справедливое дело. Я опозорю свой клинок, если скрещу его с вашим. И все же вы француз и присягали тому же знамени, что и я. Вставайте же и защищайтесь!

— Тише, тише! — прикрикнул на него барон. — Брось свои аристократические замашки, дворянское отродье!..

Терпение Дюрока лопнуло. Он размахнулся и ударил кулаком прямо в бороду. Я увидел кровь на отвислой губе и бешеную злость в маленьких голубых глазах.

— За этот удар ты заплатишься жизнью!

— Вот так-то лучше, — сказал Дюрок.

— Эй, саблю! — закричал барон. — Я не заставляю вас ждать, даю вам слово! — И он бросился вон из комнаты.

Я уже говорил, что там была вторая дверь, завешанная драпировкой. Как только барон исчез, из этой двери выбежала женщина, молодая и красивая. Она двигалась так быстро и бесшумно, что через мгновение уже стояла между нами, и только по колыхаию драпировки можно было догадаться, откуда она появилась.

— Я все видела! — воскликнула она. — О, мсье, вы были великолепы! — Она склонилась к руке Дюрока и стала покрывать ее поцелуями, пока тому не удалось ее выдернуть.

— Но, сударыня, почему вы целуете мне руку? — почти закричал он.

— Потому что эта рука ударила его в подлый, лживый рот. Потому что, быть может, эта рука отомстит за мою мать. Я его падчерица. Женщина, которой он разбил сердце, была моей матерью. Я ненавижу и боюсь его. Ах, вот его шаг! — Еще мгновение — и она исчезла так же внезапно, как и появилась. Вошел барон с обнаженной саблей в руках; за ним следовал человек, который открыл нам ворота.

— Это мой секретарь, — сказал барон. — Он будет моим секундантом. Но в этой комнате нам будет тесно. Соболаговолите пройти со мной в более просторное помещение.

Драться в комнате, которую загромождал широкий стол, было, разумеется, невозможно. Мы вышли вслед за ним в тускло освещенный холл. На другом конце его светилась открытая дверь.

— Здесь будет гораздо удобнее, — сказал чернородый секретарь.

Это была большая пустая комната, где вдоль стен стояли ряды ящиков и бочек. В углу на полке горела яркая лампа. Пол был ровный и гладкий — большего фехтовальщику требовать не приходилось. Дюрок вытащил саблю и вбежал в комнату. Барон посторонился и с поклоном сделал мне знак последовать за своим спутником. Едва я успел переступить порог, как дверь со стуком захлопнулась и в замке провизжал ключ. Мы оказались в ловушке.

Мы это поняли не сразу. Нам еще не приходилось сталкиваться с такой неслыханной человеческой подлостью. Затем, когда мы убедились, как глупо с нашей стороны было поверить хоть на секунду человеку с таким прошлым, нас охватил яростный гнев — гнев на этого негодяя и на нашу собственную глупость. Мы бросились к двери и стали колотить в нее кулаками и тяжелыми сапогами. Грохот и наши проклятия, должно быть, разносились по всему замку. Мы звали этого подлеца

и осыпали его всевозможными оскорблениями, которые могли бы задеть за живое его зачерствелую душу. Но огромная дверь — такая, какие бывают в средневековых замках, — была сделана из толстых бревен, схваченных железными скобами. Пробить ее — все равно, что пробить каре Старой гвардии. И от криков наших было столько же толку, сколько и от ударов, они только отдавались громким эхом под высоким потолком. Но солдатская служба быстро обучает терпеливо сносить то, что изменить невозможно. Я первый вновь обрел хладнокровие и убедил Дюрока вместе со мной осмотреть помещение, которое стало нашей темницей.

Тут было единственное окно, незастекленное и такое узкое, что в него еле удалось бы просунуть голову. Оно было прорезано высоко в стене; чтобы выглянуть из него, Дюроку пришлось стать на бочку.

— Что вы видите? — спросил я.

— Хвойный лес, а в нем — снежную дорогу, — сказал Дюрок. — О! — вдруг удивленно воскликнул он.

Я вспрыгнул на бочку и стал рядом с ним. Действительно, среди леса тянулась длинная снежная полоса; по ней, нахлестывая лошадь, бешеным галопом мчался всадник. Он становился все меньше и меньше, пока не исчез среди темных елей.

— Что это значит? — спросил Дюрок.

— Ничего хорошего для нас, — ответил я. — Возможно, он отправился за подмогой и привезет таких же разбойников, чтобы перерезать нам горло. Давайте-ка поглядим, нельзя ли как-нибудь выбраться из этой мышеловки, пока не явилась кошка.

У нас была отличная лампа — это единственное, в чем нам повезло. Она была заправлена почти доверху и могла светить до самого утра. В темноте наше положение было бы куда хуже. При ее свете мы принялись осматривать лежавшие вдоль стен ящики и тюки. Кое-где они лежали в один ряд, в углу же были навалены кучей почти до потолка. По-видимому, мы оказались в кладовой замка: здесь было множество сыров, разных овощей, ящиков с сушеными фруктами и ряды винных бочек. Одна из них была с крапом, и так как я весь день почти ничего не ел, то с удовольствием подкрепился кружкой кларета и кое-чем из съестного. Что касается

Дюрока, то он не стал есть и, пылая гневом и нетерпением, шагал взад и вперед.

— Я еще поквитаюсь с ним! — время от времени восклицал он. — Этот подлец от меня не уйдет!

Все это прекрасно, размышлял я, сидя на большом круглом сыре и уплетая свой ужин, но мой птенец, кажется, чересчур много думает о своих семейных делах и ни капельки о том, как выбраться из переделки, в которую я попал по его милости. В конце концов уже четырнадцать лет, как его отца нет на свете, а Этьенну Жерару, самому отважному лейтенанту Великой армии, грозит опасность пасть с перерезанным горлом в начале его блестящей карьеры. Как знать, до каких высот я могу подняться, если не отправлюсь на тот свет из-за этой тайной авантюры, которая ничуть не касается ни Франции, ни императора? Надо же быть таким остопом, костерил я себя, впереди у меня славная кампания и все, что только может пожелать человек, а я ввязался в эту дурацкую затею! Мало мне сражаться против четверти миллиона русских, нет, нужно еще влезать во всякие семейные распри!

— Ну хорошо, — перебил я наконец бормочущего угрозы Дюрока. — Можете делать с ним, что хотите, когда он будет у вас в руках. Но сейчас вопрос в том, что он хочет сделать с нами?

— Да хоть самое худшее! — воскликнул юнец. — Я в долгу перед своим отцом.

— Чистейшая глупость, — откликнулся я. — Если вы в долгу перед отцом, то я в долгу перед своей матерью, и этот долг повелевает мне выйти отсюда живым и невредимым.

Мои слова немного отрезвили его.

— Простите меня, мсье Жерар! — воскликнул он. — Я думаю только о себе! Посоветуйте же, что делать.

— Ну что ж, — сказал я. — Они нас заперли среди сыров вовсе не для сохранения нашего здоровья. Они жаждут покончить с нами. Это ясно. Они рассчитывают, что никто не знает, что мы здесь, и никто не станет нас искать, если мы отсюда не выйдем. Ваши гусары знают, куда вы пошли?

— Я им ничего не сказал.

— Хм! Несомненно одно: с голоду мы здесь не умрем. Если они замыслили убить нас, они должны войти сюда. За баррикадой из бочек мы сможем продержаться против тех пяти негодяев, что мы видели. Потому-то, наверное, они и послали гонца за подмогой.

— Мы должны выйти отсюда до его возвращения.

— Совершенно верно, если только сможем выйти вообще.

— А нельзя ли поджечь дверь? — воскликнул он.

— Ну, это легче легкого, — сказал я. — Там, в углу, несколько бочек растительного масла. Единственное, что мне не нравится, это что мы сами поджаримся, как две бараньих котлетки.

— Неужели вы не можете ничего придумать? — в отчаянии крикнул он. — Стойте, что это?

За нашим маленьким окошком послышался легкий шум, и звезды заслонила чья-то тень. В свете лампы мы увидели протянутую белую ручку. В пальцах ее что-то блестело.

— Скорей, скорей! — послышался женский голос.

Мы мгновению вскочили на бочку.

— Они послали за казаками. Ваша жизнь под угрозой. О, я погибла, я погибла!

Мы услышали тяжелый топот, хриплое ругательство, звук удара — и звезды снова засияли в окошке. Похолодев от ужаса, мы беспомощно стояли на бочке. Через полминуты доиесся сдавленный, вдруг оборвавшийся крик. Где-то в ночной тишине хлопнула тяжелая дверь.

— Эти разбойники схватили ее! Они ее убьют! — крикнул я.

Дюрок прыгнул с бочки, издавая несвязные крики, словно умалишенный, и принялся так неистово колотить в дверь рукой, что после каждого удара оставались кровавые пятна.

— Вот ключ! — крикнул я, поднимая валявшийся на полу ключ. — Должно быть, она бросила его в последнюю секунду, когда ее оттаскивали от окна!

Мой спутник вырвал его у меня с криком радости. Через мгновение он сунул его куда-то в бревно.

Ключ был так мал, что совсем ушел в громадную скважину. Дюрок опустился на ящик, стиснул руками голову и зарыдал от отчаяния. Я тоже готов был зарыдать при мысли о бедной женщине и о том, что мы бессильны ее спасти.

Но меня не так-то легко обескуражить. В конце концов ключ был передан нам с какой-то целью. Дама не могла принести ключ от двери, потому, что это чудовище, ее отчим, вернее всего держит его у себя в кармане. Однако и этот ключик для чего-то предназначен, иначе зачем бы она рисковала жизнью? Плохи же наши головы, если мы не додумаемся, для чего он.

Я стал отодвигать от стены все ящики, а Дюрок, в которого мое мужество опять вселило надежду, помогал мне из всех сил. Дело оказалось нелегким, ибо ящики были большие и тяжелые. Мы трудились как одержимые, оттаскивая бочки, сыры и ящики на середину кладовой. Наконец осталась одна огромная бочка водки, которая стояла в углу. Общими силами мы с Дюроком откатили ее в сторону и увидели в деревянной обшивке стены небольшую низенькую дверь. Ключ легко повернулся в замке, и мы с восторженными восклицаниями распахнули ее. Держа в руке лампу, я протиснулся в нее первый; мой спутник последовал за мной.

Мы очутились в пороховом складе замка, в каменном подвале без окон, с закупоренными бочками по стенам и одной открытой посредине. Возле нее на полу лежала черная куча пороха. Напротив была еще одна дверь, но она оказалась запертой.

— Мы ничего не выиграли! — воскликнул Дюрок. — Второго ключа у нас нет!

— У нас их целый десяток! — возразил я.

— Где?

Я указал на ряд пороховых бочек.

— Вы хотите взорвать эту дверь?

— Именно.

— Но ведь взорвется весь погреб.

Это было справедливо, но моя изобретательность еще не иссякла.

— Мы взорвем дверь кладовой, — сказал я.

Побежав обратно, я схватил железный ящик, в котором лежали свечи; он был величиной с мой гусарский кивер, стало быть, вмещалось в него несколько фунтов пороха. Дюрок наполнил его, пока я состругивал воск с фитиля свечи. Наконец все было готово — и лучшей петарды не сделал бы даже самый умелый механик. Я поставил три круга сыра один на другой и водрузил на них железный ящик так, чтобы он приходился прямо против дверного замка. Затем мы зажгли кусочек свечи и убежали в пороховой склад, захлопнув за собою дверь.

Это не шутка, друзья мои, сидеть среди тони пороха, зная, что если пламя взрыва пробьется сквозь тонкую дверь, то наши обугленные останки взлетят выше замковой башни. Вот уж не думал, что полдюйма свечки могут гореть так долго! Напрягая слух, я все время старался уловить, не раздастся ли топот казачьих лошадей, несущий нам гибель. Я уже решил было, что свечка потухла, как вдруг в кладовой громко ухнуло, словно взорвалась бомба, наша дверь разлетелась в щепки, и на нас градом посыпались кусочки сыра, репы, яблок и щепки от ящиков. Мы выбежали в кладовую, спотыкаясь в густом дыму об обломки, усеявшие пол, но там, где была темная дверь, тускло светился четырехугольный проем. Наша петарда сделала свое дело.

В сущности, она сделала для нас больше, чем мы могли надеяться. Она уничтожила не только тюрьму, но и тюремщиков. Выйдя в зал, я прежде всего увидел человека с огромным топором в руках, распростертого на полу; на лбу его зияла рана. Потом я увидел корчившуюся на полу в агонии громадную собаку с двумя перебитыми лапами; она поднялась, волоча их, как цепи. В ту же секунду я услышал крик — вторая собака, прижав Дюрока к стене, вцепилась ему в горло. Он пытался оторвать ее от себя левой рукой, а правой наносил ей удары саблей, и все же только когда я размозил ей череп пистолетом, железные челюсти разжались, и свирепые, налитые кровью глаза мертвенно остекленели.

У нас не было времени отдышаться. Где-то впереди раздался женский крик — крик смертельного ужаса, — и

мы поняли, что нельзя медлить ни секунды. В зале было еще двое людей, но, увидев наши обнаженные сабли и разъяренные лица, они, трясаясь от страха, бросились прочь. У Дюрока из раны на шее текла кровь, окрашивая серый ментик, но малый, не помня себя, ринулся вперед, и, когда мы ворвались в комнату, где впервые встретились с хозяином Черного замка, я только из-за его спины увидел, что там происходит.

Барон стоял посреди комнаты, его спутанная грива встала дыбом, как у разъяренного льва. Я уже говорил, что это был человек огромного роста, очень широкий в плечах, и, когда я увидел его пылающее от ярости лицо и вытянутую вперед саблю, у меня мелькнула мысль, что, несмотря на всю его подлость, из него вышел бы отличный гренадер. Молодая дама, съездившись от страха, забилась в угол. Рубец на ее белой руке и хлыст, валявшийся на полу, говорили о том, что мы вырвались из ловушки чуть позднее, чем следовало, и не успели защитить ее от этого зверя. Он зарычал, как волк, и мгновенно бросился на нас, рубя и колотя саблей плашмя, сопровождая проклятиями каждый выпад.

Комната, как я уже говорил, была слишком тесна для фехтования. Мой юный спутник оказался впереди меня в узком проходе между столом и стеной, и я мог только наблюдать, не имея возможности помочь ему. Малый умел обращаться с клинком и был свиреп и увертлив, как дикая кошка, но в этом тесном пространстве преимущество было на стороне грузного гиганта. Кроме того, он был превосходным фехтовальщиком. Он делал выпады и отражал удары с быстротой молнии. Дважды он задел плечо Дюрока, и, когда юноша упал от толчка, он занес над ним саблю, чтобы прикончить, не дав ему подняться на ноги. Я, однако, опередил его, и удар пришелся по эфесу моей сабли.

— Прощу прощения, — сказал я, — вам все же придется иметь дело с Этьеном Жераром.

Барон отпрянул и прислонился к обитой гобеленом стене, дыша хрипло и часто, — сказывался его нечистый образ жизни.

— Отдышитесь, — сказал я. — Я подожду, пока вы придете в себя.

— У вас нет причины враждовать со мной,— задыхаясь, произнес барон.

— У меня к вам есть счетик,— ответил я,— за то, что вы заперли меня в кладовой. А если этого мало, то вот еще одна причина — рука этой дамы.

— Ну так защищайтесь! — взревел он и бросился на меня, как безумный. С минуту я видел только сверкающие голубые глазки и сверкающий коней окровавленной сабли, который наносил мне царапины то справа, то слева, но целился неизменно в горло и грудь. Я не знал, что в Париже во времена революции были такие замечательные фехтовальщики. Каких со мной не было приключений, но я вряд ли встретил и шесть человек, которые бы так искусно владели оружием. Но барон понимал, что со мной ему не справиться. Он прочел свой смертный приговор в моих глазах—я видел это по нему. Краска схлынула с его лица, дыхание стало чаще и тяжелее. Все-таки он не сложил оружия, даже когда получил смертельный удар, и умер, стараясь достать меня саблей, с грязным ругательством на губах и запекшейся на оранжевой бороде кровью. Я, тот, кто вам рассказывает это, видел много сражений, и моя старая память не удержала все их названия, но мои глаза не видели более страшного зрелища, чем эта оранжевая борода с багровым пятном посредине, которое оставил мой клинок.

Едва только его грузное тело рухнуло на пол, как женщина в углу вскочила на ноги, захлопала в ладоши и закричала от радости. Мне, признаться, было неприятно видеть, что женщина так радуется кровавому убийству, я не подумал о том, сколько же она изтерпелась, если могла позабыть женскую мягкость. Я уже хотел было приказать, чтобы она замолчала, но вдруг странный, удушливый дым забил мне ноздри, и фигуры на драпировках осветились желтым светом.

— Дюрок, Дюрок! — крикнул я, теребя его за плечо.— Замок горит!

Израиленный юноша лежал на полу без чувств. Я выбежал в зал, чтобы определить, где возник пожар. Оказалось, что от нашего взрыва загорелось сухое дерево дверных наличников. В кладовой уже пылали

ящики. Я заглянул туда, и во мне застыла кровь при виде пороховых бочек в соседнем помещении и кучки пороха на полу. Еще несколько минут или даже секунд — и огонь подберется к ним. Вот эти самые глаза, друзья мои, до самой смерти будут видеть перед собой ползущие змейки огня и черную кучу пороха.

Я плохо помню, что было дальше. Смутно припоминаю, как я бросился в комнату смерти, как схватил Дюрока за безжизненную руку, женщина схватила его за другую, и мы бросились вон. Выбежали из ворот и устремились по снежной дороге к опушке леса. Едва мы добежали до первых деревьев, как я услышал позади грохот и, оглянувшись, увидел столб огня, взвившийся в зимнее небо. Еще секунда — и раздался второй взрыв, еще более громкий, чем первый. Ели, звезды — все завертелось у меня в глазах, и я упал без чувств рядом с своим товарищем.

Лишь через несколько недель я пришел в себя в аренсдорфской почтовой конторе, и прошло еще немало времени, прежде чем мне рассказали о том, что произошло. И рассказал не кто иной, как Дюрок, уже оправившийся и вернувшийся в строй; сидя у моей постели, он поведал о том, как кусок балки стукнул меня по голове и как я почти замертво упал на землю. От него же я узнал, что молодая полька помчалась в Аренсдорф, подняла на ноги гусар и привела их как раз вовремя, чтобы спасти нас от казачьих пик — казаков вызвал тот самый чернобородый секретарь, который так быстро скакал на лошади по снегу. Что касается молодой дамы, которая дважды спасла нам жизнь, то я не мог ничего толком узнать о ней от Дюрока, но через два года, когда я после Ваграмской кампании случайно встретил его в Париже, меня несколько не удивило, что его молодая жена была мне знакома и что по странной прихоти судьбы он приобрел право — и, если бы захотел, мог им пользоваться — носить имя и титул барона Штраубенталя и, следовательно, был владельцем обугленных развалин Черного замка.

КАК БРИГАДИР ПЕРЕБИЛ
БРАТЬЕВ ИЗ АЯЧЧО

Когда императору требовалось доверенное лицо для услуг, он оказывал мне честь, вспоминая имя Этьена Жерара, хотя это имя частенько выпадало у него из памяти при распределении наград. Но все же я в двадцать восемь лет был полковником, а в тридцать один год — бригадиром, так что у меня нет причин обижаться на него. Если б война продлилась еще два-три года, я наверняка бы получил маршальский жезл, а там уже всего один шаг до трона. Сменил же Мюрат гусарский кивер на корону, отчего же другому отважному кавалеристу не сделать того же? Но все эти мечты разбило в прах Ватерлоо, и, хотя мне не удалось вписать свое имя в историю, все-таки оно достаточно известно всем, кто сражался в великих войнах империи.

Сегодня я расскажу вам об одном весьма любопытном деле, с которого и началось мое быстрое продвижение по службе и которое связало меня с императором тайными узами.

Но сначала я хочу кое о чем вас предупредить. Слушая мои рассказы, вы должны помнить, что перед вами человек, который видел историю, так сказать, изнутри. Я рассказываю о том, что видел своими глазами и слышал своими ушами, так что вы не пытайтесь возражать мне, ссылаясь на какого-нибудь ученого или там писателя, написавших исторические исследования или мемуары. Есть много такого, чего не знают эти люди и никогда не узнает мир. Я бы мог порассказать поразительнейшие вещи, но только это было бы, с моей стороны, нескромно. То, что вы сегодня от меня услышите, я держал в тайне, пока был жив император, потому что дал ему слово молчать, но теперь, думается, никому не будет вреда от того, что я расскажу о той выдающейся роли, которую мне пришлось тогда сыграть.

Надо вам сказать, что во время Тильзитского мира я был самым обыкновенным лейтенантом Десятого гусарского полка, небогатым и незнатным. Правда, наруж-

ность и отвага располагали ко мне людей, и я уже заслужил славу одного из лучших фехтовальщиков в армии, но среди соимища храбрецов, окружавших императора, это считалось недостаточным, чтобы обеспечить быстрое продвижение по службе. Тем не менее я был уверен, что придет и мой день, хотя мне и не снилось, что это будет так скоро.

В 1807 году, когда император вернулся в Париж после заключения мира, он проводил много времени с императрицей в Фонтенбло. Он находился тогда на самой вершине своей славы. Проведя одну за другой три кампании, он усмирив Австрию, сокрушил Пруссию и заставил русских радоваться, что они добрались до правого берега Немана. Старый бульдог по ту сторону Ла-Манша еще рычал, но не мог уйти далеко от своей конуры. Если бы нам удалось установить в то время постоянный мир, Франция была бы сильнее всех других государств на свете со времен Римской империи. Так говорили умные люди; я-то в те дни думал совсем о других вещах. Женщины обрадовались возвращению армии после столь долгого отсутствия, и уж, поверьте, я сполна получил свою долю милостей. Судите сами, как меня баловали в те времена, если даже сейчас, когда мне стукнуло шестьдесят... впрочем, зачем распространяться о том, что и так хорошо известно?

Наш гусарский полк квартировал в Фонтенбло вместе с конными егерями гвардии. Фонтенбло, как вам известно, маленький городок, затерявшийся среди густых лесов, и как-то диковинно было видеть в нем толпы разных великих князей, и курфюрстов, и принцев, которые осаждали императора, как собачонки—хозяина в надежде, что им перепадет кость. На улицах чаще слышался немецкий говор, чем французский, ибо те, кто помогал нам в последней войне, явились выпрашивать награды, а те, которые сражались против нас, приехали, чтобы замолить грехи и отвести от себя кару.

А наш маленький человечек с бледным лицом и холодными серыми глазами каждое утро ездил на охоту, молчаливый и задумчивый, и все остальные тянулись за ним хвостом, надеясь, что он бросит им хоть слово. А потом, если на него находил такой стих, он кидал сотню квадратных миль одному или отнимал столько же

у другого, окружал одно королевство рекой или огораживал другое цепью гор. Вот таким манером он вершил дела, этот маленький артиллерист, которого мы своими саблями и штыками вознесли на такую высоту. Он всегда был с нами очень учтив — он знал, кому он обязан силой. Мы тоже знали и всячески показывали это своим поведением. Мы, конечно, признавали, что он лучший полководец в мире, но при этом помнили, что ведет он лучших в мире солдат.

Так вот, сижу я однажды дома и играю в карты с Моратом из конно-егерского, как вдруг открывается дверь и входит Лассаль, наш полковник. Вы помните, какой это был красавчик и щеголь, и небесно-голубой мундир Десятого полка шел ему необыкновенно. Клянусь честью, мы, молодые солдаты, были так им покорежены, что хотелось нам того или нет, но все мы ругались, чертыхались, пили и играли в кости, лишь бы походить на нашего полковника! Мы как-то не думали о том, что не из-за выпивок и игры в кости император собирался назначить его командующим легкой кавалерией, а потому, что во всей армии у него был самый верный глаз, когда дело касалось определения характера позиции или силы вражеской колонны, и он мог лучше всех судить, когда можно прорвать пехоту или где обнажена артиллерия. По молодости лет мы всего этого не понимали, и фарили усы, бряцали шпорами и стирали наконечники сабельных ножен, волоча их по булыжным мостовым в надежде, что все мы станем Лассальями. Когда он, гремя шпорами и саблей, вошел в мою квартиру, мы с Моратом вскочили на ноги.

— Малыш,— сказал он, похлопав меня по плечу,— тебя желает видеть император сегодня в четыре часа.

От этих слов комната пошла ходуном перед моими глазами, и мне пришлось ухватиться за край ломберного стола.

— Что?! — воскликнул я. — Император?

— Именно,— сказал он, улыбаясь моему изумлению.

— Но ведь император не знает о моем существовании, полковник,— возразил я. — Как он может послать за мной?

— Это меня тоже удивляет,— ответил Лассаль, покручивая ус.— Если ему понадобился храбрый рубака, зачем снисходить до одного из моих лейтенантов, когда у него есть полковники? Однако,— добавил он, еще раз хлопнув меня по плечу со свойственной ему веселой простотой,— у каждого в жизни есть свой счастливый случай. У меня уже был, иначе я бы не стал командиром Десятого гусарского. Вперед, мой мальчик, и пусть это будет первым шагом к тому, чтобы сменить кивер на треуголку!

Было два часа, и он ушел, пообещав зайти попозже и проводить меня во дворец. Клянусь честью, не знаю, как я протянул это время! Какие только догадки не приходили мне в голову, зачем я понадобился императору! Я шагал взад и вперед по своей тесной комматуске, горя от нетерпения. Иногда мне думалось, что он, вероятно, слышал о пушках, которые мы захватили при Аустерлице; но ведь многие захватывали пушки при Аустерлице, и с тех пор прошло уже два года. Или, может, он хочет наградить меня за историю с адъютантом русского императора. Но тут я холодел: а что, если он послал за мной, чтобы задать мне взбучку? К некоторым дуэлям он мог отнестись неблагоприятно, а в Париже со времени мира было два-три славных дельца.

Но нет! Я вспомнил слова Лассалья. «Если ему понадобился храбрый рубака...» — сказал он.

Очевидно, мой полковник чуял, чем дело пахнет. Должно быть, он знал, что меня ждет какое-то лестное поручение, иначе у него не хватило бы жестокости поздравлять меня. Сердце мое запрыгало от радости; я сел за письмо к матушке и написал ей, что в эту самую минуту меня ждет император, чтобы посоветоваться со мной об одном важном деле. И я улынулся: ведь это событие, казавшееся мне чудом, для моей матушки послужит еще одним доказательством того, что у императора есть здравый смысл.

В половине четвертого я услышал лязгающий стук сабли о деревянные ступеньки моей лестницы. Это был Лассаль, а вместе с ним пришел какой-то хромой господин в строгой черной одежде с нарядным кружевным воротником и манжетами. Мы, военные, редко встречаемся со штатскими, но, клянусь богом, этот был не из

тех, на кого можно не обращать внимания. Как только я увидел эти мигающие глаза, комичный вздернутый нос и прямой, резко очерченный рот, я понял, что стою перед единственным человеком во Франции, с которым считается сам император.

— Мсье де Талейран, это мсье Этьен Жерар,— сказал Лассаль.

Я отдал честь, и государственный муж окинул меня от плюмажа на кнвере до колесиков моих шпор взглядом, царапнувшим меня, как острие рапиры.

— Вы уже объяснили лейтенанту, зачем его вызывает император? — спросил он резким, скрипучим голосом.

Эти двое представляли собою такой контраст, что я невольно переводил взгляд с одного на другого — черный, хитрый политик и рослый небесно-голубой гусар, который одной рукой упирался в бедро, другую положил на эфес сабли. Каждый сел на стул — Талейран бесшумно, Лассаль — со стуком и звоном, как боевой конь на скаку.

— Дело вот в чем, юноша,— сказал он со своей обычной грубоватостью.— Нынче утром я был у императора в его личном кабинете, когда ему принесли письмо. Он вскрыл его и вдруг так вздрогнул, что письмо полетело на пол. Я поднял его и передал императору, но он застывшим взглядом уставился в стену, словно увидел привидение. «Fratelli dell' Ajaccio»¹,— пробормотал он, и снова: «Fratelli dell' Ajaccio». Итальянский я знаю ровно настолько, насколько можно выучиться за две кампании, поэтому я ничего не понял. Мне показалось, что он лишился рассудка; вы тоже так подумали бы, мсье Талейран, если бы видели его глаза. Прочтя письмо, он не меньше получаса сидел, не шевелясь.

— А вы? — спросил Талейран.

— А я стоял, не зная, что делать. Наконец он, повидному, пришел в себя.

— Я полагаю, Лассаль,— сказал он,— что в вашем полку есть отважные молодые офицеры!

— Безусловно, ваше величество,— ответил я.

¹ «Братья из Аяччо» (итал.).

— Если бы вам понадобился такой, на которого можно положиться в важном деле, но который не стал бы зазнаваться,— вы понимаете меня, Лассаль,— то кого бы вы выбрали?

Я понял, что ему нужно доверенное лицо, которое не слишком совало бы нос в его дела.

— Есть у меня один такой,— сказал я,— сплошные шпоры и усы и ни одной мысли, кроме как о женщинах и лошадях.

— Такой мне и нужен,— сказал Наполеон.— Приведите его сюда ко мне в четыре часа. Так что, юноша, я отправился прямо к вам и думаю, что вы не посрамили чести Десятого гусарского.

Я, конечно, был безмерно польщен, узнав, какие причины заставили моего полковника выбрать именно меня, и это, должно быть, отразилось на моем лице, потому что он громко захохотал, и даже Талейран издал короткий смешок.

— Один совет, прежде чем вы пойдете к императору, мсье Жерар,— сказал он.— Вы пускаетесь в плаванье по бурным водам, и, быть может, вам попадется худший лодчман, чем я. Мы не имеем никакого представления о том, что это за дело, а если говорить откровенно, нам, несущим на своих плечах ответственность за судьбу Франции, чрезвычайно важно быть в курсе всех событий. Вы понимаете меня, мсье Жерар?

Честно говоря, я и понятия не имел, куда он метит, но поклонился и сделал вид, будто мне все ясно.

— Действуйте очень осторожно и никому ничего не говорите,— сказал Талейран.— Ни я, ни полковник Лассаль не станем показываться с вами на людях, мы будем ждать вас здесь, и, когда вы расскажете, о чем вы говорили с императором, мы посоветуем вам, что делать. А сейчас вам пора идти, император не прощает неаккуратности.

Я отправился во дворец пешком — до него была какая-нибудь сотня шагов. Меня провел в приемную, где среди толпы ожидающих суетился Дюрок в великолепном малиновом с золотом мундире. Я слышал, как он шепнул мсье де Коленкуру, что половина присутствующих — немецкие герцоги, которые надеются, что их сделают королями, а другая половина — немецкие герцогини,

которые боятся, что их сделают нищими. Услышав мое имя, Дюрок тотчас же провел меня в кабинет, и я предстал перед императором.

Я, конечно, видел его в походах сотни раз, но никогда не стоял лицом к лицу с ним. Ручаюсь, если бы вам случилось встретить его, не зная, кто он такой, вы бы увидели просто бледного, приземистого человечка с высоким лбом и хорошо развитыми икрами, в коротких узких штанах из белого кашемира и белых чулках, выгодно подчеркивавших форму его ног. Но, даже не зная его, вы были бы поражены его особенным взглядом, который бывал таким суровым, что мог повергнуть в трепет даже гренадера. Говорят, будто сам Ожеро, человек, не знавший, что такое страх, робел под взглядом Наполеона еще в те времена, когда император был безвестным солдатом. На меня он, впрочем, взглянул довольно милостиво и знаком велел мне остановиться у двери. Де Меневаль писал что-то под его диктовку, после каждой фразы вскидывая на него преданные, как у верного пса, глаза.

— Довольно, Меневаль. Можете идти, — отрывисто произнес император. Секретарь вышел, а он, заложив руки за спину, подошел и молча оглядел меня с головы до ног. Этот маленький человек любил окружать себя рослыми красавцами, и думаю, что моя наружность ему понравилась. Я поднял руку, отдавая честь, другую же руку держал на эфесе сабли и глядел прямо перед собой, как положено солдату.

— Итак, мсье Жерар, — сказал он наконец, постучав указательным пальцем по брандебуру из золотого шнура на моем ментике, — мне известно, что вы достойнейший молодой офицер. Ваш полковник отзывается о вас превосходно.

Я пытался найти какой-нибудь блистательный ответ, но как на грех ничего мне не приходило на ум, кроме слов Лассалья о том, что я сплошные усы да шпоры, и в конце концов я промолчал. Должно быть, эта борьба отражалась на моем лице, так как император не сводил с меня пристального взгляда и, не дождавшись ответа, не выразил никакого недовольства.

— По-видимому, вы именно тот, кто мне нужен, — сказал он. — Меня со всех сторон окружают умные храбрецы. Но храбрец, который к тому же... — Он не dokon-

чил, а я так и не понял, что он хотел сказать. Пришлось ограничиться заверением, что он может располагать мною до самой моей смерти.

— Насколько мне известно, вы хорошо владеете саблей,— сказал он.

— Сносно, ваше величество.

— Ваш полк выбрал вас для состязания с лучшим фехтовальщиком шамбарантских гусар?

Оказывается, он был наслышан о моих подвигах! Что ж, это меня несколько не огорчило.

— Да, мои товарищи оказали мне эту честь, ваше величество,— ответил я.

— И, чтобы поупражняться, вы за неделю до дуэли оскорбили одного за другим шестерых мастеров фехтования?

— Мне было дано разрешение отлучиться из полка семь раз за столько же дней, ваше величество.

— И вы не получили ни царапины?

— Мастер фехтования Двадцать третьего полка задел мне левый локоть, ваше величество.

— Прекратите эти детские забавы, мсье! — крикнул он, внезапно охваченный холодной яростью, в которой он бывал страшен.— Вы воображали, что я даю эти звания моим ветеранам для того, чтобы вы могли отрабатывать на них свои четвертые и третьи позиции? Хорошо же я буду выглядеть перед Европой, если мои солдаты станут обращать свои клинки друг против друга! Если я еще раз услышу, что вы дрались на дуэли, я раздавлю вас вот этими пальцами!

Перед глазами моими замелькала белая, пухлая рука, грозный рык срывался на свистящее шипенье. Честное слово, по коже у меня поползли мурашки. Сейчас я охотно поменялся бы местами с солдатом, что первый идет в атаку по самому крутому и узкому ущелью. Император повернулся к столу, выпил чашку кофе, и, когда он снова обратился ко мне, от страшной бури не осталось и следа, и я увидел эту странную улыбку, которая появлялась только на губах, но не в глазах.

— Я нуждаюсь в ваших услугах, мсье Жерар,— сказал он.— Вероятно, для меня будет безопаснее, если рядом будет человек, хорошо владеющий саблей, и по некоторым причинам я выбрал вас. Но прежде всего

вы дадите мне слово держать все это в тайне. Пока я жив, ни одна душа, кроме нас с вами, не должна знать, о чем мы сегодня говорили.

Я подумал о Талейране и Лассале, но дал слово молчать.

— Затем, я не нуждаюсь ни в вашем мнении, ни в ваших умозаключениях; вы должны делать только то, что вам велят.

Я поклонился.

— Мне нужна ваша сабля, а не ваша голова. Думать буду я сам. Вы поняли?

— Да, ваше величество.

— Вы знаете Каицлерскую рощу в лесу Фонтенбло?

Я кивнул.

— Знаете высокую раздвоенную сосну, у которой во вторник собирали охотничьих собак?

Если бы ему было известно, что под этой сосной я трижды в неделю встречаюсь с одной девицей, он не стал бы меня спрашивать. Я ничего не ответил и опять только кивнул.

— Прекрасно. Ждите меня там сегодня в десять часов вечера.

Я уже перестал удивляться чему бы то ни было. Если бы он предложил мне сесть вместо него на императорский трон, я бы только склонил свой кивер.

— Потом мы вместе пойдем в лес,— продолжал император.— Пусть при вас будет только сабля, пистолетов не надо. Не обращайтесь ко мне, и я с вами тоже не буду разговаривать. Мы будем идти молча. Вы поняли?

— Понял, ваше величество.

— Немного погодя под известным мне деревом мы увидим человека, скорее даже двоих. Мы подойдем к ним вместе. Если я сделаю вам знак защищать меня, вы обнажите вашу саблю. Но если я начну разговаривать с этими людьми, вы должны ждать и наблюдать за происходящим. Коль скоро вам придется драться, то пусть даже их будет двое, ни один не должен уйти живым. Я буду вам помогать.

— Ваше величество! — воскликнул я.— Я не сомневаюсь, что моя сабля справится и с двумя, но не лучше ли мне прихватить с собой товарища, чтобы вам не пришлось драться самому?

— Чепуха,— сказал он.— Я был солдатом до того, как стал императором. Неужели вы думаете, что только гусары владеют саблей, а артиллеристы нет? Но я ведь приказал вам не возражать. Вы будете делать только то, что я вам скажу. Если придется обижать сабли, никто из этих людей не должен уйти живым.

— Не уйдут, ваше величество,— сказал я.

— Прекрасно. Больше распоряжений не будет. Можете идти.

Я повернулся к двери, но вдруг меня осенила одна мысль. Я опять обернулся.

— Ваше величество, я думаю вот что...— начал я.

Он бросился ко мне, разъяренный, как дикий зверь. Мне казалось, что он меня ударит.

— Вы думаете! — закричал он.— Вы! Вы воображаете, что я выбрал вас потому, что вы умеете думать? Посмейте-ка сказать мне это еще раз! Вы единственный человек, который... впрочем, довольно! Ждите меня у сосны в десять часов!

Клянусь честью, я не помню, как выбрался из кабинета. Когда подо мной добрый скакун и сабля моя звякает о стремя,— тогда я силен. И всему, что касается фуража — сена или овса, ржи и ячменя — и командования эскадронами на марше, я могу поучить кого угодно. Но когда я встречаюсь с каким-нибудь камергером, маршалом или самим императором и вижу, что все говорят обиняком, вместо того чтобы выложить все начистоту,— тут я чувствую себя как кавалерийская лошадь, запряженная в дамскую коляску. От всякого жемаинства и притворства меня просто мутит. Я научился благородным манерам, но не манерам придворного. Поэтому я не чаял, как вырваться на свежий воздух, и побежал к себе домой, как школьник, улепетывающий от строгого учителя.

Но едва я распахнул дверь, как глазам моим представилась пара длинных небесно-голубых ног в гусарских сапогах и пара коротких и черных, в пайталонах до колен и башмаках с пряжками. Обе пары ног бросились мне навстречу.

— Ну что? Что вы узнали? — воскликнули оба моих гостя.

— Ничего,— ответил я.

— Император вас не принял?

— Принял; мы с ним виделись.

— И что он вам сказал?

— Мсье Талейран,— ответил я,— к моему глубокому сожалению, я ничего не могу вам рассказать. Я дал слово императору.

— Полно, полно, дорогой мой юноша,— сказал он, подходя ко мне боком, точь-в-точь как кошка, которая хочет потереться о ваши ноги.— Все останется между друзьями и дальше этих стен не пойдет. Кроме того, беря с вас слово, император, конечно, не имел в виду меня.

— До дворца всего минута ходу, мсье Талейран,— ответил я.— Я попрошу вас сделать несколько шагов, если это вас не затруднит, и принести сюда письменное свидетельство императора, что, беря с меня слово, он не имел в виду вас. И тогда я буду счастлив передать вам наш разговор слово в слово.

Он ощерился на меня, как старая лисица.

— Кажется, мсье Жерар немножко возомнил о себе,— сказал он.— Мсье Жерар слишком молод, чтобы понимать истинное соотношение вещей. Став постарше, он, вероятно, поймет, что со стороны младшего кавалерийского офицера неблагоразумно быть столь несговорчивым.

Я не знал, что ответить, но тут Лассаль вступился за меня со своей обычной прямоотой.

— Малый совершенно прав,— заявил он.— Знай я, что он связан словом, я бы и не подумал расспрашивать его. Вы отлично знаете, мсье де Талейран, что если бы он вам все рассказал, вы посмеялись бы над ним в душе, а потом думали бы о нем не больше, чем я о пустой бутылке из-под бургундского. Что до меня, то даю слово: если я узнаю, что он выдал тайну императора, в Десятом полку для него не будет больше места, и мы лишимся нашего лучшего фехтовальщика.

Но государственный муж, видя, что полковник на моей стороне, обозлился еще больше.

— Я слышал, полковник де Лассаль,— сказал он с ледяной надменностью,— что ваши суждения о легкой кавалерии ценятся очень высоко. Если мне понадобятся сведения об этом роде войск, я не премину обратиться

к вам. Но сейчас дело касается дипломатии, и, надеюсь, вы разрешите мне иметь свое мнение по этому вопросу. Покуда благополучие Франции и личная безопасность императора вверены главным образом моему попечению, я буду использовать все средства, чтобы обеспечить и то и другое, невзирая даже на прихоти императора. Имею честь откланяться, полковник де Лассаль.

Бросив в мою сторону весьма недружелюбный взгляд, он повернулся на каблуке и мелкими бесшумными шажками быстро вышел из комнаты.

По лицу Лассалья я понял, что ему не улыбается перспектива вражды с могущественным министром. У него сорвалось крепкое слово; затем, схватив кивер и поддерживая рукой саблю, он с грохотом сбежал по лестнице. Выглянув в окно, я увидел, что две фигуры — высокая голубая и прихрамывающая черная — шагают по улице рядом. Вид у Талейрана был замороженный, а Лассаль размахивал руками и что-то говорил, — очевидно, пытался помириться.

Император велел мне не думать, и я старался выполнить его приказ. Я взял карты, которые Морат оставил на столе, и стал играть в экарте за двоих. Но я никак не мог вспомнить, какая масть была козырной, и, отчаявшись, швырнул карты под стол. Затем я вытащил саблю и поупражнялся в колющих ударах, пока не устал, но ничего не помогало! Мысль моя работала, несмотря на все старания. В десять часов я должен встретиться с императором в лесу. Из всех невероятных событий, какие случаются на свете, только это не могло бы мне прийти в голову ниче утром, когда я вставал с кровати. Но ответственность — какая страшная ответственность легла на мои плечи! И разделить ее со мной некому. Думая об этом, я весь холодел. Сколько раз я глядел в глаза смерти на полях сражений, но только сейчас узнал, что такое настоящий страх. Но затем я рассудил, что мне ничего не остается делать, как показать себя отважным и достойным солдатом, а лучше всего — строжайше повиноваться полученным приказам. И если все сойдет благополучно, это будет начало блестящей карьеры. Так, переходя от страха к надеждам, я кое-как протянул этот долгий-предолгий вечер, пока не пробил назначенный час.

Я надел шинель — ведь неизвестно, сколько времени мне придется провести ночью в лесу, — а сверху опоясался саблей. Ставив гусарские сапоги, я надел башмаки и гетры, чтобы легче был шаг. Затем я осторожно вышел из дома и направился в лес, чувствуя огромное облегчение, — мне всегда становится лучше, когда проходит необходимость размышлять и наступать время действовать.

Я прошел мимо казарм гвардейских егерей, мимо маленьких кафе, битком набитых военными. Среди множества пехотинцев в темном и офицеров личного императорского конвоя в светло-зеленом я, проходя мимо, видел лазоревые с золотом мундиры моих однополчан. Гусары беззаботно потягивали вино и дымил сигарами, даже не подозревая о том, что предстояло их товарищу. Один из них, командир моего эскадрона, разглядел меня в свете, падавшем из окна, и, громко зовя меня, выбежал на улицу. Я прибавил шагу, делая вид, что не слышу, и он, обругав меня за глухоту, вернулся допивать бутылку.

Попасть в лес Фонтенбло — дело нетрудное. Отдельные деревья пробрались на улицы городка, как стрелки, идущие впереди колонны. Я свернул на тропку, которая вела на опушку леса, и быстро зашагал к старой сосне. Я уже намекал, что это место мне было знакомо благодаря особым причинам, и благодарил судьбу за то, что в эту ночь меня не поджидала там Леони. Бедная малютка, наверное, умерла бы от страха, увидев перед собой императора. А он мог обойтись с ней слишком сурово или — хуже того! — чересчур ласково.

Над лесом светил полумесяц, и, подходя к условленному месту, я увидел, что меня уже ждут. Под сосной, заложив руки за спину и уткнув подбородок в грудь, взад и вперед расхаживал император. На нем было длинное серое пальто с накинутым на голову капюшоном. Я видел его в этом одеянии во время нашей зимней кампании в Польше; говорил, будто он носил его потому, что капюшон служил прекрасной маскировкой. И в походах и в Париже император очень любил бродить по ночам и подслушивать разговоры в кабаках или у костров. Но его фигура, его манера

держать голову и руки были настолько знакомы всем, что его немедленно узнавали, и люди принимались говорить то, что, как они полагали, ему было приятно слышать.

Первой моей мыслью было, что он рассердится на меня за то, что я заставил его ждать, но, когда я подошел, большие часы на церковной башне Фонтенбло пробили десять. Стало быть, не я опоздал, а он пришел слишком рано. Вспомнив его приказ не вступать в разговор, я остановился в четырех шагах, щелкнул шпорами, опустил саблю, которую я придерживал рукой, и отдал честь. Он взглянул на меня и без единого слова повернулся и медленно пошел по лесу; я последовал за ним, держась на том же расстоянии. Раз-другой он опасливо поглядел направо и налево, словно боясь, что кто-то следит за нами. Я тоже осматривался, но даже с моим острым зрением невозможно было разглядеть что-либо, кроме неровных пятен лунного света среди густой, черной тени под деревьями. Слух у меня такой же острый, как и зрение, и раза два мне показалось, что где-то треснул сучок,— но вы сами знаете, сколько звуков ночью в лесу и как трудно определить, откуда они слышатся.

Так мы прошагали больше мили, и я догадался, куда мы направляемся, задолго до того, как мы дошли до цели. Посреди одной из лесных полян стоял громадный расщепленный ствол — остаток когда-то росшего здесь гигантского дерева. Он был известен под именем Аббатова бука, о нем ходило столько всяких страшных историй, что я знаю немало храбрых солдат, которые побоялись бы стоять возле него на часах. Но я, конечно, не верил вздорным рассказам, как, очевидно, и император; мы пересекли поляну и направились прямо к старому стволу. Подойдя поближе, я увидел под ним две ожидавшие нас фигуры.

Я заметил их, хотя они стояли чуть позади ствола, словно стараясь не выдать своего присутствия, но когда мы приблизились, они вышли из тени и двинулись нам навстречу. Император оглянулся на меня и чуть замедлил шаг; теперь я был уже на расстоянии вытянутой руки от него. Само собой, саблю я передвинул вперед и успел хорошо рассмотреть подходивших к нам людей.

Один из них был высок — я бы даже сказал, на редкость высок, — другой был ниже среднего роста и шел проворным, уверенным шагом. Оба были в черных мантиях, одетых на манер плащей мюратовских драгун. На обоих были плоские черные шляпы, какие я потом видел в Испании; поля затеняли их лица, хотя мне было видно, как из-под них сверкали глаза. Луна светила им в спину, их длинные черные тени тянулись вперед — словом, точь-в-точь призраки, которые могут появиться ночью возле Аббатова бука. Они бесшумно скользнули, приближаясь к нам, и лунный свет рисовал длинные белые ромбы между ногами идущих и ногами их теней.

Император остановился; два незнакомца тоже остановились в нескольких шагах. Я подошел к императору и стал рядом с ним; так мы стояли лицом к лицу, не произнося ни слова. Я глядел больше на высокого — он был чуть-чуть ближе ко мне, и от меня не укрылось, что он взвизгивал до предела. Он трясся всем своим тощим телом и дышал часто и неглубоко, как загианная собака. Вдруг второй коротко свистнул. Высокий согнул спину и колени, как пловец перед прыжком в воду, но прежде, чем он успел двинуться, я, обнажив саблю, одним прыжком очутился перед ним. В то же мгновение низенький ринулся на императора и воизил ему в сердце кинжал.

Боже, что за ужасная минута! Просто чудо, что я сам не упал замертво. Будто во сне, я увидел, как судорожно дернулось и закружилось серое пальто и в лунном свете между лопаток высунулось на три дюйма кровавое лезвие кинжала. С предсмертным хрипом император рухнул на траву, а убийца, оставив кинжал в теле своей жертвы, вскинул руки к небу и издал радостный вопль. А я — я воткнул саблю ему в диафрагму с такой яростной силой, что от толчка рукоятки в грудную кость он отлетел на шесть шагов и там упал, оставив в моих руках дымящийся клинок. Я быстро обернулся к другому, охваченный такой жадной кровью, какой я никогда не испытывал и не испытаю, и в ту же секунду перед глазами моими блеснул кинжал, холодное лезвие скользнуло мимо моей шеи, и рука негодяя с размаху уперлась мне в плечо. Я занес над ним саблю, но он отпрянул в сторону и мгновенно пустыл.

ся бежать со всех ног, скачками, как олень, пересекая залитую лунным светом поляну.

Но ему, конечно, от меня не уйти. Я на секунду остановился над телом императора и тронул холодную руку. Я знал, что книжал убийцы сделал свое дело. Несмотря на свою молодость, я достаточно навиделся на войн и понимал, что удар был смертелен.

— Ваше величество! Ваше величество! — в отчаянии окликал его я. В ответ ни звука, ни малейшего движения, только темное пятно расплывалось по земле, залитой лунным светом. Как безумный, я вскочил на ноги, сбросил шинель и изо всех сил помчался вдогонку за вторым убийцей.

Я благословлял себя за то, что додумался вместо сапог надеть башмаки с гетрами! И как хорошо, что меня осенило сбросить шинель! Этому негодяю не удалось выпутаться из своей мантии, или же он так перетрусил, что ему не пришло в голову ее снять. Поэтому у меня с самого начала было преимущество перед ним. Он, наверное, был не в своем уме — он даже не пытался скрыться в тени под деревьями, а перебегал от поляны к поляне, пока не достиг вересковой пустоши, которая выводит к большой фонтенблоской каменоломне. Тут он был передо мной весь, как на ладони, и я знал, что ему от меня не уйти. Правда, он бежал исплохо — бежал, как бежит трус, спасая свою шкуру. А я бежал, как Судьба, неотступно следующая за человеком по пятам. Ярд за ярдом сокращалось расстояние между мной и им. Он спотыкался и пошатывался. Я слышал его хриплое, надсадное дыхание. И вдруг путь его пересекла зияющая пропасть каменоломни. Оглянувшись на меня через плечо, он испустил крик отчаяния. Через мгновение он исчез из виду.

Понимаете — исчез совершенно. Я подбежал к обрыву и заглянул в темную пропасть. Неужели он бросился вниз? Я решил было, что так оно и есть, но вдруг снизу донеслись тихие прерывистые звуки. Это слышалось его дыхание, и я догадался, где он.

С краю каменоломни, на небольшом выступе под обрывом, стоял дощатый сарайчик, где рабочие хранили свои инструменты. Убийца, конечно, юркнул туда. Он, безмозглая тварь, должно быть, думал, что в темноте

я не рискую последовать за ним. Плохо же он знал Этьена Жерара! Одним прыжком я очутился на выступе; еще прыжок — и я ворвался в дверь, услышал в углу дыхание убийцы и навалился на него сверху.

Он боролся, как дикая кошка, но где ему было одолеть меня этим коротким кинжалом! Кажется, я проткнул его насквозь первым же неистовым ударом, ибо хотя он и продолжал орудовать кинжалом, но рука его слабела все больше, и наконец кинжал со звоном упал на пол. Убедившись, что он мертв, я поднялся и вышел на освещенную луной площадку. Я вскарабкался наверх и пошел через пустошь, чувствуя, что вот-вот сойду с ума.

Слыша, как кровь звенит у меня в ушах, сжимая в руке обнаженную саблю, я бесцельно шагал по вересковой пустоши, пока не поднял голову и не увидел, что нахожусь на поляне возле Аббатова бука и вдали темнеет суковатый ствол, с которым теперь, наверное, навсегда будет связана самая страшная минута в моей жизни. Я сел на поваленное дерево, положив на колени саблю, обхватил голову руками и пытался осмыслить, что же произошло и что сулит мне грядущее...

Император доверил мне свою жизнь. Император убит. Эти две мысли стучали у меня в мозгу, пока не вытеснили собою все остальные. Он пришел сюда вместе со мной, и он мертв. Я сделал все, что он приказал мне при жизни. Я отомстил за него, когда он умер. Но что из того? Все будут считать, что виноват во всем я. Быть может, меня даже сочтут убийцей. Что я могу доказать? Где мои свидетели? Разве я не мог быть сообщником убийц? Да, да, я обещан навеки — я стану самым отверженным, самым презренным человеком во Франции. Конеч всем моим честолюбивым мечтам о военной карьере, конец всем надеждам моей матушки. Я горько усмеялся при этой мысли. Что же мне сейчас делать? Идти в Фонтенбло, подняться на ноги весь дворец и объявить, что великий император был убит в двух шагах от меня? Этого я не могу — нет, не могу! Для благородного человека, которого Судьба поставила в такое ужасное положение, есть лишь один выход. Я упаду грудью на свой опозоренный клинок и разделю участь императора, если уж не сумел предотвратить

ее. Я встал; каждый нерв во мне был натянут перед этим последним, скорбным подвигом; но, подняв глаза, я вдруг увидел нечто такое, от чего у меня перехватило дух. Передо мной стоял император! Между нами было ярдов десять, не больше; луна светила прямо в его строгое, бледное лицо. Он был все в том же сером пальто, но капюшон был откнут, а пуговицы расстегнуты, и я увидел зеленый муидир и белые панталоны. Руки его по обыкновению были заложены за спину, подбородок опущен на грудь.

— Итак,— произнес он таким ледяным, суровым тоном, на какой был способен только он,— докладывайте, лейтенант Жерар!

Вероятно, если бы он еще минуту простоял молча, я бы лишился рассудка. Но именно этот резкий военный приказ и был мне необходим, чтобы прийти в себя. Мертвый или живой, но это был император, и он требовал от меня ответа. Я вытянулся и отдал честь.

— Я вижу, одного вы убили,— сказал он, кивнув головой в сторону старого бука.

— Так точно, ваше величество!

— А другой убежал?

— Никак нет, ваше величество, я убил и второго.

— Что? — воскликнул он.— Вы хотите сказать, что убили обоих? — Он подошел ко мне ближе, и при лунном свете зубы его сверкнули в улыбке.

— Один труп лежит здесь, ваше величество,— ответил я.— Другой — в сарае для инструментов у каменоломни.

— Значит, Братев из Аяччо уже нет на свете! — воскликнул он и, немного помолчав, заговорил как бы сам с собой: — И черная туча уже не будет висеть над моей головой....

Он положил мне руку на плечо.

— Вы отлично справились с делом, мой юный друг,— сказал он.— Вы оправдали свою репутацию.

Значит, этот император — живой человек, с живой плотью и кровью! Я чувствовал прикосновение его маленькой пухлой ладони. Но то, что я видел собственными глазами, не выходило у меня из головы, и я уставился на него таким растерянным взглядом, что губы его снова раздвинулись в улыбке.

— Нет, нет, мсье Жерар,— сказал он,— я не призрак и не был убит на ваших глазах. Идите сюда, и вам все станет ясно.

Он повернулся и пошел к огромному старому стволу.

Там на земле по-прежнему лежали два трупа, а возле них стояли два человека. Они были в чалмах, и я узнал Рустема и Мустафу, двух мамелюков из императорской охраны. Император остановился над лежавшей на земле серой фигурой и, откинув с головы ее капюшон, открыл чужое, незнакомое лицо.

— Вот лежит верный слуга, отдавший жизнь за своего господина,— произнес он.— Мсье де Гуден, как видите, был похож на меня фигурой и походкой.

Какая иступленная радость нахлынула на меня, когда все объяснилось! Он улыбнулся, видя мое ликование; мне хотелось броситься ему на шею и сжать в своих объятиях, но император, словно угадав мои намерения, отступил на шаг назад.

— Вы не ранены? — спросил он.

— Не ранен, ваше величество. Но еще минута, и я бы от отчаяния...

— Вздор, вздор,— перебил он.— Вы были молодцом. А ему следовало быть поосторожнее. Я видел, как все это произошло.

— Вы видели, ваше величество?!

— Значит, вы не слышали, что я шел за вами по лесу? Я не выпускал вас из виду с той минуты, как вы вышли из дома, и до того, как упал бедный де Гуден. Мнимый император шел впереди вас, а настоящий — сзади. А теперь вы будете сопровождать меня во дворец.

Он шепотом что-то приказал мамелюкам; те отдали честь и остались стоять на месте. Я же пошел вслед за императором, и даже ментик мой раздувался от гордости. Честное слово, я всегда держался, как подobaет гусару, но даже сам Лассаль никогда не выпячивал грудь под доломаном так кичливо, как я в ту ночь. Кому же греметь саблей и звенеть шпорами, как не мне, Этьену Жерару, поверенному императора, лучшему рубака легкой кавалерии, человеку, зарубившему двух мерзавцев, покушавшихся на жизнь Наполеона?

Но он заметил мою развязную походку и обрушился на меня, как гром небесный.

— Так-то вы держите себя, исполняя секретное поручение? — прошипел он, и глаза его заторелись холодным огнем. — Так-то вы хотите заставить ваших товарищей поверить, что ничего особенного не произошло? Ведите себя прилично, мсье, иначе вы живо окажетесь в саперном полку, где работа потруднее, а плюмаж потусклее.

Таков был наш император. Стоило ему заподозрить, что кто-то претендует на особые права, как он тотчас же давал зазнававшемуся понять, что между ними лежит пропасть. Я отдал честь и притих, но, должен сознаться, что после всего, что было, я почувствовал себя обиженным. Он привел меня ко дворцу, мы вошли в боковую дверь, и я проследовал за ним в его личный кабинет. На лестнице стояли два гренадера, и, клянусь вам, у них глаза вылезли на лоб, когда они увидели, что молодой лейтенант-гусар около полуночи входит в личные апартаменты императора. Я стал у двери, как днем, а он бросился в кресло и погрузился в такое долгое молчанье, что мне казалось, он совсем позабыл про меня. Наконец, чтобы привлечь его внимание, я позволил себе легонько кашлянуть.

— А, мсье Жерар, — отозвался он, — вам, конечно, не терпится узнать, что все это значит?

— Я совершенно доволен, ваше величество, даже если вам не угодно ничего объяснять.

— Вздор, вздор, — нетерпеливо сказал он. — Это только слова. Стоит вам выйти за дверь, как вы начнете разносить, что к чему. Через два дня обо всем узнают ваши собратья-офицеры, через три слухами будет полон весь Фонтенбло, а через четыре — это дойдет до Парижа. Если же я сам расскажу вам достаточно, чтобы насытить ваше любопытство, то есть некоторая надежда, что вы будете держать язык за зубами.

Плохо он меня знал, наш император, и все же мне ничего не оставалось, как поклониться и промолчать.

— Я вам все объясню в нескольких словах, — сказал он скороговоркой, принимаясь шагать по комнате. — Они корсиканцы, эти двое. Я знал их в юности. Мы были членами одного общества — называли мы себя «Братья

из Аяччо». Общество было основано еще во времена Паоли, и у нас существовали суровые законы, которые нельзя было нарушать безнаказанно.

В чертах его проступило выражение жестокости; мне казалось, что все французское в нем сразу исчезло — передо мной стоял истый корсикаец, человек сильных страстей, тайный мститель. Он мысленно перенесся в те давние дни и минут пять расхаживал по комнате быстро и бесшумно, как тигр. Затем нетерпеливо махнул рукой и как бы снова вернулся в свой дворец и к своему гусару.

— Законы такого общества, — продолжал он, — годятся для обыкновенного гражданина. В то время не было более верного члена братства, чем я. Но обстоятельства изменились, и теперь подчинение этим законам не принесло бы добра ни мне, ни Франции. Они же хотели заставить меня подчиняться и сами навлекли беду на свои головы. Эти двое были главарями общества; они приехали с Корсики и пригласили меня встретиться в назначенном ими месте. Я знал, что означает это приглашение. Еще ни один человек не возвращался живым после такого свидания. С другой стороны, я не сомневался, что если я не приду, то несчастья не миновать. Не забывайте, что я сам член этого братства и знаю его обычаи.

И снова возле рта у него появилась жесткая складка, а в глазах мелькнул холодный блеск.

— Вы понимаете, что я оказался между двух огней, мсье Жерар, — сказал он. — Как бы вы поступили на моем месте?

— Дал бы приказ Десятому гусарскому, ваше величество! — воскликнул я. — Дозорные прочесали бы лес вдоль и поперек и бросили бы к вашим ногам этих негодяев.

Он усмехнулся и покачал головой.

— Я не хотел, чтобы их взяли живыми — у меня на то были очень веские причины, — сказал он. — Вы, надеюсь, понимаете, что язык убийцы — такое же опасное оружие, как кинжал. Не стану от вас скрывать — я хотел любой ценой избежать скандала. Вот почему я велел вам не брать с собой пистолеты. И вот почему мои мамелюки уничтожат все следы этой истории, и никто

ничего не узнает. Я перебрал в уме множество планов и уверен, что выбрал наилучший. Если бы я послал с де Гудеиом в лес не одного спутника, а больше,— братья не появились бы. Но из-за одного человека они не стали бы менять свои планы и не упустили бы возможности покончить со мной. Когда я получил их приглашение, у меня случайно находился полковник Лассаль, и это навело меня на мысль выбрать для моей цели одного из гусар. Я остановил выбор на вас, мсье Жерар, потому что мне был нужен человек, который умел бы владеть саблей и не стал бы совать нос в мои дела больше, чем мне хотелось бы. Я верю, что вы и в этом отношении оправдаете мой выбор, как вы оправдали его в смысле ловкости и отваги.

— Ваше величество,— ответил я,— можете на меня положиться.

— Пока я жив,— сказал император,— вы никому не скажете ни слова об этом.

— Я выброшу эту историю из головы, ваше величество. Я начисто сотру ее из памяти, словно ничего подобного никогда и не бывало. Клянусь, я сейчас выйду из вашего кабинета точно таким, каким был нынче в четыре часа, когда я сюда вошел.

— Это невозможно,— улынулся император.— Днем вы были лейтенантом. Позвольте пожелать вам спокойной ночи, капитан.

III

КАК БРИГАДИРУ ДОСТАЛСЯ КОРОЛЬ

Вот здесь, в петлице мунира, я, как видите, ношу ленточку, но медаль я держу дома в кожаном кошельке и не решаюсь ее вынимать, разве только какой-нибудь из нынешних мирных генералов или знатный иностранец заедет в наш городок и захочет воспользоваться случаем, чтобы засвидетельствовать почтение знаменитому бригадир Жерару. Тогда я надеваю медаль на грудь и закручиваю усы а-ля Маренго — так, чтобы седые кончики торчали до самых глаз. И все-таки боюсь, что ни им, ни даже вам, друзья мои, никогда

не уразуметь, что я был за человек. Вы меня знаете как штатского — ну, конечно, с выправкой и молодецким видом, но все же как обыкновенного штатского. Посмотрели бы вы на меня, когда я стоял в дверях гостиницы в Аламо 1 июля 1810 года, вы бы поняли, что такое настоящий гусар!

Целый месяц я томился в этой забытой богом деревне по милости проткнувшей мне щиколотку пикой, из-за чего я долго не мог ступить ногой на землю. Сначала, кроме меня, там было еще трое: старый Буве из Бершенийского гусарского, Жак Ренье из Кирасирского и потешный маленький капитан-вольтижер — забыл, как его звали. Но они скоро выздоровели и помчались воевать, а я сидел в деревне, грыз ногти, рвал на себе волосы и даже, признаться, иной раз проливал слезы, думая о моих конфланских гусарах и бедственном положении, в котором они очутились, лишившись своего полковника. Тогда я еще не командовал бригадой, как вы понимаете, хотя держался, как бригадир, но я был самым молодым полковником во всей армии, и полк заменял мне жену и детей. У меня разрывалось сердце при мысли, что они так обездолены. Правда, Вийяре, старший майор, был отличным солдатом; но все же даже среди лучших существуют степени превосходства.

О, тот счастливый июльский день, когда я впервые доковылял до дверей и стоял под лучами золотого испанского солнца! Накануне вечером я получил вести из полка. Он был в Пасторесе, по ту сторону гор, лицом к лицу с англичанами — не больше, чем в сорока милях от меня, если ехать по дороге. Но как я мог до них добраться? Та же пика, что проколола мне щиколотку, убила моего коня. Я посоветовался с Гомесом, хозяином гостиницы, и со стариком священником, который здесь ночевал, но оба заверили меня, что во всей округе не осталось даже жеребенка.

Хозяин и слышать не хотел о том, чтобы я ехал через горы один: по его словам, в тех местах хозяйничал со своим отрядом Эль-Кучильо, глава испанских партизан, а попасться ему в руки — значит умереть под пытками. Старый священник заметил, однако, что это вряд ли может остановить французского гусара, и

если у меня были колебания, то после его слов они исчезли окончательно.

Но конь! Где взять коня? Стоя в дверях, я усиленно размышлял и придумывал всякие планы, как вдруг услышал цокот копыт и, подняв глаза, увидел крупного бородатого человека в синем плаще военного образца. Он ехал верхом на вороном коне с белым чулком на левой передней ноге.

— Здорово, товарищ! — окликнул я, когда он подъехал ближе.

— Здорово! — ответил он.

— Я полковник Жерар из гусарского полка, — отрекомендовался я. — Пролежал здесь, раненый, целый месяц и теперь готов присоединиться к своему полку в Пасторесе.

— Я мсье Видаль из интендантства, — сказал он, — и тоже направляюсь в Пасторес. Буду рад вашему обществу, полковник, говорят, что в горах небезопасно.

— Увы, — вздохнул я, — у меня нет коня. Но если вы продадите мне своего, я обещаю прислать за вами отряд гусар.

Он отказался наотрез, — напрасно хозяин наговорил ему всяких ужасов про Эль-Кучильо, а я твердил о долге перед армией и страной, который он обязан исполнить. Он даже не стал спорить и громко потребовал вина. Я не без задней мысли предложил ему сойти с лошади и выпить со мною, но он, должно быть, прочел что-то на моем лице и только замотал головой. Тогда я подошел к нему, намереваясь схватить его за ногу, но он воизнул шпоры в бока лошади и, вздымая облако пыли, умчался прочь.

Клянуся честью, можно было с ума сойти, глядя, как этот малый резво скачет вдогонку своим ящикам с говядиной и бочоикам коньяка, и думая при этом о пяти сотнях великолепных гусар, которые остались без своего полковника. С горькими мыслями я смотрел ему вслед, и кто же, вы думаете, вдруг тронул меня за локоть? Тот старичок священник, о котором я уже говорил.

— Я могу вам помочь, — сказал он. — Я тоже еду на юг.

Я крепко обнял его, и тут у меня подвернулась щиколотка, и мы оба чуть не упали на землю.

— Довезите меня до Пастореса,— воскликнул я,— и вы получите четки из чистого золота! — Я взял себе такие четки в монастыре Святого духа. Это еще лишний раз доказывает, как необходимо во время кампании прибирать к рукам все, что можно, и какую пользу может иногда принести самая неожиданная вещь.

— Я возьму вас с собой,— ответил он на прекрасном французском языке,— не потому, что надеюсь на вознаграждение, но потому, что в моих правилах оказывать любую посильную помощь своему собрату — человеку; за это меня любят всюду, где я бываю.

С этими словами он повел меня в конце деревни, к ветхому коровинку, в котором мы нашли полуразвалившийся дилижанс, из тех, какие ходили в самом начале века между отдаленными деревнями. Тут же стояли три старых мула; ни один из них не выдержал бы на себе человека, но вдвоем они кое-как могли тащить карету. При виде этих тощих ребер и изъеденных болячками ног я пришел в такой восторг, какой не испытывал, даже глядя на двести двадцать императорских скакунов, стоявших в конюшнях Фонтенбло. За десять минут хозяин мулов запряг их в карету — не очень, впрочем, охотно, так как он смертельно боялся Кучильо. И только после того, как я пообещал ему все богатства на земле, а священник пригрозил вечными муками на небе, он наконец взобрался на козлы и взял в руки вожжи. И тут, боясь, что темяота застигнет нас в горах, он так заторопился в путь, что я еле успел повторить свои клятвы дочери хозяина гостиницы. Сейчас я уж не припомню, как ее звали, но, расставаясь, мы оба плакали, и, насколько мне помнится, это была очень красивая девушка. Вы сами понимаете, друзья мои, когда такой человек, как я, человек, сражавшийся с мужчинами и целовавший женщин в четырнадцати разных государствах, скажет комплимент одной или другой, это само по себе еще ничего не значит.

Мой священник немножко нахмурился, когда мы целовались на прощанье, но в карете оказался превеселым спутником. Всю дорогу он потешал меня историями из жизни своего прихода, находившегося где-то высоко в горах, а я, в свою очередь, рассказывал ему случаи из походной жизни, но, клянуся честью, вскоре мне пришлось попридержаться язык: стоило только сказать соленое слов-

цо, как он начинал ерзать на сиденье, и по лицу его было видно, как ему мучительно слышать такие вещи. Конечно, благородный человек должен разговаривать с духовным лицом не иначе, как в самых благопристойных выражениях, но что делать — как я ни старался, а все же иногда срывалось какое-нибудь словечко!

Он прибыл с севера Испании и ехал навестить свою мать в одну из деревень Эстремадуры, и, когда он рассказывал мне о ее маленькой крестьянской хижине и о том, как она ему обрадуется, я так живо вспомнил свою матушку, что на глаза у меня набегали слезы. Он просто-душно показал мне маленькие подарки, которые он ей вез, и в нем чувствовалась такая доброта, что, наверное, и вправду, как он сказал, его любили всюду, где бы он ни бывал. Он с детским любопытством рассматривал мой мундир, восхищался плюмажем на кивере и гладил пальцами соболью оторочку моего доломана. Он даже вытащил из ножен мою саблю, а когда я рассказал, какое множество людей я сразил ею, и постучал пальцем по зазубринке, которую оставила на клинке плечевая кость адъютанта русского императора, он вздрогнул и положил саблю под кожаную подушку, заявив, что ему становится дурно от одного ее вида.

Так мы разговаривали, а скрипучая карета катилась по дороге все дальше, и, когда мы подъехали к подножью гор, откуда-то издалека, справа, донесся грохот пушки. Там был Массена, который, как мне было известно, осаждал Сьюдад-Родриго. Больше всего на свете мне хотелось отправиться прямо к нему, потому что если, как говорят, в нем текла еврейская кровь, то это был самый доблестный еврей со времен Иисуса Навина. Стояло вам завидеть его крючковатый нос и смелые черные глаза, как вы понимали, что находитесь в самом пекле боя. Но все-таки осада — это скучная работа киркой да лопатой, и у моих гусар, имевших перед собой англичан, перспективы были гораздо интереснее. С каждой оставшейся позади милей на сердце у меня становилось веселее: скоро я снова увижу всех моих прекрасных лошадей и моих отважных товарищей.

Мы въехали в горы; дорога стала более каменной, а ущелье — более диким. Сначала нам иногда встречались погонщики мулов, потом стало безлюдно, точно все

вокруг вымерло, и тут не было ничего удивительного, так как эта местность переходила поочередно то к французам, то к англичанам, то к партизанам. Рыжие морщинистые скалы высились одна над другой, ущелье становилось все уже, и вокруг было так мрачно и глухо, что я перестал смотреть по сторонам и сидел молча, думая о том о сем: о женщинах, которых я любил, и о скакунах, на которых мне приходилось ездить. Внезапно я отвлекся от своих дум, увидев, что мой спутник вынул что-то вроде шила и с трудом пытается проколоть дырку в ремешке, на котором висела его фляжка с водой. Ремешок выскользнул из его согнутых пальцев, деревянная бутылка упала к моим ногам. Я нагнулся, чтобы поднять ее, и вдруг священник навалился мне на плечи и ткнул чем-то острым мне прямо в глаз.

Друзья, вы знаете, что я человек закаленный и, не дрогнув, могу встретить любую опасность. Но солдату, который провел все кампании, от Цюриха до последнего рокового дня Ватерлоо, и имеет особую медаль, хранящуюся дома в кожаном кошельке, не стыдно признаться, что он однажды испугался. И если кто-то из вас когда-нибудь не совладает со своими нервами, пусть утешится, вспомнив, что даже сам бригадир Жерар сказал, что ему было страшно. Кроме испуга при таком ужасном нападении, кроме жгучей боли, я ощутил еще внезапное отвлечение,— так, наверное, бывает, когда в вас вонзят свое жало омерзительный тарантул.

Я схватил гадину за обе руки, повалил на пол кареты и придавил своими тяжелыми сапогами. Он выхватил из-под сутаны пистолет, но я выбил его у него из рук и стал коленями ему на грудь. Тут он впервые страшно закричал, а я, полуослепший, стал шарить вокруг, ища его кинжал: потому что теперь я понял, что это был кинжал, а не шило. Я нащупал его рукой и смахнул кровь с лица, чтобы видеть, куда ударить, но в это мгновение карета резко накренилась, и от толчка кинжал выпал из моей руки.

Не успел я прийти в себя, как дверца распахнулась, и меня за ноги выволокли на дорогу. И хотя я весь ободрался об острые камни и увидел, что меня окружает человек тридцать, сердце мое подпрыгнуло от радости, потому что во время борьбы ментик упал мне на голову

и закрыл один глаз, а я видел всю эту шайку раненым глазом! Вот по этому рубчику вы можете видеть, что тонкое лезвие задело веко, скользнув мимо глазного яблока, но, только когда меня выволокли из кареты, я понял, что мне не грозит остаться слепым до конца моих дней. Мерзавец священник, разумеется, намеревался через глаз проникнуть в мозг, и какую-то косточку в голове он мне действительно повредил, так что впоследствии эта рана мучила меня больше, чем любая из тех семнадцати, что я получил.

Они, эти негодяи, с проклятиями и ругательствами вытащили меня на дорогу и лежащего били кулаками и пинали ногами. Мне не раз приходилось замечать, что горцы обматывают ноги куском холста, но никогда я не думал, что буду благодарить за это небо. Вскоре, видя, что голова моя окровавлена и я лежу неподвижно, они решили, что я потерял сознание, а я в это время старался запомнить каждую безобразную рожу, чтобы, если судьба мне улыбнется, полюбоваться ими на виселице. Все это были дюжие детины, повязанные желтыми платками, с пистолетами за поясом. На дороге, в том месте, где она делала крутой поворот, они скатили два валуна — одно колесо нашей кареты зацепилось за камень и оторвалось, и мы едва не опрокинулись. А этот мерзавец, так ловко прикидывавшийся священником и столько рассказывавший мне про своих прихожан и свою мать, конечно, знал о засаде и пытался лишить меня возможности сопротивляться, когда мы к ней подъехали.

Не могу описать, в какое бешенство они пришли, когда вытащили его из кареты и увидели, что я с ним сделал. Если он и не успел получить по заслугам, то, во всяком случае, будет долго помнить о встрече с Этьеном Жераром. Ноги его беспомощно болтались в воздухе; когда его хотели поставить, он плюхнулся на землю, и только верхняя часть его тела извивалась от ярости и боли, но при этом его маленькие черные глазки, казавшиеся в карете такими добрыми, горели, как у раненой кошки, и он злобно плевал в мою сторону. Клянусь честью, когда разбойники подняли меня на ноги и потащили по горной тропе, я понял, что сейчас мне понадобится все мое мужество и вся моя находчивость. Сзади два человека несли на плечах моего врага, и я, карабкаясь по петляю-

щей тропе, то одним, то другим ухом слышал его злобное шипенье и ругательства.

Мы поднимались, наверное, не меньше часа, а так как меня мучила июющая щиколотка, боль в раненом глазу и тревога, как бы рана не испортила мою иаружность, то путешествие это оставило у меня на редкость неприятные воспоминания. Я раньше не очень-то умел лазить по горам, но вы не поверите, как бодро можно взбираться, даже хромя на больную ногу, если с обеих сторон у вас меднокожные разбойники, а девятидюймовые клинки торчат у самых баков.

Наконец мы добрались до перевала, откуда извни-стая дорога спускалась через хвойный лес вниз, в долину, тянущуюся к югу. Не будь войны, я бы не сомневался, что эти люди — контрабандисты и что меня ведут по тайным тропам, которыми они пробираются через португальскую границу. Я видел следы множества мулов, а на сырой земле возле пересекавшего тропу ручейка, к удивлению своему, заметил отпечатки копыт крупной лошади. Вскоре все объяснилось: когда мы дошли до лесной поляны, я увидел и лошадь, привязанную к упавшему дереву. С одного взгляда я узнал вороную статью коня и белый чулок на левой передней ноге. Это была та самая лошадь, которую я выпрашивал нынче утром.

Что же случилось с интендантом Вндалем? Неужели еще один француз попал в такой же опасный переплет, как я? Едва я успел подумать об этом, как спутники мои остановились и один из них издал странный кряк. Тотчас же из зарослей ежевики на краю поляны послышался ответный кряк, и через секунду появились еще десять—двенадцать разбойников. С кряками горя и сочувствия они окружили моего друга — мастера орудовать шилом, а затем обернулись ко мне, вопя и размахивая кнжалами. Они так неистовствовали, что я уже решил: пришел мой конец — и готовился встретить его, как подобает человеку с моей репутацией, но вдруг один из них отдал какой-то приказ, и меня грубо потащили через просеку в заросли ежевики.

Узкая тропинка привела нас через заросли к глубокому гроту в скале. Солнце уже почти зашло, и в пещере было бы совсем темно, если бы не два горящих факела,

засунутые в трещины между камней. За грубо сколоченным столом сидел весьма необычного вида человек; по уважительности, с которой к нему обращались остальные, я сразу догадался, что это не кто иной, как их начальник, Эль-Кучильо.

Покалеченного мною бандита внесли и посадили на бочку; ноги его все так же бессильно свисали вниз, а кошачьи глаза металли на меня взгляды, полные ненависти. Из обрывков его разговора с главарем я уловил, что он был лейтенантом отряда и в его обязанности входило заманивать своими медовыми речами и мирным обликом путников вроде меня. Представив себе, скольких отважных офицеров завело в ловушку это лицемерное чудовище, я обрадовался, что положил конец его злодеяниям, хотя и побанвался, что это будет стоить жизни человеку, который так необходим и императору и армии.

Пока нзувечейный шпион, поддерживаемый двумя своими товарищами, рассказывал по-испански о том, что с ним стряслось, я в окружении нескольких разбойников стоял прямо перед столом, за которым сидел их главарь, и таким образом мог приглядеться к нему поближе. Редко я встречал человека, так не соответствовавшего моему представлению о разбойнике, и тем более о разбойнике, который заслужил такую мрачную репутацию. У него было грубовато-добродушное, открытое и ласковое лицо с румяными щеками и приятными пушистыми бачками, придававшими ему вид зажиточного бакалейщика с улицы Сент-Антуан. На нем не было ни яркого шарфа-пояса, ни сверкающих пистолетов и кинжалов, как на других,—наоборот, он, словно солидный отец семейства, был одет в добротный суконный сюртук, и если бы не коричневые кожаные гетры, ничто бы не напоминало в нем горца. Лежавшие перед ним вещи вполне соответствовали его внешности: на столе, кроме табакерки, находилась большая книга в коричневом переплете, похожая на счетную книгу лавочника. На доске, положенной на два бочонка, выстроился ряд других книг, по столу были разбросаны листы бумаги, на некоторых были даже нацарапаны какие-то стихи. Все это я разглядел, пока он, лениво развалившись на стуле, слушал доклад своего лейтенанта. Выслушав, он приказал вынести кале-

ку, а я в окружении трех стражей остался ждать решения своей судьбы. Он взял перо, и, похлопывая его верхним концом себе по лбу, покусывал губы и искоса глядел на потолок пещеры.

— По всей вероятности,— сказал он на превосходном французском языке,— вы не способны придумать рифму к слову *Covilha*?

Я ответил, что мое знакомство с испанским языком настолько ограничено, что я не могу оказать ему эту услугу.

— Это очень богатый язык,— сказал он,— но гораздо менее изобилующий рифмами, чем немецкий или французский. Вот почему лучшие наши творения написаны белым стихом; это форма, позволяющая достичь большого совершенства. Но боюсь, что такая тема не вполне доступна пониманию гусара.

Я хотел было ответить, что если она доступна партизану, то не может быть недоступной для полковника легкой кавалерии, но он уже нагнулся над листком с неоконченными стихами. Вскоре он с радостным возгласом отбросил перо и продекламировал несколько строчек, вызвавших у трех монах-стражей одобрительные восклицания. Широкое лицо главара залилось краской, как у девушки, впервые услышавшей комплимент.

— По-видимому, мои критики довольны,— сказал он.— Понимаете ли, мы тут в долгие вечера развлекаемся пением баллад собственного сочинения. У меня есть кое-какие способности в этой области, и я не теряю надежды в скором времени увидеть мои скромные попытки, изданные отдельной книгой со словом «Мадрид» на заглавной странице. Но вернемся к нашим делам. Позвольте узнать ваше имя.

— Этьен Жерар.

— Чин?

— Полковник.

— Полк?

— Третий гусарский.

— Вы слишком молоды для полковника.

— Я много раз отличался по службе.

— Тем печальнее для вас,— сказал он с ласковой улыбкой.

Я ничего не ответил, но всем своим видом старался показать, что готов к самому худшему.

— Между прочим, мне кажется, что у нас тут есть кое-кто из легкой кавалерии,—сказал он, листая страницы толстой коричневой книги.— Мы стараемся вести реестр нашим действиям. Вот запись двадцать четвертого июня. Был ли у вас молодой офицер по имени Субирон, высокий, тонкий юноша с белокурыми волосами?

— Да, конечно.

— Я вижу, что в этот день мы его закопали в землю.

— Бедняга! — воскликнул я.— Но какой же смертью он умер?

— Мы его закопали в землю.

— Но до того, как вы его закопали?

— Вы не поняли меня, полковник. Он не был мертв, когда мы его закопали.

— Вы закопали его живым!

Я был так ошеломлен, что на мгновение застыл. Затем я кинулся на сидевшего с безмятежной улыбкой главаря и перервал бы ему глотку, если бы меня не оттащили трое бандитов. Я снова и снова бросался к нему, отбрасывая от себя то одного, то другого; задыхаясь, я выкрикивал ругательства, боролся изо всех сил, но так и не смог вырваться. Наконец меня в изорванном мундире, с окровавленными запястьями оттянул назад, скрутив мне руки и ноги веревками и канатами.

— Ах ты, елейная собака! — закричал я.— Попадешься ты мне на кончик сабли, я тебе покажу, как мучить моих ребят! Ты увидишь, кровожадная скотина, что у моего императора длинные руки, и, сколько бы ты ни прятался в этой дыре, как крыса, придет время, когда он тебя вытащит наружу и ты сдохнешь вместе со всем твоим сбродом!

Клянусь честью, я умею ругаться, и я бросал ему в лицо все крепкие слова, которым я научился за четырнадцать кампаний, но он сидел, скосив глаза на потолок, и постукивал концом пера по лбу, словно обдумывая какую-то новую строфу. И тут меня осенило, как можно побольнее уязвить его.

— Ты, жалкое отродье! — крикнул я.— Ты воображаешь, что здесь ты в безопасности, но жизнь твоя будет

такой же куцей, как твои бездарные стишки, а уж бог видит, что ничего более куцега на свете нет!

Если бы вы видели, как он вскочил со стула, услышав мои слова! У этого чудовища, отмерявшего смерть и пытки, как бакалейщик отмеривает винные ягоды, было слабое место, по которому я мог бить в свое удовольствие. Лицо его побагровело, а бачки, какие носят лавочники, встали дыбом и затряслись от гнева.

— Прекрасно, полковник. Можете не продолжать,— сказал он сдавленным голосом.— По вашим словам, вы блестяще начали свою карьеру. Обещаю, что вы ее не менее блестяще закончите. Полковник Этьен Жерар из Третьего гусарского умрет необычной смертью.

— Об одном прошу,— сказал я,— не пишите на мою смерть стихов!— Я хотел было подпустить ему еще пару шпилек, но он перебил меня гневным жестом, и три моих стража потащили меня вон из пещеры.

Должно быть, наша беседа, которую я вам передал лишь приблизительно, длилась довольно долго,— снаружи совсем стемнело, и на небе ярко сияла луна. Разбойники разожгли на полянке костер из сухих сосновых веток, конечно, не для того, чтобы согреться,— ночь была душная,— а чтобы приготовить себе ужин. Над огнем висел огромный медный котел, желтое пламя освещало разлегшихся вокруг людей, и это зрелище было похоже на одну из тех картин, которые Жюно похитил в Мадриде. Некоторые солдаты хвастаются, что им наплевать на искусство и всякое художество, но я большой любитель искусства, и тут сказывается мой тонкий вкус и хорошее воспитание. Помню, например, когда после падения Данцинга Лефевр распродал свою добычу, я купил очень хорошенькую картинку под названием «Испуганная нимфа в лесу»; я возил ее с собой в течение двух кампаний, но потом мой конь имел неосторожность продавить ее копытом.

Это я говорю только к тому, чтобы показать вам, что я никогда не был грубым солдафоном вроде Раппа или Нея. Само собой, когда я валялся на земле в лагере разбойников, у меня не было ни времени, ни охоты размышлять о таких вещах. Меня бросили под дерево, трое головорезов уселись рядом на корточках и покуривали сигары. Я не знал, что делать. За всю мою службу я, на-

верное, и десяти раз не бывал в таком отчаянном положении. «Мужайся, мой храбрый мальчик,— твердил я себе.— Мужайся! Тебя пронзели в полковники в двадцать восемь лет не за то, что ты танцевал котильоны. Ты человек особенный, Этьен; ты выходил невредным более чем из двухсот переделок, и этот маленький камуфлет, конечно, будет не последним». Я стал жадно вглядываться в окружающее, стараясь найти путь к спасению, и вдруг увидел нечто такое, что меня ошеломило.

Как я уже сказал, посреди полянки пылал большой костер. Огонь и луна хорошо освещали все вокруг. На другой стороне поляны стояла высокая сосна, которая привлекла мое внимание потому, что ее ствол и нижние ветки были подсвечены, словно под ней горел огонь. Основание ствола скрывали за собой кусты. Так вот, разглядывая сосну, я, к своему удивлению, увидел, что над кустами торчат носками кверху пара прекрасных кавалерийских сапог, очевидно, привязанных к дереву, как я подумал вначале. Но приглядевшись, я заметил, что они приколочены длинными гвоздями. И вдруг я с ужасом понял, что сапоги не пустые, и, чуть наклонив голову вправо, увидел того, кто был прибит к дереву и для кого был зажжен внизу огонь. Не очень-то приятно рассказывать и думать о таких ужасах, друзья мои, и я вовсе не хочу, чтобы ночью вас мучили кошмары, но вам будет трудно представить себе все происходящее, если я не покажу вам, что за люди были эти испанские герильясы и какими способами они вели войну. Скажу только, что я понял, почему лошадь мсье Видаля оказалась в роше без хозяина, и надеялся, что он встретил свою страшную смерть с достоинством и мужеством, как настоящий француз.

Сами понимаете, друзья, это зрелище меня не слишком развеселило. Там, в пещере, перед главарем разбойников, я был так взбешен, узнав о мучительной смерти молодого Субирона, одного из самых славных малых, которые когда-либо перекидывали ногу через седло, что ничуть не думал о собственной участи. Вероятно, было бы дипломатичнее разговаривать с этим мерзавцем вежливо, но теперь уже дела не поправишь. Пробка вынута, и надо выпить вино до дна. Ведь если даже безобидный интендант нашел такую смерть, на что же могу на-

деяться я, переломивший хребет их лейтенанту? Нет, конечно, я обречен, и единственное, что мне осталось,—это сохранять достоинство. Пусть это чудовище убедится, что Этьен Жерар умер так же, как и жил, и что по крайней мере хоть один пленник не сробел перед ним. Я лежал и думал о девушках, которые будут меня оплакивать, о своей дорогой матушке, о том, какую незаменную потерю понесет и мой полк и сам император, и я не стыжусь признаться, что всплакнул при мысли о всеобщем горе, которое вызовет моя преждевременная гибель.

Но вместе с тем я зорко наблюдал за всем, что творилось вокруг, выискивая что-нибудь такое, что могло сослужить мне службу. Не такой я человек, чтобы лежать, как хворая лошадь в ожидании живодера с тесаком! Из всех сил напрягая мускулы, я чуть-чуть расслабил веревку, связывавшую мне щиколотки, потом другую, которой были скручены мои запястья, и одновременно осматривался кругом. Одно мне было очевидно: гусар без лошади — это лишь полчеловека, а вторая моя половина мирно паслась шагах в тридцати от меня. Затем я заметил еще одно обстоятельство. Тропа, по которой мы спустились с гор, была так крута, что лошадь могла бы взобраться по ней с большим трудом и только шагом, зато дорога в другую сторону более ровной и отлого спускалась в долину. Будь у меня в руках сабля да сумей я вдеть ногу вон в то стремя, один стремительный рывок мог бы спасти меня от этих горных хищников.

Пока я раздумывал об этом и старался ослабить веревки на руках и ногах, из грота вышел главарь и, подойдя к стоявшему на земле у костра лейтенанту, заговорил с ним; потом оба кивнули головой и поглядели в мою сторону. Главарь что-то сказал своей шайке; бандиты громко захохотали и захлопали в ладоши. Все это выглядело зловеще, и я обрадовался, почувствовав, что почти освободил руки,—при желании я мог легко сбросить веревку. С ногами дело обстояло хуже: стояло мне напрячь мускулы, как раненую щиколотку пронзала такая боль, что я грыз усы, чтобы не закричать. Оставалось только лежать полусвязанным и смотреть, какой оборот примет дело.

Поначалу я не мог догадаться, что они затевают. Один из негодяев вскарабкался на высокую сосну с краю по-

ляны и обвязал ее ствол канатом. Потом он таким же манером обвязал сосну с другой стороны поляны. Два конца каната свисали с сосен, и я не без любопытства и чуть-чуть тревожно ждал, что будет дальше. Вся баида уцепилась за концы каната и тянула его вниз, пока сильное молодое дерево не согнулось дугой; тогда они обкрутили канат вокруг пня и завязали его. Точно так же они согнули и второе дерево — обе вершины оказались всего в нескольких футах одна от другой, хотя, как вы понимаете, стоило только отпустить канаты — и деревья пружинисто взмыли бы вверх. И тут я разгадал дьявольский план злодеев.

— Я полагаю, вы человек сильный, полковник, — с отвратительной улыбкой сказал главарь, подходя ко мне.

— Если вы будете добры снять с меня веревки, — ответил я, — я покажу вам, силен я или нет.

— Нам всех очень интересует, сильнее ли вы этих молодых сосенок, — сказал он. — Видите ли, мы хотим привязать каждую к вашим щиколоткам и отпустить деревья. Если вы сильнее их, тогда, конечно, вы останетесь целы и невредимы; с другой стороны, если деревья окажутся сильнее, то нам на память останутся две ваши половины по обеим сторонам нашей маленькой полянки.

Он засмеялся, и, увидев это, все остальные оглушительно захохотали. Даже теперь, когда на меня находит мрачное настроение или меня трясет застарелая литовская малярия, я вижу во сне эти рожи с жестокими глазами и белыми зубами, блестящими при свете костра.

Поразительно, как обостряются чувства в решающие минуты; это я не раз слышал и от других. Я убежден, что никогда человек не живет так напряженно, так сильно, как в те мгновения, когда его ждет жестокая, мучительная смерть. Я чувствовал смолистый запах веток, я видел каждый сучок, лежавший на земле, я слышал шелест хвои так отчетливо, как никогда ничего не видел, не слышал и не чувствовал в минуты опасности. И поэтому раньше всех других, раньше, чем ко мне обратился главарь, я услышал глухой равномерный шум, далекий, но приближающийся с каждой секундой. Сначала это был просто неясный гул, но когда убийцы

стали развязывать мне ноги, чтобы отвести к месту казни, я уже ясно, как никогда в жизни, слышал топот копыт, звяканье уздечек и звон сабель, бьющихся о стремяна. Разве мог я, служивший в легкой кавалерии с тех пор, как на верхней губе у меня появился пушок, не узнать звуков, сопровождающих кавалеристов на марше?

— На помощь, товарищи, на помощь! — закричал я. Меня били по губам, меня пытались оттащить под деревья, но я все же кричал: — На помощь, мои храбрые ребята! На помощь, дети мои! Здесь убивают вашего полковника!

От ран, от пережитых тревог я был словно в полубреду и ничуть не сомневался, что сейчас на поляну выедут пятьсот моих гусар с литаврами и прочим.

Но увидел я то, чего меньше всего ожидал. На поляну вылетел красивый молодой человек на великолепной чалой лошади. У него было свежее, на редкость приятное и благородное лицо и на редкость изящная осанка, пожалуй, даже похожая на мою. На нем был странный мундир, когда-то, очевидно, сплошь красный, а теперь порыжелый и местами ставший цвета сухого дубового листа. Однако эполеты его были окаймлены золотым кружевом, и на голове была блестящая каска с кокетливым белым пером сбоку гребня. За ним скакали четыре всадника в таких же мундирах — все гладко выбритые, с круглыми, приятными лицами; мне они показались похожими скорее на монахов, чем на драгун. Повинуясь краткому, резкому приказу, они остановились, звеня оружием, а первый юноша галопом поскакал вперед, к костру, бросившему отсветы на его энергичное лицо и прекрасную голову его коня. По странному мундиру я, конечно, сразу догадался, что это англичане. Я впервые видел англичан, но их уверенность и властность убедили меня в том, что все, что я о них слышал, сущая правда, и они превосходные противники.

— Эй, эй! Что за игру вы тут затеяли? — закричал молодой офицер на довольно скверном французском. — Кто это зовет на помощь и что вы собираетесь с ним делать?

Только тут я понял, что должен благословлять Обрайена, потомка ирландских королей, который потратил несколько месяцев на то, чтобы научить меня англий-

скому языку. Ноги мои были развязаны, мне осталось лишь высвободить из веревок руки, и я бросился вперед, схватил свою саблю, которая валялась у костра, и вскочил на лошадь бедного Видаля. Да, несмотря на раненую щиколотку, я, не вдевая ногу в стремя, одним махом очутился в седле. Прежде чем разбойники успели взвести курки пистолетов, я сорвал поводья с ветки и через секунду оказался перед английским офицером.

— Я сдаюсь вам, сэръ,— воскликнул я, хотя должен сказать, что мой английский был ничуть не лучше его французского.— Если вы взглянете на ту сосну налево, вы увидите, что делают эти негодяи с достойными джентльменами, попавшими им в лапы.

Вспыхнувший костер осветил в это время несчастного Видаля — чудовищное зрелище, которое может привидеться только в кошмарном сне.

— О черт! — воскликнул молодой офицер.

— О черт! — подхватили остальные четверо. Это восклицание значит у них то же самое, что у нас «О боже!».

Взвизгнули пять сабель, выдернутые из ножен, и четверо всадников сомкнули ряд. Один из них, с шевронами сержанта, хлопнул меня по плечу.

— Дерись за свою шкуру, лягушатник,— сказал он.

Ах, как было славно чувствовать между колен бока лошади, а в руке — саблю! Я взмахнул ею и закричал от восторга. Главарь герильясов выступил вперед, улыбаясь своей гнусной улыбкой.

— Ваше превосходительство, конечно, понимает, что этот француз — наш пленник,— сказал он.

— Ты подлый разбойник,— ответил англичанин, замахиваясь на него саблей.— Какой позор, что у нас такие союзники! Клянусь богом, если бы лорд Веллингтон был того же мнения, мы бы вздернули тебя на первом же суку!

— А мой пленник? — вкрадчивым тоном спросил негодяй.

— Он поедет с нами в лагерь англичан.

— Позвольте шепнуть вам на ухо два слова, прежде чем вы уедете.

Он подошел к молодому англичанину и вдруг, повернувшись с быстротою молнии, выстрелил из пистолета мне в голову. Пуля скользнула по волосам и насквозь

пробила мой кивер. Мерзавец, видя, что промахиулся, поднял пистолет и хотел было швырнуть его в меня, но тут английский сержант, сильно размахнувшись, почти снес ему голову саблей. Не успела кровь его пролиться на землю и не успело затихнуть последнее его проклятие, как вся шайка бросилась на нас, но несколько ударов наотмашь, несколько скачков, и мы, благополучно выбравшись с поляны, помчались по извилистой дороге, ведущей в долину.

Когда ущелье осталось далеко позади и перед нами расстилались открытые поля, мы решили остановиться и проверить состояние нашего маленького отряда. Что до меня, то хотя я был ранен и измучен, сердце мое колотилось от гордости, а грудь под мундиром распирало от радости, что я, Этьен Жерар, оставил этим разбойникам кое-какие памятки на всю жизнь. Клянусь честью, они еще крепко подумают, прежде чем поднять руку на кого-нибудь из Третьего гусарского полка. Я был в таком раже, что обратился к храбрым англичанам с маленькой речью и объяснил им, кого они выручили из беды. Я собирался еще сказать о доблести и отзывчивости отважных англичан, но офицер перебил меня.

— Ладно, ладно,— сказал он.— Есть раненные, сержант?

— Лошадь рядового Джонса ранена пулей в бабку.

— Рядовой Джонс поедет с нами. Сержанту Холлн-дэю с рядовыми Харвэем и Смитом держать направо, пока они не встретят кавалерийский пост немецких гусар.

Трое англичан со звяканьем поскакали в сторону, а мы с офицером в сопровождении ехавшего поодаль рядового на раненой лошади направились прямо к лагерю англичан. Очень скоро мы разговорились, так как с самого начала понравились друг другу. Он был знатного происхождения, этот храбрый малый; лорд Веллингтон послал его разведать, нет ли признаков нашего наступления через горы. В бродячей жизни вроде моей есть одно преимущество: можно понабрататься всяких знаний, которые отличают человека светского от всех прочих. Я, например, почти не встречал французов, которые умели бы правильно выговорить какой-нибудь английский титул. Если б я столько не странствовал, я бы не мог сказать с уверенностью, что этого молодого человека звали его

светлость Милор сэр Рассел, Барт¹,— последнее слово означает титул, так что я всегда, обращаясь к нему, говорил «Барт», как испанцы говорят «дон».

Мы ехали в лунном свете роскошной испанской ночью и говорили по душам, словно родные братья. Мы были одного возраста, оба из легкой кавалерии (его полк назывался «Шестнадцатый драгунский»), у обоих были одни и те же надежды и стремления. Ни с кем еще я не сходился так быстро, как с Бартом. Он сказал мне имя любимой девушки, с которой он встречался в каких-то садах под названием Воксхолл², а я, в свою очередь, поведал ему о малютке Корали из Оперы. Он вынул из-за пазухи локон, а я подвязку. Затем мы чуть не поссорились из-за гусар и драгун, потому что он неимоверно гордился своим полком,—если бы вы видели, как он скривил губы и схватился за эфес сабли, когда я пожелал, чтобы его полк никогда не имел несчастья столкнуться с Третьим гусарским. Наконец, он заговорил о том, что у англичан называется спортом, и рассказал мне, как он терял деньги, споря, какой из петухов победит или который из дерущихся побьет другого, так что я только рот разевал от изумления. Я просто диву давался его готовности биться об заклад по любому поводу; когда мне случилось увидеть падающую звезду, он тотчас же предложил спорить на двадцать пять франков, что увидит больше падающих звезд, чем я, и унялся только после того, как я сказал, что мой кошелек остался у разбойников.

Так мы дружески болтали, пока не начала заниматься заря, и тут мы вдруг услышали где-то впереди громкий ружейный залп. Местность была неровная, скалистая, и хотя ничего не было видно, я предположил, что началось генеральное сражение. Барт посмеялся надо мной и сказал, что залп донесся из лагеря англичан, где все солдаты каждое утро разряжают оружие, чтобы насыпать сухую затравку.

— Еще миля — и мы подъедем к сторожевым постам,— сказал он.

¹ Б а р т — сокращенное «баронет» (англ.).

² Воксхолл-Гарденс — в те времена увеселительный сад на окраине Лондона.

При этих словах я оглянулся и понял, что, пока мы скакали, увлекшись приятной беседой, драгун на хромой лошади так отстал, что потерялся из виду. Я поглядел по сторонам, но во всей этой обширной скалистой долине не было ни души, кроме меня и Барта,— оба мы, конечно, были хорошо вооружены и сидели на хороших лошадях. Я призадумался, так ли необходимо в конце концов, чтобы я проехал эту мню, которая приведет меня к британским сторожевым постам. Тут я хочу кое-что пояснить вам, друзья, чтобы вы не подумали, будто я мог совершить бесчестный или неблагодарный поступок по отношению к человеку, который вызволил меня из разбойничьих рук. Вы должны помнить, что самый важный долг — это долг офицера перед своими солдатами. Надо вам также иметь в виду, что война — это игра с твердыми правилами, и за нарушение этих правил человек расплачивается своей честью. К примеру, дав слово, я был бы бесчестным негодяем, если бы подумывал о побеге. Но слова с меня никто не брал. От изнатиной доверчивости и к тому же зная, что сзади плетется хромая лошадь, Барт позволил мне стать с ним на дружескую ногу. Будь он моим пленником, я обращался бы с ним так же любезно, как и он со мной, но в то же время, отдавая должное его предприимчивой смелости, отобрал бы у него саблю и позаботился бы, чтобы рядом был хоть один страж. Я придержал лошадь и, объяснив ему все это, спросил, видит ли он тут хоть какое-нибудь нарушение чести.

Он задумался и несколько раз повторил то, что говорят англичане, когда хотят сказать «боже мой».

— Значит, вы собираетесь удрать? — спросил он.

— Да, если у вас нет возражений.

— Единственное возражение, которое я могу придумать, — сказал он, — это то, что если вы попытаетесь бежать, я снесу вашу голову прочь.

— В эту игру могут играть двое, дорогой Барт, — ответил я.

— Тогда посмотрим, кто из нас играет лучше! — воскликнул он, обнажая саблю.

Я вытащил свою, твердо решив, что не нанесу и царапины этому славному юноше и к тому же моему благодетелю.

— Имейте в виду,— сказал я,— вы говорите, что я ваш пленник, но с таким же основанием я могу утверждать, что вы мой пленник. Мы здесь одни, и хотя я не сомневаюсь, что вы превосходно владеете саблями, но вам вряд ли удастся устоять против лучшего клинка в шести бригадах легкой кавалерии.

В ответ он попытался нанести мне удар по голове. Я отразил удар и срезал половину его пера. Он сделал выпад, целясь мне в грудь. Я отвел его кланок и смахнул саблей другую половину пера.

— Перестаньте дурачиться, черт вас возьми! — крикнул он, когда я повернул лошадь в сторону.

— А зачем вы стараетесь проткнуть меня? — спросил я.— Вы же видите, что я не хочу рубиться.

— Прекрасно! — ответил он.— Но вы должны ехать со мной в лагерь.

— Ноги моей не будет в вашем лагере,— сказал я.

— Ставлю девять против четырех, что вы там будете! — воскликнул он и подскакал ко мне с саблей в руке.

Его слова навели меня на неожиданную мысль. Почему бы нам не решить дело каким-нибудь более приятным способом, чем рубка на саблях? Барт вынуждал меня ранить его, иначе он непременно ранит меня. Я ускользнул от его натиска, хотя конец его сабли был всего в каком-нибудь дюйме от моей шеи.

— Я хочу вам кое-что предложить! — крикнул я.— Давайте бросим кости, и пусть они решат, кто чей пленник.

Он улыбнулся. При такой любви к спорту это было вполне в его духе.

— Где ваши кости? — крикнул он.

— У меня их нет.

— У меня тоже. Зато есть карты.

— Пусть будут карты,— сказал я.

— А во что будем играть?

— Решайте сами.

— Тогда в экарте, это самая лучшая игра.

Я согласился и не мог удержаться от улыбки: во всей Франции не найдется и трех человек, которые бы сравнялись со мной в этой игре. Когда мы спешили, я сказал об этом Барту. Он тоже улыбнулся.

— Я считался лучшим игроком у себя на родине, — сказал он. — Если при равных силах вы сумеете выиграть, значит, вы заслуживаете права на побег.

Мы привязали лошадей и уселись по обе стороны большого плоского камня. Барт вынул из кармана колоду карт; достаточно было взглянуть, как он тасует, чтобы убедиться, что передо мной далеко не новичок. Мы по очереди сняли, сдавать выпало ему.

Клянусь честью, при такой ставке стоило играть. Барт хотел еще добавить по сто золотых монет за игру, но что там деньги, когда от карт сейчас зависела судьба Этьена Жерара? Мне чудилось, будто все, кто был заинтересован в исходе этой игры — моя матушка, мои гусары, Шестой армейский корпус, Ней, Массена, даже сам император, — окружили нас кольцом в этой безлюдной долине. Боже, какой удар будет для всех и каждого, если мне не пойдет карта! Но я в себе не сомневался — как игрок в экарте я был не менее известен, чем как фехтовальщик, и, кроме старого Буве из Бершенинского гусарского, который выиграл у меня шестьдесят шесть партий из ста пятидесяти, я обыгрывал всех подряд.

Первую партию я выиграл легко, хотя, признаться, мне шла карта, и мой противник ничего не мог поделать. Во второй партии я играл, как инкогда, и хитростью выудил себе взятку, но Барт забрал все остальные, записав себе очко за короля и во второй сдаче остался ни при чем. Клянусь честью, мы вошли в такой азарт, что он бросил перед собой каску, а я ранец.

— Ставлю свою чалую кобылу против вашего вороного! — сказал он.

— Идет! — ответил я.

— Саблю против сабли.

— Идет! — ответил я.

— Седло, уздечку и стремяна! — воскликнул он.

— Идет! — крикнул я.

Я заразился от него этим спортом. Я бы поставил моих гусар против его драгун, если бы их можно было закладывать.

И тут началась великая игра. О, он умел играть, этот англичанин, — его игра стоила такой ставки. Но я, друзья мои, я был великолепен! Из пяти очков, кото-

рые мне нужно было набрать, чтобы выиграть нгру, я при первой же сдаче взял три. Барт грыз усы и барабанил пальцами по камню, а мне уже казалось, что я опять вместе со своими дорогими сорвиголовами. При второй сдаче ко мне пришел козырный король, но я потерял две взятки, и счет был четыре моих очка против его двух. Открыв карты следующей сдачи, я радостно вскрикнул. «Если с такими картами я не выиграю свою свободу,— подумал я,— значит, я только того и заслуживаю, что просидеть всю жизнь в плену».

Дайте мне карты, хозяин, я разложу их на столе, и вы все поймете.

Вот что было у меня в руках: валет и туз треф, дама и валет бубен и король червей. Заметьте, что козыри были трефы, а мне не хватало лишь одного очка, чтобы получить свободу. Барт понимал, что наступила решающая минута; он расстегнул свой мундир. Я сбросил свой доломан на землю. Он пошел десяткой пик. Я взял ее козырным тузом. Одно очко в мою пользу. Чтобы сыграть правильно, надо было избавиться от козырей, и я пошел с валета. Он шлепнул его дамой, и мы оказались в равном положении. Он пошел восьмеркой пик; я мог только сбросить даму бубен. Но тут появилась семерка пик, и у меня на голове встали волосы дыбом. У каждого на руках осталось по королю. У меня были прекрасные карты, а он обыграл меня с худшими и получил два очка! Мне хотелось кататься по земле от злости! Да, в Англии в 1810-м здорово играли в экарте, это говорю вам я, бригадир Жерар!

Перед последней партией у нас было по четыре очка. Сейчас все решит сдача. Он отстегнул пояс, я сбросил португезю. Он держался хладнокровно, этот англичанин, и я старался быть таким же, но пот со лба щипал мне глаза. Сдавать должен был он, и, признаюсь, друзья мои, у меня так дрожали руки, что я едва собрал свои карты с камня. Но когда я на них взглянул, что же я увидел прежде всего? Короля, короля, спасительного короля треф! Я уже открыл было рот, чтобы заявить об этом, но увидел лицо моего партнера, и слова застыли у меня на губах.

Он держал карты в руке, но челюсть его отвисла, а глаза с невыразимым ужасом и изумлением смотрели

куда-то поверх моей головы. Я круто обернулся и тоже остолбенел.

Совсем близко от нас, метрах в пятнадцати, не больше, стояли три человека. Один из них, хорошего роста, но не слишком высокий — примерно такой, как я, — был в темном мундире и маленькой треугольной шляпе, с белым перышком сбоку. Но меня ничуть не занимало, как он был одет. Его лицо, его впалые щеки, орлиный нос, властные голубые глаза и тонкий, прямой, словно ножом прорезанный, рот — все говорило о том, что это человек выдающийся; таких, быть может, один на миллион. Из-под насупленных бровей он бросил такой взгляд на бедягу Барта, что у того из ослабевших пальцев вывалились карты. Рядом стояли еще двое: один в ярко-красном мундире, с твердым смуглым лицом, словно вырезанным из старого дуба, другой — дородный, красивый, с пышными бакенбардами, в голубом мундире с золотыми галунами. Немного поодаль три ординарца держали трех лошадей, а позади ожидал эскорт из нескольких драгун.

— Что это за чертовщина, Крауфорд? — спросил худошавый в темном.

— Слышите, сэр? — воскликнул человек в красном мундире. — Лорд Веллингтон желает знать, что все это значит?

Несчастный Барт принялся объяснять, что произошло, но каменное лицо не смягчилось.

— Хороши дела, Крауфорд, нечего сказать! — оборвал его Веллингтон. — В армии надо соблюдать дисциплину, сэр. Отправляйтесь в штаб и доложите, что вы арестованы.

Барт сел на коня и, повесив голову, поехал прочь. Это было ужасно. Я не мог этого вынести. Я бросился к английскому генералу и стал молить его за друга. Я сказал, что я, полковник Жерар, воочию убедился в отваге этого молодого офицера. О, мое красноречие могло бы растопить самое холодное сердце; я сам растрогался до слез, но ничуть не растрогал его. Голос мой упал, я больше не мог произнести ни слова.

— Сколько полагается у вас во французской армии нагружать на мула, сэр? — спросил он.

Вот и все, что флегматичный англичанин сказал в ответ на мою пылкую речь. Так он ответил на слова, от которых француз уже плакал бы у меня на плече.

— Сколько полагается у вас нести мулу? — спросил человек в красном мундире.

— Двести десять фунтов, — ответил я.

— Значит, вы очень плохо их нагружаете, — заметил лорд Веллингтон. — Отведите пленника к драгунам.

Драгуны окружили меня, а я — я сходил с ума при мысли, что выигрыш был мне обеспечен и сейчас я мог быть свободным. Я протянул карты генералу.

— Взгляните, милорд! — воскликнул я. — Ставкой была моя свобода, и я выиграл, так как, сами видите, мне достался король!

Его худое лицо впервые смягчила слабая улыбка.

— Наоборот, — сказал он, садясь на лошадь, — выиграл я, так как, сами видите, это вы достались моему королю.

IV

КАК БРИГАДИР ДОСТАЛСЯ КОРОЛЮ

Мюрат был, конечно, превосходным кавалерийским офицером, но слишком любил франтить, а франтовство часто портит хороших солдат. Лассаль тоже был отважным командиром, но его погубило вино и шальные выходки. Но я, Этьен Жерар, никогда не грешил чрезмерным щегольством и в то же время не позволял себе пьянствовать — разве только по случаю окончания кампании или встречи со старым товарищем по оружию. Поэтому если бы не моя скромность, я мог бы сказать, что был одним из самых достойных офицеров в кавалерии. Правда, я так и не пошел дальше командира бригады, ну, так ведь ни для кого не секрет, что далеко пошли только те, кому выпала удача участвовать в самых первых кампаниях императора. Кроме Лассалья, Лабо и Друэ, я, пожалуй, не помню генерала, который не стал бы известен еще до Египетского похода. Даже я, при всех моих блистательных качествах, дослужился только до бригадира да еще имею особую почетную ме-

даль, которую я получил из рук самого императора и храню дома в кожаном кошельке.

Но хотя я так и не поднялся выше, мои достоинства хорошо известны тем, кто со мной служил, а также и англичанам. Вчера я вам рассказывал, как я попался им в плен; после того они неусыпно сторожили меня в Опорто и уж, поверьте, делали все возможное, чтобы такой грозный противник не ускользнул из их рук. Десятого августа они посадили меня под стражей на транспортное судно и отправили в Англию, где до конца месяца держали в огромной тюрьме, которую специально для нас выстроили в Дартмуре! «*L'hôtel Français, et Pension*»¹ — так мы ее называли, — сами понимаете, мы все были храбрыми солдатами и не вешали нос, даже попав в беду.

В Дартмуре содержались только те офицеры, которые отказались подписать обязательство о неучастии в войне против англичан; большинство же узников составляли моряки и рядовые солдаты. Вы, наверное, спросите: почему я отказался дать такое обязательство и лишил себя возможности жить так же комфортабельно, как большинство моих собратьев-офицеров? На то у меня были две причины, и обе достаточно важные.

Во-первых, я был крепко уверен в себе и не сомневался, что мне удастся бежать. Во-вторых, моя семья, кроме доброго имени, никогда не имела другого богатства, и я не мог бы заставить себя брать хоть что-нибудь из крошечного дохода моей матушки. С другой стороны, годится ли, чтобы такого человека, как я, в английском провинциальном городишке затмевали тамошние обыватели или чтобы я, ухаживая за дамами, которые, конечно, стали бы ко мне льнуть, не имел ни гроша в кармане! Вот по этим причинам я и предпочел похоронить себя в ужасной Дартмурской тюрьме. Сейчас я хочу рассказать вам о моих приключениях в Англии, и вы увидите, оправдались ли слова лорда Веллингтона, сказавшего, что я достался английскому королю.

Сначала должен вам сказать, что если бы я не решил поведать вам о том, что приключилось со мной, я мог

¹ Отель «Франция» с полным пансионом (франц.).

бы до утра рассказывать вам истории о Дартмуре и о диковинных вещах, которые происходили в этой тюрьме. Это было одно из самых страшных мест на свете, ибо там, посреди необозримых пустошей, собралось семь или восемь тысяч людей, и все это были, как вы понимаете, воины, люди бывалые и мужественные. Тюрьму окружала двойная стена, и ров, и часовые, и стража, но, клянусь честью, разве можно держать людей взаперти, словно кроликов в клетке! Они бежали по двое, по десять, и по двадцать, и тогда начинали палить пушки, и мчались на розыски целые отряды, а мы, оставшиеся, смеялись, плясали и кричали «Vive l'Empereur!»¹, пока часовые, разозлившись, не наставляли на нас ружья. Тогда мы устраивали мятежи, и из Плимута присылали пехоту и орудия, а мы еще громче орали «Vive l'Empereur!», словно надеясь, что нас услышат в Париже. В Дартмуре у нас бывали веселые минуты, и мы старались, чтобы тем, кто нас сторожил, тоже было нескучно.

Надо вам сказать, что у заключенных был свой Суд Справедливости, в котором разбирались преступления и назначалась кара. У нас карались воровство и ссоры, но строже всего — предательство. Когда я прибыл в Дартмур, там находился некий Менье из Реймса, который выдал пленных, задумавших бежать. В ту ночь из-за какой-то невыполненной формальности его не отделили от остальных узников и, как он ни плакал, ни выл, ни ползал на коленях, его оставили среди товарищей, которых он предал. Ночью состоялся суд, где обвинение произносилось шепотом, защитник говорил шепотом, у обвиняемого был во рту кляп, а судья был невидим. Утром, когда за предателем пришли с приказом об освобождении, от него почти ничего не осталось. Изобретательный был народ, эти узники, и умели управляться по-своему.

Мы, офицеры, однако, жили в отдельном флигеле и являли собой довольно пестрое общество. Нам оставили мундиры, и здесь были представлены все роды войск, которыми командовали Виктор, Массена или Ней, а некоторые сидели здесь с тех пор, как Жюно был разбит

¹ Да здравствует император! (франц.)

под Вимберой. Здесь были егеря в зеленых мундирах, и гусары вроде меня, и драгуны в синем, и уланы в мундирах с белой грудью, вольтижеры и гренадеры, артиллеристы и саперы. Но больше всего было морских офицеров, так как англичане чаще побеждали нас на морях. Я не понимал, в чем тут дело, пока мне самому не пришлось плыть из Опорто в Плимут; семь дней я лежал на спине и не смог бы шевельнуться, даже если бы на моих глазах похищали знамя нашего полка. Только из-за такого предательского шторма Нельсон и одержал над нами верх.

Не успел я прибыть в Дартмур, как начал строить планы, как бы выбраться оттуда, и можете мне поверить, что с моей сообразительностью, развитой вдобавок двенадцатью годами войны, я очень скоро нашел способ бегства.

Прежде всего надо вам сказать, что у меня было очень большое преимущество — я немножко умел говорить по-английски. Я выучился этому за несколько месяцев перед осадой Данцинга у адъютанта Обрайена из Ирландского полка, потомка древнего королевского рода. За небольшой срок я научился довольно бегло болтать — я вообще могу быстро усвоить все, что угодно, если уж захочу. Через каких-нибудь три месяца я мог не только объясняться, но и употреблять английские идиомы. Обрайен научил меня говорить «Разгрызи меня бог» — это все равно, что по-нашему «*Ma foi*»¹ и еще: «Исчадие гада», что значит «*Ventre bleu*»². Не раз я видел, как англичане улыбались от удовольствия, слыша, что я говорю точно-точно, как они.

Нас, офицеров, помещали по двое в камере, что мне не слишком нравилось, так как моим сожителем оказался высокий молчаливый малый по имени Бомон из полевой артиллерии, попавший в плен к англичанам под Асторгой.

Редко мне приходилось встречать человека, с которым я не мог подружиться, потому что и нрав и манера держаться у меня... ну, да вы сами знаете. Но этот Бомон никогда не смеялся моим шуткам, не сочувствовал

¹ «Ей богу» (франц.).

² «Черт возьми» (франц.).

монм горестям,— он сидел и смотрел на меня угрюмым взглядом, и в конце концов я начал думать, что после двух лет заключения он тронулся умом. Ах, как мне хотелось, чтобы вместо этой мумии со мной был старый Буве или кто-нибудь из моих товарищей-гусар! Но ничего не поделаешь, приходилось мириться и с таким компаньоном, к тому же было ясно, что никакой побег невозможен, если он не будет в нем участвовать, иначе что бы я мог сделать, постоянно находясь у него на глазах? Я заговорил о побеге сначала обиняками, потом напрямик, и мне показалось, что я убедил его действовать со мной заодно.

Я исследовал стены, исследовал пол и потолок, но сколько я их ни ощупывал и ин выстукивал, всюду они были одинаково толстыми и непроницаемыми. Дверь была железная, запиралась на замок с пружиной, в ней была маленькая решетка, сквозь которую дважды в ночь заглядывал часовой. В камере стояли две койки, две табуретки, два умывальника — и больше ничего. Мне и этого было достаточно — разве я привык к лучшему за двенадцать лет походной жизни? Но как мне выбраться отсюда? Каждую ночь я думал о своих пятистах гусарах, и мне снились страшные сны: то все мои гусары оказывались без сапог, то всех лошадей раздуло от травы, то у них воспалились копыта или же все шесть эскадронов в присутствии императора перепутали строй. Я просыпался в холодном поту и снова начинал ощупывать и простукивать стены, ибо я знал, что нет трудности, которую нельзя преодолеть с помощью изобретательного ума и пары ловких рук.

Единственное окошко нашей камеры было так мало, что в него не пролез бы и ребенок; к тому же посредине оно было разделено толстым железным брусом. Как видите, в смысле побега оно сулило немного надежды, но я все больше убеждался, что наши попытки надо начинать именно с него. Словно для того, чтобы еще ухудшить дело, окошко выходило во двор для прогулок, обнесенный двумя высокими стенами. И все же, стоя за Рейном, пора говорить о Висле, как я сказал моему угрюмому товарищу. Поэтому я отломал от койки маленькую железку и принялся отбивать штукатурку сверху и у основания оконного бруса. Я трудился

три часа подряд, потом, заслышав шаги тюремщика, бросался на койку и немного погодя снова принимался за работу, а через три часа опять делал перерыв. Бомон оказался столь медлительным и неуклюжим, что мне пришлось рассчитывать только на себя.

Я представлял себе, что за окошком меня ждет Третий гусарский полк, с литаврами и знаменами, с леопардовыми чепраками на конях. И тогда я работал как одержимый, пока моя железка не покрывалась засохшей кровью, словно ржавчиной. Так, ночь за ночью я долбил окаменевшую штукатурку и прятал куски в подушку, пока не настала минута, когда железный брус стал шататься; тогда я рванул его изо всех сил и выломал. Это было первым шагом к свободе.

Вы спросите меня, к чему все это, если в окошко не мог бы пролезть даже ребенок. Я вам отвечу. Выломав брус, я добыл сразу две вещи: инструмент и оружие. С помощью инструмента можно было расшатать камни, которыми было облицовано окно. Оружием я могу защищаться, когда вылезу через это окно. Итак, теперь я принялся за камни и долбил вокруг них заостренным концом бруса, пока не отбил всю известку. Само собой, днем я все убирал на место, и тюремщик не видал на полу ни песчинки. Так прошло почти три недели, и наконец я высвободил камень, в неописуемом восторге вытащил его и в окошко, сквозь которое раньше виднелось четыре звезды, увидел целых десять. Теперь все было готово; я поставил камень на место, смазав его края жиром и сажей, чтобы скрыть трещины там, где прежде была известь. Через три ночи должна была скрыться луна, и это, конечно, было самое лучшее время для попытки к бегству.

В том, что я спущусь во двор, я не сомневался; гораздо больше меня беспокоило, как я оттуда выйду. Слишком унижительно было бы после всех стараний снова оказаться в этой дыре, уже без всякой надежды, или же быть схваченным стражей, которая бросит меня в одну из сырых подземных камер, предназначенных для тех, кто пытался бежать. Я стал обдумывать всевозможные планы. Как вам известно, у меня никогда не было случая показать себя в качестве генерала. Иногда,

после стакана-другого вина, я убеждаюсь, что способен придумывать самые неожиданные комбинации и что если бы Наполеон в свое время поручил мне армейский корпус, его судьба могла бы сложиться иначе. Но как бы то ни было, а что касается маленьких военных хитростей и смекалки, необходимой офицеру легкой кавалерии, то тут я могу потягаться с кем угодно. И вот тогда-то эти качества мне игодились, и я не сомневался, что они меня не подведут.

Внутренняя стена, по которой мне предстояло вскарабкаться, была высотой в двенадцать футов, сложена из кирпичей и по верху утыкана железными шипами на расстоянии трех дюймов один от другого. Внешнюю стену я мог рассмотреть только мельком, раза два, когда ворота двора для прогулок были открыты. Она, видимо, была такой же вышины и с такими же шипами наверху, от внутренней до внешней стены было больше двадцати футов, и у меня имелись основания полагать, что в этом промежутке часовых не было, они стояли у ворот. Однако я знал, что снаружи стена оцеплена солдатами. Видите, друзья, какой мне попался крепкий орешек, и раздавить его было нечем, кроме пары собственных рук.

Я возлагал все надежды на рост моего сотоварища, Бомона. Я уже говорил, что он был очень высок, не меньше шести футов росту, и мне казалось, что если я взберусь ему на плечи и как-нибудь зацеплюсь за острые железки, то смогу перелезть через стену. Но удастся ли мне перетащить потом грузного Бомона? Это был вопрос первостепенной важности, так как если я затеваю что-нибудь вместе с товарищем, то пусть даже я не питаю к нему нежных чувств, все равно ничто на свете не заставит меня покинуть его. Если я взберусь на стену, а он не сможет последовать за мной, я буду вынужден вернуться за ним. Впрочем, судя по всему, его это несколько не тревожило, и я надеялся, что он уверен в своей ловкости.

Не менее важно было знать, какой часовой будет дежурить перед моим окошком в ту ночь, когда мы начнем осуществлять свою попытку. Часовых сменяли каждые два часа, чтобы не притуплялась их бдительность; я очень пристально наблюдал за ними каждую ночь из

окошка и убедился, что они ведут себя по-разному. Одни были все время настороже, так, что даже крыса не могла пробежать через двор незамеченной; другие же думали только о своих удобствах и, опершись на ружье, сладко спали, словно у себя дома в пуховой постели. Среди них был один, неповоротливый толстяк, который, прикорнув в тени под стеной, так крепко спал все два часа, что не слышал даже, как я бросал из окошка к его ногам куски штукатурки. Нам повезло: этот часовой должен был дежурить от двенадцати до двух в ту ночь, на которую мы назначили побег.

В последний день меня охватило такое сильное нервное возбуждение, что я никак не мог взять себя в руки и непрерывно бегал по камере, словно мышь в клетке. Мне чудилось, что вот-вот тюремщик обнаружит расшатанный железный брус или часовой заметит щель между стеной и камнем, которую я не мог прикрыть снаружи отбитой известкой, как я это сделал внутри. А мой товарищ в это время сидел, нахохлившись, на краю своей койки, искоса поглядывая на меня и грыз ногти, словно что-то напряженно обдумывая.

— Мужайся, друг! — воскликнул я, хлопнув его по плечу. — Не пройдет и месяца, как ты снова увидишь свои пушки!

— Все это хорошо, — сказал он, — но куда ты пойдешь, когда очутишься на свободе?

— На побережье, — ответил я. — Храброму во всем удача, и я отправлюсь прямо в свой полк.

— Скорее всего ты отправишься прямо в подземную камеру или на дырявое судно в Портсмуте.

— Солдат не боится рисковать, — заметил я. — Только трус всегда рассчитывает на худшее.

Мои слова вызвали красивые пятна на его землистых щеках, и я порадовался: впервые я заметил в нем какие-то признаки воодушевления. Он даже протянул руку к кружке с водой, словно хотел швырнуть ее в меня, но тут же пожал плечами и опять замолк, грызя ногти и хмуро уставясь в пол. Глядя на него, я невольно подумал, что, быть может, делаю полевой артиллерии плохую услугу, возвращая ей такого вояку.

В жизни моей не было вечера, который тянулся бы так медленно. К ночи поднялся ветер, и чем больше сгу-

щалась тьма, тем сильнее становилась его завывания, и наконец над огромной пустошью разразился страшный ураган. Я глядел в окошко — нигде ни одной звезды, сплошные черные тучи низко летели над землей. Сквозь шорох и плеск хлынувшего дождя, сквозь вой и свист ветра я не мог расслышать шагов часового. «Если я его не слышу,— подумал я,— значит, и он меня вряд ли услышит». Сгорая от нетерпения, я дожидался минуты, когда надзиратель, совершая свой еженощный обход, заглянет в зарешеченное отверстие. Затем, взглядевшись в темноту и не увидев часового, который, без сомнения, забился куда-то от дождя и крепко спал, я решил, что настал наш час. Я вынул брус, вытащил камень и знаком предложил Бомону спускаться.

— После вас, полковник,— сказал он.

— А ты не хочешь лезть первым?

— Лучше вы мне покажите дорогу.

— Ну что ж, лезь за мной, только потише, если ты дорожишь жизнью.

В темноте я слышал, как у него стучат зубы, и подумал, что вряд ли можно найти более неподходящего партнера для такого рискованного дела. Тем не менее я схватил брус и, став на табуретку, просунул в окошко голову и плечи. Извиняясь, я постепенно высунился наружу до пояса, как вдруг мой компаньон схватил меня за ноги и во весь голос закричал:

— На помощь! На помощь! Заключенный хочет бежать.

Ах, друзья мои, чего я только не перечувствовал в эту секунду! Разумеется, я сразу понял игру этого подлого существа. Зачем ему карабкаться по стене и рисковать своей шкурой, когда он может не сомневаться, что англичане даруют ему свободу и прощение за то, что он помешал побегу человека гораздо более выдающегося, чем он сам? Я и раньше чувствовал, что он трус и подлец, но не понимал всей глубины подлости, на которую он способен. Тот, кто провел свою жизнь среди людей благородных и честных, не подозревает низости в другом, пока не столкнется с нею.

Этот болван, видимо, не понимал, что погубил не меня, а себя. Я быстро пролез обратно в темноту и, схватив его за горло, дважды стукнул его железным

брусом. При первом ударе он взвизгнул, как дворняжка, которой наступили на лапу. При втором он со стоном рухнул на пол. Затем я присел на свою койку и стал покорно ждать кары, которую придумают для меня тюремщики.

Прошла минута, другая — ни звука, кроме тяжелого, хриплого дыхания лежавшего на полу бесчувственного негодяя. Быть может, среди рева бури его криков никто не услышал? Крохотная надежда через минуту стала казаться вероятностью, а еще через минуту перешла в уверенность. Ни в коридорах, ни во дворе не слышалось ни звука. Я вытер со лба холодный пот и спросил себя, что же делать дальше.

В одном только я был совершенно уверен. Человек на полу должен умереть. Если я оставляю его в живых, то очень скоро он может опять поднять тревогу. Я не смел зажечь свет и ощупью шарил в темноте, пока не наткнулся на что-то мокрое — это была его голова. Я занес железный брус, но было нечто такое, друзья мои, что помешало мне опустить его. В пылу боя я убивал много людей — людей честных, к тому же и не причинивших мне никакого зла. И вот передо мной лежал негодяй, мерзкое создание, недостойное жить на земле, пытавшееся сделать великую подлость по отношению ко мне, — и все же я не мог заставить себя разmozжить ему череп. Так может поступить испанский разбойник или какой-нибудь санкюлот из Фобур Сен-Антуан, но не солдат и благородный человек вроде меня.

Однако тяжелое дыхание Бомона внушило мне надежду, что он не так-то скоро придет в чувство. Поэтому я заткнул ему рот кляпом, разорвал одеяло на полосы и привязал его к койке — теперь вряд ли он сможет освободиться раньше следующего обхода тюремщика. Но передо мной возникла новая трудность: вы помните, что я рассчитывал на его рост, чтобы перебраться через стену. Я готов был сесть и заплакать от отчаяния, но меня поддержала мысль о моей матушке и об императоре. «Мужайся! — сказал я себе. — Для всякого другого это было бы катастрофой, но не так-то легко одолеть Этьена Жерара!»

Я принялся за работу. Взяв простыни, свою и Бомона, я разорвал их на полосы, сплел отличный канат и

привязал его к середине железного бруса, который был больше фута длиной. Затем я спустился во двор; дождь лил, как из ведра, а ветер завывал еще громче прежнего. Я двигался вдоль тюремной стены, где тьма была чернее пикового туза, и не мог различить даже собственной руки. Я знал, что если не наткнулся на часового, то мне нечего его бояться. Дойдя до стены, огораживающей двор, я закинул вверх свой брус, и, к радости моей, он сразу же застрял между железными шипами. Я вскарабкался по канату, втащил его наверх и спрыгнул с другой стороны стены. Потом взобрался на вторую стену, но, сидя верхом на ней между двумя шипами, вдруг заметил, что в темноте внизу что-то блеснуло. Это был штык часового, блеснувший так близко от меня (вторая стена была гораздо ниже первой), что, наклонясь, я мог бы отвинтить его от дула. Часовой, стараясь согреться, прижался спиной к стене и мурлыкал себе под нос песенку, не подозревая о том, что в нескольких футах от него отчаянный беглец готов поразить его в сердце его же собственным штыком. Я уже приготовился к прыжку, но тут часовой, ругнувшись, вскинул ружье на плечо, и я услышал, как зачавкала грязь у него под ногами: он пошел в обход. Я соскользнул с каната и, оставив его на стене, помчался что было духу по пустоши.

Боже, как я бежал! Ветер бил мне в лицо и гудел в ноздрах. Дождь барабанил по моей спине и свистом отдавался в ушах. Я падал в колдобины. Я натыкался на кусты. Я продирался сквозь колючую ежевику. Я задыхался, я был исцарапан до крови. Язык мой пересох, ноги налились свинцом, сердце стучало, как барабан. Но я все бежал и бежал.

Однако я не терял головы, друзья. У меня была определенная цель. Наши беглецы всегда направлялись к побережью. Я же решил бежать в глубь страны, хотя говорил Бомону совсем иное. Я убегу на север, а они будут искать меня на юге. Вы, наверное, спросите, друзья мои, как я мог ориентироваться в такую темную ночь. Я вам отвечу: по ветру. Еще в тюрьме я заметил, что ветер дует с севера, и раз он бил мне в лицо, значит, я держался верного направления.

Так я бежал, пока впереди вдруг не показались два желтых огонька. Я на мгновение остановился, не зная, как быть дальше. На мне, как вы помните, был гусарский мундир, и в первую очередь мне представлялось необходимым раздобыть другую одежду, которая не выдавала бы меня с головой. Если это светились окна деревенского дома, то вполне вероятно, что там я могу найти то, что мне нужно. Я пошел прямо на огоньки, сокрушаясь, что оставил на стене свой железный брус, ибо решил драться насмерть, если меня схватят опять.

Но вскоре я обнаружил, что никакого дома там не было. Огоньки оказались двумя фонарями, висевшими по бокам кареты, и при свете их я увидел перед собой широкую дорогу. Притаившись в кустах, я разглядел, что карета запряжена двумя лошадьми, что возле них стоит маленький форейтор, а рядом на дороге валяется колесо. Все это, как живое, стоит у меня перед глазами, друзья: потные лошади, хилый юнец, держащий их за поводья, и большая, черная, блестящая под дождем карета на трех колесах. В окошке вдруг опустилось стекло и показалась шляпка, а под ней хорошенькое личико.

— Что же делать? — с отчаянием в голосе сказала дама форейтору. — Сэр Чарльз, наверное, заблудился, и мне придется всю ночь сидеть в этой пустыне!

— Быть может, я смогу помочь вам, сударыня, — сказал я, выбираясь из кустов и выходя под свет фонарей. Женщина в беде — для меня дело святое, а эта к тому же была красива. Не забывайте, что, несмотря на чин полковника, мне было всего двадцать восемь лет от роду.

Боже, как она вскрикнула и как вытаращил на меня глаза форейтор! Разумеется, после долгого бега в темноте я в своем помятом кивере, покрытом грязью, и изорванным кустами ежевики мундире, с перепачканным лицом представлял собою не совсем тот тип незнакомца, которого хотелось бы встретить ночью посреди пустынной равнины. Все же, оправившись от неожиданности, она вскоре поняла, что я ее покорный слуга, и в ее красивых глазках я прочел даже, что мои манеры и осанка произвели на нее некоторое впечатление.

— Прошу прощения за то, что я испугал вас, сударыня,— сказал я,— но я случайно услышал ваши слова и не мог удержаться, чтобы не предложить вам свои услуги.— При этом я поклонился. Вы знаете, как я умею кланяться, и поймете, как мой поклон действовал на женщин.

— Я вам очень обязана, мсье,— ответила она.— От самого Тавистока мы ехали по ужасной дороге, и в конце концов у нас отвалилось колесо, и мы совершенно беспомощны в этих пустынных местах. Мой муж, сэр Чарльз, пошел искать людей, и боюсь, что он заблудился.

Я хотел было наговорить ей утешительных слов, как вдруг взгляд мой упал на лежавший рядом с дамой черный дорожный плащ, отделанный серой смушкой,— именно то, что мне было нужно, чтобы скрыть свой мундир. Правда, я почувствовал себя грабителем с большой дороги, но что прикажете делать? Необходимость не знает законов, а я находился во вражеской стране.

— Это, очевидно, плащ вашего мужа, сударыня,— сказал я.— Вы, надеюсь, простите меня, но я вынужден...— И я вытащил плащ через окошко кареты.

Трудно было вынести выражение ее лица, на котором отразились изумление, испуг и отвращение.

— О, я ошиблась в вас! — воскликнула она.— Вы хотите меня ограбить, а не помочь! У вас вид благородного человека, а между тем вы хотите украсть плащ моего мужа!

— Сударыня,— сказал я,— умоляю вас, не осуждайте меня, пока не узнаете всего. Мне этот плащ совершенно необходим, но если вы будете добры сказать, кто этот счастливец, ваш муж, я обязуюсь прислать плащ обратно.

Лицо ее чуть-чуть смягчилось, но все же она старалась держаться сурово.

— Мой муж,— ответила она,— сэр Чарльз Мередит, он едет в Дартмурскую тюрьму по важному государственному делу. Прошу вас, сэр, идти своей дорогой и не брать ничего, что принадлежит ему.

— Из всего, что ему принадлежит, я завидую только одному,— сказал я.

— И вы уже вытащили это из окошка! — воскликнула она.

— Нет, — ответил я, — оставил сидеть в карете.

Она рассмеялась искренне, как это умеют англичане.

— Если бы вы вместо того, чтобы делать комплименты, вернули плащ моего мужа... — начала она.

— Сударыня, — сказал я, — вы просите невозможно. Если вы разрешите мне войти в карету, я объясню вам, почему этот плащ мне так необходим.

Одному богу ведомо, какие глупости я мог бы натворить, если бы откуда-то издалека не донеслось слабое «эй», на которое тотчас же откликнулся маленький фореитор. И вот уже в темноте сквозь дождь замаячил тусклый свет фонаря, быстро приближавшийся к нам.

— Мне крайне жаль, сударыня, что я вынужден вас покинуть, — сказал я. — Передайте вашему мужу, что я буду очень бережно обращаться с его плащом. — Но, как я ни спешил, все же я рискнул на секунду задержаться, чтобы поцеловать ручку дамы, которую она отдернула, восхитительно притворившись оскорбленной моим нахальством. Фонарь был уже совсем близко, а фореитор, видимо, намеревался помешать моему бегству, но я сунул драгоценный плащ под мышку и бросился в темноту.

Теперь моей задачей было уйти как можно дальше от тюрьмы за те часы, что оставались до рассвета. Повернувшись лицом к ветру, я бежал, пока, выбившись из сил, не рухнул на землю. Отдышавшись в кустах вереска, я снова пустился бежать, пока у меня не подогнулись колени. Я был молод и крепок, у меня были стальные мускулы и тело, закаленное двенадцатью годами походов и сражений. Поэтому я мог выдержать еще три часа этого бешеного бега, все так же, как вы понимаете, держась против ветра. И через три часа я высчитал, что от тюрьмы меня отделяет почти двадцать миль. Ближился рассвет, и, забравшись в заросли вереска на вершине небольшого холма, которыми изобилует эта местность, я решил переждать здесь до вечера. Спать под ветром и дождем для меня было не внове, и, закутавшись в плотный теплый плащ, я вскоре крепко заснул.

Но это был тяжелый, не освежающий сон. Я метался, борясь с отвратительными кошмарами, в которых все складывалось для меня самым худшим образом. Помню, под конец мне приснилось, будто я атакую несокрушимое каре венгерских гусар с одним лишь эскадроном, на загнивших лошадях — вроде того, как это было со мной под Эльхингеймом. Я привстал на стремях и крикнул «Vive l'Empereur!», и мои гусары откликнулись громким криком «Vive l'Empereur!». Я вскочил со своего ложа; этот крик все еще отдавался в моих ушах. Протирая глаза, я спрашивал себя, не сошел ли я с ума, ибо уже наяву услышал те же слова, которые громко и протяжно выкрикивали пятьсот глоток. Я выглянул из-за кустов, и в ясном утреннем свете глазам моим представилось то, что я меньше всего на свете ожидал или хотел бы увидеть.

Передо мной была Дартмурская тюрьма! Ее уродливая, мрачная громада высилась всего в какой-нибудь восьмьюшке миль от меня. Если бы я пробежал в темноте еще несколько минут, я бы уткнулся кивером в ее стену. Это зрелище так меня ошеломило, что я не сразу сообразил, что произошло. Затем я все понял и в отчаянии заколотил кулаками по голове. За ночь ветер переменялся и стал уже не северным, а южным, а я, стараясь держаться против ветра, пробежал десять миль вперед и десять миль назад, вернувшись туда, откуда и вышел. Я вспомнил, как я торопился, как стремительно бежал, падал, прыгал, и все это показалось мне таким смешным, что отчаяние мое вдруг как рукой сняло, и я, упав под кусты, хохотал, пока у меня не заболели бока. Затем я завернулся в плащ и всерьез задумался над тем, что делать дальше.

За свою бродячую жизнь я научился одному, друзья мои,— никакую неудачу не считать бедой, пока не увидишь, чем она кончится. Разве каждый час не приносит чего-то нового? Вот и тогда я понял, что моя ошибка сослужила мне службу не хуже самой тонкой хитрости. Мои преследователи, естественно, начали повсюду с того места, где я завладел плащом сэра Чарльза Мередита, и из своего укрытия я видел, как они мчались туда по дороге. Никому из них и в голову не

приходило, что я мог повернуть обратно и сейчас лежу за кустами в маленькой выемке на вершине холма. Пленники, конечно, уже проведали о моем побеге, и весь день над равниной гремели ликующие крики, разбудившие меня поутру и звучавшие как выражение сочувствия и товарищеской поддержки. Они и не подозревали, что на вершине горки, которая видна из окошек тюрьмы, лежит их товарищ, побег которого был для них праздником. А я, я глядел сверху вниз на толпы обезоруженных воинов, которые расхаживали по тюремному двору или, собравшись маленькими группками, оживленно жестикулировали, обсуждая мой успешный побег. Однажды я услышал крики возмущения: два тюремщика вели по двору Бомона с забинтованной головой. Не могу описать, какое удовольствие доставило мне это зрелище: я убедился, что, во-первых, я его не убил, а во-вторых, что остальным доподлинно известно все, что произошло. Впрочем, меня слишком хорошо знали, и вряд ли кто-нибудь заподозрил, будто я мог бросить товарища.

Весь этот долгий день я лежал за кустами, прислушиваясь к звону колокола, отбивавшего внизу часы.

Карманы мои были полны хлеба, который я сберег от своего тюремного пайка, а обыскивая одолженный плащ, я нашел серебряную фляжку с превосходным коньяком, разведенным водой, так что я мог провести там целый день, не испытывая никаких лишений. В карманах плаща я обнаружил еще красный шелковый платок, черепаховую табакерку и голубой конверт с красной печатью, адресованный начальнику Дартмурской тюрьмы. Все вещи я решил при первой возможности отослать обратно вместе с плащом.

Письмо же меня несколько смутило: начальник тюрьмы всегда был со мной любезен, и я считал бесчестным похищать его корреспонденцию. Я решил было положить письмо под камень на дороге на расстоянии выстрела от ворот тюрьмы, но это навело бы их на мой след, и я не видел иного выхода, как оставить письмо при себе, надеясь, что мне удастся как-нибудь переслать его адресату. А пока я надежно спрятал его в потайной внутренний карман.

На жарком солнце моя одежда просохла, и к наступлению сумерек я был готов пуститься в дальнейший путь. Заверяю вас, друзья, что на этот раз я не сделал никакого промаха. Ориентируясь по звездам — каждого гусара следовало бы учить этому, — я ушел от тюрьмы на восемь лиг. План мой заключался в том, чтобы раздобыть полный комплект одежды у первого же встречного, а потом пробраться к северному побережью, где много контрабандистов и рыбаков, а они не прочь получить вознаграждение, которое император давал тем, кто перевозил бежавших пленных через Ла-Маиш. Я снял султан со своего кивера, чтобы он не бросался в глаза, но, несмотря на прекрасный плащ, все же побаивался, что рано или поздно меня выдаст муидир.

Когда занялась заря, я увидел справа реку, а слева голубоватые дымки маленького городка на равнине. Меня так и подмывало войти в этот городок — любопытно было поглядеть на некоторые обычаи англичан, каких нет ни в одной стране. Но сколь ни сильно было мое желание увидеть, как они едят сырое мясо и продают своих жен, появляться в городах, пока на мне мой муидир, было бы опасно. Кивер, усы и французская речь — все это могло погубить меня. Поэтому я продолжал путь на север, то и дело осматриваясь вокруг, но ни разу не заметив признаков погони.

Около полудня я пришел в уединенную долину, где стоял одинокий домик. Поблизости не было никаких других строений. Это был маленький, аккуратный дом с верандой и маленьким садиком, где копошились куры и петухи. Я залег в папоротник и стал наблюдать за домом: мне казалось, что именно здесь я мог бы получить то, что мне нужно. Хлеб мой был давно съеден, и после долгой ходьбы я страшно проголодался; поэтому я решил произвести небольшую разведку, а потом войти в домик, предложить обитателям сдаться и добыть все, что нужно. Мне, пожалуй, могут дать там яичницу и цыпленка. При этой мысли у меня потекли слюнки.

Так я лежал, стараясь догадаться, кто там живет, как вдруг из двери вышел молодой приземистый крепыш в сопровождении человека постарше, несшего две большие дубинки. Он протянул их своему спутнику,

тот стал махать ими вверх и вниз и вращать с необыкновенной быстротой. Старший, стоя рядом, внимательно следил за ним, то и дело давая какие-то советы. Наконец крепыш взял веревку и стал прыгать через нее, как девочка через скакалку. Другой сосредоточенно следил за ним. Вы, конечно, понимаете, что я напрасно ломал себе голову, стараясь догадаться, кто они такие, и в конце концов решил, что один — врач, а другой — его пациент, подвергавшийся какому-то странному способу лечения.

Так я лежал и дивился, глядя на них, а тем временем старший принес длинное плотное пальто и подал его младшему. Тот надел и застегнул его до самого подбородка. День был теплый, и потому это показалось мне еще более удивительным, чем то, что происходило прежде. «По крайней мере,— подумал я,— гимнастика окончена». Но не тут-то было: молодой человек, несмотря на тяжелое пальто, принялся бегать и случайно направился прямо в мою сторону. Его товарищ уже вошел в дом, и все складывалось как нельзя лучше. Я сниму с маленького крепыша одежду и побегу в какую-нибудь деревню, где можно будет купить еду. Цыплята, конечно, были очень соблазнительны, но в доме по крайней мере двое мужчин, и, поскольку у меня не было оружия, пожалуй, лучше поскорее уйти отсюда.

Я неподвижно лежал среди папоротника. Вскоре топот бегущего послышался совсем рядом, и он оказался передо мной — в толстом пальто, со взмокшим от пота лицом. Он был плотного сложения, но маленького роста — такого маленького, что я испугался, что его одежда на меня не налезет. Я вскочил на ноги; остановившись передо мной, он воззрился на меня с величайшим изумлением.

— Лопни мои глаза! — воскликнул он. — Что за дух из бутылки? Из цнрка, что ли?

Таковы были его слова, хотя я не берусь объяснить, что он хотел этим сказать.

— Прошу прощения, сэр, — сказал я, — но мне необходимо попросить вас отдать мне свою одежду.

— Отдать что? — спросил он.

— Вашу одежду.

— Вот умора-то! — сказал он. — Почему я должен отдавать вам свою одежду?

— Потому что она мне нужна.

— А если я не отдам?

— Разгрызи меня бог, — сказал я, — тогда мне придется отнять ее силой.

Он стоял передо мной, засунув руки в карманы, и на его гладко выбритом лице с квадратным подбородком появилось насмешливое выражение.

— Ах вот как, отнять, — сказал он. — Вы, как я полагаю, малый не промах, только должен вам сказать, что на этот раз вы попали пальцем в небо. Я знаю, кто вы такой. Вы — француз, сбежавший из той тюрьмы, это с первого взгляда видно. Но вы не знаете, кто я, иначе не стали бы выкидывать со мной такие шутки. Я — Бастлер из Бристоля, чемпион легкого веса, а сюда я приезжаю тренироваться.

Он поглядел на меня так, словно ожидал, что, услышав это сообщение, я буду как громом поражен, но я только усмехнулся и, покручивая усы, поглядел на него сверху вниз.

— Быть может, вы и храбрый человек, сэр, — ответил я, — но если я вам скажу, что перед вами полковник Этьен Жерар из Конфланского гусарского полка, вы поймете, что должны отдать вашу одежду без всяких разговоров.

— Послушайте-ка, мусью, прекратите это! — воскликнул он. — Не то я вам задам перцу!

— Раздевайтесь, сэр, сию же минуту! — закричал я, угрожающе наступая на него.

Вместо ответа он сбросил свое теплое пальто и, глядя на меня с непонятной улыбкой, стал в странную позу: одну руку выбросил вперед, другую положил на грудь. Я и понятия не имел о способах кулачного боя, который так любят эти люди; вот на лошади или пеший, но с клинком в руках я всегда могу постоять за себя. Но, вы понимаете, солдату иной раз не приходится выбирать способ боя; как говорится, с волками жить — по-волчьи выть, и в этом случае так оно и было. Я кинулся на него с воинственным криком и пнул его ногой. В ту же секунду обе мои ноги взлетели вверх, в глазах замелькали вспышки, как в бою под Аустер-

лицем, и я ударился затылком о камень. Больше я ничего не помню.

Очнулся я на низенькой выдвижной койке, в пустой, почти лишенной мебели комнате. В голове моей гудели колокола, и, подняв руку, я нащупал над глазом шишку величиной с грецкий орех. Ноздри мои щекотал едкий запах; вскоре я обнаружил, что на лбу у меня лежит полоска бумаги, смоченной уксусом. На другом конце комнаты сидел этот страшный маленький крепыш, а его старший товарищ растирал ему голое колено какой-то мазью. Старший был, видимо, сильно не в духе и сердито выговаривал крепышу, сидевшему с мрачным видом.

— В жизни не видел ничего подобного! — говорил старший. — Я из кожи вон лезу, тренирую вас целый месяц, и когда я наконец сделал вас крепким, как репка, вы, вернейший победитель, за два дня до боя ввязываетесь в драку с каким-то иностранцем!

— Ладно, ладно! Хватит меня пилить! — огрызнулся Бастлер. — Вы отличный тренер, Джим, но лучше бы вы поменьше меня ругали.

— Как же вас не ругать? — сказал Джим. — Если колено до среды не заживет, они скажут, что вы сговорились с противником, и черта с два вы тогда найдете кого-нибудь, кто бы на вас поставил!

— Сговорился! — проворчал крепыш. — Я выиграл девятнадцать боев, и никто до сих пор не осмеливался сказать при мне слово «сговор». А какого дьявола мне оставалось делать, когда этот малый хотел раздеть меня догола?

— Велика беда! Вы же знаете, что судья и стражники находятся в какой-нибудь миле отсюда. Вы могли бы натравить их на него и тогда, так же, как и сейчас. И спокойно получили бы обратно свою одежду.

— А, будь я неладен! — сказал Бастлер. — Не было случая, чтобы я прервал тренировку, но когда дело доходит до того, чтобы отдать одежду какому-то французиншке, который не способен даже на круге масла сделать вмятину, то это уже слишком!

— Подумаешь, какая ценность — ваша одежда! Да вы знаете, что один только лорд Рафтон поставил на вас пять тысяч фунтов? Когда в среду вы перепрыг-

нете через канаты, на вас будут висеть все эти пять тысяч до последнего пенни. Хорошенькое дело — явиться с распухшим коленом и историей о пленном французе!

— Откуда я знал, что он начнет лягаться?

— А вы думали, он будет драться по всем правилам английского бокса? Будто вы не знаете, дуралей, что во Франции и понятия не имеют о том, как надо драться.

— Друзья,— вмешался я, садясь в кровати,— я не очень-то много понял из того, что вы тут говорили, но сейчас вы сказали глупость. Мы, французы, так хорошо знаем, как надо драться, что побывали с визитом почти во всех столицах Европы и очень скоро придем в Лондон. Но мы деремся, как солдаты, понимаете, а не как уличные мальчишки в канаве. Вы бьете меня по голове. Я пинаю вас ногами. Это же детская игра. А вот если вы дадите мне саблю, а себе возьмете другую, я покажу вам, как мы умеем драться.

Оба усталились на меня тупо, чисто по-английски.

— Что ж, очень рад, что вы живы, мусью,— сказал наконец старший.— Вы смахивали на куля с мукой, когда мы с Бастлером перетаскивали вас сюда. Голова у вас не настолько крепкая, чтобы выдержать удар сильнейшего бойца в Бристоле.

— Он тоже задиристый малый, он набросился на меня, как боевой петух,— сказал Бастлер, потирая колено.— Я применил свой обычный удар справа налево, и он рухнул, как подкошенный. Я не виноват, мусью. Я же сказал, что задам вам перцу, если вы не прекратите.

— Зато вы можете всю жизнь хвастаться, что дрались с лучшим легковесом Англии,— сказал Джим, словно поздравляя меня.— А он к тому же сейчас в наилучшем состоянии, в расцвете сил, и тренирует его сам Джим Хантер.

— Я привык к сильным ударам,— сказал я, расстегивая мундир и показывая два шрама от пулевых ран. Потом я обнажил проколотую пикой щиколотку и шрам на веке, куда меня ткнул кинжалом испанский партизан.

— У него, видно, крепкая шкура,— заметил Бастлер.

— В среднем весе он был бы сущей конфеткой,— сказал тренер.— Его бы потренировать с полгода, и наши любители спорта просто с ума бы сошли. Жаль, что ему придется вернуться в тюрьму.

Последние слова мне пришлись очень не по душе. Я застегнул мундир и встал с кровати.

— С вашего разрешения я пойду дальше,— сказал я.

— Ничего не поделаешь, мусью,— ответил тренер.— Тяжело отправлять такого человека, как вы, в это гиблое место, но дело есть дело, а за вас обещана награда в двадцать фунтов. Стражники нынче утром уже искали вас здесь и, наверное, заглянут опять.

При этих словах сердце мое превратилось в кусок свинца.

— Неужели вы хотите выдать меня? — воскликнул я.— Клянусь честью благородного француза, я вышлю вам вдвое больше в тот день, когда ступлю на французскую землю!

Но в ответ они только покачали головой. Я умолял, я доказывал, я говорил об английском гостеприимстве и о содружестве смельчаков, но с таким же успехом я мог распинаться перед двумя деревянными дубинками, что стояли у стены на полу. На бульдожьих лицах не было и признака сочувствия.

— Дело есть дело, мусью,— повторил старый тренер.— Кроме того, как я выведу Бастлера в среду на ринг, если его потянут в суд за помощь военнопленному и соучастие в побеге? Я должен беречь Бастлера и не желаю рисковать.

Итак, значит, конец всем моим стараниям и моей борьбе. Меня отведут назад, как глупую овцу, которая вырвалась из загона. Но плохо они меня знали, если вообразили, что я покорюсь такой судьбе. Я понял из их слов достаточно, чтобы догадаться, где их слабое место, и показал, как уже показывал не раз, что Этьен Жерар всего страшнее тогда, когда у него исчезает последняя надежда. Одним прыжком я очутился возле дубинок, схватил одну из них и завертел ею над головой Бастлера.

— Семь бед — один ответ! — воскликнул я.— В среду ты будешь никуда не годен!

Бастлер прорычал какое-то ругательство и хотел

было броситься на меня, но тренер обхватил его руками и удержал на стуле.

— Ни за что, Бастлер! — вскрикнул он. — Никаких ваших штук, пока я рядом! Убирайтесь отсюда, мусью! Мы мечтаем увидеть вашу спину. Да бегите же, бегите, а то он вырвется!

Отличный совет, подумал я и ринулся в дверь, но едва я очутился на свежем воздухе, как голова у меня закружилась, и, чтобы не упасть, я должен был прислониться к стене. Вспомните, какие испытания я перенес: предательство Бомона, бурю, которая сбила меня с пути, день в мокрых зарослях вереска, терзания голода, еще одна бессонная ночь и наконец удар, полученный от этого коротышки, когда я пытался отнять у него одежду. Нечего и удивляться, что даже моей выносливости наступил конец.

Я стоял у стены в тяжелом плаще и моем бедном помятом кивере, опустив голову и закрыв глаза. Я сделал все, что в моих силах, и больше ничего не мог. Наконец меня заставил поднять голову стук копыт: шагах в десяти передо мной был седоусый начальник тюрьмы и с ним шестеро конных стражников.

— Итак, полковник, — с грустной улыбкой сказал он, — мы все-таки вас нашли.

Если отважный человек сделал все, что мог, и потерпел неудачу, его благородство проявляется в том, как он принимает свое поражение. Что до меня, то я вынул из кармана письмо и, шагнув вперед, подал его с таким изяществом, какого начальник, наверно, и не видывал.

— К несчастью, сэр, я невольно задержал одно из ваших писем.

Он поглядел на меня удивленно и подал стражникам знак арестовать меня, затем сломал печать на конверте. По мере того, как он читал, лицо его принимало странное выражение.

— Это, должно быть, то самое письмо, что потерял сэр Чарльз Мередит, — сказал он.

— Оно было в кармане его плаща.

— И вы носили его при себе два дня?

— С позавчерашней ночи.

— И не заинтересовались его содержанием?

Я всем своим видом показал, что таких вопросов не задают благородному человеку.

К моему изумлению, он вдруг разразился хохотом.

— Полковник,— сказал он, вытирая слезы,— право, вы задали себе и нам уйму ненужных хлопот! Разрешите прочесть вам письмо, которое вы держали при себе во время вашего побега.

И я услышал вот что:

«По получении сего вам надлежит освободить полковника Этьена Жерара из Третьего гусарского полка, который обменян на полковника Мэзона из конной артиллерии, находящегося сейчас в Вердене».

Прочтя письмо, он опять захохотал; хохотали и стражинки и двое людей, вышедших из дома; при виде общего веселья, при мысли обо всех моих надеждах и страхах, об усилиях и опасностях, что же мне, удалому солдату, оставалось делать, как не прислониться снова к стене и не захохотать так же весело, как все остальные? И разве не у меня было больше всего причин веселиться: ведь я уже видел впереди мою любезную Францию, мою матушку, императора и моих гусар, а позади оставалась мрачная тюрьма и тяжелая рука английского короля.

V

КАК БРИГАДИР ПОМЕРЯЛСЯ СИЛАМИ С МАРШАЛОМ ОДЕКОЛОНОМ

Массена был худой, желчный, щупленький да еще кривой на один глаз (этого глаза он лишился после несчастного случая на охоте), но, когда он единственным своим глазом окидывал из-под треуголки поле боя, ничто не могло от него укрыться. Он, бывало, поставит батальон во фронт и с одного взгляда видит, где какая пряжка или пуговица не по форме. Офицеры и солдаты его недолюбливали, потому что он, как известно, был прижимист, а в армии любят, чтоб у командира душа была широкая. Но когда доходило до настоящего дела, его очень даже уважали и в бою не променяли бы ни на кого другого, кроме разве самого императора да еще



«Подвиги бригадира Жерара»



«Подвиги бригадира Жерара»

Ланна, покуда он был жив. Ведь если он железной хваткой зажимал свою мошну, то вы, должно быть, помните, что настал день, когда он такой же железной хваткой зажал Цюрх и Женеву. Он держал позиции так же крепко, как свой денежный ящик, и требовалась немалая смекалка, чтоб заставить его выпустить из рук то или другое.

Когда он вызвал меня к себе, я обрадовался и сразу отправился в его штаб, потому что он всегда меня любил и ставил выше всех других офицеров. Служить под началом у этих старых, славных генералов было одно удовольствие: они знали свое дело и умели отличить хорошего солдата от плохого. Он сидел один в своей палатке, уронив голову на руки и сморщившись так, словно ему только что поднесли подписной лист. Однако, увидев меня, он улыбнулся.

— Здравствуйте, полковник Жерар.

— Здравия желаю, господин маршал.

— Ну, как Третий гусарский полк?

— Семьсот доблестных бойцов на семистах боевых конях рвутся в дело.

— А что ваши раны, зажили?

— Мои раны никогда не заживают, маршал,— отвечал я.

— Но почему же?

— Потому что я получаю все новые.

— Генералу Раппу надо опасаться за свои лавры,— сказал он, и лицо его сморщилось в улыбку.— У него двадцать одна рана от вражеских пуль и столько же от ножей и зондов Лярея. Я знал, что вы ранены, полковник, и последнее время щадил вас.

— А это хуже всякой раны.

— Ну полно, полно! С тех пор, как англичане засели в этих проклятых укреплениях Торрес Ведрас, мы, в сущности, бездействуем. Вы не слишком много потеряли, пока были в плену в Дартмуре. Но теперь мы готовимся к походу.

— Будем наступать?

— Нет, напротив.

Должно быть, мое разочарование было написано у меня на лице. Как! Отступить перед этим нечестивым псом Веллингтоном, перед тем, кто с каменным лицом

выслушал мои горячие слова, а потом отправил в свою страну, где нет спасения от туманов? При этой мысли я готов был заплакать.

— А что делать!— раздраженно воскликнул Массена.— Когда объявлен шах, приходится делать ход королем.

— Вперед,— ввернул я.

Массена покачал седой головой.

— Эти позиции неприступны,— сказал он.— Генерал Сен-Круа убит, и мы понесли такие потери, что у меня не осталось резервов. И, кроме того, мы простояли здесь, в Сантарене, почти полгода. Во всей округе не осталось ни фунта муки, ни бутылки вина. Мы вынуждены отступить.

— Мука и вино есть в Лисабоне,— наставлял я.

— Ах, вы говорите так, будто вся армия может передвигаться так же быстро, как ваш гусарский полк. Будь здесь Султ со своей тридцатитысячной армией... Но его нечего и ждать. Итак, я вызвал вас, полковник Жерар, дабы поставить в известность, что намерен поручить вам одно весьма необычное и важное дело.

Само собой, я наострил уши. Маршал развернул большую карту местности и положил ее на стол. Он разгладил ее своими маленькими волосатыми руками.

— Вот здесь Сантарен,— показал он.

Я кивнул.

— А здесь, в двадцати пяти милях к востоку, Алмейхал, знаменитый своими винами и большим аббатством.

Я снова кивнул; мне еще не было ясно, к чему он клонит.

— Вы слышали о маршале Одеколоне? — спросил Массена.

— Я служил со всеми маршалами,— сказал я,— но такую фамилию слышу в первый раз.

— Это прозвище, которое ему дали солдаты,— сказал Массена.— Вас не было в строю несколько месяцев, иначе мне не пришлось бы рассказывать вам про него. Он англичанин и принадлежит к очень знатному роду. А прозвище ему дали за аристократические привычки. Так

вот, я посылаю вас в Алмейхал с визитом к этому вылощенному англичанину.

— Слушаюсь, маршал.

— С тем, чтобы вы повесили его на первом же дереве.

— Можете быть спокойны, маршал.

Я лихо повернулся налево кругом, но Массена окликнул меня, не успев я выйти из палатки.

— Минутку, полковник,— сказал он.— Прежде чем выступить, вам не мешает ознакомиться с положением дел. Да будет вам известно, что этот маршал Одеколон— настоящее его имя и фамилия Алексис Морган— человек редкой изворотливости и храбрости. Он служил офицером в английской гвардии, но передернул за картонным столом, был разжалован в рядовые и вышел в отставку. Ему удалось собрать вокруг себя большой отряд из английских дезертиров, и он засел в горах. К нему присоединились французские солдаты, отставшие от своих частей, и португальские бандиты, так что теперь он стоит во главе пятисот людей. Он со своим отрядом захватил аббатство Алмейхал, разогнал монахов, укрепил обитель и разграбил всю округу.

— Что ж, по нем давно веревка плачет,— сказал я и снова направился к двери.

— Еще минутку! — остановил меня маршал, улыбаясь при виде моего нетерпения.— Самое худшее впереди. Не далее как на прошлой неделе в руки этих негодяев попала вдовствующая графиня Ла Ронда, самая богатая женщина в Испании, они захватили ее на перевале, когда она ехала от двора короля Жозефа навестить своего внука. Теперь она заточена в аббатстве, и единственное ее спасение в том, что она...

— Бабушка? — высказал я предположение.

— Нет, в том, что она может заплатить крупный выкуп,— сказал Массена.— Итак, перед вами три задачи: спасти несчастную женщину, покарать негодяя и, если возможно, разрушить гнездо бандитов. А вот доказательство того, как я верю в вас: я могу дать вам для осуществления всего этого лишь полуэскадрон.

Клянусь, я не поверил своим ушам! Я-то полагал, что мне по крайней мере разрешат взять весь мой полк.

— Я дал бы вам больше, — сказал он, — но сегодня я начинаю отступление, а у Веллингтона такая сильная кавалерия, что мне дорога каждая сабля. Я не могу отпустить больше ни единого человека. Сделайте все возможное и явитесь ко мне с рапортом в Абрантиш не позднее завтрашнего вечера.

Мне очень польстило, что он такого высокого мнения о моих способностях, но вместе с тем я был в некотором замешательстве. Мне предстояло спасти старую вдову, вздернуть на сук англичанина и разгромить банду из пятисот головорезов, имея на все про все полсотни людей. Но в конце концов ведь это полусотня конфланских гусар, которых поведет сам Этьен Жерар! Когда я вышел из палатки под теплое португальское солнце, уверенность вернулась ко мне, и я уже начал подумывать, а не ждет ли меня в Алмейхале та самая медаль, которую я уже давным-давно заслужил.

Можете быть уверены, что в свою полусотню я взял лучших из лучших. Все это были ветераны германских войн, некоторые имели по три нашивки, а большинство — по две¹. Возглавляли их Удэн и Папилет, два лучших унтер-офицера в полку. Когда по моему приказу они построились в колонну по четыре, все как на подбор в серебристо-серых мундирах, на гнедых конях с чепраками из леопардовых шкур и маленькими красными султанами, сердце мое радостно забилося. Я смотрел на их обветренные лица с огромными усами, которые топорщились над ремешками киверов, с чувством радостной уверенности, и, между нами говоря, не сомневаюсь, что они испытывали то же чувство при виде своего молодого полковника, который на вороном боевом коне ехал вперед.

Так вот, когда мы оставили позади лагерь и очутились на другом берегу Тахо, я выслал авангард и фланговые охранения, а сам остался во главе отряда. С холмов, окружающих Сантарен, мы, оглянувшись назад, увидели темные позиции армии Массена, где блеснули и сверкали сабли и штыки, — это он выводил свои полки на исходный рубеж для отступления. К югу красными пятнами раскинулись английские передовые посты, а

¹ Нашивки обозначали количество ранений.

дальше виделось серое облако, поднимавшееся над лагерем Веллингтона,—плотный маслянистый дым, в котором нашим изголодавшимся ребятам чудился густой запах кипящих походных котлов. Западнее голубым полукругом раскинулось море с белыми полосками английских парусов.

Поскольку мы ехали на восток, путь наш, как вы понимаете, лежал в стороне от обеих армий. Однако наши собственные любители легкой наживы и разведывательные дозоры англичан буквально наводняли местности, и мне с моим маленьким отрядом приходилось соблюдать крайнюю осторожность. Весь день мы ехали через пустынные холмы, у подножий которых зеленели распускающиеся виноградные лозы, но выше зелень сменялась однообразным серым покровом, а вершины зубцами торчали по горизонту, как хребет отошавшей клячи. Наш путь пересекали горные ручьи, бежавшие на запад, в Тахо, а один раз мы очутились у глубокой, бурной реки, через которую нам ни за что бы не перебраться, если бы я не отыскал брод, заметив два дома, стоявшие напротив друг друга на обоих берегах. Каждый разведчик должен знать, что между такими домами непременно есть брод. Нам не у кого было спросить дорогу, так как нам не попался ни человек, ни зверь, ни другая живая тварь, только воронье тучами кружилось в небе.

Уже на закате мы выехали в долину, поросшую по склонам могучими дубами. До Алмейхала оставалось никак не больше нескольких миль, и я счел за лучшее ехать лесом, так как весна была ранняя и густая уже листва обещала нас скрыть. Итак, мы ехали разомкнутым строем меж огромных стволов, как вдруг ко мне подскакал один из флаиговых дозорных.

— Полковник, на той стороне долины англичане! — крикнул он, отдавая честь.

— Кавалерия или пехота?

— Драгуны, полковник, — отвечал он. — Я видел, как блестят их шлемы, и слышал лошадиное ржание.

Я остановил отряд, а сам выехал на опушку. Сомнений не было. Кавалерийский отряд англичан двигался в том же направлении, что и мы. Я увидел их красивые мундиры и их оружие, которое блестело и сверкало меж

деревьев. А когда они проезжали небольшую прогалину, я окинул взглядом весь отряд и решил, что их силы примерно равны моим — не более полуэскадрона.

Вы уже знаете кое-что о моих скромных приключениях и согласитесь, что я принимаю решения быстро и так же быстро их выполняю. Но тут, не скрою, я колебался. С одной стороны, представился прекрасный случай завязать с англичанами кавалерийскую стычку. С другой — мне предстояло дело в Алмейхальском аббатстве, а то и другое сразу было мне не по силам. Если я потеряю хоть одного человека, то наверняка не смогу выполнить приказ. Я сидел в седле, подперев подбородок рукой, затянута в перчатку, и следил за переливчатым блеском меж деревьев, как вдруг от вереницы красивых муниров отделился один из англичан, — он выехал на открытое место, указывая на меня и произительно улюлюкая, словно завидел лисицу. К нему присоединились еще трое, а горнист заиграл сигнал, после чего все они выехали из леса. Как я и думал, это был полуэскадрон, который теперь выстроился в две шеренги по двадцать пять человек, во главе со своим офицером, тем самым, что улюлюкал.

Я мгновенно построил своих в тот же боевой порядок, и теперь нас, гусар и драгун, разделяли какие-нибудь две сотни ярдов травянистой земли. Эти ребята, в красных мундирах, в серебристых шлемах, высоких белых плюмажах, с длинными блестящими саблями глядели орлами; но при всем том, я уверен, они признали бы, что никогда еще не видели таких лихих легких кавалеристов, как полусотня коифлаиских гусар, стоявших с ними лицом к лицу. Конечно, вооружение у них было более основательное, да и вид, пожалуй, более нарядный, так как Веллингтон заставлял их надраивать всю металлическую амуницию, чего у нас не было в заводе. Однако всем известно, что английские мундиры слишком тесны, чтобы рубить плеча, и это давало нам преимущество. Что же до храбрости, то глупые и несведущие люди всех наций обычно полагают, что их солдаты храбрее всех на свете. Нет такого народа, который не тешил бы себя этой мыслью. Но человек, повидавший с мое, знает, что особой разни-

цы тут нет, и хотя дисциплина в армиях разная, все они одинаково храбры — один только француз не имеет себе равных в доблести.

Что ж, пробка полетела в потолок, и бокалы уже были наготове, как вдруг английский офицер поднял саблю, видимо, посылая мне вызов, и поскакал галопом прямо на меня. Клянусь, нет на свете зрелища прекрасней, чем бравый кавалерист на добром коне! Я готов был замереть на месте и, застав дыхание, смотреть, как он приближается с небрежным изяществом, держа саблю у крупы лошади, откинув назад голову с развевающимся плюмажем — живое воплощение молодости, силы и мужества; сиреневое вечернее небо было у него над головой, а позади него — вековые дубы. Но я не таков, чтобы торчать на месте и глазеть попусту. Быть может, у Этьена Жерара есть свои недостатки, но, клянусь честью, никто еще не посмел обвинить его в медлительности, когда надо действовать. Мой старый конь по кланчке Барабан знал меня так хорошо, что рванулся вперед раньше, чем я успел тронуть повод.

На свете есть две вещи, которые я забываю не скоро: лицо хорошенькой женщины и ноги доброго коня. И пока мы скакали друг другу навстречу, я все твердила про себя: «Где я видел эти могучие чалые лопатки? Где я видел эти изящные бабки?» И вдруг, взглянув в смелые глаза, в лицо, которое вызывающе улыбалось, я все вспомнил и узнал — кого бы вы думали? Того самого человека, который спас меня от разбойников и поставил на карту мою свободу, того, чей полный титул был его светлость Милорд сэр Рассел Барт.

— Барт! — воскликнул я.

Он уже занес саблю для удара, и, так как его умение владеть оружием оставляло желать лучшего, я свободно мог проткнуть его по меньшей мере в трех местах. Но я поднял саблю для приветствия, и он, опустив свою, уставился на меня.

— Хэлло! — сказал он. — Да это Жерар!

Глядя на него, можно было подумать, что у нас здесь назначено свидание. Я же готов был заключить его в объятия, если б он хоть немного обрадовался встрече.

— А я-то думал, сейчас тут пойдет потеха,— сказал он.— Никкак не ожидал, что подвернетесь вы.

Его разочарованный тон вызвал у меня раздражение. Вместо того чтобы обрадоваться встрече с другом, он жалел, что лишился врага.

— С величайшей радостью разделна бы с вами эту потеху, дорогой Барт,— сказал я.— Но, право же, я не могу обратить оружие против человека, который спас мне жизнь.

— Ну, об этом не стоит и вспоминать.

— Нет, позвольте. Я ннкогда не простна бы себе такой неблагодарности.

— Вы слишком много значения придаете мелочам.

— Моя матушка мечтает только об одиом — обиять вас. Если вы когда-инбудь будете в Гаскони...

— Лорд Веллингтон движается туда с шестидесяти-тысячной армней.

— Что ж, в таком случае один из этнх шестидесяти тысяч имеет надежду остаться в живых,— сказал я со смехом.— А пока вложите-ка саблю в иожны!

Нашн коин стояли почти вплотную, голова к хвосту, н Барт, протянув руку, похлопал меня по колену.

— Вы добрый малый, Жерар,— сказал он.— Жаль только, что вы родились не по ту сторону Ла-Маиша, по какую следовало.

— По ту самую,— возразил я.

— Бедняга! — воскликнул он с таким искренним сочувствием, что я не выдержал и снова рассмеялся.— Но послушайте, Жерар,— продолжал он,— все это прекрасно, однако, сами понимаете, так не годится. Не знаю, что скажет на это Массена, но наш командующий взвился бы до неба, если б мог нас видеть. Ведь н мы н вы посланы сюда не на прогулку.

— Что же вы предлагаете?

— Если помните, мы немного поспорили, кто лучше— гусары или драгуны. Моя полусотня шестнадцатого полка рвется в бой. И ровно столько же ваших молодцов ерзает от нетерпения в седлах. Если мы с вами встанем каждый на правом фланге своего отряда, то не попортим красоту друг другу, хотя маленькое кровопускание в этнх краях можно считать дружеской услугой.

Мне подумалось, что он рассуждает вполне здраво. В тот миг мистер Алексис Морган, и графиня Ла Ронда, и Алмейхалское аббатство начисто вылетели у меня из головы, я позабыл обо всем, кроме ровной травянистой долины в предвкушении славной стычки, которая нам предстояла.

— Отлично, Барт,— сказал я.— Мы видели ваших драгун спереди. Поглядим теперь, как они выглядят со спины.

— Пари? — предложил он.

— Ставкой будет не более, не менее, как честь кон-фланских гусар,— отозвался я.

— Что ж, за дело! — воскликнул он.— Если мы вас побьем — отлично, если же вы нас — тем лучше для маршала Одеколона.

Услышав это, я с удивлением на него уставился.

— А при чем тут маршал Одеколон? — спросил я.

— Так прозывается негодяй, который засел вон в тех местах. Лорд Веллингтон послал меня и моих драгун, чтобы мы вздериули его по всем правилам.

— Тысяча чертей! — вскричал я.— Да ведь Массена послал меня и моих гусар с тем же самым приказом.

Тут мы покатались со смеху и вложили сабли в ножи. Позади нас звякнула сталь — наши подчиненные последовали примеру своих командиров.

— Мы союзники! — воскликнул он.

— Да, на один день.

— Объединим же силы.

— Без всякого сомнения.

Итак, вместо того чтобы вступить в бой, мы повернули свои полуэскадроны и двинулись двумя колоннами вниз по долине; все кивера и шлемы были повернуты в сторону, и люди оглядывали своих соседей с головы до ног, как матерые волки с рваными ушами, которые научились уважать клыки друг друга. Большинство улыбалось во весь рот, но были с обеих сторон и такие, которые смотрели злобно и угрожающе, особенно английский сержант и мой унтер-офицер Папилет. Понимаете ли, у этих людей были давние привычки, и они не могли в один миг изменить весь свой образ мыслей. Кроме того, единственный брат Папилета был убит при Бусако. Что же до нас с Бартом, мы ехали впереди бок

о бок и болтали о том, что произошло со времени той знаменитой партии в экарте, о которой вы уже знаете.

Я рассказал ему о своих приключениях в Англии. Удивительный народ эти англичане. Хотя Барт знал, что я участвовал в двенадцати кампаниях, все же я уверен, что заслужил настоящее уважение в его глазах лишь потому, что вступил в драку с Бастлером-Бристольцем. Между прочим, он сказал, что полковник, который председательствовал в военном трибунале, когда его судили за игру в карты с пленным, отвел от него обвинение в небрежении долгом, но чуть не засудил, заподозрив, что он не откозырял, прежде чем пойти с масти. Да, англичане, скажу я вам, преудивительный народ.

В конце долины дорога сворачивала и шла вверх по склону, а дальше зигзагами спускалась в следующую долину. Достигнув гребня, мы сделали привал; прямо перед нами, на расстоянии каких-нибудь трех миль, виднелся город, лепившийся у подножия горы, на склоне которой стояло единственное большое здание. Не приходилось сомневаться, что мы наконец видим то самое аббатство, где засела шайка негодяев, разогнать которых мы явились. И только тогда, думается мне, мы по-настоящему поняли, что нам предстоит, потому что это аббатство оказалось настоящей крепостью, и было ясно само собой, что кавалерию ни в коем случае не следовало посылать на выполнение подобной задачи.

— Это совсем не по нашей части,— сказал Барт.— Пускай Веллингтон и Массена сами идут на такое дело.

— Смелей!— отвечал я.— Пирэ взял Лейпциг с пятьюдесятью гусарами.

— Будь у него драгуны,— возразил Барт со смехом,— он взял бы и Берлин. Но вы старше меня по чину. Ведите же нас, и посмотрим, кто первый дрогнет.

— Ну что ж,— сказал я,— во всяком случае, не будем терять времени, так как мне приказано завтра вечером быть в Абраитише. Но сначала надо кое-что выяснить, и вот я вижу людей, у которых мы все узнаем.

У дороги стоял квадратный, чисто выбеленный домик — судя по ветке плюща над дверью, это была одна

из придорожных таверн, где подкрепляют силы погонщики мулов. У входа висел фонарь, и при его свете мы увидели двух человек, одного в коричневом облачении капуцина, а другого в переднике, по которому мы и признали хозяина таверны. Они были так поглощены разговором, что мы подошли вплотную, прежде чем они нас заметили. Хозяин хотел было скрыться, но один из англичан схватил его за волосы и не дал улзнуть.

— Радн всего святого, пощадите меня!— возопил он.— Мой дом опустошен французами и разорен англичанами, а эти разбойники жгли мне ноги огнем. Клянусь святой девай, у меня в таверне нет ни денег, ни еды, добрый отец аббат, который умирает с голоду на моем крыльце, тому свидетель.

— В самом деле, мсье,— сказал капуцин на прекрасном французском языке,— то, что говорит этот достойный человек, истинная правда. Он одна из многих жертв теперешних жестоких войн, хотя его утрата — капля в море по сравнению с тем, что потерял я. Отпустите его,— добавил он, обращаясь к драгуну по-английски,— он слишком слаб, чтобы бежать, даже если б и захотел.

При свете фонаря я увидел, что этот монах был красивый темноволосый бородатый мужчина с ястребиным взглядом, да такой рослый, что его капюшон достигал ушей Барабана. У него был вид человека, который перенес много страданий, но держался он, словно король, и мы вполне могли судить о его образованности, так как он с каждым из нас говорил на его родном языке так свободно, словно на своем собственном.

— Не бойтесь,— сказал я дрожащему хозяину таверны.— Ну, а вы, святой отец, если не ошибаюсь, как раз тот человек, который может сообщить нам все необходимые сведения.

— Я весь в вашем распоряжении, сын мой. Но,— добавил он со слабой улыбкой,— во время великого поста пища моя всегда скудна, а в этом году я питался так плохо, что вынужден просить корку хлеба, дабы обрести силы отвечать на вопросы.

У нас в ранцах был двухдневный паек, и монаха тотчас накормили. Ужасно было видеть, с какой жадностью

схватил он кусок сушеной козлятницы, который я ему предложил.

— Время не ждет, так что перейдем прямо к делу,— сказал я.— Нам нужно узнать слабые места вон того аббатства и обыскать тех негодяев, которые там засели.

Он выкрикнул какое-то слово, как мне показалось, по-латыни, стиснул руки и закатил глаза.

— Молитва праведника всегда доходит до господина,— сказал он,— и все же я не смел надеяться, что на мою он откликнется столь быстро. Ведь перед вами несчастный аббат Алмейхала, которого вышвырнул вон этот сброд из трех армий по приказу своего еретика главаря. Ах, подумать только, что я потерял!

Голос его пресекся, и на глаза навернулись слезы.

— Ободритесь, святой отец,— сказал Барт.— Ставлю девять против четырех, что еще до завтрашнего вечера мы водворим вас обратно.

— Я пекусь не о своем благе,— сказал он,— и даже не о нашей бедной бездомной братии. Я пекусь о священных реликвиях, оставшихся в святотатственных руках этих разбойников.

— Держу пари, что они их и не заметили,— сказал Барт.— Но укажите нам, как проникнуть за ворота, и мы живо очистим ваше аббатство.

Добрый аббат в коротких словах сообщил нам все, что мы хотели знать. Но то, что он сказал, делало нашу задачу еще более трудной. Стены аббатства имели сорок футов в высоту. Нижние окна были забаррикадированы и по всему зданию проделаны амбразуры. В шайке соблюдалась военная дисциплина, часовые были слишком многочисленны, так что не было надежды захватить их врасплох. Теперь стало тем более очевидно, что здесь нужен батальон гренадеров и несколько штурмовых отрядов. Я поднял брови, а Барт принялся насвистывать.

— Была не была, придется попытаться,— сказал он.

Наша команда уже спешила и, напоив коней, принялась за ужин. Я же вместе с аббатом и Бартом вошел в таверну, где мы стали обсуждать план действий.

У меня во фляжке было немного коньяку, который я разделал между всеми—его едва хватало омочить усы.

— Мне кажется,— сказал я,— что эти негодяи едва ли подозревают о нашем появлении. По дороге я не заметил никаких следов их разведки. Предлагаю такой план: мы спрячемся в лесу где-нибудь по соседству, а когда они откроют ворота, атакуем их и захватим врасплох.

Барт согласился, что трудно придумать лучший план, но когда мы стали обсуждать подробности, аббат объяснил нам, что тут немало препятствий.

— На целую милю от аббатства нигде укрыть ни коней, ни людей,— сказал он.— А на горожан никак нельзя положиться. Боюсь, сын мой, что твой превосходный план едва ли удастся, так как эти негодяи не дремлют.

— Не вижу иного пути,— возразил я.— Конфланских гусар не так много, чтобы я решился повести полускадрон на штурм сорокафутовых стен, за которыми засело пятьсот пехотинцев.

— Я человек мирный,— сказал аббат,— и все же, быть может, я дам вам полезный совет. Я изучил этих негодяев и их обычаи. Никто не мог бы сделать это лучше, ведь я целый месяц провел в этом уединенном доме, со скорбью в сердце взвывая на аббатство, которое еще недавно было моим. И я скажу вам, что сделал бы я сам на вашем месте.

— Радн бога, говорите, святой отец! — вскричали мы в один голос.

— Да будет вам известно, что вооруженные отряды дезертиров из французской и английской армий непрерывно присоединяются к ним. Что же мешает вам с вашими людьми притвориться, будто вы — отряд дезертиров, и таким путем проникнуть в аббатство?

Я был поражен простотой этого плана и обнял доброго аббата. Однако Барт не был удовлетворен.

— Все это превосходно,— сказал он,— но если разбойники проинцательны, как вы говорите, маловероятно, что они пустят в свое логово сотню незнакомых вооруженных людей. Из того, что я слышал о мистере Моргане, или маршале Одеколоне, или как там еще зовут этого разбойника, следует, что на это у него хватит соображения.

— Ну так что ж с того! — воскликнул я. — Пошлем туда пятьдесят человек, а на рассвете они откроют ворота и впустят остальных, которые будут ждать снаружи.

Мы еще долго обсуждали этот вопрос, проявив немалую предусмотрительность и благоразумие. Будь на месте двонх офицеров легкой кавалерии Массеиа с Веллингтоном, даже они не взвесили бы все более тщательно. Наконец мы с Бартом согласились, что одному из нас с пятьюдесятью людьми следует отправиться в аббатство, притворившись, будто мы дезертиры, с тем чтобы ранним утром пробиться к воротам и впустить остальных. Правда, аббат по-прежнему утверждал, что опасно дробить силы, но, видя наше единодушие, он пожал плечами и уступил.

— Я хочу знать только одно, — сказал он. — Если этот маршал Одеклон, этот пес, этот душегуб, попадет к вам в руки, что вы с ним сделаете?

— Повесим его, — отвечал я.

— Ну нет, это слишком легкая смерть! — вскричал капучин, и его темные глаза сверкнули жадной мести. — Будь на то моя воля... но, увы, что за мыслы у слуги господ нашего!

Он хлопнул себя по лбу, как человек, который чуть не помешался от несчастий, и выбежал из комнаты.

Нам предстояло решить еще одни немаловажный вопрос — кто именно, англичане или французы, удостоится чести первыми войти в аббатство. Клянуся, требовать от Этьена Жерара, чтобы он в такую минуту кому-то уступил, — ну нет, это слишком! Но бедняга Барт так умолял меня, напоирая на то, что он почти не участвовал в боях, тогда как я побывал в семидесяти четырех сражениях, что я наконец согласился пустить его вперед. Только мы скрепили уговор рукопожатием, как на дворе вдруг раздались такие крики, проклятия и вопли, что мы стремглав выбежали наружу, выхватив сабли, уверенные, что на нас напали разбойники.

Можете представить себе наши чувства, когда при свете фонаря, висевшего над крыльцом, мы увидели десятка два наших гусар и драгуи, которые сблизь в кучу, красивые мундиры попеременно с голубыми, шлемы с киверами, и яростно колотили друг друга. Мы броси-

лись в самую гущу драки, умолая, угрожая, хватая их за воротники и за сапоги со шпорами, и наконец растащили дерущихся. Они стояли, красные, окровавленные, сверля друг друга глазами и тяжело дыша, как колонна лошадей после десятимильной скачки. Только наши обнаженные клинки удерживали их от того, чтобы вцепиться друг другу в глотки. Бедняга капуцин стоял на крыльце в своем длинном коричневом одеянии, ломая руки и взывая к заступничеству всех святых.

После строгого дознания выяснилось: он и в самом деле был невольной причиной переполоха, потому что, не зная, как близко к сердцу принимают такие вещи солдаты, сказал английскому сержанту, что, как ни жаль, его эскадрон уступает французскому. Едва эти слова сорвались с его губ, как драгун ударом кулака сбил с ног первого подвернувшегося под руку гусара, и в тот же миг все бросились друг на друга, как тигры. После этого мы уже не могли на них положиться, и Барт отвел своих в сад, а я своих — на задний двор, причем англичане угрюмо молчали, а наши грозили кулаками и бормотали проклятия — каждый на свой лад.

Коль скоро план действий был согласован, мы сочли за лучшее немедленно приступить к его исполнению, пока между нашими людьми по какой-либо причине не вспыхнула новая ссора. Барт со своими отправился в аббатство, предварительно сорвав кружева с рукавов и нашивки с воротника, а заодно сняв и пояс, так что он вполне мог сойти за рядового драгуна. Он объяснил своим подчиненным, что от них требуется, и, хотя они не орали и не размахивали саблями, как сделали бы мои на их месте, на их бесстрастных, чисто выбритых лицах было такое выражение, что я уже не сомневался в успехе. Мундиры их были расстегнуты, ножны и шлемы выпачканы грязью, а конская сбруя плохо подтянута, чтобы они были похожи на отряд дезертиров, в котором нет ни порядка, ни дисциплины. На другое утро, в шесть часов, им предстояло захватить главные ворота аббатства, и в тот же самый час мои гусары должны были подскочить туда. Мы с Бартом поклялись в этом друг другу, прежде чем он увел на рысях своих драгун. Папилет с двумя гусарами последовал за англичанами на некотором расстоянии и, вернувшись через полчаса, доложил, что после

недолгих переговоров, во время которых англичан освещали фонарями из-за решетки, их впустили в аббатство.

Итак, пока все шло хорошо. Ночь выдалась облачная, моросел дождь, что оказалось нам на руку, так как было менее вероятно, что нас обнаружат. Я выставил дозорных на двести ярдов во все стороны на случай внезапного нападения, а также для того, чтобы какой-нибудь крестьянин, который мог случайно на нас наткнуться, не донес об этом в аббатство. Удэи и Папнлет должны были дежурить по очереди, а остальные удобно расположились вместе со своими конями в большом деревянном амбаре. Обойдя их и убедившись, что все в порядке, я растянулся на койке, которую отвел мне хозяин таверны, и заснул крепким сном.

Вы, без сомнения, знаете, что я слышу образцовым солдатом, и не только среди друзей и почитателей в этом городе, но и среди старых офицеров, которые участвовали в великих войнах и вместе со мной прошли через эти знаменитые кампании. Однако в интересах истины и скромности должен сказать, что это не так. Мне недостает некоторых качеств — разумеется, их крайне немного, но все же в огромной армии императора можно было найти людей, свободных от тех недостатков, которые отделяют меня от полного совершенства. О храбрости я не говорю. Пусть об этом скажут те, кто видел меня в деле. Я часто слышал, как солдаты толковали вокруг костра о том, кто самый храбрый человек в Великой армии. Одни говорили — Мюрат, другие — Лассаль, некоторые — Ней; но когда спрашивали меня, я только пожимал плечами и улыбался. Ведь было бы самонадеянностью, если бы я ответил, что нет человека храбрее, чем бригадир Жерар. Однако факт остается фактом, и человек сам лучше всех знает свою душу. Но, кроме храбрости, есть другие достоинства, необходимые солдату, и одно из них — чуткий сон. А меня с самого детства трудно было добудиться, и это едва не погубило меня в ту ночь.

Было, вероятно, около двух часов, когда я вдруг почувствовал, что мне нечем дышать. Я хотел крикнуть, но что-то не давало мне издать ни звука. Я сделал попытку встать, но мог только барахтаться, как лошадь, у которой подрезаны сухожилия. Мои лодыжки, колени и запястья

был туго скручен веревками. Только глаза не были завязаны, и при свете фонаря я увидел в ногах своей койки — как вы думаете, кого? Аббата и хозяина таверны!

Накануне вечером широкое белое лицо хозяина, казалось, не выражало ничего, кроме глупости и страха. Теперь же, напротив, каждая его черта дышала жестокостью и злобой. Никогда еще я не видел такого свирепого негодяя. В руке он сжимал длинный, тускло поблескивавший нож. Аббат же держался с прежним утонченным достоинством. Однако его монашеское облачение было распахнуто, и под ним я увидел черный мундир с аксельбантами, какне носили английские офицеры. Наши глаза встретились, и он, опершись о деревянную спинку кровати, стал молча смеяться, навалившись на нее так, что она затрещала.

— Надеюсь, вы извините мой смех, дорогой полковник Жерар,— сказал он.— Дело в том, что, когда вы поняли свое положение, у вас было довольно забавное лицо. Без сомнения, вы превосходный солдат, но не думаю, чтобы вы могли поспорить в сообразительности с маршалом Одеколоном, как ваши люди любезно меня окрестили. Вы, очевидно, были не слишком высокого мнения о моем уме, что доказывает, да будет мне позволено заметить, недостаток у вас проницательности. Право, разве только за исключением моего тупоголового соотечественника, английского драгуна, я в жизни не встречал человека, менее подходящего для подобных поручений.

Можете представить себе мои чувства и мой вид, когда я слушал эти наглые разглагольствования, преподносимые в той цветистой и снисходительной форме, благодаря которой этот негодяй и получил свое прозвище. Я лишен был возможности ему ответить, но он, видимо, прочел угрозу в моих глазах, потому что тот, который играл роль хозяина, шепнул что-то своему товарищу.

— Нет, нет, дорогой Шенье, живой он будет нам куда полезнее,— сказал тот.— Кстати, полковник, ваше счастье, что у вас такой крепкий сон, не то мой друг, у которого манеры несколько грубоватые, без сомнения, перерезал бы вам глотку, вздумай вы поднять тревогу. Советую вам не злоупотреблять его снисходительностью, пото-

му что сержант Шенье, служивший ранее в Седьмом полку императорской легкой пехоты, человек куда более опасный, нежели капитан Алексис Морган из гвардии Его Величества.

Шенье ослабилась и погрозил мне ножом, а я всем своим видом постарался выразить презрение, которое испытал при мысли, что солдат императора может пасть столь низко.

— Думаю, вам будет любопытно узнать, — сказал маршал все тем же тихим, вкрадчивым голосом, — что за обоими вашими отрядами следили с той самой минуты, как вы покинули свои лагеря. Надеюсь, вы согласитесь, что мы с Шенье недурно сыграли свои роли. Мы сделали соответствующие распоряжения, дабы вас достойно встретили в аббатстве, хотя надеялись принять целый эскадрон вместо половины. Когда ворота надежно запираются за гостями, они попадают в очаровательный четырехугольный средневековый дворик, откуда нет выхода, а из сотни окон на них нацеливаются ружья. Им приходится выбирать: либо сдаться, либо получить пулю. Между нами говоря, у меня нет ни малейших сомнений, что у них хватило здравого смысла выбрать первое. Но, поскольку вы, естественно, в этом деле лицо заинтересованное, мы полагаем, что вы сообразоволите составить нам компанию и все увидите своими глазами. Думается, я могу вам обещать, что ваш титулованный друг ждет вас в аббатстве и физиономия у него такая же вытянутая, как и у вас.

Затем оба негодяя начали перешептываться, обсуждая, насколько я мог расслышать, как лучше всего обойти моих дозорных.

— Пойду погляжу, нет ли кого-нибудь за амбаром, — сказал наконец маршал. — А ты, мой добрый Шенье, оставайся здесь, и, если пленный вдруг окажет неповиновение, ты знаешь, как тебе поступить.

И мы остались вдвоем — этот подлый предатель и я. Он сидел в ногах кровати и точил нож о подошву сапога при свете единственной чадающей керосиновой лампы. А я — теперь, оглядываясь назад, я могу только удивляться, как я не сошел с ума от досады и угрызений совести, когда лежал беспомощный на кровати, не имея возможности крикнуть или хоть пальцем шевельнуть, зная, что мои

пятьдесят храбрецов тут, рядом, но у меня нет способа дать им знать, в какое отчаянное положение я попал. Для меня не впервой было оказаться в плену; но чтобы меня схватили эти изменники и отвели в аббатство под градом насмешек, одураченного и обманутого их наглыми главарями,— этого я не мог переистен. Нож мясника, сидевшего рядом со мною, причинил бы мне меньше страданий.

Я незаметно напряг руки, потом ноги, но тот из этих двоих негодяев, который связал меня, был мастером своего дела. Я не мог пошевеливаться. Тогда я сделал попытку освободиться от носового платка, которым мне заткнули рот, но разбойник, сидевший подле меня, занес нож с таким угрожающим ворчаием, что мне пришлось оставить свои попытки. Я лежал неподвижно, глядя на его бычью шею, и думал, посчастливится ли мне когда-нибудь подобрать для нее галстук, как вдруг услышал в коридоре, а потом на лестнице шаги: главарь возвращался. Какие известия принес этот негодяй? Если он убедился, что похитить меня тайком невозможно, то, вероятно, прирежет на месте. Мне было все равно, что со мной станет, и я посмотрел на дверь с презрением и вызовом, которые так жаждал выразить словами. Но вы поймете мои чувства, дорогие друзья, когда вместо высокой фигуры и смуглого, насмешливого лица капуцина я увидел серый ментик и длинные усы моего доброго Папплета!

Французский солдат в те времена слишком много повидал, чтобы удивляться. Одного взгляда на меня, связанного по рукам и ногам, и на злое лицо рядом со мной было для него довольно, чтобы понять, в чем дело.

— Ах ты, дьявол! — зарычал он, и в воздухе сверкнула выхватившая из ножен сабля.

Шенье бросился на него с ножом, но, поняв, чем тут пахнет, сразу же метнулся назад и всадил нож мне в сердце. Но я скатился на другую сторону кровати, прочь от него, и нож только царапнул мне бок, вспоров одеяло и простыню. А через мгновение я услышал стук упавшего тела, и почти в тот же миг что-то ударилось об пол — нечто более легкое, но твердое — и закатилось под кровать. Не стану рассказывать вам все ужасные подроб-

ности, друзья мои. Достаточно сказать, что Папилет был одним из лучших рубак в полку и сабля у него была тяжелая и острая. Она оставила красивые следы у меня на запястьях и лодыжках, когда он перерезал мои пути.

Вытащив изо рта кляп, я первым делом коснулся губами иссеченной шрамами щеки сержанта. А вслед за тем с этих губ сорвался вопрос, все ли благополучно в отряде. Да, там все спокойно. Удэн только что сменил его, и он явился ко мне с рапортом. Видел ли он аббата? Нет, не видел. В таком случае надо окружить таверну, чтобы он не улизнул. Я поспешил к двери, чтобы отдать приказание, но тут услышал внизу, у входа, медленные, размеренные шаги и скрип ступеней на лестнице.

Папилет мигом сообразил, что к чему.

— Его надо взять живым,— шепнул я и толкнул сержанта в темноту по одну сторону двери, а сам притаился по другую.

Разбойник поднимался все выше, и каждый его шаг громким эхом отдавался в моем сердце. Едва на пороге показалось коричневое облачение, мы вдвоем набросились на главаря разбойников, как два волка на быка, и все трое с грохотом повалились на пол. Он дрался, как тигр, и обладал такой необычайной силой, что чуть не вырвался из наших рук. Трижды ему удавалось встать на ноги, и трижды мы снова валили его, пока Папилет не приставил к его горлу саблю. У него хватило здравого смысла понять, что игра проиграна, и он присмирел, а я связал его теми же самыми веревками, которыми недавно был скручен сам.

— Карты пересдачи, милейший,— сказал я,— и вы сейчас убедитесь, что на этот раз у меня есть кое-какие козыри.

— Дуракам везет,— отвечал он.— Что ж, может быть, это не так уж и плохо, иначе всем миром завладели бы умники. Я вижу, вы прикончили Шеиье. Он был непокорным мерзавцем, и от него всегда омерзительно воияло чесноком. Вас не затруднит положить меня на кровать? Полы в этих португальских тавернах — малоподходящее ложе для человека, который буквально помешан на чистоте.

Я поневоле восхищался хладнокровием этого разбойника, сохранившего свою наглую снисходительность, несмотря на внезапную перемену ролей. Я послал Папилета за коивоирами, а сам стоял над пленником с обнаженной саблей, ни на миг не спуская с него глаз, потому что, должен признаться, испытывал уважение к его смелости и находчивости.

— Надеюсь,— сказал он,— ваши люди будут обращаться со мной подобающим образом.

— Вы получите по заслугам, будьте уверены.

— Большого я и не прошу. Вероятно, вам неизвестно, какого я высокого происхождения, но обстоятельства таковы, что я не могу назвать своего отца, не совершив предательства, или свою мать, не опозорив ее. Я не могу требовать королевских почестей, подобные вещи гораздо приятней получать по доброй воле. Эти пути стянута слишком туго. Не будете ли вы любезны ослабить их?

— Вы, очевидно, не слишком высокого мнения о моем уме,— заметил я, повторяя его собственные слова.

— Туше¹! — воскликнул он, как раненый фехтовальщик. — Но вот и ваши люди, так что теперь вы можете без опасения ослабить веревки.

Я приказал сорвать с него облачение и держать его под надежной охраной. Так как уже брезжил рассвет, мне нужно было подумать, что предпринять дальше. Бедняга Барт вместе со своими людьми попал в хитро составленную ловушку, и если бы мы приняли все коварные предложения нашего советчика, в плену оказалась бы не половина, а все наши силы. Я должен, если это еще возможно, выволить англичан. И, кроме того, нужно подумать о старой графине Ла Ронда. Что же касается аббатства, то, поскольку его гарнизон на чеку, нечего и думать его захватить. Теперь все зависело от того, насколько они дорожат своим главарем. Исход игры решала эта единственная карта. И я сейчас расскажу вам, как смело и искусно я сыграл.

Едва рассвело, мой трубач протрубил сбор, и мы рысью выехали на равнину. Моего пленника везли верхом в

¹ Фехтовальный термин, означающий прикосновение оружия к противнику.

самой середине отряда. На расстоянии выстрела от главных ворот аббатства росло большое дерево, под которым мы и остановились. Если б они распахнули ворота и бросились в атаку, я бы им показал; но, как я и ожидал, они предпочли остаться в аббатстве и усеяли стену во всю длину, осыпая нас насмешками, гиканьем и презрительным хохотом. Некоторые выпалили раз-другой из ружей, но, убедившись, что мы вне выстрела, вскоре перестали попусту тратить порох. Странное это было зрелище — вся эта смесь французских, английских и португальских, кавалерийских, пехотных и артиллерийских мундиров, обладатели которых вертели головами и показывали нам кулаки.

Но клянусь, весь этот гвалт сразу смолк, едва мы разомкнули ряды и показали, кого привезли! На несколько секунд воцарилось молчание, а потом раздался яростный и тоскливый вой! Я видел, что некоторые, как безумные, прыгают по стене. Должно быть, он был необыкновенный человек, наш пленник, если вся шайка так любила его.

Я прихватил из таверны веревку, и теперь мы перекинули ее через нижний сук дерева.

— Позвольте мне, мсье, расстегнуть на вас воротник, — сказал Папилет с насмешливой почтительностью.

— Только при условии, если руки у вас безукоризненно чистые, — ответил наш пленник, и все мои гусары рассмеялись.

Со стены снова раздался вой, который сменился гробовым молчанием, когда петлю надели на шею маршала Одеклона. Потом пронзительно заиграла труба, ворота аббатства распахнулись, и оттуда выбежали трое, размахивая белыми тряпками. Ах, сердце мое так и подскочило от радости, когда я их увидел! И все же я не сделал ни одного шага им навстречу, так как хотел, чтобы они были единственной заинтересованной стороной. Я только велел своему трубачу махнуть в ответ платком, после чего три парламентера бегом подбежали к нам. Маршал, все еще связанный и с веревкой на шее, сидел в седле и слегка улыбался со скучающим видом, словно прятал свою скуку под этой улыбкой. Попади я сам в такое же положение, я не мог бы держаться лучше, а это, конечно, высшая похвала в моих устах.

Удивительную троицу составляли эти парламентареры. Один был португальский *саçador*¹ в черном мундире; второй — французский егерь в светло-зеленом; третий — здоровенный английский артиллерист в синем с золотом. Все трое отдали честь, после чего француз заговорил.

— В наших руках тридцать семь английских драгун, — заявил он. — Мы торжественно клянемся, что все они повиснут на стене аббатства через пять минут после смерти нашего маршала.

— Тридцать семь! — воскликнул я. — Но ведь их пятьдесят один человек!

— Четырнадцать было зарублено, прежде чем их успели взять под стражу.

— А офицер?

— Он согласился отдать свою шпагу лишь вместе с жизнью. Это не наша вина. Мы спасли бы его, если б могли.

Бедяга Барт! Я встречался с ним всего дважды, и все же он крепко мне полюбился. Я всегда хорошо относился к англичанам из уважения к этому единственному моему английскому другу. Никогда в жизни я не видел более храброго человека и скверного фехтовальщика.

Сами понимаете, я не поверил ни единому слову этих негодяев. Я послал с одним из них Папилета, и он, вернувшись, подтвердил, что все правда. Теперь надо было подумать о живых.

— Если я освобожу вашего главаря, отпустите ли вы тридцать семь драгун?

— Мы освободим десять.

— Вздернуть его! — приказал я.

— Двадцать! — крикнул егерь.

— Довольно слов, — сказал я. — Тяните веревку!

— Всех! — закричал парламентар, когда петля захлестнулась на горле маршала.

— С коиями и оружием?

Они поняли, что со мной шутки плохи.

— Со всем, что у них есть, — угрюмо буркнул егерь.

— И графиню Ла Ронда тоже? — спросил я.

¹ Стрелок (португальск.).

Но здесь я столкнулся с куда большим упорством. Никакие угрозы с моей стороны не могли заставить их отпустить графиню. Мы затянули петлю. Тронули с места лошадь. Сделали все, только не вздержали маршала. Если б я сломал ему шею, ничто не спасло бы драгуи. Поэтому я дорожил ею не меньше, чем они.

— Да позволено мне будет заметить, — учтиво сказал маршал, — что вы подвергаете меня риску схватить ангину. Не кажется ли вам, что, поскольку мнения по этому вопросу разделились, лучше всего будет узнать желание самой графини? Никто из нас, я уверен, не захочет действовать вопреки ее воле.

Лучшего нечего было и желать. Сам понимаете, я сразу ухватился за столь простое решение. Через десять минут она была уже перед нами, величественная дама, у которой из-под мантильи выглядывали седые буллы. Лицо у нее было совсем желтое, словно отражало бесчисленные дублоны ее состояния.

— Этот господин, — сказал маршал, — желает препроводить вас в такое место, где вы больше никогда нас не увидите. В вашей воле решить, отправитесь ли вы с ним или же предпочтете остаться со мной.

В один миг она очутилась у его стремени.

— Мой дорогой Алексис, — воскликнула она, — ничто не может нас разлучить!

Он взглянул на меня с насмешливой улыбкой на красном лице.

— Кстати, вы допустили маленькую оговорку, дорогой полковник, — сказал он. — Кроме титула, носимого в силу обычая, не существует никакой вдовы Ла Роида. Дама, которую я имею честь вам представить, — моя горячо любимая жена госпожа Алексис Морган — или вернее назвать ее мадам маршал Одеколон?

В этот миг я понял, что имею дело с самым умным и неразборчивым в средствах человеком, какого мне доводилось видеть. Я посмотрел на несчастную старуху, и душа моя исполнилась удивления и отвращения. А она, не отрываясь, смотрела на него с таким восторгом, с каким юный рекрут смотрел бы на императора.

— Что ж, пусть будет так, — сказал я наконец. — Отпустите драгуи, и я уйду.

Их привели вместе с лошадьми и оружием, и мы сшили петлю с шен маршала.

— До свидания, дорогой полковник, — сказал он. — Боюсь, что когда вы вернетесь к Массена, рапорт об исполнении его приказа окажется далеко не блестящим, хотя, насколько мне известно, у него будет слишком много забот, чтобы думать о вас. Готов признать, что вы выпутались из трудного положения с ловкостью, какой я не предполагал. Кажется, я ничего не могу для вас сделать, прежде чем вы покинете эти места?

— Только одно.

— Что же именно?

— Похоронить достойным образом молодого английского офицера и его людей.

— Обещаю вам.

— И еще одно.

— Говорите.

— Уделить мне пять минут с обнаженной саблей, верхом на коне.

— Ай-ай! — сказал он. — Ведь тогда мне придется либо пресечь вашу блестящую карьеру в самом начале, либо проститься навек со своей костлявой супругой. Право, неразумно обращаться с такой просьбой к человеку, которому предстоит медовый месяц.

Я собрал своих кавалеристов и построил их в колонну.

— Прощайте! — воскликнул я, помахав ему саблей. — В следующий раз вы от меня так легко не ускользнете.

— Прощайте, — отвечал он. — Когда вам надоест император, для вас всегда найдется местечко на службе у маршала Одеколона.

VI

КАК БРИГАДИР ПЫТАЛСЯ ВЫИГРАТЬ ГЕРМАНИЮ

Мне иногда кажется, что кое-кто из вас, послушав, как я рассказываю о своих скромных приключениях, уходит отсюда с мыслью, что я тщеславен. Невозможно ошибиться более жестоко, ибо я замечал, что на-

стоящие солдаты всегда свободны от этого недостатка. Да, мне действительно порой приходилось изображать себя храбрым, порой — необычайно изобретательным и всегда на редкость интересным человеком, но ведь так оно и было на самом деле, и я должен преподнести факты, как они есть. Было бы недостойным жеманством, если б я стал отрицать, что моя карьера всегда была блестящей. Но сегодня я расскажу вам о таком случае, о котором можно услышать лишь от человека, чуждого тщеславия. В конце концов офицер, достигший моего положения, может позволить себе говорить о том, о чем простой смертный предпочел бы умолчать.

Итак, да будет вам известно, что после русской кампании остатки нашей несчастной армии были размещены на западном берегу Эльбы, где люди отогрели свою заледеневшую кровь и старались с помощью доброго немецкого пива нарастить на костях хоть немного мяса. Конечно, многого мы лишились безвозвратно, потому что, доложу я вам, три больших обозных фургона не свезли бы все пальцы рук и ног, которые наша армия потеряла во время отступления. И все же, отошавшие и искалеченные, мы горячо благодарили бога, когда вспоминали о наших бедных товарищах, которых оставили там, и о заснеженных полях — ах, эти ужасные, ужасные поля! По сей день, друзья мои, я не могу видеть рядом два цвета — красный и белый. Стоит мне увидеть мою красную фуражку на чем-нибудь белом, мне всю ночь снятся эти жуткие равнины, измученная, едва бредущая армия и алые пятна, которые сверкали на снегу позади нас. Не просите меня рассказать об этом, потому что при одном воспоминании о тех временах вино превращается для меня в уксус, а табак — в солому.

От полумиллионной армии, которая перешла Эльбу осенью двенадцатого года, к весне тринадцатого осталось всего около сорока тысяч пехоты. Но они были страшны, эти сорок тысяч: железные люди, которые ели конину и спали на снегу; к тому же они были пренеполнены лютой ненависти к русским. Они продержались бы на Эльбе, покуда новая могучая армия, которую император собирал во Франции, помогла бы им перейти ее вновь.

Но кавалерия была в жалком состоянии. Гусар моего полка разместили в Борна, и, когда я в первый раз выстроил их, из глаз у меня потекли слезы. Ах, мои храбрецы и их добрые кони... Сердце мое разрывалось, когда я видел, в каком они состоянии. «Мужайся,— сказал я себе тогда,— они потеряли многое, но их любимый полковник с ними». И я принялся за дело, привел их в божеский вид и уже сколотил два хороших эскадрона, когда пришел приказ всем кавалерийским полковникам немедленно отправляться во Францию, в полковые учебные лагеря, чтобы подготовить новобранцев и запасных лошадей для новой кампании.

Вы, без сомнения, подумаете, что я до смерти обрадовался случаю снова побывать на родине. Не стану отрицать, что меня обрадовала возможность свидеться с матушкой, да и некоторым девицам было бы приятно такое известие; но в армии я был нужнее. Я охотно уступил бы свое место тем, у кого были жены и дети, которых им, возможно, не придется больше увидеть. Однако какие могут быть рассуждения, когда получаешь голубую бумагу с маленькой красной печатью, и через час я уже отправился в долгий путь от Эльбы к Вогезам. Наконец для меня наступили спокойные времена. Война осталась за хвостом моей лошади, а перед ее мордой лежали мирные края. Так думал я, когда звуки труб замерли вдали и впереди зазмеилась длинная белая дорога, которая шла через равнины, леса и горы, и где-то там, за голубой дымкой на горизонте, раскинулась Франция.

Интересно, но в то же время утомительно ехать через армейские тылы. Во время сбора урожая наши солдаты отлично обходились без припасов, так как были приучены собирать зерно в полях, через которые проходили, и молотить его собственными руками на привалах. В такое время года и совершались те молниеносные броски, повергавшие Европу в изумление и ужас. Но теперь изголодавшимся людям надо было окрепнуть, и мне приходилось то и дело сворачивать в канаву, так как по дороге сплошным потоком двигались гобургские овцы и баварские волы тащили фургоны, груженные берлинским пивом и добрым французским коньяком. Кроме того, порой я слышал отрывистый грохот бараба-

нов и пронзительный свист дудок, и мимо меня маршировали длинные колонны наших молодцов-пехотников в синих мундирах, выбеленных густым слоем пыли. Это были старые солдаты, набранные из гарнизонов наших крепостей в Германии, потому что новобранцы из Франции начали прибывать только в мае.

Ну, мне порядком надоело без конца останавливаться да сворачивать с дороги, и я был рад, когда добрался до Альтенбурга и увидел распутье, позволявшее мне свернуть на южную, менее оживленную дорогу. До самого Грейца мне почти никто не встретился, и дорога шла через дубравы и буковые рощи, так что ветки висели прямо над головой. Вам показалось бы странным, что гусарский полковник то и дело останавливает коня и любуется красотой пушистых ветвей и едва распустившихся зеленых листочков, но если б вам довелось полгода пробыть среди русских елей, вы бы меня поняли.

Однако было вокруг и нечто такое, что радовало меня куда меньше, чем красота природы, — слова и взгляды людей в деревнях, затерянных среди лесов. С немцами мы всегда были в самых добрых отношениях, и за последние шесть лет они как будто не питали к нам никакой злобы за то, что мы несколько вольно распоряжались их страной. Мы были добры к мужчинам, а женщины были добры к нам, так что милая, уютная Германия стала для нас как бы второй родиной. Но теперь в поведении людей появилось что-то такое, чего я не мог понять. Встречные не отвечали на мои приветствия; лесники отворачивались, избегая моих взглядов, а в деревнях люди собирались кучками на дороге и неприязненно глядели мне вслед. Так поступали даже женщины, а в те дни я не привык видеть в женских глазах, устремленных на меня, что-нибудь, кроме улыбки.

Особенно остро я почувствовал это в деревне Шмолли, всего в десяти милях от Альтенбурга. Я остановился на маленьком заезжем дворе, чтобы промочить горло и выполоскать пыль из глотки бедной Фалки. Я имел обыкновенно в таких случаях говорить комплимент девушке, которая мне прислуживала, а то и сорвать у нее поцелуй, но эта не желала ни того,

ни другого, а произила меня взглядом, как штыком. Когда же я поднял стакан за здоровье людей, которые пили пиво у двери, все они повернулись ко мне спиной, кроме одного, который воскликнул: «За вас, ребята! За букву «Т»!» При этом все осушили свои кружки и засмеялись, но смех их был совсем не дружелюбным.

Я недоумевал и никак не мог взять в толк, что означает их грубое поведение, а когда выехал из деревни, увидел большое «Т», совсем недавно вырезанное на дереве. В то утро я видел эту букву уже не раз, но не обращал на нее внимания, однако после слов этого малого в пивной понял, что тут дело нечисто. Мимо как раз проезжал почтенного вида человек, и я решил расспросить его.

— Не скажете ли мне, почтеннейший, что означает эта буква «Т»? — спросил я.

Он как-то странно посмотрел на нее, потом на меня.

— Молодой человек, — сказал он, — «Т» — это совсем не то, что «Н».

Я не успел и рта раскрыть, как он дал лошади шпоры и во весь дух поскакал дальше.

Его слова поначалу не произвели на меня особого впечатления, но когда я рысью поехал дальше, Филка слегка повернула свою красивую голову, и в глаза мне бросилась медная сверкающая буква «Н» на уздечке. Это был инициал императора. А «Т» означало нечто обратное. Значит, за время нашего отсутствия в Германии что-то произошло, спящий гигант зашевелился. Я вспомнил злобные лица, которые видел по пути, и почувствовал, что если б я мог заглянуть в сердца этих людей, то привез бы во Францию странные вести. Тут мне еще больше захотелось поскорей получить запасных лошадей и увидеть за собой десять боевых эскадронов, скачущих под гром литавр.

Пока эти мысли мелькали у меня в голове, я переходил с шага на рысь, а потом снова на шаг, как делает путник, которому предстоит дальняя дорога, поберегая резвую лошадь. Леса в тех местах редкие, но в одном месте у дороги лежала куча валежника; когда я проезжал мимо, оттуда раздался крик, и я, оглянувшись, увидел лицо, смотрящее на меня, — красное, разгоряченное лицо, какое бывает у сильно взвол-

иованного человека. Приглядевшись, я узнал того самого путника, с которым час назад разговаривал в деревне.

— Приблизьтесь! — прошептал он. — Еще ближе! А теперь сойдите с коня и сделайте вид, будто поправляете стремя. Возможно, за нами следят, а если они узнают, что я вам помог, меня убьют.

— Убьют! — прошептал я. — Но кто?

— Tugendbund¹. Ночные мстители Лутцова. Вы, французы, сидите на пороховой бочке, и уже наготове спичка, чтобы поджечь порох.

— Как странно, — сказал я, делая вид, будто поправляю сбрую у лошади. — А что это такое — Tugendbund?

— Это — тайное общество, которое замыслило поднять большое восстание и выгнать вас из Германии, как выгнали из России.

— И что же означают эти буквы «Т»?

— Это условный знак. Мне следовало рассказать вам все еще в деревне, но я боялся, как бы там не увидели, что я с вами разговариваю. Поэтому я поскакал напрямик через лес, чтобы опередить вас, спрятал лошадь и спрятался сам.

— Я вам бесконечно обязан, — сказал я, — тем более что вы единственный из всех немцев, которых я встретил за сегодняшний день, отнеслись ко мне с вежливостью, какой требует простое приличие.

— Все, что у меня есть, я приобрел благодаря поставкам для французской армии, — сказал он. — Ваш император относился ко мне, как к другу. А теперь, прошу вас, поезжайте, мы и так уже слишком долго разговариваем. Но смотрите остерегайтесь ночных мстителей Лутцова!

— Это бандиты? — спросил я.

— Это лучшие люди Германии, — отвечал он. — Но, бога ради, поезжайте, я и так рисковал жизнью и своим добрым именем, чтобы вас предостеречь.

Что ж, если меня и раньше одолевали невеселые мысли, то можете себе представить, что я почувствовал после этого странного разговора с человеком, спря-

¹ Союз добродетели (нем.).

тавшимися в куче валежника. Его дрожащий, прерывистый голос, перекошенное лицо, глаза, которые так и шныряли по сторонам, и непркрытый страх, охватывавший его всякий раз, как хрустнет ветка, произвели на меня еще большее впечатление, чем его слова. Ясно было, что он перепуган насмерть, и, очевидно, не без причины, потому что вскоре после того, как мы расстались, я услышал где-то далеко позади выстрел и крик. Может быть, это просто какой-нибудь охотник звал своих собак, но я никогда больше не видел человека, предупредившего меня об опасности, и не слышал о нем.

Теперь я был начеку и быстро проезжал открытые места, зато придерживал лошадь там, где могла оказаться засада. Дело было нешуточное, потому что впереди лежали добрых пятьсот миль немецкой земли. И все же я не принимал все это слишком близко к сердцу, потому что немцы всегда казались мне милыми, добродушными людьми, которые куда охотнее держат в руках чубук трубки, чем рукоятку сабли,— не из-за недостатка мужества, как вы понимаете, но потому, что у них беззлобные, открытые сердца и они предпочитают жить в мире со всеми. В то время я не знал, что под приветливой внешностью таится дьявольская злоба, столь же лютая и еще более упорная, чем у кастильца или итальянца.

В скором времени я убедился, что мне грозит нечто более серьезное, чем грубые слова и недружелюбные взгляды. Дорога начала подниматься вверх через безлюдную вересковую пустошь, а дальше исчезала в дубовой роще. Я поднялся примерно до половины склона и вдруг, взглянув вперед, увидел что-то блестящее в тени стволов, а потом на дорогу вышел человек в плаще, сплошь расшитом и изукрашенном золотом, которое сверкало на солнце, как огонь. Он, видимо, был сильно пьян, так как шатался и спотыкался, направляясь ко мне. Одной рукой он прижимал около уха конец большого красного платка, повязанного на шее.

Я остановил лошадь и смотрел на него не без отвращения, так как мне показалось странным, что человек в такой великолепной одежде разгуливает в подобном состоянии среди бела дня. А он не сводил с меня глаз и

медленно шел вперед, время от времени останавливаясь и покачиваясь из стороны в сторону. Я уже было снова тронулся с места, как вдруг он громко возблагодарил Христа и, пошатнувшись, со стуком упал ничком на пыльную дорогу. При этом он простер руки вперед, и я увидел, что на шее у него вовсе не красный платок, а огромная зияющая рана, из которой на плечо свисал, как эполет, кусок кожи, покрытый темной запекшейся кровью.

— Боже мой! — воскликнул я, бросаясь к нему на помощь. — А я-то принял вас за пьяного!

— Я не пьян, я умираю, — сказал он. — Но благодарение господу, я встретил французского офицера, пока у меня еще есть силы говорить.

Я уложил его среди вереска и влил ему в рот немного коньяку. Вокруг нас раскинулась мирная зеленая равнина, и, сколько хватал глаз, нигде не было ни души, кроме искалеченного человека рядом со мной.

— Кто это сделал? — спросил я. — И откуда вы? Вы француз, но ваш мундир мне незнаком.

— Это мундир новой императорской почетной гвардии. Я маркиз Шато Сент-Арно, девятый в этом роду, который отдал свою жизнь ради Франции. За мной гнались ночные мстители Лутцова и ранили меня, но я спрятался вон там в кустарнике и ждал, надеясь, что мимо проедет француз. Сначала я не был уверен, друг вы или враг, но чувствовал, что смерть моя близка и надо рискнуть.

— Не теряй мужества, товарищ, — сказал я. — Мне довелось однажды видеть человека с куда более тяжелой раной, но он остался в живых и потом даже щеголял ею.

— Нет, нет, — прошептал он. — Мои минуты сочтены. — С этими словами он взял меня за руку, и я увидел, что ногти у него уже синеют. — Но у меня на груди бумаги, которые вы должны немедленно доставить князю Сакс-Фельштейну в его замок Гоф. Он еще сохраняет нам верность, но княгиня — наш заклятый враг. Она хочет заставить его заявить во всеуслышанье, что он тоже против нас. Если он это сделает, все колеблющиеся примкнут к нему, потому что он племянник прусского и двоюродный брат баварского короля. Эти бума-



«Подвиги бригадира Жерара»



«Подвиги бригады Жерара»

ги, если только они попадут к нему в руки прежде чем он сделает решительный шаг, удержат его от этого. Вручите их ему сегодня же вечером, и, быть может, вы сохраните этим для императора всю Германию. Если бы подо мной не убили коня, я бы и раненый....— Он запнулся, его холодеющая рука сильнее сжала мои пальцы, отчего они стали такими же бескровными, как и его. Потом он застоял, голова его запрокинулась, и он испустил дух.

Что ж, я неплохо начал свой путь на родину. Мне передали поручение, о котором я, в сущности, ничего не знал, но, по-видимому, оно было очень важно, и пренебречь им я никак не мог, хотя оно несколько задерживало меня. Я расстегнул муфту маркиза, великолепие которого, по замыслу императора, должно было привлечь молодых аристократов, из которых он надеялся сформировать новые полки своей гвардии. Из внутреннего кармана я извлек небольшой пакет, перевязанный шелковой лентой и адресованный князю Сакс-Фельштейну. В углу размашистым небрежным почерком — я сразу узнал руку императора — было написано: «Срочно и чрезвычайно важно». Эти четыре слова были для меня равносильны приказу, точно его произнесли твердые губы и в глаза мне глянули холодные серые глаза. Мои гусары подождут лошадей, мертвый маркиз пускай лежит среди вереска, где я его оставил, но, если только мы с моей лошадкой не протянем ноги, бумаги будут доставлены князю сегодня же вечером.

Я не боялся скакать по лесной дороге, так как в Испании убедился, что ехать через местность, где действуют партизаны, всего безопаснее сразу после их налета, а всего опаснее — когда вокруг тихо и мирно. Однако, справившись по карте, увидел, что Гоф расположен к югу от меня и кратчайший путь туда лежит по краю болот. Поэтому я свернул к болотам и не проехал и пятидесяти шагов, как в кустах раздался два выстрела, и пуля, пущенная из карабина, прожужжала возле моей головы, как пчела. Было ясно, что ночные мстители действуют более дерзко, чем разбойники в Испании, и, если я не сверну с дороги, моя миссия закончится недалеко от того места, где началась.

Да, это была безумная скачка: я отпустил поводья и неסה, утопая до самой подпруги в вереске и дроке, вниз с крутых холмов, через кусты, вверив целость своей шен моей мнлой Фналке. А она... Она ни разу не оступилась, не поскользнулась и скакала так быстро и уверенно, словно знала, что ее хозяин везет под ментиком судьбу всей Германии. Ну, а я... Я давно уже прослыл лучшим наездником во всех шести бригадах легкой кавалерии, но никогда еще я не скакал так, как в тот день. Мой друг Барт рассказывал мне, как у них в Англии охотятся на лисиц, но я настиг бы самую быстроногую лису. Дикне голуби у меня над головой не летели так прямо, как мчались мы с Фналкой. Как офицер, я всегда был готов пожертвовать собой ради своих солдат, хотя император не похвалил бы меня за это, так как солдат у него было много, но только один... ну, словом, первоклассных кавалерийских командиров можно сосчитать по пальцам.

Но у меня была цель, которая стоила жертвы, и я заботился о своей жизни не больше, чем о комьях земли, летевших из-под копыт моей лошади.

Уже темнело, когда я снова выехал на дорогу и поскакал к деревушке Лобенштейн. Но едва я очутился на мощенной булыжником дороге, как у моей лошади отлетела подкова, и пришлось вести ее в деревенскую кузницу. Горн там был уже погашен, кузнец кончил работу, и я понял, что пройдет не меньше часа, прежде чем я смогу отправиться в Гоф. Проклиная задержку, я пешком пошел на постоялый двор и заказал на обед холодного цыпленка и вина. Гоф был всего в нескольких милях от этой деревни, и я мог надеяться, что мне еще до наступления ночи удастся доставить бумаги князю, а утром отправиться во Францию, везя на груди письма к императору. А теперь послушайте, что произошло со мной на постоялом дворе в Лобенштейне.

Принесли цыпленка и вино, и я после бешеной скачки жадно набросился на них, как вдруг услышал в прихожей, у самой своей двери, невинные голоса и шум. Сначала я подумал, что это крестьяне перессорились за стаканом вина, и предоставил им самим улаживать свои дела. Но вдруг сквозь угрюмое, низкое гудение

голосов до моих ушей долетел звук, который поднял бы Этьена Жерара с одра смерти. Это был горестный женский плач. Нож и вилка со звоном полетели на пол, и в мгновение ока я очутился в гуще толпы, которая собралась за дверью.

Там был толстомордый хозяин и его белобрысая жена, два конюха, горничная и несколько крестьян. Все они, женщины и мужчины, были красные и злые, а среди них, бледная, с глазами полным ужаса, но с гордо поднятой головой, стояла самая прелестная женщина, какую когда-либо видел Этьен Жерар. Среди этих людей с грубыми, низменными лицами она казалась существом иной расы. Едва я показался на пороге своей комнаты, она рванулась мне навстречу, схватила меня за руку и синие глаза ее засняли радостью и торжеством.

— Французский офицер и благородный человек! — воскликнула она. — Теперь мне нечего бояться!

— Да, мадам, вам нечего бояться, — сказал я и, не удержавшись, взял ее за руку, чтобы ободрить. — Вам стоит только приказать, я в вашем распоряжении, — добавил я, целуя ей руку в знак того, что мне можно верить.

— Я полька! — воскликнула она. — Графиня Палотта. Они набросились на меня за то, что я люблю французов. Не знаю, что со мной стало бы, если б небо не послало мне спасителя в вашем лице.

Я снова поцеловал ей руку, дабы у нее не осталось сомнений в моих намерениях. Потом повернулся к толпе с тем выражением, которое я так хорошо умею придавать своему лицу. Вмиг прихожая опустела.

— Графиня, — сказал я, — теперь вы под моей защитой. Вы ослабели, и стакан вина просто необходим вам для подкрепления сил.

Я предложил ей руку и отвел ее в свою комнату, где она села рядом со мной за стол и подкрепилась едой и вином, которые я ей предложил.

Как она расцвела в моем присутствии, эта женщина, совсем как цветок под лучами солнца! Она осветила всю комнату своей красотой. Должно быть, она прочла восхищение в моих глазах, и мне казалось, что я тоже ей безразличен. Ах, друзья мои, я был не по-

следним из мужчин, когда мне едва перевалило за тридцать. Во всей легкой кавалерии трудно было сыскать вторые такие бакенбарды. У Мюрата они, пожалуй, были подлиннее, но лучшие знатоки соглашались, что у него они чуть-чуть слишком длинны. И, кроме того, я умел нравиться. К одним женщинам нужен такой подход, к другим — этакий, так же как при осаде города в плохую погоду нужны фашины и габионы¹, а в хорошую — траншеи. Но мужчина, который умеет сочетать натиск и робкую нежность, который может быть ненастоящим и в то же время кротким, самонадеянным и почтительным, именно такой мужчина наводит ужас на матерей. Я чувствовал себя покровителем одинокой женщины и, зная, какой я опасный человек, строго следил за собой. Но даже у покровителя есть привилегии, и я не преминул ими воспользоваться.

Голос у нее был такой же чарующий, как и лицо. В коротких словах она объяснила, что едет в Польшу, до сих пор ее сопровождал брат, но он заболел в дороге и слег. Местные жители не раз проявляли к ней враждебность, потому что она не могла скрыть свою симпатию к французам. Когда она кончила рассказывать про свои злоключения, разговор зашел обо мне и о моих подвигах. Оказалось, что она слышала о них, так как знала нескольких офицеров Понятовского и они рассказывали о моих славных делах. Но она жаждала услышать обо всем из моих собственных уст. Никогда еще не вел я столь приятной беседы. Большинство женщин совершает ошибку, слишком много говоря о себе, но эта слушала меня так, как вот сейчас слушаете вы, и просила рассказывать еще и еще. Незаметно проходил час за часом, и вдруг я с ужасом услышал, что часы на деревенской колокольне пробили одиннадцать, и спохватился, что на целых четыре часа забыл об интересах императора.

— Простите меня, дорогая мадам! — воскликнул я, вскакивая со стула. — Но я должен немедленно ехать в Гоф.

¹ Ф а ш и н ы — связки хвороста, применяемые саперами при бездорожье. Г а б и о н ы — ящики из проволоочной сетки, засыпанные щебенкой и используемые для строительства укреплений.

Она встала и посмотрела на меня с выраженным упреком на бледном лице.

— А как же я? — спросила она. — Что будет со мной?

— Дело касается императора. Я и так задержался здесь слишком долго. Мой долг призывает меня, и я должен ехать.

— Должны ехать? А меня хотите бросить одну среди этих дикарей? Ах, зачем я вас встретила! Зачем вы внушили мне мысль, что я могу положиться на вашу сильную руку!

Ее глаза заблестели, и она, рыдая, бросилась мне на грудь.

Да, это была нелегкая минута для покровителя! Молодому офицеру пришлось зорко следить за собой. Но я оказался на высоте. Я гладил ее пышные каштановые волосы и шептал ей на ухо все утешения, какие только мог придумать, — правда, при этом я обвинял ее одной рукой, но это было необходимо, чтобы она не упала в обморок. Она обратила ко мне залитое слезами лицо.

— Воды, — прошептала она. — Ради бога, воды!

Я видел, что еще мгновение, и она лишится чувств. Голова ее поникла, и я, уложив ее на кушетку, бросился из комнаты искать графин с водой. Прошло несколько минут, прежде чем я нашел его и поспешил назад. Представьте же себе мои чувства, когда я увидел, что комната пуста и женщина исчезла.

Исчезла не только она сама, но и ее шляпка и отделанный серебром хлыст, лежавший на столе. Я выбежал в коридор и стал громко звать хозяйню. Он ничего не знал, никогда раньше не видел этой женщины и рад бы никогда больше ее не увидеть. А крестьяне, стоявшие у дверей, — не видели ли они, чтобы кто-нибудь укакал? Нет, никого не видели. Я шарил повсюду, а потом вдруг случайно взглянул в зеркало, и тут глаза у меня полезли на лоб и я разинул рот так широко, что чуть не оборвал ремешок своего кивера.

Все четыре пуговицы на моем ментике были расстегнуты, и, даже не ощупывая мундир у себя на груди, я понял, что драгоценные бумаги исчезли. О глубина лу-

кавства, таящегося в женском сердце! Она обокрала меня, обокрала в тот самый миг, когда прильнула к моей груди. Пока я гладил ее по волосам и шептал ей на ухо утешения, ее руки шарили под моим доломаном. И вот теперь, когда я почти у цели, мне невозможно исполнить поручение, которое уже стоило жизни одному хорошему человеку и теперь, как видно, будет стоить другому чести. Что скажет император, когда услышит, что я потерял его письма? Поверит ли армия, узнав, что Этьен Жерар способен на такое? А когда станет известно, что женская рука похитила их у меня, то-то будет смеху за офицерскими столами и вокруг бивачных костров! От отчаяния я готов был упасть и кататься по земле.

Но одно было несомненно: весь этот шум в прихожей и травля мнимой графини были разыграны нарочно от начала до конца. Этот негодяй хозяин, без сомнения, посвящен в заговор. У него и нужно выпытать, кто она такая и куда делись похищенные бумаги. Я схватил со стола саблю и выбежал искать его. Но негодяй предвидел это и приготовился к встрече. Я отыскал его в углу двора — он стоял с ружьем в руках, а рядом его сын держал на поводке здоровенного мастифа. По обе стороны от них стояли два конюха с вилами, а сзади жена держала большой фонарь, чтоб удобней было целиться.

— Уезжайте, слышите, уезжайте отсюда! — крикнул он сиплым голосом. — Ваша лошадь у ворот, и никто не станет вас задерживать. А ежели хотите драться, вам придется одному выйти против троих храбрецов.

Я опасался только пса, потому что обе пары вил и ружье дрожали в их руках, как ветки на ветру. Но я рассудил, что если даже и вырву ответ, приставив острие сабли к горлу этого негодяя, у меня все равно не будет возможности проверить, правду ли он сказал. А раз так, в этой борьбе я могу многое потерять и ничего наверняка не выиграю. Поэтому я окинул их взглядом, от которого их дурацкое оружие задрожало еще больше, а затем, вскочив в седло, поскакал прочь, и произительный смех хозяйки долго еще раздавался у меня в ушах.

Я уже решил, что делать. Хоть я и потерял бумаги, но об их содержании нетрудно было догадаться, и я сам

скажу все князю Сакс-Фельштейну, как будто император уполномочил меня. Это был смелый ход и довольно опасный к тому же, но если я зайду слишком далеко, то впоследствии меня можно дезавуировать. Все или ничего, а поскольку на кон поставлена вся Германия, игру нельзя проиграть, если мужество одного человека может решить ее исход.

Я въехал в Гоф за полночь, но все окна были ярко освещены, что уже само по себе свидетельствовало в этой сонной стране о лихорадочном возбуждении жителей. Проезжая по людным улицам, я слышал улюлюканье и насмешки, а один раз мимо моей головы просвистел камень, но я продолжал путь как ни в чем не бывало, шагом, пока не доехал до дворца. Он был освещен сверху донизу, и темные тени, мелькавшие в желтом зареве света, выдавали переполох, который поднялся внутри. У ворот я отдал лошадь конюху, вошел и с важностью, приличествующей посланнику, заявил, что мне необходимо видеть князя по делу, не терпящему отлагательства.

Прихожая была пуста, но, войдя, я услышал гул множества голосов, который сразу смолк, как только я громко объявил о цели своего прибытия. Значит, там было какое-то собрание, и чутье подсказывало мне, что оно должно решить роковой вопрос войны или мира. Возможно, я еще не опоздал и перевесит чаша весов, на которой лежат интересы императора и Франции. Дворецкий, бросив злобный взгляд исподлобья, провел меня в маленькую комнату рядом с прихожей и скрылся. Через минуту он вернулся и сказал, что князя сейчас беспокоить нельзя и меня примет княгиня.

Княгиня! Что толку с ней разговаривать? Разве меня не предупредили, что она душой и телом предана Германии и всячески старается настроить против нас своего мужа и всю страну!

— Я должен видеть князя, — сказал я.

— Нет, княгину, — раздался в дверях голос, и в комнату быстро вошла женщина. — Фон Розен, прошу вас, останьтесь. Итак, мсье, что вы имеете сообщить князю или княгине Сакс-Фельштейн?

При первых звуках ее голоса я вскочил на ноги. При первом взгляде на нее задрожал от ярости. Нет на све-

те второй такой статной фигуры, такой царственной голы, такх глаз, сних, как Гароина, н холодных, как ее воды в зимнюю пору.

— Время не ждет! — воскликнула она и нетерпеливо топнула ногой. — Что вы имеете мне сказать?

— Что я имею вам сказать? — повторил я. — Что могу я сказать, кроме того, что вы научили меня никогда больше не верить жеищине? Вы навеки погубили и опозорили меня.

Она, приподняв брови, взглянула на дворецкого.

— Что это, приступ горячки, или тут какая-нибудь более серьезная причина? — сказала она. — Мне кажется, небольшое кровопускание...

— Да, коварства вам не занимать! — воскликнул я. — Это вы уже доказали.

— Вы хотите сказать, что уже встречали меня?

— Я хочу сказать, что не далее как два часа назад вы меня обокрали.

— Ну, это уж слишком! — вскричала она, восхитительно разыграв возмущение. — Насколько я понимаю, вы претендуете на роль посланника, но и привилегии посланника имеют свои границы.

— Ваша дерзость восхитительна, — сказал я. — Но вашему высочеству не одурачить меня дважды за один вечер. — Я бросился к ней и, нагнувшись, схватил подол ее платья. — Вам следовало бы переодеться после такого долгого и спешного путешествия.

Ее белые, как слоновая кость, щеки мгновению вспыхнули, словно блики зари зангнали на снеговой вершине горы.

— Какая наглость! — воскликнула она. — Позвать сюда стражу, и пускай его вышвырнут вон из дворца.

— Не ранее, чем я увижу князя.

— Вы его никогда не увидите... Ах! Держите его, фон Розен, держите же!

Но она забыла, с кем имеет дело: я был бы не я, если б стал дожидаться, пока они кланут этих негодаев. Она поторопилась открыть карты. Ее ставка была не допустить меня к мужу. Моя — любой ценой поговорить с ним в открытую. Одним прыжком я выскочил за дверь. Вторым пересек прихожую. Еще мгновение — и я ворвался в большую залу, откуда слышался гул

голосов. В дальнем ее конце я увидел человека, сидевшего на высоком троне. Чуть пониже восседали в ряд какие-то важные сановники, а по обе стороны смутно виднелись головы множества людей. Я вышел на середину зала, держа под мышкой кивер и бряцая саблей.

— Я посланник императора! — воскликнул я. — У меня поручение к его высочеству князю Сакс-Фельштейну.

Человек на троне поднял голову, и я увидел, что лицо у него худое и осунувшееся, а спина сгорблена, словно ему взвалили на плечи непосильную ношу.

— Как ваше имя? — спросил он.

— Полковник Этьен Жерар, командир Третьего гусарского полка.

Все лица обратились ко мне, я услышал шуршанье множества воротников и выдержал множество взглядов, среди которых не было ни одного дружественного. Княгиня проскользнула мимо меня и принялась что-то нашептывать на ухо князю, то и дело качая головой и размахивая руками. Я же выпятил грудь и подкручивал усы, молодецки поглядывая вокруг. Там были одни мужчины — преподаватели из коллежа, несколько студентов, солдаты, дворяне, ремесленники, — и все хранили торжественное молчание. В одном углу сидели несколько человек в черном, на плечи у них были накинуты короткие плащи. Наклонившись друг к другу, они о чем-то шептались, и при каждом их движении я слышал звяканье сабель или шпор.

— Император известил меня личным письмом, что его бумаги доставит маркиз Шато Сент-Арно, — сказал князь.

— Маркиз злодейски убит, — отвечал я, и после этих слов в зале раздался гул. Я заметил, что многие головы повернулись к людям в черных плащах.

— А где же бумаги? — спросил князь.

— У меня их нет.

Тут поднялся невообразимый шум.

— Это шпион! Он просто прикидывается! — кричали все.

— Повесить его! — пробасил кто-то из угла, и еще десяток голосов подхватил эти слова. Я преспокойно до-

стал носовой платок и обмахнул пыль с меховой оторочки ментика. Князь поднял тонкие руки, и шум замер.

— Где в таком случае ваши верительные грамоты и что вам поручено передать?

— Мой муиндир — вот мои верительные грамоты, а то, что мне поручено, я скажу вам с глаза на глаз.

Он провел рукой по лбу, как делает слабый человек в полной растерянности. Княгиня стояла подле него, положив руку на спинку трона, и снова что-то шепнула ему.

— Здесь собрался на совет мои верные подданные, — сказал он. — У меня нет от них тайн, и что бы вам ни поручил передать император, в такую минуту это касается их не меньше, чем меня.

После этих слов раздались аплодисменты, и все взгляды снова устремились на меня. Честное слово, я оказался в нелегком положении, потому что одно дело разговаривать с тремя сотнями гусар, а другое — с этой публикой да еще на такую тему. Но я устремил глаза на князя и заговорил так, словно был с ним наедине, громовым голосом, каким обращался к своему полку на смотре.

— Вы не раз клялись в любви к императору! — загремел я. — И вот настал час испытания этой любви! Если вы сохраните твердость, он вознаградит вас так, как он один умеет вознаграждать. Для него ничего не стоит превратить князя в короля, а княжество — в королевство. Его взор устремлен на вас, вы бессильны ему повредить, но сами вы погибнете. В эту минуту он переходит Рейн с двухсоттысячной армией. Крепости по всей стране в его руках. Он будет здесь через неделю, и если вы его предадите, да помнует бог вас с княгиней и ваших подданных. Вы думаете, что он потерял свое могущество лишь потому, что кое-кто из нас обморозился прошлой зимой. Глядите! — воскликнул я, указывая на большую звезду, сиявшую в окне над головой князя. — Это звезда императора. Только когда она померкнет, померкнет и его слава, но не ранее.

Вы гордились бы мной, друзья мои, если бы видели меня тогда и слышали мои слова, потому что при этом

я забряцал саблей и так взмахнул доломаном, словно во дворе был построен мой полк. Меня слушали молча, но спина князя горбилась все больше и больше, будто бремя, давившее его, было сверх его сил. Он окниул залу беспомощным взглядом.

— Мы выслушали француза, говорившего от лица Франции, — сказал он. — Теперь пускай немец скажет от лица Германии.

Все переглянувшись и начали шептаться. Видно, моя речь произвела сильное впечатление, и никто не решался первым навлечь на себя гнев императора. Княгиня повела вокруг сверкающими глазами, и ее звонкий голос нарушил тишину.

— Неужели женщине придется отвечать французу? — вскричала она. — Неужели среди ночных мстителей Лутцова нет ни одного, кто так же хорошо владеет языком, как и саблей?

С грохотом опрокинулся стол, и на стул вскочил юноша. У него было вдохновенное лицо, бледное, неистовое, с дикими ястребиными глазами, и спутанные волосы. У пояса его висела сабля, а сапоги порыжелли от болотной грязи.

— Это Корнер! — закричали в зале. — Молодой Корнер, он поэт! Сейчас он будет петь!

И он запел! Сначала он тихо и мечтательно пел о древней Германии, матери народов, о плодородных, солнечных равнинах, о городах в серой дымке и о славе павших героев. Но вот каждый стих зазвучал, как зов трубы. Это была песнь о нынешней Германии, Германии, которую враги захватили врасплох и повергли ниц, но теперь она воспрянула вновь и срывает путы со своего гигантского тела. Нам ли дорожить жизнью? Нам ли страшиться славной смерти? Мать, великая мать зовет. Ее вздохи слышатся в шуме ночного ветра. Она со слезами кличет на помощь своих детей. Придут ли они? Придут ли? Придут ли?

Ах, эта ужасная песня, это вдохновенное лицо и звенящий, как струна, голос! Кто помнил теперь обо мне, и о Франции, и об императоре? Эти люди даже не закричали — они взвыли. Они вскочили на стулья и столы. Они неистовствовали, рыдали, слезы текли по их лицам. Корнер спрыгнул со стула, друзья обступили его,

потрясая обнаженными саблями. Бледное лицо князя вспыхнуло, и он встал с трона.

— Полковник Жерар,— сказал он,— вы слышали ответ и передадите его императору. Жребий брошен, дети мои. Ваш князь восторжествует или падет вместе с вами.

Он наклонил голову, давая понять, что совет окончен, и люди с криками устремились к двери, торопясь разнести новость по всему городу. Я же сделал все, что мог сделать храбрый человек, и не жалел, когда этот поток увлек и меня. Что мне было делать во дворце? Я получил ответ и должен передать его, каков бы он ни был. Я не хотел больше видеть ни Гоф, ни его жителей, пока не войду туда во главе нашего авангарда. Итак, я отвернулся от толпы и в угрюмом молчании пошел в ту сторону, куда конюх отвел мою лошадь.

У конюшни было темно, и я вглядывался, отыскивая конюха, как вдруг кто-то схватил меня сзади за обе руки. Я почувствовал, что мне стиснули запястья и горло, а возле уха ощутил холодок пистолетного ствола.

— Только пикни у меня, французский пес,— прошептал злобный голос.— Капитан, мы держим его.

— Есть у вас уздечка?

— Вот она.

— Накиньте ее ему на шею.

Я почувствовал у себя на шее холодное прикосновение ременной петли. Вышел конюх с фонарем и молча смотрел на нас. При тусклом свете фонаря я увидел суровые лица, которые со всех сторон выглядывали из темноты, черные фуражки и плащи ночных мстителей.

— Что вы намерены с ним сделать, капитан?— раздался голос.

— Повесить на воротах замка.

— Посланника?

— Посланника без верительных грамот.

— Но что скажет князь?

— Да разве ты не понимаешь, приятель, что тогда князю поневоле придется принять нашу сторону? Ему нечего будет и надеяться на прощенье. А так он хоть завт-

ра может переметнуться, как сделал сейчас. Свои слова он может взять назад, но после убийства гусара ему никак не оправдаться.

— Нет, нет, фон Стрелнц, это невозможно,— сказал другой голос.

— Невозможно? А вот сейчас увидите.— И тут за уздечку так дернул, что я еле устоял на ногах. В тот же миг сверкнула сабля и рассекла ремень в двух дюймах от моей шеи.

— Ей-богу, Корниер, это мятеж! — заорал капитан.— Это вам боком выйдет, черт вас подерн.

— Я обнажил саблю, чтобы стать солдатом, а не разбойником,— сказал молодой поэт.— Ее клинок может покрыть кровь, но не бесчестье. Друзья, неужели вы будете молча смотреть, как этого человека злодейски убивают?

С десяток сабель вылетело из ножен, и я понял, что силы моих друзей и врагов почти равные. Но злобные голоса и сверканье стали привлечь людей со всех сторон.

— Княгиня! — кричали они.— Княгиня идет!

И тут же я увидел ее прямо перед собой,— ее прелестное лицо выступало из темноты как на портрете. У меня были причины ее ненавидеть, потому что ей удалось одурачить меня, но все же восторг наполнял и до сих пор наполняет мне душу при мысли, что мои руки обнимали ее и я чувствовал запах ее волос. Не знаю, поконтся ли она теперь где-нибудь в немецкой земле или же, превратившись в седовласую старуху, еще живет в своем замке в Гофе, но она жива, молодая и красивая, в сердце и памяти Этьена Жерара.

— Стыд и срам! — вскричала она, бросаясь ко мне, и собственными руками сорвала петлю с моей шеи.— Вы сражаетесь за святое дело и хотите начать с такого богомерзкого поступка. Этот человек под моим покровительством, и тот, кто тронет хоть волос на его голове, будет держать ответ передо мной.

Под ее презрительным взглядом все они поспешили скрыться в темноте. Тогда она снова повернулась ко мне.

— Следуйте за мной, полковник Жерар,— сказала она.— Мне нужно поговорить с вами.

Я последовал за ней в ту же комнату, куда меня ввели с самого начала. Она закрыла дверь и посмотрела на меня с лукавым блеском в глазах.

— Видите, как я доверяю вам, оставаясь с вами наедине?— сказала она.— Прошу вас помнить, что перед вами княгиня Сакс-Фельштейн, а не бедная польская графиня Палотта.

— Каково бы ни было ваше имя,— отвечал я,— я помог женщине, думая, что она попала в беду, а в награду меня обокрали и едва не опозорили навеки.

— Полковник Жерар,— сказала она,— мы оба вели игру, и ставка была немалая. Вы, исполнив поручение, которое вам никогда не давали, доказали, что ради своей страны ни перед чем не остановитесь. Во мне бьется сердце немки, а в вас — сердце француза, и я тоже готова на все, даже на обман и кражу, только бы в этот решительный час помочь моей несчастной родине. Вы сами видите, как я с вами откровенна.

— Все, что вы говорите, я и без того знаю.

— Но теперь, когда игра окончена и я выиграла, почему мы должны питать друг к другу злобу? Уверяю вас, что если бы я попала в такое положение, в каком якобы очутилась на постоялом дворе в Лобеиштейне, я не желала бы встретить более храброго защитника, более преданного и благородного человека, чем полковник Этьен Жерар. Я никогда не думала, что могу испытывать такое расположение к французу, какое испытывала к вам в тот миг, когда тайком искала бумаги на вашей груди.

— И все-таки вы их взяли.

— Это было необходимо для меня и для Германии. Я знала, какие доводы там содержатся и какое действие они произвели бы на князя. Попади они только к нему в руки, все было бы потеряно.

— Но почему вы, ваше высочество, снизошли до таких уловок, когда два десятка разбойников, которые собирались повесить меня на воротах вашего замка, отлично справились бы с этим делом?

— Они не разбойники, а отпрыски благороднейших немецких родов! — воскликнула она с горячностью.— Если с вами грубо обошлись, не забывайте, каким уни-

жениям был подвергнут каждый немец, начиная с королевсы Пруссии и кончая последним простолюдином. А если хотите знать, почему вы не попали в засаду на дороге, да будет вам известно, что я выслала отряды во все стороны и ждала в Лобеиштейне донесения об успехе. Когда же вместо этого явились вы собственной персоной, я пришла в отчаяние, потому что на вашем пути к моему мужу стояла теперь только слабая женщина. Вы видите, в каком тупике я оказалась, когда решила прибегнуть к оружию своего пола.

— Признаюсь, вы победили меня, ваше высочество, и мне остается лишь удалиться, оставив поле боя за вами.

— Но прежде возьмите свои бумаги.— С этими словами она протянула мне пакет.— Князь перешел Рубикон, и ничто уже не может заставить его повернуть вспять. Верните их императору и скажите, что мы отказались их принять. Тогда никто не сможет упрекнуть вас в том, что вы потеряли императорское послание. Прощайте, полковник Жерар, и могу вам пожелать только одно — чтобы, добравшись до Франции, вы там и оставались. Не пройдет и года, как ни одному французу не будет места по эту сторону Рейна.

Вот как случилось, что я сыграл с княгиней Сакс-Фельштейн и ставкой была вся Германия, но, увы, я проиграл.

VII

КАК БРИГАДИР БЫЛ НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ

Герцог Тарентемский, или Макдональд, как его предпочитают звать старые друзья, был, насколько я понял, в прескверном настроении. Угрюмое лицо этого шотландца походило на одну из тех причудливых дверных колотушек, какие можно увидеть в предместье Сеи-Жермен. Как мы узнали позже, император как-то в шутку сказал, что послал бы его на юг против Веллингтона, но боится отпустить туда, где слышен звук во-

лынки. Мы с майором Шарпантье сразу увидели, что в нем так и клокочет ярость.

— Бригадир гусар Жерар,— сказал он тоном, каким капрал обращается к новобранцу.

Я отдал честь.

— Майор конных гренадеров Шарпантье.

Мой товарищ вытянулся, услышав свою фамилию.

— Император поручает вам важное дело.

Без дальнейших разговоров он распахнул дверь и доложил о нашем приходе.

На каждые десять раз, что я видел Наполеона верхом, приходился только один, когда он был пеший, и я полагаю, он поступал разумно, показываясь перед войсками на коне, потому что когда он в седле, на него можно залюбоваться. Теперь же перед нами стоял коротышка, на дюйм ниже любого из полдюжины мужчин, широкий в плечах,— правда, и сам я не такой уж рослый. Кроме того, бросалось в глаза, что туловище у него слишком длинное, а ноги короткие. Большая, круглая голова, поникшие плечи и гладко выбритое лицо делали его больше похожим на профессора Сорбонны, чем на первого полководца Франции. Конечно, о вкусах не спорят, но мне кажется, что если бы я мог прилепить ему пару добрых кавалерийских бакебард вроде моих, это ему не повредило бы. Однако у него был твердый рот и удивительные глаза. Однажды он устремил их на меня в гневе, и я скорей согласился бы проехать через вражеское поле на запаленной лошади, чем снова предстать перед ним в такую минуту. А ведь я не из робкого десятка.

Он стоял у стены, поодаль от окна, и рассматривал большую карту местности, висевшую на стене. Рядом стоял Бертье, пытаясь придать своему лицу умное выражение. Как раз когда мы вошли, Наполеон нетерпеливо вырвал у него из рук шпагу и указал ею что-то на карте. Он говорил быстро и тихо, но все же я расслышал: «Доллина Мёз»,— и еще он дважды повторил: «Берлин». Когда мы вошли, адъютант направился к нам, но император остановил его и кивком подозвал нас к себе.

— Вы еще не награждены почетным крестом, бригадир Жерар? — спросил он.

Я отвечал, что нет, и готов был уже присовокупить, что дело тут не в отсутствии заслуг с моей стороны, но он решительно, по своему обыкновению, оборвал меня.

— А вы, майор?

— Нет, ваше величество.

— В таком случае вам обоим предоставляется возможность его получить.

Он подвел нас к карте, висевшей на стене, и указал концом шпаги Бертье на Реймс.

— Господа, я буду с вами откровенен, как с боевыми товарищами. Ведь вы оба сражаетесь за меня со времени Маренго, не так ли? — У него была на редкость обаятельная улыбка, освещавшая его бледное лицо, словно холодное солнце. — Здесь, в Реймсе, сего числа, а именно четырнадцатого марта, находится наша ставка. Прекрасно. А вот Париж, до него по дороге добрых двадцать пять лиг. Армия Блюхера стоит к северу, Шварценберга — к югу.

Говоря это, он тыкал шпагой в карту.

— Так вот, — продолжал он, — чем дальше в глубь страны они зайдут, тем сокрушительней будет мой удар. Они вот-вот двинутся на Париж. Превосходно. Пускай. Мой брат, испанский король, встретит их там со столысячной армией. Я посылаю вас к нему. Вы вручите ему вот это письмо — я даю вам каждому по копии. Здесь сказано, что я подоспею к нему на помощь не позднее чем через два дня со всеми своими людьми, лошадьми и пушками. Я должен дать армии сорок восемь часов, чтобы прийти в себя. А потом прямо на Париж! Вы меня поняли, господа?

Ах, если б я мог передать вам, какой гордостью наполнилась моя душа, когда этот великий человек оказал мне такое доверие!

Когда он протянул нам письма, я щелкнул шпорамп и выпятил грудь, улыбаясь и кивая, дабы он видел, что я прекрасно понимаю его. Он тоже улыбулся и коснулся рукой меха на моем доломане. Я отдал бы половину своего невыплаченного жалованья, только бы моя матушка могла меня видеть в этот миг.

— Сейчас я покажу, каким путем вам ехать, — сказал он, снова оборачиваясь к карте. — Вы поедете вместе до Базоша. Там вы разделитесь: один направится

в Париж через Ульшн и Нейл, а другой — севернее, через Брен, Суассон и Сенли. Вы что-то хотите сказать, бригадир Жерар?

Я, конечно, простой солдат, но умею думать и выражать свои мысли. Я начал говорить о славе Францин и об опасности, грозящей ей, но он оборвал меня:

— А вы, майор Шарпантье?

— Если мы сочтем этот путь опасным, можем ли мы выбрать другой? — спросил он.

— Солдаты не выбирают, они повинуются.

Император наклонил голову, показывая, что не задерживает нас долее, и повернулся к Бертье. Я не слышал, что он сказал, но оба засмеялись.

Ну-с, как вы понимаете, мы, не теряя времени, собрались в дорогу. Через полчаса мы уже ехали по главной улице Реймса, а когда проезжали мимо собора, часы пробили двенадцать. Я ехал на Фиалке, той самой серой лошадке, которую Себастиани так хотел купить у меня после Дрездена. Это самая быстрая лошадь на все шесть бригад легкой кавалерии, и ее обскакал только английский рысак герцога Ровинго. А у Шарпантье была лошадь, на каких обычно ездят конные гренадеры или кирасиры: поверите ли, спина, как кровать, а ноги, как столбы. Да и сам он был довольно грузный малый, так что выглядели оба забавно. И все же он с ндотским самомнением подмигивал девушкам, которые махали мне платочками из окон, и закручивал свои безобразные рыжие усы чуть не до самых глаз, как будто не я, а он привлекал их внимание.

Выехав из города, мы миновали сначала позиции своих частей, а потом — поле вчерашней битвы, которое было усеяно трупами наших бедняг и русских. Но еще печальней выглядел наш лагерь. Армия буквально таяла. Гвардия еще ничего, хотя в недавно сформированных полках было много новобранцев. Артиллерия и тяжелая кавалерия тоже куда ни шло, будь их побольше, но пехотинцы и их младшие офицеры выглядели как школьники с учителями. А резервов у нас не было. И если учесть, что к северу от нас стояла восьмидесятитысячная армия пруссаков, а к югу — сто пятьдесят тысяч русских и австрийцев, то даже самый отчаянный храбрец мог прийти в уныние.

Признаться, я прослезился, но меня поддержала мысль, что император по-прежнему с нами, и не далее как сегодня утром он коснулся моего доломана и обещал наградить меня почетной медалью. Я даже запел и пришпоривал Фиалку до тех пор, покуда Шарпантье не взмолился пощадить его здоровенного верблюда, который храпел и тяжело водил боками. Дорога была вся разъезженная, вязкая, как тесто, и пушки выбили на ней колеи глубиной фута в два, так что Шарпантье был прав, говоря, что здесь неподходящее место скакать галопом.

Мы с этим Шарпантье никогда не были друзьями, и теперь за двадцать миль пути я не мог вытянуть из него ни слова. Он ехал, насупившись и опустив голову, как человек, погруженный в тяжкие думы. Я не раз спрашивал его, о чем он думает, полагая, что я пойму и разрешу его затруднения. Он неизменно отвечал, что думает о порученном ему деле, и это очень удивляло меня, потому что, хотя я никогда не был особенно высокого мнения о его уме, все же мне казалось невозможным, что такая простая боевая задача может привести человека в замешательство.

Наконец мы доехали до Базоша, откуда он должен был отправиться на юг, а я на север. Прежде чем расстаться со мной, он повернулся вполоборота в седле и посмотрел на меня странным, испытующим взглядом.

— Что вы об этом думаете, бригадир? — спросил он.

— О чем?

— О приказе императора.

— Да тут все яснее ясного.

— Вы так полагаете? А для чего императору понадобилось посвящать нас в свои планы?

— Он понял, что имеет дело с умными людьми.

Мой спутник засмеялся, и этот смех вывел меня из себя.

— А позвольте спросить, что вы намерены делать, если во всех этих деревнях окажутся пруссаки? — спросил он.

— Буду выполнять приказ.

— Но ведь вас убьют.

— Очень может статься.

Он снова засмеялся, да так вызывающе, что я слегка похлопал ладонью по эфесу сабл. Но прежде чем я успел высказать ему все, что я думаю о его глупости и грубости, он повернул лошадь и неуклюже поскакал на юг. Его высокая меховая шапка исчезла за вершиной холма, и я поехал своей дорогой, дивясь его поведению. Время от времени я прикладывал руку к груди и ощупывал письмо, шелестевшее у меня под мундиром. Ах, драгоценное письмо, вскоре оно превратится в маленькую серебряную медаль, о которой я столько мечтал! Весь путь от Брена до Сермуаза я думал о том, что скажет моя матушка, когда увидит ее.

Я остановился на заезжем дворе неподалеку от Суассона, у подножия холма, чтобы накормить Фналку. Вокруг росли старые дубы, и на них гнездилась такая уйма ворон, что я едва слышал собственный голос. От хозяйни я узнал, что два дня назад Мармон отступил и пруссаки перешли Эн. Через час, уже в сумерки, я увидел два их дозора на холме справа от себя, а когда совсем стемнело, на севере задрожало огромное зарево бивачных костров.

Услышав, что Блюхер там вот уже два дня, я очень удивился, как это император не знал, что местность, через которую он приказал мне взять столь важное письмо, уже занята противником. Но я вспомнил, каким тоном он сказал Шарпантье, что солдат не выбирает, а повинует. Я должен ехать так, как он мне приказал, пока Фналка в силах перебрыть ногами, а я — держать поводья. Весь путь от Сермуаза до Суассона дорога идет то вверх, то вниз, петляя среди еловых лесов, и я, держа пистолет наготове, а саблю у пояса, двигался быстро там, где дорога шла прямо, но придерживал лошадь на поворотах: делать так мы научились в Испании.

Когда я доехал до усадьбы, той, что справа от дороги, сразу, как переедешь деревянный мост через Крис, неподалеку от того места, где стоит большая статуя пресвятой девы, с поля меня окликнула какая-то женщина и предупредила, что в Суассоне пруссаки. Небольшой отряд их улан, сказала она, вступил туда не далее как сегодня вечером, а к полуночи

ождается целая бригада. Не дослушав, я дал Фиалке шпоры и через пять минут уже влетел галопом в город.

В начале главной улицы мне встретились трое улан. Их лошади были привязаны, а сами они о чем-то толковали между собой, и каждый курил трубку длиной с мою саблю. Я хорошо разглядел их при свете, падавшем из открытой двери, они же увидели только, как мимо мелькнул серый бок Фиалки и мой черныш, трепыхавшийся на ветру плащ. А через мгновение я уже мчался сквозь толпу, высыпавшую из открытых ворот. Одного Фиалка сшибла с ног, и он кубарем полетел на землю, другого я хотел зарубить, но промахнулся. «Бах! Бах!» — выпалили два карабина, но я уже завернул за угол и даже не услышал свиста пуль. Ах, мы оба были великолепны — и я и Фиалка! Она мчалась, как заяц, которого преследуют гоичие, искры так и сыпались у нее из-под копыт. Я привстал на стременах и размахивал саблей. Кто-то бросился мне наперерез и хотел схватить лошадь под уздцы. Я рубанул его по руке и услышал, как он взвыл у меня за спиной. За мной гнались два всадника. Одного я зарубил, а другого оставил далеко позади. Минуту спустя я уже вылетел из города и неся по широкой белой дороге, обсаженной по обеим сторонам осоками. Сначала я слышал позади стук копыт, но постепенно он становился все глуше, и я уже не мог отличить его от стука собственного сердца. Я остановился и внимательно прислушался, но все было тихо. Они прекратили погоню.

Первым делом я спешил и отвел свою лошадку в лесок, где журчал ручей. Там я напоил и обтер ее, дал ей два куска сахара, смочив их коньяком из флаги. Она была измучена после тяжелой скачки и просто чудом оправилась после получасового отдыха. Когда я снова сел в седло, то понял по ее упругому шагу, что не ее будет вина, если я не доберусь целым и невредимым до Парижа.

Теперь я, по-видимому, был глубоко во вражеском тылу, потому что слышал, как они, подвыпив, горлалят свои песни в доме у дороги, и свернул в поле, чтобы объехать этот дом стороной. В другой раз на лунный свет вышли какие-то двое (ночь тогда была безоблач-

ная) и что-то крикнули по-немецки, но я проскакал мимо, не обращая на них внимания, а стрелять они побоялись, потому что муидиры их гусар очень похожи на наши. В таких случаях лучше всего не обращать внимания на окрики, тогда тебя считают глухим.

Луна была удивительно красива, и деревья отбрасывали на дорогу черные тени, похожие на прутья решетки. Я видел все ясно, как днем, и пейзаж был совсем мирный, только где-то на севере бушевал пожар. Я знал, что спереди и сзади меня подстерегает опасность, и когда в ночной тишине смотрел на зарево этого далекого, огромного пожара, то испытывал волнение и благоговейный страх. Но я не привык унывать, потому что мне на моем веку довелось повидать много удивительного, и я только мурлыкал под нос песенку да думал о Лизетте, с которой надеялся встретиться в Париже. Мои мысли были поглощены ею, когда вдруг за поворотом я наскочил прямо на шестерых немецких драгун, которые расположились у самой дороги вокруг костра.

Я прекрасный солдат. Говорю это не из тщеславия, а потому что это истинная правда. Я могу в один миг взвесить все за и против и принять решение, словно размышлял целую неделю. И вот теперь я с быстротой молнии сообразил, что погони никак не избежать, а лошадь моя уже проскакала целых двенадцать лиг. Но лучше при этом скакать вперед, чем назад. В эту луниую ночь, спасаясь от преследователей, под которыми свежие лошади, я все равно подвергнусь большому риску; если же мне удастся от них уйти, лучше пускай это произойдет близ Сеили, а не близ Суассона.

Все эти мысли, знаете ли, осенили меня как бы по наитию. Я едва скользнул взглядом по бородатым лицам под медными шлемами, а мои шпоры уже коснулись боков Фялки, и она ринулась вперед, словно в атаку. Ого, как они заорали, забегали, затопали позади меня! Трое выстрелили, а трое бросились к лошадям. Пуля угодила в луку седла с таким звуком, словно ударили палкой в дверь. Фялка, обезумев, рванулась вперед, и я подумал, что она ранена, но она отделалась лишь царапиной на передней бабке. Ах, бедная моя

лошадка! Какую нежность испытал я к ней, когда почувствовал, что она пустилась вперед машистым легким галопом, и ее копыта дробно стучали, как кастаньеты в руках испанки. Я не мог сдержаться. Я обернулся в седле и рявкнул: «Vive l'Empereur!» Я хохотал и громко вопил, слыша, какие сзади раздавались проклятия.

Но погоня была не кончена. Не будь Фналка так измучена, она через пять миль обскакала бы их на целую милю. Теперь же она могла только удерживать преследователей на прежнем расстоянии, почти ничего не выигрывая. Был среди них один офицер, совсем еще мальчишка, под ним лошадь оказалась лучше остальных. Он с каждым шагом вырывался вперед. В двух сотнях шагов позади него скакали еще двое, но, оглядываясь, я всякий раз видел, что расстояние между ними увеличивается. А остальные трое, те, что стреляли, были далеко позади.

У офицера была гнедая лошадь, очень даже недурная, и хотя, ясное дело, она не могла сравниться с Фналкой, все же это было сильное животное, и я предвидел, что через несколько миль его свежие силы скажутся. Я подождал, пока этот малый далеко опередил своих товарищей, а потом чуть-чуть придержал Фналку — самую малость, чтобы он подумал, будто и впрямь меня настигает. Подпустив его на выстрел, я вытащил пистолет, взвел курок и оглянулся через плечо, ожидая, что он станет делать. Он не стрелял, и я вскоре понял, почему. Этот глупый мальчишка вынул на ночь пистолеты из кобур. Он размахивал саблей и выкрикивал всякие угрозы. Видимо, он не понимал, что его жизнь в моих руках. Я еще немного придержал Фналку, пока серый хвост и гнедая морда не сблизились на длину копыа.

— Rendez-vous! ¹ — крикнул он.

— Поздравляю вас, мсье, вы отлично говорите по-французски, — сказал я, кладя ствол пистолета на согнутую левую руку, которой держал поводья: так мне всегда было удобней стрелять, сидя в седле. Я прице-

¹ Свидание (франц.). — Немец путает с «s rendez-vous» — «сдавайтесь».

ался ему в лицо и даже при лунном свете увидел, как он побледнел, когда понял, что ему крышка. Но, уже спуская курок, я подумал, о его матери и выстрелил лошади под лопатку. Боюсь, что он сильно ушибся, с таким стуком он упал, но мне нужно было думать о письме, которое я вез, и я снова пустил Финалку галопом.

Но от этих бандитов не так-то легко было уйти. Двое драгун обратили на своего офицера не больше внимания, чем если б это был простой новобранец, только что вышедший из кавалерийской школы. Они представили его заботам остальных и продолжали погоню. Я остановился на вершине холма, думая, что не услышу больше стука копыт; но, клянусь, я вскоре убедился, что мешкать нельзя, и мы снова помчались вперед; Финалка при этом мотала головой, а я — кивером, выражая свое презрение к двум драгунам, которые пытаются догнать гусара. Но в тот самый миг, когда я смеялся над этой мыслью, сердце у меня вдруг упало, потому что вдалеке, на белой дороге, я увидел черных всадников, поджидавших меня. Неопытный солдат принял бы их за тени деревьев, но я сразу понял, что это эскадрон гусар, и куда бы я ни свернул, всюду меня подстерегала смерть.

Итак, позади были драгуны, а впереди гусары. Ни разу со времен Москвы я еще не бывал в такой переделке. Но во имя чести моей бригады я предпочитал, чтобы меня зарубил представитель легкой кавалерии, а не тяжелой. Поэтому я даже не тронул повод, не колебался ни мгновения, а дал Финалке волю. Помню, я даже пытался молиться, несясь во весь опор, но я как-то отвык от таких вещей и вспомнил только молитву о хорошей погоде, которую мы читали в школе по вечерам перед каникулами. Это было лучше, чем ничего, и я скороговоркой бормотал эту молитву, как вдруг услышал впереди голоса французов. О боже, радость пронзила мое сердце, как пуля! Это были наши — наши милые дьяволы из корпуса Мармона. Оба драгуна поспешию повернули и что было духу поскакали назад, только их медные шлемы поблескивали под луной, а я подъехал к своим не спеша, с достоинством, давая этим понять, что хотя гусар и может спастись бегством, не в его характере удирать слишком быстро. И все же,

боюсь, дрожащие бока Фналки и ее взмыленная морда выдали меня, несмотря на всю мою притворную беззаботность.

А командовал отрядом не кто иной, как сам старина Буве, которого я спас под Лейпцигом! Когда он увидел меня, его маленькие красивые глазки наполнились слезами, и, честное слово, я сам прослезился, тронутый его радостью. Я рассказал ему о письме, но он только рассмеялся, услышав, что я должен проехать через Сеили.

— Там враг,— сказал он.— Нельзя туда ехать.

— Я предпочитаю ехать именно туда, где враг,— возразил я.

— Но почему не отвезти письмо прямо в Парнж? Почему вам непременно надо ехать через этот город, где вас ждет верная смерть или плен?

— Солдат не выбирает, он повинуется,— повторил я слова Наполеона.

Старина Буве засмеялся своим странным, похожим на кашель смехом, и, чтобы он не забывался, мне пришлось подкрутить усы и смерить его взглядом.

— Что ж,— сказал он.— В таком случае присоединяйтесь к нам, мы как раз едем в Сеили. Нас отрядили на разведку. Впереди эскадрон польских улан Понятовского. Если вам непременно надо туда, поедem вместе.

И мы поехали, звякая и бряцая оружием в ночной тишине, пока не нагнали поляков,— они все как на подбор были добрые, старые солдаты, хотя чуть тяжеловаты для своих коней. Смотреть на них было одно удовольствие, даже гусары из моей бригады не могли бы держаться лучше. Мы продолжали путь все вместе и ранним утром увидели впереди огни Сеили. Навстречу нам попался крестьянин в повозке, и от него мы узнали положение дел.

Сведения были верные, потому что брат этого крестьянина служил кучером у мэра, и он виделся с ним накануне, поздней ночью. В городе был один-единственный эскадрон казаков, размещившийся в доме мэра на углу рыночной площади, это был самый большой дом в городе. В лесу, к северу, располагилась целая

дивизия прусской пехоты, но в Сеили нет никого, кроме казаков.

Мы ворвались в город лавиной, изрубили дозорных, смели охранение и уже ломались в двери дома мэра, прежде чем они успели сообразить, что французы у них под носом. Мы видели в окнах лица, заросшие волосами до самых ушей, овчинные шапки и разинутые рты. «Ура, ура!»— кричали они и палили из карабинов, но наши ребята уже ворвались в дом и вцепились им в глотки, пока они не успели еще как следует продрать глаза. Было ужасно видеть, как поляки набросились на них, будто голодные волки на стадо упитанных быков. Казаки почти все были перебиты в верхних комнатах, где пытались укрыться, и кровь стекала в прихожую, как дождь с крыши. Они страшны в бою, эти поляки, хотя, на мой взгляд, тяжеловаты малость для своих коней. Все как на подбор, они не уступят ростом кирасирам Келлермана. Вооружены они, конечно, гораздо легче, так как не носят кирас, брони на спине и шлемов.

И тут я сделал ошибку — и, сознаюсь, ошибку непростительную. До тех пор я выполнял возложенное на меня поручение так, что лишь скромность мешает мне назвать свое поведение безукоризненным. Теперь же я сделал то, что чиновник осудил бы, а солдат понял и простил.

Конечно, моя лошадь была почти загнана, но все же я мог бы проехать галопом через Сеили, и тогда враг не преграждал бы мне больше путь в Париж. Но какой гусар может проехать мимо места схватки и не остановить коня? Нельзя требовать от него слишком многого. Кроме того, я решил, что если Финалка отдохнет часок, я потом выиграю добрых три. А тут еще в окнах появились головы в овчинных шапках и раздались дикие крики. Я соскочил с седла, накинул поводья на столбик перил и бросился в дом вместе со всеми. Правда, я подоспел слишком поздно, и все же один из этих умирающих дикарей чуть не ранил меня копьем. Но всегда жаль пропускать даже мелкую стычку, ведь никогда не знаешь, где тебя ждет случай отличиться. Во время стычек передовых постов и в мелких кавалерийских рубках мне приходилось видеть более славные подвиги,

чем в любом из больших сражений, которыми руководил сам император.

Когда дом был очищен, я принес Финалке ведро воды, а крестьянин, наш проводник, показал мне, где у мэра хранится корм. Да, моя дорогая крошка здорово проголодалась. Я обтер ей мокрой губкой ноги и, оставив ее на привязи, вернулся в дом, чтобы самому чего-нибудь перехватить и больше уж не останавливаться до самого Парнжа.

А теперь я подхожу к той части своего рассказа, которая, пожалуй, покажется вам невероятной, хотя я могу рассказать по меньшей мере десяток не менее поразительных случаев. Сами понимаете, с человеком, который всегда в разведках и дозорах, на залитой кровью земле, разделяющей две великие армии, часто случаются удивительные вещи. Но послушайте же, что со мною произошло.

Когда я вошел в дом, старина Буве ждал меня в прихожей и предложил распить вместе бутылочку вина.

— Нам надо поторапливаться, — сказал он. — Вон там, в лесу, десять тысяч пруссаков Тельмана.

— А где же вино? — спросил я.

— Ну, вина двое гусар всегда раздобудут, — отвечал он и, взяв свечу, повел меня по каменной лестнице вниз на кухню.

Там мы увидели дверь, выходившую на винтовую лестницу, которая вела в погреб. Казаки уже побывали в погребе до нас, это было нетрудно понять по разбитым бутылкам, разбросанным повсюду. Мэр, видно, любил хорошо пожить, выбор вина был прекрасный: «Шамбертен», «Граве», «Алкэн», белое и красное, игристое и простое, бутылки лежали пирамидами, стыдливо выглядывая из опилок. Старина Буве стоял со свечой, поглядывая по сторонам и мурлыкая, как кот перед миской с молоком. Наконец он выбрал бургундское и уже протянул руку к бутылке, как вдруг наверху раздалась ружейная пальба, топот ног и такие крики и вопли, каких я сроду не слыхивал. Пруссаки напали на нас!

Буве — настоящий храбрец, в этом ему не откажешь. Он выхватил саблю и бросился вверх по камен-

ным ступеням, бряцая шпорами. Я поспешил за ним, но едва мы выбежали из кухни, оглушительные крики известили нас, что враг снова овладел домом.

— Все погибло! — воскликнул я, хватая Буве за рукав.

— Я умру вместе с ними! — отвечал он и, как безумный, бросился вверх по лестнице. Право, я сам пошел бы на смерть, будь я на его месте, потому что он совершил серьезную ошибку, не выслав дозорных, которые донесли бы о приближении немцев. В тот миг я готов был броситься за ним, но потом вспомнил, что мне поручено важное дело, которое необходимо исполнить, а если меня возьмут в плен, письмо императора не будет доставлено. Поэтому я предоставил Буве умирать в одиночку, а сам снова спустился в погреб и плотно затворил за собой дверь.

Правда, и там, внизу, меня не ждало ничего хорошего. Когда поднялась тревога, Буве уронил свечу, и я, шаря в темноте, не мог нащупать ничего, кроме битых бутылок. Наконец я отыскал свечу, которая закатилась за бочонок, но как ни старался, не мог зажечь ее от трута: фитиль попал в лужу вина и намок. Сообразив, в чем дело, я обрезал его конец саблей, и свеча сразу загорелась. Но что делать дальше, я понятия не имел. Негодяи наверху хрипло орали, и, судя по крикам, их было несколько сотен; не приходилось сомневаться, что кое-кто из них вскоре пожелает промочить глотку. И тогда — конец храброму офицеру, письму императора, медали. Я подумал о своей матушке и об императоре. Слезы выступили у меня на глазах при мысли, что она потеряет такого замечательного сына, а он — одного из лучших офицеров во всей легкой кавалерии, какой у него был со времен Лассала. Но я мигом смахнул слезы. «Мужайся! — вскричал я, ударяя себя в грудь. — Мужайся, мой мальчик! Возможно ли, что тот, кто вернулся из Москвы целым и невредимым, даже не обморозившись, умрет во Франции, в этом винном погребе?» При этой мысли я вскочил на ноги и прижал руку к письму на груди, так как шелест бумаги вселял в меня храбрость.

Сначала я хотел поджечь дом, надеясь удрать среди переполоха. Потом решил залезть в пустой бочонок

из-под вина. Я оглядывался вокруг, отыскивая подходящий бочонок, как вдруг обнаружил в углу низенькую дверцу, выкрашенную под цвет серой стены, так что лишь острый глаз мог ее заметить. Я толкнул ее, и мне поначалу показалось, что она заперта. Но тут она слегка подалась, и тогда я понял, что она просто приперта чем-то с той стороны. Я уперся ногами в большую бочку и так налег на дверь, что она распахнулась, я грохнулся навзничь, свеча выпала у меня из рук, и я снова очутился в темноте. Я встал и начал вглядываться в глубину сводчатого коридора, который оказался за дверью.

Через какую-то щель и решетку туда просачивался скупой свет. Снаружи уже рассвело, и я смутно увидел огромные выпуклые бока нескольких бочек и подумал, что, вероятно, здесь мэр держит свое вино, пока оно бродит. Во всяком случае, это место казалось мне более надежным убежищем, чем первый погреб, и я, взяв свечу, уже хотел закрыть за собой дверь, как вдруг увидел нечто такое, что удивило и даже, признаюсь, несколько испугало меня.

Я уже говорил, что в конце подвала откуда-то сверху сероватым веером пробивались лучи света. И вот, вглядываясь в темноту, я вдруг увидел, как в этой полосе света в дальнем конце коридора мелькнул какой-то огромный детина и исчез в темноте. Клянусь, я так вздрогнул, что мой кивер чуть не упал, оборвав ремешок! Я видел этого человека лишь мельком, но тем не менее успел разглядеть, что на нем мохнатая казацкая шапка и сам он здоровенный, длинноногий, широкоплечий, с саблей у пояса. Клянусь, даже Этьен Жерар пришел в замешательство, когда оказался во мраке наедине с таким чудовищем.

Но то был лишь один миг. «Мужайся,— сказал я себе.— Разве ты не гусар и не бригадир, разве тебе не тридцать один год и ты не доверенный гонец императора?» В конце концов у этого человека, который прятался в погребе, было больше причин бояться меня, чем у меня — его. И я вдруг понял, что он бонтся — бонтся до смерти. Я угадал это в его торопливости, в его поникших плечах, когда он бежал среди бочек, как крыса, прячущаяся в свою нору. И, конечно, это он не

давал открыть дверь, а не какой-нибудь ящик или бочонок, как мне показалось. Значит, он был преследуемым, а я — преследователем. Ага! Я почувствовал, как мои бакейбарды ошметнились, когда я начал подступать к нему в темноте. Этот разбойник увидит, что имеет дело не с цыпленком. В тот миг я был великолепен.

Сначала я опасался зажечь свечу, чтобы не выдать себя, но после того, как я больно ударился ногой о ящик и запутался шпорами в каком-то тряпье, я решил, что лучше действовать смело. Итак, я зажег свечу и пошел вперед широким шагом, держа наготове обнаженную саблю.

— Выходи, негодяй! — крикнул я. — Тебе нет спасенья. Ты наконец получишь по заслугам!

Я держал свечу высоко над собой и вдруг увидел его голову, глядевшую на меня поверх бочки. На его черной шапке был золотой шеврон, и по выражению его лица я сразу понял, что это офицер и человек из высшего общества.

— Мсье! — воскликнул он на безукоризненном французском языке. — Я сдаюсь, если вы обещаете мне пощаду. В противном случае я дорого продам свою жизнь.

— Мсье, — отвечал я, — француз умеет уважать побежденного врага. Ваша жизнь в безопасности. — Тогда он передал мне через бочку свою саблю, а я поклонился, поднеся руку со свечой к груди. — Кого мне выпала честь взять в плен? — спросил я.

— Я граф Боткин из императорского донского казачьего полка, — отвечал он. — Я выехал со своим эскадронном на разведку в Сенли, и, так как ваших войск здесь не оказалось, мы решили заночевать в этом доме.

— Не считите нескромностью, если я полюбопытствую, как вы попали в этот темный подвал? — спросил я.

— Нет ничего проще, — отвечал он. — Мы собирались выступить на рассвете. Я чистил лошадь, промерз и, решив, что стакан вина мне не повредит, спустился сюда поискать чего-нибудь выпить. Я шарил здесь, как вдруг на дом напали враги, и прежде чем я успел подняться по лестнице, все было кончено. Мне оставалось лишь одно — позаботиться о своем спасении, поэтому я

снова спустился сюда и спрятался в дальнем погребѣ, где вы меня и нашли.

Я вспоминаю, как в подобных же обстоятельствах поступил Буве, и при мысли о славе Францин слезы выступили у меня на глазах. Но нужно было подумать, как поступить дальше. Было ясно, что этот русский граф, который сидел во втором подвале, пока мы были в первом, не слышал шума, иначе он сообразил бы, что дом снова в руках его союзников. Если он об этом догадается, роли переменятся, и я сам окажусь у него в плену. Что же делать? Я ума не мог приложить, но вдруг у меня мелькнула мысль столь блестящая, что я сам удивился своей изобретательности.

— Граф Боткни,— сказал я,— я оказался в весьма затруднительном положении.

— Но почему же? — спросил он.

— Потому что я обещал сохранить вам жизнь.

Он даже рот разинул.

— Ведь вы не возьмете назад свое слово? — воскликнул он.

— Если случится худшее, я умру, защищая вас,— сказал я.— Но положение не из легких.

— В чем же дело? — спросил он.

— Я буду с вами откровенен,— сказал я.— Вам должно быть известно, что наши ребята, и в особенности поляки, так настроены против казаков, что один только вид казачьей формы приводит их в ярость. Они бросаются на этого человека и буквально разрывают его на части. Даже офицеры не могут их удержать.

Услышав эти слова и тои, которым они были сказаны, русский побледнел.

— Но ведь это ужасно,— сказал он.

— Кошмар! — подтвердил я.— И если сейчас мы оба поднимемся наверх, я не уверен, что сумею вас защитить.

— Я в ваших руках! — воскликнул он.— Что же вы посоветуете? Не лучше ли мне остаться здесь?

— Хуже ничего не придумаешь.

— Но почему же?

— Потому что наши люди сейчас станут обыскивать дом и вас изрубят на куски. Нет, нет, я должен пой-

ти и приготовить их. Но даже тогда, едва они завидят ненавистный мундир, не знаю, чем все кончится.

— В таком случае, может быть, мне лучше снять мундир?

— Превосходная мысль! — воскликнул я. — Постойте, я придумал! Вы снимете свой мундир и наденете мой. Тогда вас не посмеет тронуть ни один француз.

— Но я боюсь не столько французов, сколько поляков.

— Мой мундир охранит вас и от тех и от других.

— Как мне вас благодарить! — вскричал он. — Но вы... что же вы наденете?

— Ваш мундир.

— Да ведь вы рискуете пасть жертвой своего благородства.

— Мой долг — принять риск на себя, — отвечал я. — Но я не боюсь. Я поднимусь наверх в вашем мундире. Сотня сабель сверкает у меня над головой. «Стойте! — крикну я им. — Перед вами бригадир Жерар!» И тогда они взглянут мне в лицо. И сразу узнают меня. Я расскажу им про вас. В этом мундире никто не посмеет вас тронуть.

Когда он снимал с себя мундир, пальцы его дрожали от поспешности. Его сапоги и рейтузы были очень похожи на мои, и меняться ими не было надобности, так что я отдал ему свой ментик, доломан, кнвер, пояс с ножами и подсумком, а себе взял высокую шапку из овчины с золотым шевроном, меховой плащ и кривую саблю. Само собой разумеется, меняясь одеждой, я не забыл вынуть драгоценное письмо.

— А теперь, — сказал я, — с вашего позволения, я привяжу вас к бочке.

Он принялся возмущаться, но я за свою боевую жизнь научился не пренебрегать никакими предосторожностями, а мог ли я быть уверен, что, едва я повернусь к нему спиной, он не сообразит, как обстоят дела в действительности, и не разрушит все мои планы? Он стоял в эту минуту, прислонившись к бочке, и я шесть раз обвязал его веревкой, а потом затянул ее сзади крепким узлом. Если он вздумает подняться наверх, то ему по крайней мере придется тащить на спине тысячу литров доброго французского вина. Потом я за-

крыл за собой дверь второго погреба, чтобы он не слышал, что происходит в первом, и, отбросив свечу, поднялся по лестнице в кухню.

Там было всего ступеней двадцать, и все же, поднимаясь по ним, я успел подумать обо всем, что я еще рассчитывал совершить в жизни. Такое же чувство я испытывал при Эйлау, когда лежал со сломанной ногой и видел, как на меня несутся кони, запряженные в пушки. Конечно, я понимал, что если меня схватят, то пристрелят на месте, как переодетого шпиона. Но все же это будет славная смерть — смерть при исполнении личного приказа императора, — и я подумал, что в «Мониторе» поместят обо мне не меньше пяти строк, а может быть, и все семь. Про Паляре было восемь строк, а я уверен, что он совершил куда меньше славных подвигов.

Когда я вышел в коридор со всей непринужденностью на лице и в манерах, какую только мог на себя напустить, первое, что я увидел, был труп Буве с вытянутыми ногами и сломанной саблей в руке. По черному пороховому пятну я понял, что его застрелили в упор. Мне хотелось отдать честь, когда я проходил мимо, потому что это был настоящий храбрец, но я боялся, что кто-нибудь меня увидит, и прошел дальше.

В прихожей было полно прусских пехотинцев, которые пробивали бойницы в стене, видимо, ожидая нового нападения. Их офицер, щуплый коротышка, суетился, отдавая приказанья. Все были слишком заняты, чтобы обращать внимание на меня, но второй офицер, который стоял у двери с длинной трубкой в зубах, подошел и хлопнул меня по плечу, указывая на трупы наших бедных гусар, и сказал что-то, очевидно, насмехаясь над ними, потому что под косматой бородой оскланились все его клыки. Я тоже весело засмеялся и сказал единственную русскую фразу, которой научила меня крошка Софи в Вильне: «Если ночь будет ясная, мы встретимся под дубом, а если будет дождь, встретимся в хлеву». Этому немцу все было едино, и он, без сомнения, решил, что я сказал что-то очень остроумное, так как поклатился со смеху и еще раз хлопнул меня по плечу. Я кивнул ему и вышел на двор так спокойно, словно был комендантом всего гарнизона.

Снаружи было привязано около сотни лошадей, по большей части принадлежавших полякам и нашим гусарам. Моя милая Фиалка тоже ждала там и тихонько заржала, когда увидела, что я иду к ней. Но я не сел на нее. Нет, я не так прост! Наоборот, я выбрал самую лохматую казачью лошаденку, какую мог найти, и вскочил на нее так уверенно, словно до меня на ней ездил еще мой отец. Через спину у нее был перекинут здоровенный мешок с добром, который я переложил на Фиалку, и повел ее за собой в поводу. До чего же я походил на казака,— право, на это стоило поглядеть.

Тем временем пруссаки буквально наводнили город. Они толпились на тротуарах, указывали на меня пальцами и говорили друг другу, насколько я мог судить по их жестам: «Вот едет один из этих дьяволов-казаков...»

Несколько раз со мной повелительным тоном заговаривали офицеры, но я качал головой, улыбался и говорил: «Если ночь будет ясная, мы встретимся под дубом, а если будет дождь, встретимся в хлеву»,— после чего они пожимали плечами и оставляли меня в покое. Наконец я миновал северную окраину города. На дороге я увидел двух дозорных улан с черно-белыми флажками и понял, что, когда миную их, снова буду свободен. Я пустил свою лошадку рысью, а Фиалка все время терлась мордой о мое колено и поглядывала на меня, словно спрашивая, в чем она провинилась, что ей предпочли эту косматую клячу. До улан оставалась какая-нибудь сотня шагов, и представьте себе мои чувства, когда я вдруг увидел настоящего казака — он галопом скакал по дороге мне навстречу.

Ах, друзья мои, если у вас в груди есть сердце, вы, читая эти строки, посочувствуете человеку, который прошел через столько опасностей и испытаний, но в самый последний миг встретился с неминуемой гибелью! Признаться, у меня сердце упало, и я готов был в отчаянии броситься на землю и кричать, проклиная судьбу. Но нет, даже теперь я не был побежден. Я расстегнул две пуговицы мундира, чтобы в нужную секунду выхватить из-под него письмо императора, потому что твердо решил, если не останется никакой надежды, проглотить его и умереть с оружием в руках. Потом я проверил, свободно ли вынимается из ножен моя короткая кривая сабля, и

рысью поехал прямо на дозорных. Они, видимо, намеревались остановить меня, но я указал на второго казака, который все еще был в двух сотнях шагов от меня, и они, поняв, что я еду ему навстречу, отдали честь и пропустили меня.

Тогда я вонзил шпоры в бока своей лошади, зная, что стоит мне подальше отъехать от улан, и я без труда справлюсь с казаком. Это был офицер, здоровенный бородач, с таким же золотым шевроном на шапке, как и у меня. Когда я поехал ему навстречу, он невольно помог мне, придержав лошадь, так что я успел достаточно удалиться от дозорных. Я ехал прямо на него и заметил, что при виде меня, моей лошадки, моего снаряжения в его глазах мелькнуло сперва недоумевающее, а потом подозрительное выражение. Не знаю, что у меня было не в порядке, но какую-то неполадку он заметил. Он крикнул, задавая мне какой-то вопрос, а потом, видя, что я не отвечаю, обнажил саблю. В душе я обрадовался этому, потому как предпочитаю честно драться, нежели зарубить ни о чем не подозревающего врага. Парнуя его удар, я сделал ловкий выпад и попал как раз под четвертую пуговницу его мундира. Он упал с лошади и своей тяжестью едва не увлек на землю и меня, прежде чем я успел вытащить из него саблю. Я даже не взглянул на него, не заинтересовался, жив он или мертв, а сразу спрыгнул с казачьей лошадки, вскочил на Фналку, держав повод и послал воздушный поцелуй двоим уланам. Они с криком поскакали за мной, но Фналка уже отдохнула и была полна сил, как в начале пути. Я свернул на первую же дорогу, которая шла на запад, потом на другую, к югу, — она должна была увести меня с вражеской территории. Мы мчались вперед, и с каждым шагом я удалялся от врагов и приближался к друзьям. Наконец после долгой скачки я, оглянувшись назад, не увидел преследователей и понял, что мытарства мои кончились.

Я поехал дальше, радуясь, что выполнил приказ императора. Что он скажет, когда увидит меня? Какими словами сможет по справедливости оценить тот невероятный путь, полный опасностей, которые я преодолел? Он приказал мне ехать через Сермуаз, Суассон и Сенли, даже не подозревая, что все они заняты врагом. И все же

я выполнил приказ. Я в целости провез его письмо через эти города. Гусары, драгуны, уланы, казаки, пехотинцы — я прошел сквозь них, как сквозь строй, и вышел невредимым.

Лишь добравшись до Даммартена, я наконец увидел наши передовые посты. Через поле ехал эскадрон драгун, и по конским хвостам на шлемах я сразу увидел, что это французы. Я поскакал к ним, намереваясь узнать, свободна ли дорога на Париж, и меня распирала гордость оттого, что я прорвался к своим, — я не выдержал и даже помахал саблей.

Тут от драгуна отделился молодой офицер, тоже размахивая саблей, и на сердце у меня потеплело — с таким пылом, с таким восторгом мчался он приветствовать меня. Я заставил Фялку сделать караколь¹ и, когда мы съехались, еще усердней замахал саблей, но представьте себе мое удивление, когда он вдруг нанес мне такой удар, что снес бы мне голову с плеч, если б я не пригнулся, ткнувшись носом в гриву Фялки. Клянусь, клинок просвистел над моей головой, как восточный ветер. Конечно, во всем был виноват этот проклятый казацкий мундир, про который я в волнении совершенно забыл, и молодой драгун подумал, что перед ним русский удалец, который бросает вызов французским кавалеристам. Честное слово, он здорово перепугался, когда узнал, что чуть не зарубил знаменитого бригадира Жерара.

Что ж, путь был свободен, и около трех часов пополуночи я въехал в Сен-Дени, но оттуда еще долгих два часа добирался до Парижа, потому что дорога была забита обозом и пушками артиллерийского резерва, двигавшимися на север, к Мармону и Мортье. Вы себе представить не можете, какой переполох вызвало мое появление в Париже в таком наряде, и, когда я выехал на рю де Риволи, за мной тянулся целый хвост конных и пеших длиной по меньшей мере в четверть мили. От драгун (двое из которых приехали вместе со мной) все узнали про мои приключения и про то, как я добыл казакий мундир. Это был настоящий триумф — мужчины кричали, женщины махали платками и посылали мне из окон воздушные поцелуи.

¹ Крутой поворот на месте.

Хотя я совершенно лишен тщеславия, все же, признаюсь, я не мог скрыть, что столь горячий прием мне приятен. Русский мундир висел на мне мешком, но я выпятил грудь, пока он не натянулся, как кожа сосиски. А моя милая лошадка потряхивала гривой, была передними копытами и махала хвостом, словно говоря: «На сей раз мы это сделали вместе. Нам можно доверять важные поручения»: Спешившись у ворот Тюильри, я поцеловал ее в морду, и тут раздались такие крики, словно только что огласили сводку о боевых действиях Великой армии.

Конечно, я не был подобающим образом одет, чтобы предстать перед королем, но в конце концов, если у человека мужественная фигура, он вполне может обойтись без всех этих тонкостей. Меня провели прямо к Жозефу, которого я не раз видел в Испании. Он был все такой же толстый, спокойный и добродушный. При нем был Талейран,— быть может, мне следует называть его герцогом Беневенто, но, признаюсь, старые имена мне больше по душе. Он прочел письмо, которое Жозеф Бонапарт передал ему, и посмотрел на меня со странным выражением в блестящих, смешных глазках.

— А кроме вас, император никого не послал? — спросил он.

— Послал еще одного офицера, — ответил я. — Майора Шарпантье из полка конных гренадеров.

— Он еще не прибыл, — заметил король Испании.

— Если б вы, ваше величество, видели, какие ноги у его лошади, вы не удивлялись бы этому, — сказал я.

— Возможны и другие причины, — заметил Талейран и улыбнулся своей загадочной улыбкой.

Что ж, они отпустили мне несколько комплиментов, хотя могли бы сказать куда больше, и этого все равно было бы мало. Я откланялся и был рад удалиться, потому что ненавижу королевский двор так же горячо, как люблю армейский лагерь. Я поехал к своему старому другу Шоберу на рю Миромениль и взял у него гусарский мундир, который оказался мне как раз впору. Мы с ним и с Аннеттой хорошенько выпили у него на квартире, и я забыл обо всех превратностях судьбы. А наутро Фиалка опять была готова проскакать двадцать лиг. Я решил немедленно вернуться в ставку императора,

потому что, как вы легко можете себе представить, мне не терпелось услышать его похвалы и получить награду.

Незачем и говорить, что назад я ехал безопасной дорогой, потому что довольно навидался улан и казаков. Я проехал через Мо и Шато-Тьерри и к вечеру прибыл в Реймс, где все еще находился Наполеон. Тела наших ребят и русских, убитых при Сен-Пре, уже были похоронены, и в лагере я тоже заметил перемены. Солдаты имели уже не столь потрепанный вид; некоторые кавалеристы получили запасных лошадей, и все было в образцовом порядке. Просто поразительно, что может сделать хороший полководец за какие-нибудь два дня!

Когда я приехал в ставку, меня провели прямо к императору. Он пил кофе за письменным столом, и перед ним была разостлана большая карта. Бертье и Макдональд склонились по обе стороны от него, и он говорил так быстро, что, я уверен, ни один из них не мог уловить и половины его слов. Но когда взгляд его упал на меня, он выронил перо и вскочил с таким выражением на бледном лице, что я похолодел.

— Какого дьявола вы тут делаете? — закричал он. Когда он сердился, голос у него становился как у павлина.

— Честь имею доложить, ваше величество, — сказал я, — что я доставил ваше письмо королю Испании в целости и сохранности.

— Как! — завопил он, и его глаза произили меня, словно два штыка. О эти ужасные глаза, из серых они стали голубыми, как сталь, сверкающая на солнце! Я и теперь вижу их в кошмарных снах.

— А что с Шарпайтэ? — спросил он.

— Взят в плен, — отвечал Макдональд.

— Кем?

— Русскими.

— Казаками?

— Нет, одним казаком.

— Он сдался?

— Без сопротивления.

— Вот уминый офицер. Позаботьтесь, чтобы он был непременно награжден почетной медалью.

Когда я услышал это, то протер глаза, так как мне показалось, что я сплю.

— А вы,— крикнул император, делая шаг ко мне, словно хотел меня ударить,— у вас заячьи мозги! Зачем, как вы думаете, я послал вас с этим поручением? Неужели вы воображаете, что я доверил бы действительно важное письмо в ваши руки да еще послал бы вас через все города, которые в руках у неприятеля? Как вы через них проехали, не могу понять. Но если б у вашего товарища было так же мало ума, весь план кампании полетел бы к черту. Неужели вы не понимаете, *coglione*¹, что это письмо было военной хитростью, чтобы обмануть неприятеля и выиграть время для осуществления совсем другого плана?

Когда я услышал эти жестокие слова и увидел разгневанное бледное лицо, которое в ярости смотрело на меня, мне пришлось ухватиться за спинку стула, так как ноги у меня подкосились и я чуть не лишился чувств. Но я собрался с духом, вспомнив, что я дворянин и всю свою жизнь служил императору и моей любимой родине.

— Ваше величество,— сказал я, и слезы потекли у меня из глаз,— когда вы имеете дело с таким человеком, как я, лучше говорить все напрямик. Знай я ваше желание, чтобы письмо попало в руки врага, я бы позаботился об этом. Но я считал, что должен беречь его как зеницу ока, и готов был пожертвовать за него своей жизнью. Я не думаю, ваше величество, что есть в мире человек, который переиес бы больше невзгод и опасностей, чем я, когда старался выполнить то, что считал вашей волей.

Сказав это, я вытер слезы и со всей горячностью, на какую был способен, рассказал ему обо всем: как прорвался через Суассон, как сражался с драгунами, ввязался в дело в Сеили, встретился в подвале с графом Боткиным, как я переоделся, как столкнулся с казачьим офицером, как бежал и как в последний миг меня чуть не зарубил французский драгун. Император, Бертье и Макдональд слушали с удивлением. Когда я кончил, Наполеон подошел ко мне и ущипнул меня за ухо.

¹ Дурак (итал.).

— Ну полно, полно! — сказал он. — Забудьте все, что я сказал. Мне следовало больше доверять вам. А теперь вы свободны.

Я повернулся к двери и уже взялся за ручку, как вдруг император остановил меня.

— Позаботьтесь, чтобы бригадир Жерар был награжден персональной почетной медалью, — сказал он герцогу Тарентемскому, — потому что хотя у него самая тупая голова, зато самое отважное сердце во всей армии.

VIII

КАК БРИГАДИРА ИСКУШАЛ ДЬЯВОЛ

Весна уже совсем близко, друзья мои. Я вижу, что на каштанах снова пробиваются зеленые ростки, и все столики выставлены из кафе на солнышко. Сидеть там куда приятнее, и все же мне не хочется, чтобы мои скромные рассказы стали достоянием всего города. Вы слышали о моих делах, когда я был лейтенантом, эскадринным командиром, полковником и командиром бригады. Но теперь я вдруг стал чем-то более важным и высоким. Я стал историей.

Если вы читали о последних годах жизни императора на Святой Елене, то, конечно, помните, что он не раз умолял разрешить ему отправить хоть одно письмо, которое не будет вскрыто его тюремщиками. Много раз обращался он с этой просьбой и дошел даже до того, что обещал, если это будет ему позволено, содержать себя на собственный счет, избавив английское правительство от этой статьи расхода. Но тюремщики знали, как ужасен этот бледный, полный человек в соломенной шляпе, и боялись удовлетворить его просьбу. Многие гадали, кто же тот адресат, которому император хочет поверить столь важные тайны. Некоторые называли его жену, некоторые — тестя, иные — императора Александра, а кое-кто — маршала Сульта. Но что вы подумаете обо мне, друзья мои, если я скажу вам, что это мне, да, мне, бригадиру Жерару, хотел написать император? Вашему покорному слуге на пенсии всего в сто франков — только-только не умереть с голоду; и, уверяю вас, это правда: император

все время вспоминал меня и отдал бы свою левую руку, только бы поговорить со мной пять минут. Сегодня я расскажу вам, как это получилось.

Дело было после битвы при Фер-Шампенуаз, где новобранцы в блузах и деревянных башмаках воевали так, что мы, самые проницательные, почувствовали приближение конца. Наши боеприпасы были захвачены врагом, наши пушки замолчали, зарядные ящики были пусты. Кавалерия тоже пришла в жалкое состояние, и моя собственная бригада была разбита в атаке при Краоне. А потом пришли известия, что враг взял Париж, где горожане подняли белую кокарду, и, наконец, самое ужасное — что Мармон со своим корпусом перешел на сторону Бурбонов. Мы только переглядывались и спрашивали друг друга, сколько же еще из наших генералов нас предадут. Журден, Мармон, Мюрат, Бернадот и Жомини уже сделали это, хотя о Жомини никто не жалел, потому что перо его было острее шпаги. Мы были готовы воевать против Европы, но теперь выходило, что придется воевать не только против Европы, но и против половины Франции.

После долгого форсированного марша мы дошли до Фонтенбло и собрались там — жалкие остатки армий: корпус Нея, корпус моего двоюродного брата Жерара и корпус Макдональда, всего двадцать пять тысяч, из них семь тысяч гвардейцев. Но у нас была слава, которая стоила пятидесяти тысяч, и наш император, который стоял еще пятидесяти. Император всегда был с нами, спокойный, улыбающийся, уверенный; он как ни в чем не бывало нюхал табак и пощелкивал хлыстиком. Даже в дни его величайших побед я не восхищался им так, как во время битвы за Францию.

Как-то вечером я пил бюренское вино в обществе офицеров своей бригады. Я говорю, что это было бюренское, чтобы вы поняли, какие нелегкие для нас настали времена. Вдруг мне доложили, что Бертье требует меня к себе. Когда я говорю о своих старых соратниках, я, с вашего позволения, буду отбрасывать все красивые иностранные титулы, которые они получили во время войн. Эти титулы хороши при дворе, но их никогда не услышишь в армии, потому что мы никак не могли расстаться с нашим Неем, Раппом или Сультом — эти имена звучали му-

зыкай в наших ушах, как звуки труб, играющих побудку. Итак, Бертье вызвал меня к себе.

Его резиденция была в конце галереи Франциска Первого, неподалеку от покоев императора. В приемной уже ждали два офицера, которых я хорошо знал: полковник Депен из Пятьдесят седьмого линейного полка и капитан Тремо из Вольтижерского. Оба были старые вояки — Тремо побывал еще в Египте, — и, кроме того, оба славились в армии своей храбростью и умением владеть оружием. У Тремо рука несколько ослабела, но Депен, стоило ему хорошенько постараться, мог бы заставить попотеть меня самого. Это был коротышка дюйма на три ниже хорошего мужского роста, — он был ровно на три дюйма ниже меня, но во владении саблей и шпагой он несколько раз успешно соперничал со мной, когда показывал свое искусство в Верроиском фехтовальном зале в Пале-Рояль. Сами понимаете, когда мы все трое очутились в одной комнате, то сразу почуяли, что пахнет чем-то серьезным. Если видишь салат и приправу, сразу ясно, какое готовится блюдо.

— Клянись моей трубкой! — сказал Тремо по-солдатски грубо. — Уж не ожидают ли прибытия троих приверженцев Бурбонов?

Нам эта мысль показалась весьма вероятной. Ну конечно же, из всей армии именно нас троих и могли избрать для встречи с ними.

— Князь Нешательский желает говорить с бригадиром Жераром, — объявил лакей, появляясь в дверях.

Я вошел, а двое моих товарищей остались ждать, снедаемые нетерпением. Кабинет был небольшой, но роскошно обставленный. Бертье сидел за столиком с пером в руке, и перед ним лежал открытый блокнот. Усталый и иеряшливый с виду, он был совсем непохож на того Бертье, который слыл законодателем мод во всей армии и часто заставлял нас, менее состоятельных офицеров, рвать на себе волосы, когда оторачивал ментик в одну кампанию простым мехом, а в другую — каракулем. По его гладко выбритому красивому лицу видно было, что ему не по себе, и, когда я вошел, он посмотрел на меня каким-то бегающим, неприятным взглядом.

— Командир бригады Жерар! — сказал он.

— Слушаю вас, ваше высочество! — отозвался я.

— Прежде чем начать разговор, я прошу вас дать мне честное слово благородного человека и офицера, что все сказанное останется между нами.

Клянусь, начало было многообещающее! У меня не было иного выбора, как дать слово.

— Знайте же, что дело императора проиграно, — сказал он, глядя в стол и медленно, словно с большим трудом, подбирая слова. — Журден в Руэне и Мармон в Париже подняли белую кокарду, ходят слухи, что Талейран уговорил Нея сделать то же самое. Совершенно ясно, что дальнейшее сопротивление бессмысленно и не может принести нашей стране ничего, кроме несчастий. Итак, я спрашиваю вас, готовы ли вы вместе со мной захватить императора и положить конец войне, передав его в руки союзников?

Уверяю вас, что, услышав это гнусное предложение, сделанное мне, старому другу императора, который получил от него больше милостей, чем любой из его приверженцев, я мог только стоять как столб и пялится на него глаза. А он кусал перо и поглядывал на меня, склонив голову.

— Ну? — спросил он.

— Я глуховат на одно ухо, — отвечал я ледяным тоном. — Есть вещи, которых я не слышу. Прошу вас, позвольте мне вернуться к исполнению моих обязанностей.

— Ну-ну, не будьте же таким упрямым, — сказал он, вставая, и положил руку мне на плечо. — Вы же знаете, что сенат отстранил Наполеона от власти и император Александр отказывается вести с ним переговоры.

— Мсье! — горячо воскликнул я. — Да будет вам известно, что в моих глазах сенат вместе с императором Александром не стоят осадка в выпитом бокале!

— Что же имеет значение в ваших глазах?

— Моя честь и верность моему славному повелителю, императору Наполеону.

— Все это превосходно, — сказал Бертье, раздраженно пожимая плечами. — Но факты остаются фактами, и мы, как разумные люди, должны смотреть им в глаза. Вправе ли мы противостоять воле народов? Вправе ли в довершение всех наших несчастий допустить гражданскую войну? И, кроме того, наши силы тают. Каждый

час приходят известия о все новых дезертирствах. Пока не поздно, надо заключить мир с противником; к тому же мы получим немалую награду, выдав императора.

Я потряс головой так решительно, что сабля зазвенела у меня на боку.

— Мсье! — воскликнул я. — Не думал я дожить до такого дня, когда маршал Францин падет так низко, что сделает мне столь гнусное предложение. Оставляю вас на суд собственной вашей совести. Что же до меня, то, пока я не получу личный приказ императора, сабля Этьена Жерара всегда будет защищать его от врагов.

Я был так растроган этими словами и собственным благородством, что голос мой пресекся и я едва сдержал слезы. Хотел бы я, чтобы вся армия видела, как я стоял с высоко поднятой головой, приложив руку к сердцу, провозглашая свою преданность императору в трудную минуту. Это было одно из самых великих мгновений моей жизни.

— Что ж, прекрасно, — сказал Бертье и звонком вызвал лакея. — Проводите бригадира Жерара в гостиную.

Лакей провел меня во внутренние покои и предложил сесть. Но моим единственным желанием было уйти, и я никак не мог понять, почему меня задерживают. Человек, который ни разу не сменил мундир за всю знаменитую кампанию, чувствует себя неловко во дворце.

Я прождал около четверти часа, а потом лакей снова распахнул дверь, и вошел подковник Депьен. Боже правый, что у него был за вид! Его лицо стало белым, как гетры гвардейца, глаза были вытаращены, вены на лбу вздулись, а усы встопорщились, как у разъяренной кошки. Он был слишком рассержен, чтобы говорить, и лишь потрясал над головой кулаками, а в горле у него клокотало.

— Отцеубийца! Змея!

Только эти слова я и слышал, пока он метался по комнате.

Мне было совершенно ясно, что ему сделали то же гнусное предложение и он ответил в том же духе, что и я. Он ничего не сказал мне, как и я ему, потому что оба мы дали слово, но все же я пробормотал: «Ужасно!

Неслыханно!»— давая ему понять, что я с ним согласен.

Он все еще метался взад-вперед по комнате, а я сидел в углу, как вдруг в кабинете, из которого мы незадолго перед тем вышли, раздался невероятный шум. Это было хриплое, злобное рычание, словно разъяренная собака вцепилась в добычу. Потом раздался треск и крик о помощи. Мы оба вбежали в кабинет и, клянусь, только-только успели вовремя.

Старина Тремо и Бертье покатились на пол, опрокинув стол на себя. Капитан желтой, костлявой рукой стиснул горло маршала, чье лицо уже стало свинцового цвета, а глаза вылезли из орбит. Тремо был вне себя, в углах его рта выступила пена, а на лице было такое безумное выражение, что, я уверен, если бы мы не разжали его железную хватку палец за пальцем, он задушил бы маршала насмерть. От уснутия у него даже ногти побелели.

— Это дьявол! Он искушал меня!— крикнул Тремо, с трудом вставая на ноги.— Да, меня искушал дьявол!

Бертье же молча прислонился к стене и несколько минут не мог отдышаться, приложив руку к горлу и вертя головой. Потом он раздраженно повернулся к тяжелой голубой шторе за креслом.

Штора отдернулась, и в комнату вошел император. Мы все трое вытянулись и отдали честь, но нам казалось, что это сон, и глаза у нас самих полезли на лоб, как только что у Бертье. Наполеон был в зеленом егерском мундире и держал в руке хлыст с серебряной рукояткой. Он взглянул на каждого из нас по очереди с улыбкой— со своей ужасной улыбкой, которая не отражалась ни в глазах, ни на лице,— у каждого, я уверен, мороз прошел по коже, потому что взгляд императора почти на всех оказывал именно такое действие. Потом он подошел к Бертье и положил руку ему на плечо.

— Вы не должны обижаться на удары, дорогой князь,— сказал он.

Он умел придавать своему голосу мягкий, ласковый тон. Ни в чьих устах французский язык не звучал так красиво, как в устах императора, и ни в чьих устах он не бывал таким резким и беспощадным.

— Да ведь он чуть не убил меня! — воскликнул Бертье, все еще вертя головой.

— Ну, полно! Я сам пришел бы к вам на помощь, если бы эти офицеры не слышали ваш крик. Но надеюсь, вы не пострадали слишком серьезно!

Он сказал это без тени улыбки, потому что в самом деле очень любил Бертье — больше всех, кроме разве бедняги Дюрока.

Бертье засмеялся, хотя и натянуто.

— Я не привык страдать от руки француза, — сказал он.

— Но тем не менее вы пострадали во имя Франции, — возразил император. Потом, повернувшись к нам, он слегка дернул старинную Тремо за ухо. — А, это ты старый ворчун, — сказал он, — ты, помнится, был среди моих гренадеров еще в Египте, а после Маренго получил в награду почетный карабин. Я хорошо помню тебя, дружище. Значит, старый огонь еще не погас! Он сразу вспыхивает, когда тебе кажется, что посягают на твоего императора. А вы, полковник Деспен, не стали и слушать искусителя. И вы, Жерар, тоже. Ваша верная сабля всегда ограждает меня от врагов. Что ж, в моем окружении оказалось несколько изменников, но теперь наконец мы знаем истинных друзей.

Можете представить себе, друзья мои, какая радость охватила нас, когда величайший человек в мире сказал нам эти слова! Тремо так дрожал, что я боялся, как бы он не упал, и слезы катились по его огромным ушам. Тот, кто этого не видел, никогда не поймет, какую власть имел император над загорелыми сердцами своих ветеранов.

— Так вот, мои верные друзья, — сказал он, — следуйте за мной вон в ту комнату, и я объясню вам, что значила эта маленькая комедия. Бертье, прошу вас, оставайтесь здесь и позаботьтесь, чтобы нас не беспокоили.

Для нас было в новинку заниматься делами, в то время как у двери будет стоять на часах маршал Франции. Однако мы повиновались и последовали за императором, который отвел нас к оконной нише, попросил подойти ближе и начал, понизив голос:

— Я выбрал вас из целой армии, считая не только самыми бесстрашными, но и самыми преданными мне людьми. Я всегда был убежден, что вы все трое никогда не поколеблетесь в своей верности мне. И если я решился подвергнуть эту верность испытанию и наблюдал за вами, пока Бертье по моему приказу уговаривал вас поступиться честью, то это лишь потому, что сегодня, когда среди самых близких мне людей я вижу черную измену, мне приходится быть вдвойне осторожным. Но теперь я убежден, что могу положиться на вашу доблесть.

— До последнего вздоха, ваше величество! — вскричал Тремо, и все мы повторили вслед за ним эти слова.

Наполеон попросил нас подойти к нему совсем вплотную и еще больше понизил голос:

— То, что я вам сейчас скажу, я не доверил никому, даже жене и братьям, об этом будете знать только вы. Наше дело погибло, друзья мои. Наступает последний парад. Игра проиграна, и надо принять соответствующие меры.

Когда я это услышал, сердце мое словно превратилось в девятифунтовое ядро. Мы еще надеялись вопреки очевидности, но теперь, когда он, всегда такой спокойный и уверенный, своим тихим и бесстрастным голосом сказал, что все кончено, мы поняли, что тучи сгустились и последний луч безвозвратно угас. Тремо что-то проворчал и схватился за саблю, Деспен скрипнул зубами, а я выпятил грудь и щелкнул каблуками, дабы показать императору, что есть души, способные сохранить ему верность в беде.

— Необходимо спасти мои документы и состояние, — прошептал император. — От их сохранности зависит, какой оборот примут события в дальнейшем. Они залог нашего будущего успеха, ибо я уверен, что для этих жалких Бурбонов скамеечка, на которую я ставлю ноги, и та слишком высока, чтобы служить им тронem. Но где мне хранить эти драгоценности? Все мое имущество обыщут, дома моих сторонников тоже. Их должны спрятать и сохранить люди, которым я могу доверить то, что для меня важнее жизни. Это священное доверие я оказываю вам, единственным на всю Францию.

Прежде всего я объясню, что это за бумаги. Вам не придется сетовать, что я сделал вас своим слепым ору-

днем. Это официальные свидетельства моего развода с Жозефиной и законного брака с Марией-Луизой, а также рождения нашего сына и наследника, короля римского. Если мы не сможем доказать это, будущие претензии моей семьи на французский трон рухнут. Кроме того, тут на сорок миллионов франков ценных бумаг — это огромная сумма, друзья мои, но она стоит не больше, чем вот этот хлыст, по сравнению с документами, о которых я говорил. Я говорю вам все это, чтобы вы поняли, какой огромной важности дело я вам поручаю. А теперь слушайте, я скажу, где вы получите эти бумаги и что должны с ними сделать.

Сегодня утром в Париже их вручили моему преданному другу графине Валевской. В пять часов она в своей голубой дорожной карете выедет в Фонтенбло. Сюда она прибудет между половиной десятого и десятью. Бумаги будут спрятаны в карете, в тайнике, который не известен никому, кроме нее. Она предупреждена, что карету при въезде в город остановят три конных офицера, и передаст вам пакет. Жерар, вы моложе всех, но старший по чину. Возьмите вот это кольцо с аметистом, вы покажете его графине как условный знак, а потом отдадите его ей вместо расписки.

Получив пакет, вы поедете лесом до разрушенной голубятни. Возможно, я буду ждать вас там, но если я сочту это опасным, то pošлю своего личного камердинера Мустафу, чьи приказания вы должны исполнять, как мои собственные. Крыши у голубятни нет, и сегодня полнолуние. Справа от входа у стены вы найдете три лопаты. Выкопайте в северо-восточном углу, ближайшем к Фонтенбло, слева от входа, яму в три фута глубиной. Закопав бумаги, вы аккуратно разровняете землю, а потом явитесь ко мне во дворец с докладом.

Таков был приказ императора, ясный и исчерпывающий во всех подробностях, как это умел делать он один. Кончив, он заставил нас поклясться сохранить тайну до его смерти и до тех пор, пока бумаги останутся там. Снова и снова он заставлял нас клясться в этом и наконец отпустил.

Полковник Деспен жил в гостинице «Большой фазан», и там мы все вместе выпили. Мы привыкли к самым невероятным превратностям судьбы, это составляло

неотъемлемую часть нашей жизни, и все же мы были взволнованы и растроганы необычайным разговором с императором и мыслью о великом деле, которое нам предстояло совершить. Мне посчастливилось трижды получить приказ из уст самого императора, но ни случай с Братями из Аяччо, ни знаменитая поездка в Париж не таили в себе таких возможностей, как это новое, необычайно ответственное поручение.

— Если дела императора поправятся, — сказал Деппеи, — мы еще доживем до того, что нас произведут в маршалы.

И мы выпили за свои будущие треуголки и жезлы.

Мы условились, что поедем порознь и соберемся у первого столба на парижской дороге. Так мы избежим всяких слухов, которые могут возникнуть, если увидят вместе троих таких знаменитых людей. Моя верная Фиалка потеряла в то утро подкову, и когда я вернулся, кузнец ее ковал, поэтому, приехав на место встречи, я уже застал там своих товарищей. Я взял с собой не только саблю, но и пару новых английских нарезных пистолетов с деревянной колотушкой для забивания зарядов. Я заплатил за них у Трувеля, на рю де Риволи, сто пятьдесят франков, но зато они были дальше и точнее всяких других. При помощи одного из этих пистолетов я спас в Лейпциге жизнь старику Буве.

Ночь была безоблачная, и за спиной у нас ярко светила луна так, что перед нами по белой дороге все время двигались три черных всадника. Но леса в тех местах до того густые, что мы не могли видеть далеко. Большие дворцовые часы уже пробили десять, а графини все не было. Мы начали уже опасаться, что ей по какой-либо причине не удалось выехать. Но потом мы услышали стук колес и цоканье копыт. Сперва они были едва слышны. Потом стали громче, яснее, отчетливее, и, наконец, из-за поворота показались два желтых фонаря, при свете которых мы увидели двух больших гнедых лошадей, запряженных в высокую голубую карету. Форейтор осадил их в нескольких шагах от нас, они храпели и роняли с морд пену. В мгновение ока мы очутились у кареты и отдали честь, приветствуя даму, чье бледное, прекрасное лицо смотрело на нас из окна.

— Перед вами трое офицеров, которые действуют по приказу императора, мадам,— сказал я негромко, наклонившись к открытому окну.— Вы предупреждены, что мы будем вас ждать.

У графини было очень красивое, белое, как мрамор, лицо — такие лица мне особенно нравятся,— но, глядя на меня, она становилась все бледнее и бледнее. Резкие морщины избороздили ее лицо, и она прямо у меня на глазах вдруг превратилась из молодой женщины в старуху.

— Мне совершенно ясно,— сказала она,— что вы трое — низкие обманщики.

Если бы она дала мне своей нежной ручкой пощечину, я не удивился бы больше. Поразительны были не только слова, но и та горечь, с которой она выдавляла их из себя.

— Право, мадам,— сказал я,— вы к нам несправедливы. Это полковник Деспен и капитан Тремо. А сам я бригадир Жерар и смею заверить: мне достаточно лишь назвать свое имя, чтобы всякий, слышавший про меня, подтвердил...

— Ах, негодяи! — перебила она меня.— Вы думаете, что если я всего только слабая женщина, меня так легко провести! Презрениые лгуны!

Я взглянул на Деспена, который побледнел от ярости, и на Тремо, свирепо дергавшего себя за усы.

— Мадам,— сказал я холодно,— когда император оказал нам честь, возложив на нас это поручение, он дал мне в качестве условного знака вот этот перстень с аметистом. Я полагал, что три достойных человека могут обойтись и без него, но теперь мне остается только опровергнуть ваши недостойные подозрения, вручив его вам.

Она поднесла перстень к фонарю, и выражение безысходного отчаяния исказило ее лицо.

— Это его перстень! — вскрикнула она.— Боже мой, что я наделала! Что я наделала!

Я понял, что произошло нечто ужасное.

— Скорей же, мадам, скорей! — воскликнул я.— Давайте бумаги!

— Я уже отдала их.

— Отдали! Но кому?

— Трем офицерам.

— Когда?

— Полчаса назад.

— Где эти офицеры?

— О господи, если б я знала! Они остановили карету, и я отдала им пакет без колебаний, уверенная, что их послал император.

Это было подобно удару грома. Но именно в такие мгновения я предстаю во всем своем блеске.

— Оставайтесь здесь, — бросил я товарищам. — Если мимо проедут три всадника, задержите их любой ценой. Мадам опишет вам их внешность. А я мигом вернусь.

Стоило мне тронуть повод, и я уже летел в Фонтенбло, как мог лететь только я на моей Фанке. У дворца я спрыгнул на землю, бросился вверх по лестнице, отшвырнул в сторону лакеев, которые пытались преградить мне путь, и ворвался прямо в кабинет императора. Он и Макдональд с карандашами в руках что-то отмечали на карте, сверяясь по компасу. При моем внезапном появлении он поднял голову и недовольно нахмурился, но, узнав меня, переменился в лице.

— Оставьте нас, маршал, — сказал он и, едва дверь закрылась, нетерпеливо спросил: — Ну, что с бумагами?

— Они пропали! — воскликнул я и в коротких словах рассказал ему, что произошло.

Внешне лицо его оставалось спокойным, но я видел, что компас дрожит у него в руке.

— Вы должны вернуть их, Жерар! — воскликнул он. — На кон поставлена судьба моей династии. Не теряйте ни секунды! В седло, скорее в седло!

— Кто эти люди, ваше величество?

— Не знаю. Я окружен изменниками. Но они доставят бумаги в Париж. И уж, конечно, прямо к этому мерзавцу Талейрану! Да, да, эти люди едут в Париж, их еще можно догнать. Три лучших скакуна из моей конюшни и...

Я не стал дожидаться конца фразы. Я уже бежал вниз по лестнице. Уверяю вас, и пяти минут не прошло, как я уже галопом вылетел на Фанке из города, держа обеими руками в поводу двух лучших арабских

скакунов императора. Мне предлагали трех, но после этого я никогда не посмел бы взглянуть в глаза моей Финалке. Я сам любовался собой, когда подлетел к своим товарищам, озаренный луной, и осадил коней у самых их ног.

— Никто не проезжал?

— Никто.

— В таком случае они на парижской дороге. Скорей в погоню!

Храбрые офицеры не заставили себя ждать. В одно мгновение они уже сидели на императорских конях, а своих бросили у обочины. И мы пустились в погоню: я — посередине, Деспен — справа, а Тремо — чуть позади, потому что был тяжелее нас. Боже, какая это была скачка! Двенадцать подков грохотали по твердой, ровной дороге. Мелькали тополя и луна в их ветвях, черные полосы и серебряные пятна — мня за мней лежал наш путь все по той же, словно расчерченной квадратами дороге; впереди мчались наши тени, а сзади клубилась пыль. С грохотом проносясь мимо домов, мы слышали скрежет засовов и скрип ставен, но, прежде чем люди успевали взглянуть нам вслед, мы превращались в три маленьких, темных пятнышка. Когда мы въехали в Корбель, пробило полночь, но конюх, держа в каждой руке по ведру, стоял у гостиницы, и его тень ложилась на полосу золотого света, падавшего из открытой двери.

— Три всадника! — крикнул я, задыхаясь. — Здесь не проезжали три всадника?

— Я только что поил их коней, — отвечал он. — Помоему, они...

— Вперед, друзья, вперед!

И мы помчались дальше, высекая подковами искры из булыжной мостовой городка. Жандарм попытался остановить нас, но его голос утонул в грохоте и треске. Дома мелькали мимо, и вот уж мы снова на дороге, а до Парижа еще добрых двадцать миль. Как могли эти люди уйти от нас, если их преследовали на лучших скакунах Франции? Ни один не отстал ни на шаг, но Финалка все время была на полкорпуса впереди. Она скакала не в полную силу, и я чувствовал, что стоит мне дать ей волю, и императорские скакуны увидят ее хвост.

- Вот они! — воскликнул Дёпыен.
— Теперь не уйдут! — проворчал Тремо.
— Вперед, друзья, вперед! — снова воскликнул я.

Белая дорога убегала вдаль в лунном свете. И далеко впереди мы увидели трех всадников, припавших к шеям лошадей. Мы настигали их, с каждым мгновением они становились все больше и отчетливей. Я уже ясно видел, что двое, которые скакали по краям, закутаны в плащи и едут на гнedyх лошадях, а тот, что посередине, в егерском мундире и копь под ним серый. Они скакали рядом, но по аллюру среднего коня было видно, что он самый свежий. А тот, кто сидел на нем, видимо, был главным, потому что он то и дело оборачивался, измеряя взглядом расстояние между нами, и лицо его белело в лунном свете. Сначала оно казалось сплошь белым, потом его как бы перечеркнули усы, и, наконец, когда нам в ноздри начала забиваться пыль, поднятая копытами их коней, я узнал этого человека.

— Стойте, полковник де Монтилюк! — крикнул я. — Именем императора приказываю вам остановиться!

Я много лет знал его как смелого офицера и отъявленного негодяя. И, кроме того, между нами были кое-какие счеты, потому что он убил в Варшаве моего друга Тревиля, спустив курок, как говорили, за секунду до того, как секундаит бросил платок.

Едва я выкрикнул эти слова, оба его спутника обернулись и выстрелили в нас из пистолетов. Я услышал, как Дёпыен отчаянно вскрикнул, и в тот же миг мы с Тремо выстрелили в одного и того же. Он повалился вперед, уронив руки вдоль шен лошади. Его товарищ, пришпорив коня и обнажив саблю, поскакал прямо на Тремо, раздавался лязг, какой можно услышать, когда сильный удар парируют еще более сильным. Но я даже не повернул головы, а в первый раз тронул Финалку шпорой и помчался вслед за главным негодяем. То, что он бросил своих товарищей и пустился наутек, само по себе было достаточным основанием, чтобы мне тоже бросить своих и гнаться за ним.

Он выиграл сотни две ярдов, но моя добрая лошадка наверстала их, не проскакали мы и двух миль. Напрасно он пришпоривал и нахлестывал коня, как артиллерийский ездовой, когда увязнет пушка. С него сле-

тела шляпа, и лысина засверкала под луной. Но как он ни старался, все равно стук копыт становился все ближе и ближе за его спиной. Я был уже в двадцати шагах от него, и тень моей головы касалась тени его ноги, как вдруг он с проклятьем повернулся в седле и разрядил оба своих пистолета один за другим прямо в Фиалку.

Я сам так часто бывал ранен, что не сразу и сосчитаю, сколько раз. Меня ранили из ружей, из пистолетов, осколками ядер, не говоря уж о том, что неоднократно протыкали штыком, копьем, саблей и наконец шилом, что было всего большее. И все же ни одно из этих ранений не причинило мне такого нестерпимого страдания, как в ту минуту, когда я почувствовал, что бедное, бессловесное, кроткое существо, которое я любил больше всех на свете, кроме моей матушки и императора, зашаталось и споткнулось подо мной. Я вынул из кобуры второй пистолет и выстрелил этому негодяю прямо между лопаток. Он сильно хлестнул по боку свою лошадь, и я уже думал, что промахнулся. Но потом я увидел на его зеленом егерском мундире расплзающееся темное пятно, он стал клониться в седле, сначала едва заметно, а потом все больше, и наконец упал, запутавшись ногой в стремях, и волочился по дороге, пока у лошади не стало сил тащить его, и тут я схватил покрытую пеной узду. Когда я остановил лошадь, кожаное стремя ослабло, и нога, обутая в сапог, упала на землю, громко звякнув шпорой.

— Бумаги! — воскликнул я, соскакивая с седла. — Немедленно!

Но тело в зеленом мундире уже лежало на земле бесформенной грудой, озаренное луной, руки были причудливо раскинуты, и я понял, что с ним все кончено. Пуля произвела ему сердце, и лишь железная воля так долго удерживала его в седле. Он был упрям при жизни, этот Монтюк, и, надо быть справедливым, остался таким же в смертный час.

Но я думал о бумагах — только о них. Я расстегнул его мундир и ощупал рубашку. Потом обыскал кобуры и подсумок. Наконец стянул с него сапоги и, отпустив подпругу у лошади, пошарил под седлом. Не осталось

ни одного самого укромного местечка, которое я не обыскал бы. Но тщетно! Бумаг при нем не было.

Ошеломленный этим ударом, я готов был сесть у обочины дороги и заплакать. Видно, судьба ополчилась против меня, а перед таким противником не стыдно спасовать и доброму гусару. Я стоял, обняв за шею мою бедную, раненую лошадку, и пытался собраться с мыслями, чтобы решить, как быть дальше. Для меня не было секретом, что император не слишком высокого мнения о моем уме, и я жаждал доказать ему, что он ко мне несправедлив. У Монтлюка бумаг нет. И все же Монтлюк пожертвовал своими спутниками, только бы удрать. Тут я ничего не мог понять. Но, с другой стороны, было ясно, что если у него бумаг нет, значит, они у одного из тех двоих. Один убит, это я знал точно. Второй, когда я усекал, дрался с Тремо, и если ему удалось уйти от этого старого рубаки, он все равно не минует меня. Значит, надо ехать назад.

Прикинув все это, я перезарядил пистолеты. Потом сунул их в кобуры и осмотрел свою лошадку, которая все время мотала головой и прыдала ушами, словно хотела сказать, что такой ветеран, как она, не станет обращать внимания на пустяковые царапины. Первая пуля только скользнула по ее лопатке, оцарапав кожу, словно поверхность стены. Вторая рана была серьезнее. Пуля прошла через мускулы шеи, но кровь уже не текла. Я подумал, что, если она ослабеет, я пересяду на серого коня Монтлюка, а пока повел его в поводу, потому что это был хороший конь и стоил он по меньшей мере пятнадцать тысяч франков, а я имел на него все права.

Теперь я горел нетерпением поскорей вернуться назад, но только пустил Фналку вскачь, как вдруг увидел в поле у дороги что-то блестящее. Это была медная отделка на егерской шляпе, слетевшей с головы Монтлюка; при виде ее я даже подпрыгнул в седле. Как могла шляпа слететь? Ведь она тяжелая. А не бросил ли он ее нарочно? Она лежит шагах в пятнадцати от дороги! Ну конечно же, он бросил ее, когда понял, что ему от меня не уйти. А если так... Не теряя времени, я соскочил с лошади, и сердце у меня билось так, словно я мчался в атаку. Да, теперь все в порядке. Там, в его шляпе, были бумаги, свернутые трубкой, обернутые

в пергамент и перевязанные желтой лентой. Я вытащил их одной рукой и, держа шляпу другой, заплясал от радости в лунном свете. Император увидит, что не ошибся, когда поручил это дело Этьену Жерару.

У меня на груди, у самого сердца, был потайной карман, где я хранил всякие дорожные для меня мелочи, и туда я засунул бесценный сверток. Потом вскочил на Фналку и поехал посмотреть, что случилось с Тремо, но вдруг вдалеке, в поле, заметил всадника. Через мгновение я услышал стук копыт и увидел при свете луны императора; он был в сером сюртуке и треуголке, верхом на белом жеребце — таким я часто видел его на поле сражения.

— Ну! — крикнул он по своему обыкновенно грубым фельдфебельским тоном. — Где мои бумаги?

Я подскакал к нему и подал им без единого слова. Он разорвал ленту и быстро пробежал их глазами. Лошади наши стояли голова к хвосту, и он положил мне левую руку на плечо. Да, друзья мои, меня, простого, скромного человека, обнял мой великий повелитель.

— Жерар! — воскликнул он. — Вам нет равных!

Я, конечно, не стал ему возражать и покраснел от радости, видя, что наконец-то справедливость восторжествовала.

— А где же похититель, Жерар? — спросил он.

— Мертв, ваше величество.

— Вы убили его?

— Он ранил мою лошадь, ваше величество, и удрал бы, если бы я его не пристрелил.

— Вы его узнали?

— Это де Монтлюк, ваше величество, командир егерского полка.

— Так, — сказал император. — Мы отрубили щупальце, но рука, которая ведет главную игру, все еще недосыгаема. — Он помолчал, склонив голову на грудь. — Ах, Талейран, Талейран, — услышал я его шепот, — будь я на твоём месте, а ты на моём, ты раздавил бы змею, когда она была у тебя под каблуком. Я знал, каков ты, целых пять лет и все же пощадил тебя, а теперь ты норовишь меня ужалить. Но ничего, Жерар, — добавил он, поворачиваясь ко мне, — пробьет мой час, и когда

он пробьет, клянусь, я не забуду своих друзей, так же как и врагов.

— Ваше величество,— сказал я, потому что тоже успел поразмыслить,— ваши планы насчет этих бумаг, видно, дошли до ушей врагов. Но я надеюсь, вы не думаете, что это случилось из-за какой-либо нескромности моей или моих товарищей?

— Как я могу это думать? — отвечал он.— Ведь заговор был составлен в Париже, а вы получили от меня приказ всего несколько часов назад.

— Так каким же образом...

— Довольно! — резко оборвал он меня.— Вы забываетесь.

Вот так он всегда. Мог беседовать с человеком, как с другом или братом, а потом, когда тот забывал, какая пропасть отделяет его от императора, вдруг словом или взглядом напоминал, что она все так же широка и бездонна. Бывает, я ласкаю свою старую собаку и она осмеливается положить лапу мне на колено — тогда я сбрасываю ее и вспоминаю императора и эту его манеру.

Он повернул лошадь, и я молча поехал вслед за ним, а на душе у меня было тяжело. Но когда он снова заговорил, его слова сразу заставили меня забыть обо всем.

— Я не мог уснуть, не узнав, как у вас дела,— сказал он.— Я заплатил за эти бумаги дорогой ценой. У меня осталось не так много старых солдат, чтобы я мог позволить себе в одну ночь потерять двоих.

Когда он сказал «двоих», я весь похолодел.

— Полковник Дешьен убит выстрелом из пистолета, ваше величество,— пробормотал я.

— А капитан Тремо зарублен. Подоспей я на пять минут раньше, я мог бы спасти его. А негодяй усакал в поле.

Я вспомнил, что за секунду до того, как подъехал император, я видел всадника. Чтобы избежать встречи со мной, он свернул в поле, но знай я, кто он, и не будь Финалка ранена, старый солдат не остался бы неотмщенным. Я с грустью вспоминал о том, как ловко он владел саблей, и думал, что, вероятно, его погубила ослабевшая рука, как вдруг Наполеон заговорил снова.

— Да, бригадир,— сказал он,— теперь вы один будете знать, где спрятаны мои бумаги.

Быть может, мне это только показалось, друзья мои, но, откровенно говоря, я не уловил в голосе императора сожаления. Однако не успела эта горькая мысль промелькнуть у меня в голове, как он доказал мне, что я к нему несправедлив.

— Да, я дорого заплатил за эти бумаги,— сказал он, и я услышал, как они захрустели под его рукой.— Ни у кого не было таких преданных слуг — ни у кого, с тех пор как стоит мир.

Тем временем мы подъехали к месту схватки. Полковник Деппен и человек, которого мы застрелили, лежали рядом поодаль от дороги, а их лошади преспокойно паслись среди тополей. Капитан Тремо лежал прямо перед нами на спине, раскинув руки и ноги, еще сжимая обломок сабли. Мундир его был расстегнут, и большой кровавый лоскут, как темный платок, торчал из ворота белой рубашки. Из-под огромных усов блестящие оскаленные зубы.

Император спешил и наклонился над убитым.

— Он был со мной с самого Риволи,— сказал он печально.— Это один из моих старых ворчунов, которые воевали еще в Египте.

И этот голос воскресил человека из мертвых. Я увидел, как его веки дрогнули. Он шевельнул рукой и на несколько дюймов сдвинул эфес сабли. Это он пытался поднять ее, приветствуя императора. Потом челюсть у него отвисла, и обломок сабли, звякнув, упал на землю.

— Да пошлет нам судьба столь же героическую смерть,— сказал император, выпрямляясь, и я от всего сердца добавил:

— Аминь.

Шагах в пятидесяти от нас была усадьба, и хозяин, разбуженный стуком копыт и треском выстрелов, выбежал на дорогу. Теперь мы увидели его,— онемевший от страха и удивления, он глядел на императора во все глаза. Его заботам мы и передали всех четырех убитых и лошадей. Я счел за лучшее оставить у него Фналку, а самому пересечь на серого жеребца Монтлюка, потому что мою лошадь он мне наверняка отдаст, а с чужой

могут возникнуть затруднения. Кроме того, рана моей Фиалки требовала лечения, а нам предстоял обратный путь.

Сначала император был молчалив. Быть может, смерть Деспена и Тремо все еще тяготила его душу. Он всегда был сдержан, и в эти трудные времена, когда каждый час приносил ему вести об успехе его врагов или отступничестве друзей, нечего было ожидать, что он окажется веселым собеседником. Тем не менее, когда я думал, что он везет на груди бумаги, которые так важны для него и которые всего лишь час назад были, казалось, утрачены безвозвратно, и это я, Этьен Жерар, вернул их ему, я чувствовал, что заслуживаю некоторого внимания. Та же мысль, по-видимому, пришла в голову и ему, потому что, когда мы наконец свернули с парижской дороги в лес, он сам заговорил о том, о чем у меня так и чесался язык его спросить.

— Так вот,— сказал он,— я уже говорил вам, что теперь, кроме вас и меня, ни один человек на свете не будет знать, где мы спрячем эти бумаги. Мой мамелюк отнес к голубятне лопаты, но я не сказал ему, зачем они нужны. С другой стороны, план доставки бумаг из Парижа обсуждался с понедельника. Тайну знали трое: одна женщина и двое мужчин. Женщине я, не колеблясь, доверил бы свою жизнь. Кто из двоих мужчин оказался предателем, я не знаю, но клянусь, что буду знать.

Мы ехали в это время в тени деревьев, и я слышал, как он пощелкивал хлыстом по сапогу и закладывал в нос поиюшку за поиюшкой, как делал всегда, когда волновался.

— Вы, разумеется, удивлены,— сказал он, помолчав,— почему эти негодяи остановили карету не в Париже, а при въезде в Фонтенбло.

Этот вопрос не приходил мне в голову, но я не хотел показаться глупее, чем он меня считал, и сказал, что это в самом деле странно.

— Если бы они это сделали, был бы публичный скандал и они рисковали не достичь цели. В Париже им пришлось бы разломать карету на мелкие куски. Он это ловко придумал, насчет Фонтенбло, на это он мастер, и хорошо выбрал людей. Но мои люди оказались лучше.

Не мне, друзья мои, повторять вам все, что сказал император, пока мы ехали шагом под сенью темных деревьев и через посеребренные луной прогалины знаменитого леса. Каждое его слово отпечаталось в моей памяти, и, прежде чем умереть, я хотел бы запечатлеть их на бумаге для потомков. Он охотно говорил о своем прошлом и более скуп — о будущем, о преданности Макдональда, предательстве Мармона, о маленьком римском короле, о котором вспоминал с такой же нежностью, как всякий отец о своем единственном ребенке, и наконец о своем тесте, австрийском императоре, который, как он надеялся, защитит его от врагов. Я же не смел вымолвить ни слова, помня, что уже раз вызвал этим его неудовольствие; но я ехал с ним бок о бок и едва мог поверить, что рядом со мной в самом деле великий император, человек, чей взгляд наполнял меня восторгом, что это он поверяет мне сейчас свои мысли короткими, энергичными фразами, — его слова гремели, как копыта целого эскадрона, скачущего галопом. Мне кажется, после словесных ухищрений и дипломатии двора для него было облегчением излить душу передо мной, простым солдатом.

Так мы с императором — даже после стольких лет я краснею от гордости, что могу произнести вместе эти слова, — мы с императором ехали шагом через лес Фонтенбло, пока наконец не очутились у голубятни. Справа от выломанной двери стояли у стены три лопаты, и при виде их на глаза у меня навернулись слезы: я вспоминал о тех, для чьих рук они были предназначены. Император схватил одну, я — другую.

— Скорей! — сказал он. — Мы должны вернуться во дворец до рассвета.

Мы выкопали яму, засунули бумаги в мою пистолетную кобуру, чтобы предохранить их от сырости, положили ее на дно и засыпали землей. Потом тщательно разровняли землю, а сверху навалили большой камень. Смею вас заверить, что с тех пор, как император молодым артиллеристом готовил своих подчиненных к штурму Тулона, ему не доводилось так поработать руками. Он начал утирать лоб шелковым платком задолго до того, как мы закончили дело.

Первые серые, холодные лучи утреннего света уже пробивались меж стволов, когда мы вышли из старой голубятни. Император положил мне руку на плечо, и я стоял, готовый помочь ему сесть на коня.

— Мы оставили бумаги здесь, — сказал он торжественно, — и я хочу, чтобы самую мысль о них вы тоже оставили здесь. Пусть воспоминание о них совершенно исчезнет из вашей головы и оживет лишь тогда, когда вы получите прямой приказ, собственноручно написанный мной и скрепленный моей печатью. А сейчас вы должны забыть все, что произошло.

— Я уже забыл, ваше величество.

Мы доехали вместе до окраины города, и там он приказал мне покинуть его. Я отдал честь и уже поворачивал лошадь, когда он меня окликнул.

— В лесу легко можно спутать страны света, — сказал он. — Скажите, а мы не зарыли их в северо-западном углу?

— Что зарыли, ваше величество?

— Бумаги, разумеется! — сердито воскликнул он.

— Какие бумаги, ваше величество?

— Тысяча чертей! Да мои бумаги, которые вы мне вручили.

— Я, право, не понимаю, о чем ваше величество изволит говорить.

Он побагровел от гнева, но тут же рассмеялся.

— Молодец, бригадир! — воскликнул он. — Я начинаю верить, что вы такой же хороший дипломат, как и военный, а это в моих устах высшая похвала.

Вот какое это было удивительное приключение, и с тех пор я стал другом и доверенным лицом императора. Когда он вернулся с Эльбы, то решил выждать и не выкапывать бумаги, пока его положение не упрочится, и они так и остались в углу старой голубятни, когда он был сослан на Святую Елену. Там он вспомнил про них и пожелал, чтобы они попали наконец в руки его приверженцев, и написал мне, как я узнал впоследствии, три письма, но все они были перехвачены охраной. Тогда он предложил, что сам будет содержать себя и своих приближенных, — ведь он был богатый человек, —

если хоть одно его письмо пропустят, не распечатывая. Но в этой просьбе ему было отказано, и до самой его смерти в двадцать первом году бумаги оставались там, где мы их спрятали. Я рассказал бы и о том, как мы с графом Бертрамом откопали их и в чьи руки они в конце концов перешли, но это дело пока еще не кончено.

Когда-нибудь вы еще услышите об этих бумагах и увидите, что великий человек, который давио в могиле, до сих пор способен привести в содрогание Европу. И когда этот день наступит, вы вспомните Этьена Жерара и расскажете своим детям, что слышали про это удивительное дело из уст человека, который один из всех, принимавших в нем участие, остался в живых,— человека, которого искушал маршал Бертье, который был впереди в отчаянной скачке на парижской дороге, удостоился объятий самого императора и ехал с ним в лунную ночь по лесу Фонтенбло. Почки лопаются на деревьях, и птицы щебечут, друзья мои. Вам будет приятней погулять на солнышке, чем слушать рассказы старого, немощного солдата. И все же не грех вам сохранить в памяти то, что я говорю, потому что еще много раз будут лопаться почки и петь птицы, прежде чем Франция увидит второго такого повелителя как тот, которому мы с гордостью служили.

II

Приключения
бригадира

Ж

Жерара



КАК БРИГАДИР ЛИШИЛСЯ УХА

Старый бригадир Жерар, сидя в кафе, рассказывал:

— Да, друзья мои, многое множество городов перевидал я на своем веку. Вы не поверите, если я скажу, сколько раз вступал я в города победителем во главе восьмисот лихих рубак, которые ехали за мной под стук подков и бряцание оружия. Кавалерия шла впереди Великой армии, гусары Конфланского полка — впереди кавалерии, а я — впереди гусар. Но из городов, где нам довелось побывать, Венеция всех нелепей, — и кто ее только построил! Ума не приложу, о чем думали эти строители, ведь для кавалерии там нет никакой возможности маневрировать. Сам Мюрат или Лассаль — и те не сумели бы провести эскадрой на главную площадь. Поэтому тяжелую кавалерийскую бригаду Келлермана и моих гусар мы оставили в Падуе, на материке. Город заняла пехота под командованием Сюше, а он взял меня в ту зиму к себе в адъютанты, потому что ему понравилось, как я разделался в Милане с одним итальянцем, который ловко умел рубиться на саблях. Этот малый знал свое дело, и, к счастью для Франции, именно я вышел против него и поддержал честь нашего оружия. Да и проучить его следовало: ведь если кому не нравится, как поет примадонна, тот может и помолчать,

а когда публично срамят красивую женщину, этого стерпеть нельзя. Поэтому общее сочувствие было на моей стороне, а когда дело было сделано и вдове итальянца назначили пенсию, Сюше взял меня в адъютанты, и я отправился с ним в Венецию, где со мной и произошёл тот удивительный случай, о котором я вам сейчас расскажу.

Вы не бывали в Венеции? Ну, конечно, нет, французы ведь нелегки на подъём. А мы вот в наше время довольно попутешествовали. Всюду побывали, от Москвы до самого Канра, только хозяевам не по душе было такое множество гостей, да и пропуска свои мы везли на лафетах. Плохо придется Европе, когда французы снова вздумают путешествовать,—они неохотно покидают свои дома, но если уж сдвинутся с места, кто знает, где они остановятся, особенно если их поведет такой человек, как наш император, даром что он невысок ростом. Но те славные дни прошли, те славные люди мертвы, и я, последний из них, сижу в кафе, пью сюренское вино и рассказываю о былом.

Но о чем это я... Ах, да, о Венеции. Люди там живут, как водяные крысы на илистых отмелях, но дома хороши, ничего не скажешь, и я нигде не видывал таких великолепных церквей; особенно замечателен Собор св. Марка. Но более всего они гордятся своими статуями и картинами, знаменитыми по всей Европе. Многие в армии считают, что их дело — воевать, и ни о чем другом, кроме сражений да добычи, и думать не стоит. К примеру, был у нас один такой старик Буве, его убили пруссаки в то самое время, когда император пожаловал мне медаль; попробовали бы вы заговорить с ним не про бивак да провиант, а про книги или про искусство, он стал бы только глаза таращить. Но настоящий воин, вот как я, к примеру, должен разбираться в тонких материях, которые дают пищу для ума и для души. Правда, я поступил в армию совсем еще мальчишкой и единственным моим учителем был квартирмейстер, но тот, у кого есть глаза во лбу, поневоле многому научится, пройдя чуть ли не полвека.

Так что я мог оценить картины, какие видел в Венеции, и знал имена великих людей, Майкла Титиена,

и Ангелюса¹, и других, которые их нарисовали. И всякий вам скажет, что сам Наполеон тоже был от них в восторге, потому что он, когда взял город, первым делом велел отправить лучшие из них в Париж. Мы забрали все, что только могли, и на мою долю достались две картины. Одну, которая называлась «Испуганные немцы», я оставил себе, а другую, «Святую Барбару», послал в подарок матушке.

Но что греха таить, некоторые из наших молодых плохо обращались со статуями и картинами. Венецианцы их очень любили, а в четверке бронзовых коней, что стояли над воротами самой большой ихней церкви, они просто душ не чаяли, как в родных детях. Я всегда знал толк в лошадях и хорошенько осмотрел эту четверку, но ничего особенного не нашел. Для легкой кавалерии ноги у них слишком толстые, а для оружейной запряжки они слабоваты. Но поскольку, кроме этой четверки, во всем городе не было больше ни единой лошади, живой или дохлой, тамошние жители просто-напросто ничего лучшего не видели. Когда этих коней снимали и отправляли во Францию, все горько плакали, а ночью из каналов выловили десять французских солдат. В наказание у них отобрали еще многое множество картин, и наши солдаты принялись ломать статуй и палить из ружей по разноцветным оконным стеклам. Это привело народ в ярость, венецианцы нас возненавидели. Многие офицеры и солдаты пропали в ту зиму без вести, и даже трупы их найти не удалось.

У меня в то время дел было по горло, скучать не приходилось. В каждой стране, куда меня забрасывала судьба, я старался выучить тамошний язык. Для этого я всегда искал милую даму, которая согласилась бы выучить меня, чтоб потом нам вместе попрактиковаться. Нет более приятного способа обучиться иностранному языку, и мне не исполнилось еще тридцати, когда я уже говорил чуть ли не на всех европейских языках; но скажем прямо, те слова, какие можно выучить та-

¹ Майкл Титиен — бригадир называет так великого итальянского живописца XVI в. Тициана Вечеллио. Ангелюс — очевидно, имеется в виду Анжелико, фра Джованни да Фьезоле (1387—1455).

ким способом, не очень-то годятся в обычной жизни. Вот мне, к примеру, приходилось все больше иметь дело с солдатами да крестьянами, а какой толк говорить им, что я люблю их одних и вернусь к ним, когда кончится война?

Никогда не было у меня такой милой учительницы, как в Венеции. Звали ее Лючия, а по фамилии... но благородному человеку не пристало помнить фамилии. Могу только сказать, не будучи нескромным, что она дочь венецианского сенатора, а дед ее был дожем. Она была редкостная красавица — а уж ежели я, Этвее Жерар, говорю «редкостная», это, друзья мои, что-нибудь да значит. Я кое-что смыслю в этих делах, и память у меня хорошая, да и сравнивать есть с чем. Из всех женщин, какне меня любил, не наберется и двух десятков, про которых я мог бы так сказать. Но Лючия, говорю вам, была редкостная красавица. Среди брюнеток я не припомню ей равной, — разве только вот Долорес из Толедо. Да еще была у меня одна брюнеточка в Сантареме, когда я служил под началом у Массеи в Португалии... как, бывш, ее звали?.. запамтовал. Она была само совершенство, но все же до Лючин ей далеко — и фигуру не сравнить и грация не та. Была еще, правда, Агнесса. Я не отдавал ни одной из них предпочтения, но по справедливости надо признать, что Лючия была лучшей из лучших.

Из-за этих самых картин я с ней и познакомился, — дворец ее отца стоял по ту сторону Большого канала, у моста Рнальто, и все стены в нем сплошь были разрисованы, поэтому Сюше выслал отряд саперов с приказом вырезать некоторые куски и отправить в Париж. Я пошел с ними, увидел Люцию, всю в слезах, и сразу сообразил, что если штукатурку со стен снять, она вся потрескается. Я доложил об этом, и саперов отозвали. С тех пор я стал другом их дома и раздавил с ее папашей не одну бутылочку кьянти, а дочка дала мне не один сладостный урок итальянского языка. В ту зиму в Венеции кое-кто из французских офицеров женился, и та же судьба могла постичь и меня, потому что я любил Люцию всем сердцем; но Этвее Жерар никогда не забывает о чести своего оружия, о своем коне, своем полку, своей матери, об императоре и о карьере. В сердце доброго

гусара всегда найдется место для любви, но жена — дело другое. Так рассуждал я в те дни, друзья мои, и не думал, что наступит время, когда я останусь один как перст и буду тосковать о той, которой давно уж нет, и отводить взгляд при виде старых боевых товарищей, которые сидят себе в кресле в кругу взрослых детей. Да, любовь казалась мне тогда шуткой, баловством, и теперь только я понял, что это главное в жизни, самое возвышенное и святое на свете... Спасибо вам, друзья мои, спасибо! Винцо превосходное, и лишняя бутылочка мне не повредит.

А теперь слушайте, я расскажу вам, как любовь к Лючии ввергла меня в самое ужасное из всех невероятных приключений, какие мне довелось пережить, — тогда-то я и лишился верхней половины правого уха. Вы часто спрашивали меня, как это случилось. Сегодня я наконец расскажу вам об этом.

Ставка Сюше находилась в ту пору в старинном дворце дожа Дандоло, на берегу лагуны, неподалеку от площади святого Марка. Дело уже шло к весне, и вот как-то вечером прихожу я из театра Гольдони¹, а меня уже дожидается записка от Люции и гондола. Она умоляла меня прехать не мешкая, потому что с ней случилась беда. На такую записку у французского офицера может быть только один ответ. Через секунду я был уже в гондоле, и гондольер, отталкиваясь веслом, поплыл по темной лагуне. Помню, садясь на скамейку, я еще подивился, какой это здоровенный малый. Хоть и невысок ростом, зато плечи широченные, я таких сроду не видывал. Но гондольеры в Венеции народ крепкий, и силачей среди них немало. Так вот, он занял свое место у меня за спиной и стал грести.

Хороший солдат во вражеской стране должен всюду и всегда быть начеку. Это было одно из главных моих правил, и если я дожил до седых волос, то лишь потому, что неизменно ему следовал. Но в ту ночь я был беспечен и глуп, как желторотый новобранец, который больше всего на свете боятся, как бы не подумали, что он трусит. Пистолеты я в спешке позабыл дома. Сабля

¹ Имеется в виду Гольдони.

была при мне, но это оружие не всегда самое удобное. Я откинулся на спинку скамьи и задремал под баюкающий плеск воды и мерное поскрипывание весла. Путь наш лежал через лабиринт узких каналов, по обоим берегам которых стояли высокие дома, так что над головами у нас виднелась лишь узкая полоска неба, усыпанного звездами. Кое-где на мостах, перекинутых через канал, тускло мерцали керосиновые фонари, да иногда в нише, где горела свеча перед статуей святого. В целом же вокруг была крошечная, непроницаемая тьма, только белое пятно пеннлось под длинным черным носом нашей лодки. Час был поздний, да и обстановка располагала ко сну. Мне вспомнилась вся моя жизнь, вспомнились великие дела, в которых я участвовал, кони, на которых я ездил, и женщины, которых любил. А потом я стал думать о своей матушке и представил себе, как она обрадовалась, когда вся наша деревня заговорила о геройстве ее сына. А еще я думал об императоре и о Франции, нашей милой родине, о солнечной Франции, вскормившей многих прекрасных дочерей и отважных сынов. Душа моя исполнилась ликования при мысли о том, что мы пронесли знамена Франции за много сотен лет от ее границ. Служению ей я посвящу всю свою жизнь. Я приложил руку к сердцу и поклялся в этом, но тут гондольер вдруг навалился на меня сзади.

Когда я говорю, что он навалился на меня, то несколько не преувеличиваю: он не просто напал, а именно обрушился на меня всей тяжестью. Гондольер, когда гребет, стоит у пассажира за спиной, на возвышении, так что его не видно, и от такого нападения никак не уберечься. Только что я сидел, исполненный самых благородных порывов, а теперь вот лежал на дне гондолы, к которому это чудовище пригвоздило меня, и не мог даже вздохнуть. Я чувствовал его горячее, яростное дыхание у себя на затылке. Он живо сорвал у меня с пояса саблю, натянул мне на голову мешок и крепко захлестнул его веревочной петлей. Я лежал на дне гондолы, беспомощный, как птичка, запутавшаяся в силке. Я не мог крикнуть, не мог пошевеливаться и был словно узел с тряпьем. Вскоре я снова услышал плеск воды и скрип весла. Этот негодяй сделал свое дело и преспокойно

поплыл дальше как ни в чем не бывало, словно привык каждый день набрасывать мешок на голову гусарского полковника.

Не могу описать вам то чувство унижения и то бешенство, наполнявшее мою душу, когда я лежал там, беспомощный, как баран, которого волокут на бойню. Меня, Этьена Жерара, которому не было равных в шести бригадах легкой конницы, первого рубаку во всей Великой армии, осилл один безоружный человек, и каким образом! Но я лежал смирию, потому что всему свое время — надо знать, когда сопротивляться, а когда беречь силы. Я уже испытал хватку этого малого и знал, что перед ним я слабее ребенка. Поэтому я молча ждал своего часа, но сердце мое пылало яростью.

Долго ли я пролежал на дне гондолы, не знаю; мне показалось, что очень долго, а вода все плескалась и весло скрипело. Несколько раз мы сворачивали в сторону — я знал это, потому что слышал протяжный, тоскливый крик, которым гондольеры предупреждают друг друга о своем приближении. Наконец после долгого пути я почувствовал, как борт лодки скребнул о пристань. Гондольер трижды ударил веслом по доскам, и я услышал грохот засовов и скрежет ключа в замке. Тяжелая дверь повернулась на ржавых петлях.

— Ты привез его? — спросил чей-то голос по-итальянски.

Негодяй захохотал и пнул мешок, в котором я лежал.

— Вот получайте, — ответил он.

— Они ждут, — сказал голос. И добавил еще что-то, чего я не понял.

— Ну и берите его, — сказал гондольер.

Он подхватил меня, поднял на несколько ступеней и швырнул на твердый пол. Через мгновение загрохотали засовы и снова раздался скрежет ключа. Я очутился в плену.

Судя по голосам и звукам шагов, меня, видимо, окружало несколько человек. Я неважно говорю по-итальянски, но понимаю куда лучше и поэтому отлично разобрал, о чем шла речь.

— Ты случайно не придушил его, Маттео?

— А хоть бы и так.

— Клянусь, ты ответишь за это перед судом.

— Но ведь его все равно казнят, верно?

— Да, но не тебе и не мне быть судьями.

— Тьфу! Да я и не думал его убивать. Мертвые не кусаются, а он, подлец, прокусил мне руку, когда я натягивал мешок ему на голову.

— Но он не двигается.

— А вы вытряхните его из мешка и сами увидите, что он живехонек.

Веревку развязали и мешок стянули у меня с головы. Зажмурившись, я неподвижно лежал на полу.

— Клянусь всеми святыми, Маттео, ты сломал ему шею.

— Ну нет. Это он в обмороке. И если не очнется, что ж, тем лучше для него.

Я почувствовал, как чья-то рука залезла мне под мундир.

— Маттео прав, — слышался голос. — Сердце у него стучит, как молот. Пускай отлежится, придет в чувство.

Я выждал минуту-другую, а потом рискнул бросить украдкой взгляд из-под опущенных ресниц. Сперва я ничего не увидел, потому что долго пробыл в темноте и теперь очутился как бы в тумане. Но вскоре я разглядел у себя над головой высокий сводчатый потолок, разрисованный разными богами и богинями. Значит, меня приволокли не просто в логово головорезов, а в вестибюль какого-то венецианского дворца. Тогда я, не шевелясь, очень медленно и осторожно оглядел людей, стоявших вокруг меня. Я увидел гондольера, этого злобного негодяя со смуглым, словно высеченным из камня, лицом и еще троих — один из них был щуплый, сутулый, начальственного вида, со связкой ключей в руке, двое других — рослые молодые слуги в щегольских ливреях. Из их разговора я понял, что щуплый — это дворецкий, и все остальные у него под началом.

Итак, их четверо — правда, щуплый дворецкий не в счет. Будь у меня оружие, я только посмеялся бы над таким превосходством сил. Но голыми руками мне невозможно справиться и с одним из них, даже если остальные трое ему не помогут. Значит, оставалось надеяться на хитрость, а не на силу. Я стал искать какого-нибудь пути к бегству и при этом чуть-чуть повернул голову.

Сколь ни неприметно было это движение, оно не ускользнуло от моих врагов.

— Эй ты, очнись! — крикнул дворецкий.

— Вставай-ка, французик, — проворчал гондольер. — Слышишь, вставай. — И он снова пиул меня ногой.

Ни один приказ еще не был исполнен с такой быстротой. В мгновение ока я вскочил и со всех ног бросился в дальний конец вестибюля. Они пустились за мной, словно английские гончие, которые как-то у меня на глазах травили лису, но я уже бежал по длинному коридору. Поворот налево, еще раз налево, и я снова очутился в вестибюле. Они уже настигали меня, и раздумывать было некогда. Я бросился было к лестнице, но по ней спускались какие-то двое. Я кинулся назад и сделал попытку открыть дверь, через которую меня втащили, но она была заложена тяжелыми засовами, которые мне не удалось отодвинуть. Гондольер бросился на меня с ножом, но я нанес ему такой удар ногой, что он упал навзничь. Нож громко звякнул о мраморный пол. Схватить его я не успел, потому что на меня накинулись сразу шестеро. Я бросился напролом, но тут щуплый дворецкий подставил мне ножку, и я с грохотом упал, однако сразу же вскочил, вырвался из их рук, раскидал их во все стороны и бросился к двери в другом конце вестибюля. Я успел добежать до нее первым, ручка легко поддавалась нажиму, и я издал торжествующий крик, потому что дверь велела наружу и путь был свободен. Но я забыл, какой это нелепый город. Там что ни дом, то остров. Я распахнул дверь и хотел уже выскочить на улицу, и тут свет из вестибюля упал на глубокую, спокойную, черную воду, которая подступала к верхней ступеньке крыльца. Я попятился, и они навалились всем скопом. Но меня так просто не возьмешь. Действуя руками и ногами, я снова вырвался, хотя один из них, стараясь удержать меня, выдрал из моей головы здоровый клок волос. Дворецкий огрел меня тяжелым ключом, я был весь избит и исцарапан, но снова расчистил себе дорогу. Я побежал вверх по широкой лестнице, распахнул одну за другой несколько больших двустворчатых дверей, которые попались на пути, и наконец увидел, что все мои усилия пропали даром.

Комната, куда я ворвался, была ярко освещена. Судя по раззолоченным карнизам, массивным колоннам, рас-

писным стенам и потолкам, это, вероятно, была парадная зала какого-то великолепного венецианского дворца. Таких дворцов в этом странном городе не сосчитать, и в каждом есть залы, которым позавидовали бы Лувр и Версаль. Посередине было возвышение, на котором полукругом сидели двенадцать человек, одетые в черное с ног до головы будто францисканские монахи, и все как один в полумасках. Отряд вооруженных людей — по виду настоящих бандитов — охранял вход, а впереди, лицом к возвышению, стоял молодой человек в пехотной форме. Когда он обернулся, я узнал его. Это был капитан Оре из Седьмого полка, молодой баск, с которым я в ту зиму выпил не одну бутылку вина. Он, бедняга, был бледен, как смерть, но держался среди этих палачей, как подобает мужчине. Никогда не забуду, как в его темных глазах блеснула искра надежды, когда он увидел, что в комнату ворвался товарищ, но надежда тут же сменилась отчаянием: он понял, что я явился разделить его участь, а не изменить ее.

Можете себе представить, как удивились все эти люди, когда я вихрем влетел в залу. Преследователи мои сгрудились позади меня и отрезали путь к двери, так что теперь уж нечего было и думать о побеге. В такие вот минуты и проявляется по-настоящему мой характер. Я с достоинством подошел к судьям. Мой мунир был изорван, волосы встрепаны, голова разбита и в крови, но было в моих глазах и в моей осанке нечто, заставившее их понять, что перед ними не простой человек. Меня даже не пытались задержать, и я остановился перед величественным седобородым стариком властного вида, решив, что и по возрасту и по внешности он должен быть тут главным.

— Синьор, — сказал я, — не соблаговолите ли объяснить мне, по какому праву меня схватили и насильно привезли сюда? Я честный солдат, как и вот этот человек, и требую, чтобы нас обоих немедленно освободили.

Зловещее молчание было ответом на мои слова. Мне стало не по себе, когда двенадцать итальянцев в масках устремили на меня глаза, пылающие мстительной злобой. Но я не дрогнул, как и подобает доброму солдату, а в голове у меня невольно мелькнула мысль, что я не посрамил своим поведением чести гусар Конфланского

полка. Не думаю, чтобы кто-нибудь на моем месте сумел в столь трудных обстоятельствах держаться лучше. Я бесстрашно переводил взгляд с одного палача на другого и ждал ответа.

Молчанье нарушил седобородый.

— Кто этот человек? — спросил он.

— Его зовут Жерар, — ответил дворецкий из дверей.

— Полковник Жерар, — поправил я. — Не вижу причин скрывать это. Да, я Этьен Жерар, тот самый полковник Жерар, который пять раз упомянут в донесениях и представлен к награждению почетной шпагой. Я адъютант генерала Сюше и требую, чтобы меня и моего товарища немедленно освободили.

Снова то же злое молчанье воцарилось в зале, и те же двенадцать пар беспощадных глаз устремились на мое лицо. Заговорил опять седобородый:

— Сейчас не его очередь. У нас в списке до него еще двое.

— Но он вырвался из наших рук и вломился сюда.

— Пускай ждет своей очереди. Отведите его в деревянную камеру.

— А если он будет сопротивляться, ваша светлость?

— У вас на то есть кинжал. Суд гарантирует вам безнаказанность. Уведите его, пока мы занимаемся остальными.

Они двинулись ко мне, и я подумал было о сопротивлении. Это была бы геройская смерть, но кто увидел бы ее, кто поведал бы о ней потомкам? Конечно, я мог лишь отсрочить роковой конец, и все же я побывал в стольких скверных переплетах и столько раз выходил из них невредным, что научился надеяться и вернуть в свою звезду. Я позволил этим негодям схватить меня, и мы вышли за дверь, причем гондольер не отходил от меня ни на шаг, держа наготове длинный нож. По глазам этого негодяя видно было, с каким удовольствием он всадил бы этот нож в меня, будь у него для этого малейший предлог.

Что за чудо эти огромные венецианские дома, они же дворцы, крепости и одновременно тюрьмы. Меня повели сперва по галерее, а потом вниз по каменной лестнице, и наконец мы очутились в коротком коридоре, где было три двери. Меня втолкнули в одну из них, и позади сразу же защелкнулся замок. Скупой свет проникал внутрь че-

рез зарешеченное оконце, выходившее в коридор. Почти ничего не видя, я ощупью обшарил все помещение. Из разговоров, которые я слышал, было ясно, что скоро мне снова придется выйти отсюда и предстать перед судом, но не в моем обычае пренебрегать хотя бы малейшим шансом на спасение.

Каменный пол моей камеры был сырой, а стены на несколько футов в высоту осклизлые и прогнившие, из чего я заключил, что нахожусь ниже уровня воды. Высоко под потолком я обнаружил отдушину, сквозь которую в камеру проникал свет и воздух. Я глянул вверх и увидел яркую звезду, сверкавшую прямо надо мной, и это преисполнило меня спокойствием и надеждой. Я не был слишком набожен, хоть всегда уважал искренние верующих, но мне не забыть ту ночь, когда сияющая звезда заглядывала в мое подземелье, словно всевидящее око, и я чувствовал себя робким, безусым новобранцем, который в разгаре боя ощутил на себе спокойный взгляд своего полковника.

Три стены моей темницы были каменные, а четвертая деревянная, и было ясно, что она сколочена совсем недавно. Очевидно, одиной большой подвал разделили деревянными перегородками на две камеры поменьше. Толстые, старинные стены, крепкая дверь, крошечное оконце — тут надеяться было не на что. Оставалась только деревянная перегородка. Конечно, я понимал, что если и пропихну за нее — это, кстати, было не так уж трудно, — то попаду всего-навсего в другую камеру, не менее прочную, чем эта. Все же я всегда предпочитал действовать, чем сидеть сложа руки, и занялся деревянной стеной со всей решительностью, на какую был способен. Там были две доски, плохо пригнанные одна к другой, они держались так непрочно, что их, без сомнения, легко можно было оторвать. Я поискал подле себя какое-нибудь подходящее орудие и отломал ножку койки, стоявшей в углу. Я уже засунул ее в щель между досками, как вдруг быстрые шаги заставили меня остановиться и прислушаться.

Ах, если бы я мог забыть то, что услышал! У меня на глазах умирали на поле битвы многие сотни людей, да и сам я убил столько, что лучше и не вспоминать, но все это было в честном бою, при исполнении воинско-

го долга. Совсем другое дело — слышать, как человек принимает смерть в этом логове убийц. Они волокли кого-то по коридору, а он сопротивлялся и ухватился за дверь моей темницы. Видно, его толкнули в третью камеру, самую дальнюю от меня. «Помогите! Помогите!» — закричал он, и я услышал звук удара и отчаянный вопль. «Помогите! Помогите!» — закричал он снова, а потом: «Жерар! Полковник Жерар!» Это убивали несчастного пехотного капитана. «Подлые убийцы!» — загремел я и стал колотить ногами в дверь, но тут он снова вскрикнул, и все стихло. А еще через минуту раздался громкий всплеск, и я понял, что на этом свете никто уж не увидит Оре. Он погнб, как сотни других, которых в ту зиму недосчитались на переключке наших полков в Венеции.

В коридоре снова раздался шаг, и я подумал, что пришел за мной. Но вместо этого я услышал, как отперли дверь соседней камеры и вывели оттуда кого-то. Шаг замерел на лестнице. Тогда я снова принялся за перегородку и в какие-нибудь несколько минут так расшатал доску, что ее можно было свободно вынуть и вставить на место, когда мне заблагорассудится. Через отверстие я проник в соседнюю камеру; как я и ожидал, она оказалась частью подвала, разделенного перегородкой. Это немало не приблизило меня к моей цели, потому что здесь уже не было деревянной стены, сквозь которую я мог бы пробраться, а дверь была заперта на замок. И никаких следов, по которым я мог бы судить, кто был мой товарищ по несчастью. Я вернулся в свою камеру, вставил доску на место и, собрав все свое мужество, стал ждать вызова, который, по всей видимости, предвещал для меня смерть.

Ждать пришлось довольно долго, но вот в коридоре снова раздался шаг, и я приготовился услышать звуки еще одной отвратительной расправы и крики несчастной жертвы. Но ничего подобного не случилось, пленника ввели в камеру без борьбы. Я не успел заглянуть туда через щель, потому что в тот же миг дверь моей камеры распахнулась и вошел негодяй-гондольер вместе с другими убийцами.

— Выходи, француз, — сказал он.

Он сжимал в волосатой ручище окровавленный нож, и я прочел в его сверкавших злобой глазах, что он меч-

тает всадить этот нож мне в сердце и ждет только предлога. Сопротивление было бессмыслию. Я вышел без единого слова. Меня повели вверх по каменной лестнице в ту же великолепную залу, где заседал тайный суд. Когда меня впустили туда, я с удивлением увидел, что на меня никто не обращает внимания. Один из них, высокий темноволосый молодой человек, стоял перед возвышенным и тихим, но ндушим от самого сердца голосом упрасивал о чем-то остальных судей. Голос его дрожал от волнения, он то протирал к ним руки, то прижимал их к груди в отчаянной мольбе.

— Вы не сделаете этого! Не сделаете! — говорил он. — Я умоляю суд пересмотреть приговор!

— Отойди, брат, — сказал старик, главный среди них. — Приговор вынесен, и мы переходим к следующему делу.

— Ради всего святого будьте милосердны! — воскликнул молодой человек.

— Мы были милосердны, — отозвался тот. — Даже смерть — слишком легкая кара за такое преступление. Молчи и не мешай суду.

Я видел, как юноша в отчаянии упал на стул. Но мне недосуг было раздумывать, отчего он так сокрушается, потому что одиннадцать его собратьев уже устремили на меня суровые взгляды. Роковой миг настал.

— Вы полковник Жерар? — спросил свирепый старик.

— Да.

— Адъютант грабителя, который именует себя генералом Сюше и, в свою очередь, подчинен другому грабителю, какого не видел свет, Бонапарту?

Я едва удержался, чтобы не назвать его лжецом, но иногда лучше воздержаться от возражений.

— Я честный солдат, — сказал я. — Я повиновался приказам и выполнял свой долг.

Кровь бросилась старику в лицо, глаза яростно сверкнули из-под маски.

— Все вы воры и убийцы, все до единого! — воскликнул он. — Что вам здесь надо? Вы французы. Так и сделан бы у себя во Франции. Разве мы звали вас в Венецию? По какому праву вы здесь? Где наши картины? Где кони с Собора святого Марка? Кто вы такие, что

крадете сокровища, которые наши предки собирали столько столетий? Наш город славился на весь мир, когда Франция была еще пустыней. Ваши пьяные, буйные, невежественные солдаты погубили созданное святыми и героями. Что можешь ты возразить на это?

Вид у старика был грозный, нет слов, его седая борода встала торчком от ярости, голос звучал отрывисто, как лай бешеной собаки. Я, конечно, мог бы ему возразить, что с его картинами ничего не сделается в Париже, что из-за этих коней не стоит поднимать шума, а уж героев — не говоря о святых — он может увидеть, не обращаясь к своим далеким предкам и даже не вставая с кресла. Все это я мог бы ему сказать, но это было бы все равно, что спорить с мамелюком о религии. Я пожал плечами и промолчал.

— Подсудимому нечего сказать в свое оправдание, — произнес один из судей в маске.

— Хочет ли кто-нибудь высказаться перед вынесением приговора?

Старик сверкающим взглядом обвел остальных.

— Тут есть одно обстоятельство, ваша светлость, — сказал один из них. — Конечно, касаясь его, приходится беречь раиы нашего брата, но все же напоминаю вам, что есть особая причина примерно покарать этого офицера.

— Я помню об этом, — отозвался старик. — Брат, если в одном деле суд причинил тебе боль, то в другом ты получишь полное удовлетворение.

Молодой человек, который просил суд о милосердии, когда меня ввели, шатаясь встал на ноги.

— Нет, мне этого не вынести! — вскричал он. — Ваша светлость, простите меня. Я не могу больше участвовать в суде. Я болен. Я теряю рассудок.

Он в отчаянии простер руки к суду и выбежал из зала.

— Пускай уходит! Пускай! — сказал старик. — От человека из плоти и крови нельзя требовать слишком много, он не может оставаться здесь. Но он настоящий всенцианец, и, когда первое отчаяние пройдет, он поймет, что иначе мы поступить не могли.

Обо мне на время забыли, и хотя я не привык, чтобы мной пренебрегали, тут я был бы рад, если бы обо мне

не вспомнили подольше. Но вот старик снова сверкнул на меня глазами, словно тигр, который возвращается к своей жертве.

— Ты заплатишь за все, это будет только справедливо,— сказал он.— Ты, наглый проходимец, чужак, посмел поднять нечистый взгляд на внучку самого дожа Венеции, который уже обручил ее с наследником Лореданов. За такую честь придется заплатить дорогой ценой.

— Невозможно заплатить за то, чему нет цены,— отвечал я.

— Послушаем, что ты скажешь, когда придет твой час,— сказал он.— Может статься, что спаси у тебя сильно поубавится. Маттео, отведи пленника в деревянную камеру. Сегодня понедельник. Не давай ему ни пить, ни есть, а в среду вечером пускай снова предстанет перед судом. Тогда и решим, какой смерти его предать.

Конечно, хорошего впереди было мало, но все же я получил отсрочку. Когда косматый дикарь заносит над тобой окровавленный нож, бываешь благодарен и за малое снисхождение. Он вытолкнул меня из залы, потащил вниз по лестнице и снова швырнул в ту же камеру. Щелкнул замок, и я остался наедине с собственными мыслями.

Первым делом я решил снестись со своим соседом и товарищем по несчастью. Я подождал, пока шаги не замерли вдали, потом осторожно вынул обе доски и заглянул в щель. Так как было почти совсем темно, мне удалось лишь смутно различить фигуру, съежившуюся в углу, и я услышал шепот: узник молился так горячо, как молится человек, охваченный смертельным страхом. Должно быть, доски скрипили. Послышался удивленный возглас.

— Мужайся, друг мой, мужайся! — воскликнул я.— Не все еще потеряно. Не падай духом, ибо с тобой Этьен Жерар.

— Этьен! — Голос был женский, и он прозвучал для меня как музыка. Я мигом протиснулся в щель и обнял девушку.

— Люция! Люция! — воскликнул я.

Несколько минут только и слышно было, что «Этьен!» да «Люция!», ведь в такие минуты не до разговора. Она опомнилась первая.

— Ах, Этьен, они тебя убьют. Как ты попал к ним в руки?

— Я получил твою записку.

— Но я не писала никакой записки.

— Коварные дьяволы! Ну, а ты?

— Я тоже получила записку от тебя.

— Лючия, да ведь и я не писал записки.

— Значит, они поймали нас обоих на одну удочку.

— О себе я не беспокоюсь, Лючия. К тому же мне сейчас ничто и не грозит. Они просто снова посадили меня сюда.

— Этьен, Этьен, они тебя убьют! Ведь там Лоренцо.

— Это кто, старик с седой бородой?

— Нет, нет, молодой, черноволосый. Он любил меня, и я тоже думала, что люблю его, пока... пока не узнала, что такое настоящая любовь, Этьен. Он не простит тебе этого. У него сердце из камня.

— Пусть делают что хотят. Они не в силах отнять у меня прошлого, Лючия. Но ты... Что будет с тобой?

— Да ведь это совсем не страшно, Этьен. Мгновенная боль — и все кончено. Они хотят заклеить меня позором, мой дорогой, но я приму это как венец чести, ведь я принимаю его благодаря тебе.

От этих слов кровь заледенела у меня в жилах. Все превратности моей судьбы были ничто по сравнению с этой ужасной тенью, которая вдруг омрачила мою душу.

— Лючия! Лючия! — воскликнул я. — Сжался, скажи мне, что задумали эти душегубы! Скажи же, Лючия! Скажи!

— Нет, Этьен, не скажу, потому что тебе это причинит гораздо большую боль, чем мне. Ну, ладно, ладно, скажу, а то ты бог весть что подумаешь. Старый судья приказал отрезать мне ухо, чтобы навеки заклеить за любовь к французу.

Ее ухо! Крошечное, милое ушко, которое я так часто целовал. Я по очереди коснулся бархатистых раковинок и убедился, что кощунство еще не совершено. Только через мой труп они это сделают. Я поклялся в этом перед ней сквозь стиснутые зубы.

— Не беспокойся, Этьен. Но все же я рада, что ты беспокоишься обо мне.

— Эти дьяволы не тронут тебя!

— Есть еще надежда, Этьен. Там Лоренцо. Он молчал во время суда, но, может быть, просил о милосердии, когда меня увели.

— Да, просил. Я сам слышал.

— И, может быть, сердца их смягчились.

Я знал, что это не так, но как было сказать ей? Однако напрасно старался я скрыть правду, — с женской проницаемостью она прочла мои мысли.

— Ну, конечно, они не стали его и слушать! Мой дорогой, говори прямо, не бойся. Увидишь, что я достойна любви такого героя, как ты. Где Лоренцо?

— Он ушел из залы.

— Может быть, он вообще покинул этот дом?

— Кажется, да.

— Значит, он предоставил меня моей судьбе. Ой, Этьен, они уже идут!

Я услышал в отдаленных роковые шаги и позвякивание ключей. Зачем они шли сюда теперь, когда некого было уже тащить на суд? Им оставалось сделать только одно: привести в исполнение приговор над моей возлюбленной. Я встал между ней и дверью, готовый драться, как лев. Я решил, что разнесу весь дом, но не дам к ней прикоснуться.

— Уходи! Уходи, Этьен! — вскричала она. — Они убьют тебя. А мне по крайней мере смерть не грозит. Если любишь меня, Этьен, уходи. Это совсем не страшно. Я не издам ни звука. Ты ничего и не услышишь.

Она, это нежное существо, схватила меня и — откуда только у нее взялись силы — подтащила к щели в перегородке. Вдруг в голове у меня сверкнула новая мысль.

— Еще можно спастись, — шепнул я ей. — Живо, делай, что я тебе скажу, и не спорь. Лезь в мою камеру. Скорей!

Я втолкнул ее в щель и помог ей поставить доски на место. Плащ ее я удержал в руках и, завернувшись в него, забился в самый темный угол камеры. Я уже лежал там, когда дверь отворилась и вошли несколько человек. Я надеялся, что они пришли без фонаря, как и в прошлый раз. Я казался им лишь темным пятном в углу.

— Принесите огня, — сказал один.

— На кой он нам черт! — воскликнул грубый голос, и я узнал этого негодяя Маттео. — Такое дело мне не по нутру, и чем меньше я буду видеть, тем лучше. Мне очень жаль, синьора, но приговор суда надо привести в исполнение.

Первым моим порывом было вскочить на ноги, раскидать их и выбежать в открытую дверь. Но как тогда помочь Лючии? Допустим, мне удастся вырваться, но она останется у них в руках, пока я не приведу помощь, — ведь в одиночку нечего и надеяться освободить ее. Все это мгновенно промелькнуло у меня в голове, и я понял, что мне остается лишь одно — лежать смиренно, покориться судьбе и ждать своего часа. Грубая рука негодяя ощупала мои волосы, которые до тех пор гладили лишь женские ручки. Вот он схватил меня за ухо, и все мое тело пронзила нестерпимая боль, словно меня жгли каленым железом. Я закусил губу, чтобы не закричать, и почувствовал, как по шее и по спине струится теплая кровь.

— Ну вот, слава богу, все кончено, — сказал гондольер, дружески потрепав меня по голове. — Вы храбрая девушка, синьора, этого нельзя не признать, жаль только, что у вас такой дурной вкус и вы полюбили француза. Так что вините его, а не меня.

Мне ничего не оставалось, кроме как лежать тихо, стиснув зубы от бессильной досады. Но, как всегда, мою боль и ярость успокоила мысль, что я пострадал ради любимой женщины. Мужчины имеют обыкновение говорить дамам, что были бы счастливы претерпеть ради них любую боль, мне же выпала честь доказать, что это не пустые слова. И еще я подумал, как благородно будет выглядеть этот мой поступок, если когда-нибудь про него узнают, и как будет гордиться Конфланский полк своим командиром. Эта мысль помогла мне перенести страдания, не издав ни звука, а кровь все текла у меня по шее, и слышно было, как она капала на каменный пол. Этот звук чуть не погубил меня.

— Она истекает кровью, — сказал один из слуг. — Надо позвать доктора, не то утром вы найдете ее мертвой.

— Что-то она не шевелится и даже не пикнула, — сказал другой. — Наверное, не пережила такого потрясения.

— Вздор! Молодую женщину не так-то просто убить.— Это был голос Маттео.— И отхватил-то я самую малость, только чтобы видно было клеймо. Вставайте, синьора, вставайте!

Он тряхнул меня за плечо, и сердце мое упало, я боялся, что он нащупает под плащом эполет.

— Ну, как вы себя чувствуете? — спросил он.

Я не отвечал.

— Проклятие! Куда лучше иметь дело с мужчиной, чем с женщиной, да еще с первой красавицей в Венеции,— сказал гондольер.— Эй, Николас, дай-ка мне иосовой платок да принеси фонарь.

Все пропало. Случилось самое худшее. Теперь уж ничто не могло меня спасти. Я по-прежнему лежал, съежившись, в углу, но весь напрягся, как дикая кошка, готовая к прыжку. Уж если умирать, решил я, так пусть мой конец будет достоин славы жизни, которую я прожил.

Один из них ушел за фонарем, а Маттео стоял, склонившись надо мной, с платком в руке. Еще мгновение, и тайна моя будет раскрыта. Вдруг он выпрямился и словно окаменел. В тот же миг через оконце под потолком доиесся невятный шум. Это был плеск весел и гул многих голосов. Потом наверху раздались громкие удары в дверь, и грозный голос загремел:

— Откройте! Откройте! Именем императора!

Император! Это слово было подобно святому имени, которое одним звуком своим может обратить в бегство дьяволов. Все бросились наутек, испуская крики ужаса: Маттео, слуги, дворецкий, вся эта шайка убийц. Снова грозный окрик, потом удар топора и треск разрубаемых досок. В прихожей раздались бряцание оружия и громкие голоса французских солдат. Еще мгновение, и какой-то человек, промчавшись по лестнице, ворвался ко мне в камеру.

— Люция! — вскричал он.— Люция!

Он стоял в тусклом свете, тяжело дыша, и не находил слов. Наконец он взволнованно заговорил:

— Теперь ты видишь, Люция, как я люблю тебя? Что еще мог я сделать в доказательство своей любви? Я предал свою родину, нарушил клятву, погубил друзей и пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти тебя.

Это был молодой Лоренцо Лоредан, у которого я отнял невесту. В ту минуту мне стало жаль его, но в конце концов ведь в любви каждый стоит за себя, и если кто несчастлив, пусть утешается, что он побежден благородным и великодушным соперником. Я хотел было сказать ему это, но не успел слова вымолвить, как он испустил удивленный возглас, выбежал за дверь, схватил фонарь, висевший в коридоре, и осветил мое лицо.

— Так это ты, негодяй! — воскликнул он. — Ты, развратник! Ты заплатишь мне за все зло, которое причинил.

Но тут он заметил бледность моего лица и кровь, которая все не унималась.

— Что это? — спросил он. — Каким образом вы лишились уха?

Я пересилил свою слабость и, зажав рану платком, встал на ноги, беспечный и веселый, как и подобает гусарскому полковнику.

— Это пустяк, царапина. С вашего позволения не станем говорить об этом, тем более, что дело сугубо личное.

Но тут из соседней камеры вбежала Лючия и, схватив Лоренцо за руку, рассказала все как было.

— Этот благородный человек занял мое место, Лоренцо! Он все перенес ради меня. И пострадал, чтобы меня спасти.

Я понимал борьбу чувств, которая отразилась на лице итальянца. Наконец он протянул мне руку.

— Полковник Жерар, — сказал он, — вы достойны истинной любви. Я прощаю вас, ибо если вы причинили мне зло, то искупили его своим благородным поступком. Но я удивлен, что вижу вас в живых. Я покинул суд до вынесения приговора, но знал, что ни одному французцу нечего надеяться на снисхождение с тех пор, как погнали сокровища Венеции.

— Он в этом не повинен! — воскликнула Лючия. — Это благодаря ему целы сокровища в нашем дворце.

— Во всяком случае, одно из них, — сказал я, наклонился и поцеловал ей руку.

Вот при каких обстоятельствах, друзья мои, я лишился уха. Лоренцо нашли с ножом в сердце на площади св. Марка через два дня после этой бурной ночи. Из числа судей и их гнусных пособников Маттео и еще

трое были расстреляны, остальные высланы из города. Лючия, милая моя Лючия, ушла в монастырь в Мурано, когда французские войска оставили город, там она, верно, живет и поныне, стала, я думаю, доброй аббатисой и давным-давно забыла те дни, когда наши сердца бились так дружно и весь мир казался таким ничтожным по сравнению с любовью, пылавшей в нашей крови. А может быть, это и не так. Может быть, она ничего не забыла. Как знать, а вдруг безмятежный монастырский покой нарушают иногда воспоминания о старом солдате, который любил ее в те далекие дни! Юность прошла, страсть угасла, но душа благородного человека остается неизменной, и Этьен Жерар готов снова склонить перед этой женщиной седую голову и с охотой лишиться ради нее второго уха.

II

КАК БРИГАДИР ВЗЯЛ САРАГОССУ

А рассказывал ли я вам когда-нибудь, друзья мои, при каких обстоятельствах довелось мне вступить в гусарский Конфланский полк во времена осады Сарагоссы и про тот замечательный подвиг, который я совершил, когда мы брали этот город приступом? Нет? Право, об этом стоит послушать. Сейчас я расскажу вам все, как было. Вы будете первые, кто про это услышит, кроме разве нескольких мужчин да двух-трех десятков женщин.

Итак, надо вам знать, что я служил сперва лейтенантом, а потом капитаном во втором гусарском полку, который именовался Шамберанским. Мне тогда едва исполнилось двадцать пять лет, и я был безрассудным и отчаянным, как все солдаты нашей Великой армии. В то время война в Германии уже прекратилась, а в Испании еще шла вовсю, и император, желая укрепить там армию, перевел меня в чине капитана в гусарский Конфланский полк, который в то время действовал в составе Пятого армейского корпуса под командованием маршала Ланна.

Путь от Берлина до Пиренеев не близкий. Мой новый полк был среди войск, которые во главе с маршалом

Ланном осаждали в то время испанский город Сарагоссу. Я направил коня к этому городу и примерно через неделю был уже в нашей главной штаб-квартире, где мне указали дорогу в расположение Конфланского полка.

Вы, без сомнения, читали о знаменитой осаде Сарагоссы, и я скажу только, что ин перед одним генералом не стояла еще такая трудная задача, как тогда перед маршалом Ланном. Огромный город был переполнен испанцами — солдатами, крестьянами, священниками, — и все пылало самой что ни на есть отчаянной ненавистью к французам и самой яркой решимостью умереть, но не сдаться. Город защищало восемьдесят тысяч человек, а осаждающих было всего тридцать тысяч. Зато у нас была мощная артиллерия, и наши саперы не имели себе равных. Такой осады еще не видел свет, ведь обычно, когда стены взяты, город сдается, а здесь только, когда мы взяли штурмом стены, и началась настоящая битва. Каждый дом превратился в бастион, каждая улица — в поле боя, и нам приходилось медленно, день за днем, прокладывать себе путь вперед, взрывая дома вместе с их защитниками, пока больше половины города не было разрушено. Но вторая половина по-прежнему не сдавалась, и защищаться там было легче, потому что она сплошь состояла из огромных монастырей со стенами не хуже, чем у Бастилии, которые не так-то легко было убрать с пути. Так обстояли дела, когда я прибыл в армию.

Скажем прямо, от кавалерии при осаде города не много пользы, хотя было время, когда я никому не позволил бы произнести эти слова безнаказанно в моем присутствии. Конфланский полк расположился к югу от города, в его задачу входило патрулировать окрестности и не допускать продвижения испанцев в этом направлении. Командир плохо знал свое дело, и у гусар не было того боевого духа, которым полк отличался потом. Уже в первый вечер я пришел в ужас, и было отчего: ведь я привык к образцовому порядку и не мог без душевной боли видеть плохо устроенный бивак, неухоженную лошадь или расхлябанного кавалериста. В тот вечер я ужинал вместе с двадцатью шестью офицерами своего нового полка и, боюсь, переусердствовал, слишком ясно дав им

понять, что у них по части порядка далеко до того, к чему я привык, сражаясь в Германии. После моих слов за столом наступило молчание, и я, поймав на себе их взгляды, понял свою бестактность. Полковник был в ярости, а майор, по фамилии Оливье, первый дуэлянт в полку, сидевший прямо напротив меня, подкручивал большие черные усы и пожирал меня глазами. Однако я не вспылал, поскольку чувствовал, что действительно был нескромен, и если еще в первый же вечер поссорюсь с офицером, который старше меня чином, это произведет дурное впечатление.

Итак, я допускаю, что был неправ, но слушайте дальше. После ужина полковник и некоторые офицеры вышли из комнаты — мы ужинали в крестьянском доме. Осталось с десятков офицеров, и так как принесли меха с испанским вином, все мы развеселились. И тогда этот Оливье задал мне несколько вопросов насчет нашей армии в Германии и моего участия в кампании. Разгоряченный вином, я так и сыпал всякими историями. Что тут удивительного, друзья мои? Я уверен, вы меня поймете. Там я был образцом для офицеров своего поколения во всей армии. Я был первым рубакой, самым отчаянным кавалеристом, героем сотни приключений. Здесь же не только не знали про мою славу, но и смотрели на меня косо. Мудрено ли, если мне хотелось показать этим храбрецам, что за человека к ним прислали? Мудрено ли, если мне хотелось сказать: «Радуйтесь, друзья, радуйтесь! Сегодня к вам прибыл не кто-нибудь, а я, собственной персоной, сам Жерар, герой Ратисбона, покоритель Иены, человек, который прорвал каре при Аустерлице!». Но я не мог так прямо им сказать это. И я пустился вспоминать разные боевые случаи, чтобы они сами это мне сказали. И что же? Они слушали меня с полнейшим равнодушием. Увлечшись, я рассказал им, как провел армию через Дунай, и тут грянул дружный смех. Я вскочил, красный от стыда и бешенства: я попался на их удочку! Они, оказывается, потешались надо мной. Они были уверены, что имеют дело с хвастуном и лжецом. Неужто мне суждено быть принятым так конфланскими гусарами? На глазах у меня выступили слезы обиды, а они, видя это, захохотали еще громче.

— Скажите-ка, капитан Пеллетан, что, маршал Лаин все еще командует армией? — спросил майор.

— Насколько мне известно, да, — отвечал капитан.

— Право, я готов был подумать, что теперь, когда прибыл капитан Жерар, в его присутствии едва ли есть необходимость.

Сиова грянул смех. Как сейчас, вижу все эти лица, эти насмешливые глаза, разинутые рты — Оливье с его длинными черными усами, худого и насмешливого Пеллетана, — даже юные подпоручики и те корчились от смеха. Боже, какое унижение! От ярости слезы высохли у меня на глазах. Я снова стал самим собой, холодным, спокойным, замкнутым, снаружи лед, а внутри пламя.

— Позволено ли мне будет спросить вас, сударь, — обратился я к майору, — в котором часу состоится утренний сбор полка?

— Надеюсь, капитан Жерар, вы не намерены изменить распорядок? — сказал он, и снова раздался взрыв смеха, который, однако, сразу стих, когда я огляделся вокруг.

— В котором часу сбор? — резко спросил я у капитана Пеллетана.

У него уже готов был вырваться насмешливый ответ, но мой взгляд заставил его прикусить язык.

— В шесть, — ответил он.

— Благодарю вас, — сказал я.

Потом я пересчитал присутствующих и обнаружил, что имею дело с четырнадцатью офицерами, двое из которых были юнцы прямо из Сен-Сира¹. Им можно было простить их неучтивость. Оставались майор, четыре капитана и семь поручиков.

— Господа, — сказал я, переводя взгляд с одного на другого. — Я буду чувствовать себя недостойным этого славного полка, если не потребую у вас удовлетворения за вашу грубость, и буду считать вас недостойными его, если вы под каким-либо предлогом мне откажете.

— Ну, тут у вас не будет никаких затруднений, — заявил майор. — Я готов забыть о своем чине и дать вам любое удовлетворение от имени кофланских гусар.

¹ Французская военная академия.

— Премного благодарен,— отвечал я.— Но я требую того же и от всех остальных офицеров, которые надо мной смеялись.

— С кем вы хотите драться?— спросил капитан Пеллетан.

— Со всеми,— отвечал я.

Они удивленно переглянулись. Потом отошли в другой конец комнаты и стали шептаться. Они смеялись. Видно, все еще думали, что имеют дело с жалким хвастуном. Наконец они вернулись.

— Ваша просьба несколько необычна,— сказал майор Оливье,— но она будет удовлетворена. Как предлагаете вы вести такую дуэль? Мы предоставляем вам называть условия.

— Будем рубиться на саблях,— ответил я.— И начну я по старшинству с вас, майор Оливье, ровно в пять часов. Таким образом, до сигнала трубы я успею уделить каждому по пяти минут. Однако должен просить вас назначить место встречи, поскольку я незнаком с окрестностями.

Моя холодная деловитость произвела на них впечатление. Улыбок на их губах как не бывало. Лицо Оливье стало уже не насмешливым, а мрачным и суровым.

— За коновязями есть небольшая поляна,— сказал он.— Мы там уже улаживали дела честно, и все проходило как нельзя лучше. Будем ждать вас там, капитан Жерар, в назначенный вами час.

Я уже наклонил голову в знак благодарности за это согласие, как вдруг дверь распахнулась и быстрым шагом вошел взволнованный полковник.

— Господа,— сказал он,— мне поручено найти среди вас добровольца для дела, сопряженного с величайшей опасностью. Не скрою, дело это весьма и весьма серьезное, и маршал Ланн решил послать кавалерийского офицера, потому что кавалеристы не так нужны ему, как пехотинцы или саперы. Семейных приказано не брать. Итак, кто из остальных вызовется добровольцем?

Незачем и говорить, что все холостые офицеры сделали шаг вперед. Полковник оглядел их в некотором замешательстве. Я понимал его затруднение. Пойти должен был лучший из лучших, и в то же время этот лучший был ему особенно необходим.

— Господин полковник, — сказал я, — позвольте мне высказать предложение?

Полковник бросил на меня неприязненный взгляд. Он не забыл моих замечаний за ужином.

— Говорите! — сказал он.

— Обращаю ваше внимание на то, господин полковник, что это задание должен выполнить я и по праву и по соображениям целесообразности.

— Но почему же, капитан Жерар?

— По праву потому, что мой чин обязывает меня к этому, а по соображениям целесообразности потому, что если я не вернусь, это не будет утратой для полка, где меня еще никто не знает.

На лице полковника выразилось облегчение.

— Вы совершенно правы, капитан Жерар, — сказал он. — Мне кажется, вы в самом деле лучше всех подходите для этого дела. Следуйте за мной, я передам вам приказ.

Я простился со своими новыми товарищами и, уходя, повторил, что буду к их услугам утром в пять часов. Они молча поклонились, и по выражению их лиц я мог заключить, что они начинают более справедливо судить о моем характере.

Я ожидал, что полковник сразу объяснит мне суть дела, но он шел молча, и я следовал за ним. Мы прошли через весь лагерь, потом через окопы, мимо груд каменных обломков, оставшихся от городской стены. Дальше начался лабиринт ходов, проложенных среди развалин домов, взорванных саперами. Огромное пространство было усыпано обломками стен и кирпичом, а ведь когда-то здесь было густонаселенное городское предместье. Ходы тянулись во все стороны, на углах висели фонари с надписями, указывавшими направление. Полковник быстро шагал вперед, и вот, наконец, впереди выросла высокая серая стена, которая тянулась прямо поперек нашего пути. Здесь, под прикрытием баррикады, расположились наши передовые посты. Полковник ввел меня в дом с сорванной крышей, и я увидел там двух генералов — стоя на коленях у барабана, на котором была разложена карта, они внимательно рассматривали ее при свете фонаря. Один, гладко выбритый, со скрюченной

шей, был маршал Ланн, другой — генерал Разу, который командовал саперами.

— Вот капитан Жерар, он вывался добровольцем, — сказал полковник.

Маршал Ланн встал с колен и пожал мне руку.

— Вы храбрец, — сказал он. — Вот, возьмите, этот подарок приготовлен для вас, — добавил он, протягивая мне тоненькую стеклянную трубочку. — Доктор Фарде специально составил яд. Если не будет другого выхода, вам довольно положить его в рот — смерть наступает мгновенно.

Начало было многообещающее. Признаться, друзья мои, по спине у меня пополз холодок, а волосы на голове встали дыбом.

— Прошу прощения, — сказал я, отдавая честь. — Я понимаю, что вывался на очень опасное дело, но мне еще не сообщили, в чем оно состоит.

— Полковник Перрен, — строго сказал Ланн. — Это несправедливо: вы позволили этому храбrecу вываться добровольцем, а он не знает даже, какие опасности его ждут.

Но я уже снова стал прежним Жераром.

— Ваше превосходительство, — сказал я, — да позволено мне будет заметить, что чем больше опасность, тем больше и слава, и мне придется только пожалеть, что я вывался добровольцем, если окажется, что никакого риска нет.

Это были благородные слова, и выражение моего лица подкрепляло их. Вид у меня в тот миг был геройский. Я почувствовал на себе восхищенный взгляд Ланна и с восторгом подумал, что блестяще начинаю свою службу в Испании. Если бы я погиб в ту ночь, то обессмертил бы свое имя. Новые и старые товарищи, которые ни в чем другом не могли бы столкнуться, единодушно отдали бы дань любви и восхищения Этьену Жерару.

— Генерал Разу, разъясните обстановку! — коротко приказал Ланн.

Командующий саперами встал, держа циркуль в руке. Он подвел меня к двери и указал на высокую серую стену, которая высилась среди развалин.

— Вон там проходит теперь вражеская линия обороны, — сказал он. — Это стена большого монастыря Ма-

донны. Если нам удастся взять его приступом, город падет, но они заложили вокруг монастыря контрмины, а стены такие толстые, что пробить их артиллерийским огнем невероятно трудно. Однако нам стало известно, что в одном из подвалов противник устроил большой пороховой склад. Если его удастся взорвать, путь нашим войскам будет свободен.

— А как туда пробраться?— спросил я.

— Сейчас объясню. У нас есть в городе свой человек по имени Юбер. Этот смельчак поддерживал с нами регулярную связь и обещал взорвать склад. Он должен был сделать это ранним утром, и вот уже два дня штурмовой отряд из тысячи гренадеров ждет, пока будет пробита брешь. Но взрыва не было, и эти два дня мы не имеем никаких вестей от Юбера. Судьба его нам неизвестна.

— Значит, я должен пойти туда и все выяснить?

— Совершенно верно. Может быть, он заболел, или ранен, или убит? Ждать ли нам взрыва или же предпринять наступление в каком-нибудь другом месте? Мы не можем решить это, пока не узнаем, что с ним случилось. Вот план города, капитан Жерар. Как видите, за этим кольцом монастырей лежат улицы, которые сходятся к главной площади. Если вы доберетесь до площади, то увидите на одном из ее углов собор. Он стоит на углу улицы Толедо. Юбер живет в маленьком домике между мастерской сапожника и винной лавкой, по правую руку, если идти от собора. Вам все ясно?

— Вполне.

— Вы найдете его дом, поговорите с Юбером и узнаете, осуществим ли еще наш план или же придется отказаться от него.— Он протянул мне сверток грязной материи.— Вот облачение францисканского монаха,— сказал он.— Это самая удобная одежда.

Я попятился.

— Не хочу быть шпионом! — воскликнул я.— Нет уж, пойду в мундире.

— Это невозможно! Как надеетесь вы пройти по улицам? И, кроме того, вспомните, что испанцы пленных не берут, и вас постигнет одинаковая судьба, в какой бы одежде вы ни были.

Это была правда, я уже достаточно долго пробыл в Испании и знал, что судьба эта будет похуже смерти. Я напялил на себя монашескую одежду.

— Я готов.

— У вас есть оружие?

— Сабля.

— Они могут услышать звяканье. Вот, возьмите этот нож, а саблю оставьте здесь. Скажите Юберу, что в четыре часа, перед рассветом, штурмовой отряд снова будет наготове. У двери ждет сержант, он укажет вам дорогу в город. До свиданья и желаю удачи!

Когда я выходил из комнаты, треуголки обоих генералов уже снова склонились над картой. У двери меня ждал унтер-офицер инженерных войск. Я подпоясался и, сняв кивер, натянул на голову капюшон. Шпоры я тоже снял и молча последовал за своим проводником.

Двигаться приходилось с большой осторожностью, так как на стенах у нас над головами стояли испанские часовые, которые то и дело обстреливали наши передовые посты.

Прячась в тени высокой монастырской стены, мы медленно и осторожно пробирались меж горами развалин, пока не дошли до большого каштана. Здесь сержант остановился.

— На это дерево нетрудно залезть, — сказал он. — Проще, чем по веревочной лестнице. Полезайте, и вы увидите, что с верхней ветки можно перебраться на крышу вон того дома. Оттуда вас поведет ваш ангел-хранитель, потому что я больше ничем не могу помочь.

Я послушался совета и, подоткнув полы тяжелой коричневой рясы, влез на дерево. Серп месяца ярко светил, и силуэты крыши четко выделялись на лиловом, усыпанном звездами небе. Дерево стояло в тени дома. Я медленно перебирался с ветки на ветку, пока не дотянулся почти до самой верхушки. Оставалось только проползти по какому-нибудь толстому суку, чтобы очутиться за стеной. Вдруг я услышал шаг, прижался к стволу и постарался слиться с ним в полутьме. Кто-то шел по крыше в мою сторону. Я увидел темную фигуру — человек крадся, пригнувшись, вытянув шею, держа ружье наперевес. Поведение его было необычайно настороженным. Несколько раз он останавливался, потом шел дальше

и наконец очутился у парапета в нескольких шагах от меня. Здесь он встал на колени, прицелился и выстрелил.

Я был до того поражен этим внезапным грохотом у себя под самым носом, что чуть не свалился с дерева. В первый мнг мне даже показалось, что он ранил меня. Но вот внизу послышался громкий стон, а испанец перегнулся через парапет и захохотал, и тогда я понял, что произошло. Стонал бедняга сержант, который все это время оставался внизу, ожидая, когда я доберусь до крыши. Испанец увидел его под деревом и выстрелил. Вы можете подумать, что он был метким стрелком, но эти люди вооружены «трабукос», или мушкетонами, которые набивают камнями и кусочками металла, и им попасть в человека так же легко, как мне в фазана, сидящего на ветке. Испанец стоял, вглядываясь в темноту; внизу опять раздался стон. Испанец огляделся — вокруг было тихо и спокойно. Возможно, он подумал, что хорошо бы прикончить этого проклятого француза, а может, собирался обшарить его карманы, — каковы бы ни были его побуждения, он положил ружье, прыгнул и прыгнул на дерево. В тот же мнг я всадил в него нож, и он, ломая ветки, с громким треском полетел вниз и шлепнулся на землю. Я услышал внизу шум короткой борьбы и французские ругательства. Раниеный сержант отомстил за себя.

Несколько минут я не смел шелохнуться, мне все казалось, что шум непременно кто-нибудь слышал. Однако все было тихо, только колокола в городе отбивали полночь. Я прополз по ветке и перелез на крышу. Там лежало ружье испанца, но мне от этого не было толку, так как пороховница осталась у него на поясе. В то же время я знал, что, если ружье найдут, это насторожит врагов, и счел за благо перебросить его через стену. Потом я огляделся, раздумывая, как бы спуститься с крыши.

Было совершенно ясно, что проще всего спуститься тем же путем, каким сюда поднялся этот испанец, а как он это сделал, выяснилось очень скоро. На крыше раздался оклик: «Мануэло! Мануэло!» Он повторился несколько раз, и я, съездившись в тени, увидел при свете луны бородатую голову, которая высунулась из слухового окна.

Не получив ответа, бородач вылез на крышу, а за ним еще трое, все вооруженные до зубов. Вот видите, как важно не пренебрегать никакими, даже самыми мелкими предосторожностями: ведь оставь я на месте ружье испанца, они стали бы искать его самого и наверняка обнаружили бы меня. А так патруль, не найдя своего часового, без сомнения, решил, что тот пошел дальше по крышам. Они поспешили следом за ним, а я, едва они повернулись ко мне спиной, бросился к окну и спустился по лестнице вниз. Дом оказался пустым, я прошел его весь из конца в конец и через открытую дверь вышел на улицу.

Это была узкая, пустынная улочка, но она выходила на другую, пошире, где горели костры, вокруг которых спало много солдат и крестьян. В городе стоял такой ужасный смрад, что можно было только удивляться, как здесь живут люди: ведь осада длилась уже много месяцев, а они ни разу даже не пытались очистить улицы или похоронить мертвых. Многие переходили от костра к костру, и среди них я увидел нескольких монахов. Убедившись, что они ходят свободно и никто не задает им никаких вопросов, я собрался с духом и быстро зашагал в сторону большой площади. Один раз какой-то человек, лежавший у костра, вскочил и схватил меня за рукав. Он указал на женщину, неподвижно лежавшую на мостовой, и я понял, что она умирает и он просит напутствовать ее перед кончиной. Я постарался отделаться несколькими латинскими фразами, которые еще помнил. «*Ora pro nobis* ¹, — пробормотал я из-под капюшона. — *Te deum laudamus* ². *Ora pro nobis*». При этом я поднял руку и указал вперед. Он выпустил мой рукав и молча отступил, а я, сделав торжественный жест, поспешил дальше.

Как я и ожидал, широкий бульвар вел на главную площадь, где было полно войск и ярко пылали костры. Я быстро шел вперед, и хотя несколько раз со мной заговаривали какие-то люди, я не обратил на них внимания. Я миновал собор и пошел по улице, о которой мне было сказано. В этой части города, удаленной от наших

¹ Молись за нас (лат.).

² Тебе бога славим (лат.).

позиций, войск не было, и вокруг царил темнота — разве только изредка в каком-нибудь окне мелькнет свет. Я без труда нашел иужий дом между винной лавкой и сапожной мастерской. Окна не светились, и дверь была закрыта. Я осторожно дернул ручку, и она подалась. Неизвестно было, кто там внутри, но приходилось рисковать. Я отворил дверь и вошел.

Темно было — хоть глаз выколи, тем более, что я прикрыл за собой дверь. Я ощупью нашарил стол. Потом остановился, не зная, что делать дальше, как узнать что-нибудь о хозяине этого дома. Малейшая оплошность не только стоила бы мне жизни, но и означала бы провал всего дела. Может быть, он живет не один. Может, он только снимает комнату у какого-нибудь семейного испанца и мой приход для него равносильен смерти, так же как и для меня. Не часто в своей жизни бывал я так растерян. И вдруг кровь заледенела у меня в жилах. Над самым ухом у меня раздался тихий голос, да, да, голос. «*Mon Dieu!*» — простонал кто-то, и в этих словах звучала смертная мука. — «*Oh, mon Dieu! Mon Dieu!*»¹. Потом в темноте раздался глухое рыдание, и все снова стихло.

Этот голос привел меня в ужас, но вместе с тем в душе моей блиснула надежда: ведь то был голос француза.

— Кто здесь? — спросил я.

Послышался стон, но ответа не было.

— Это вы, мсье Юбер?

— Да, да, — прошептал голос так тихо, что я едва мог его расслышать. — Воды, ради всего святого, воды!

Я пошел на голос, но уперся в стену. Снова послышался стон, на этот раз, без сомнения, у меня над головой. Я поднял руки, но не нащупал ничего, кроме пустоты.

— Где вы? — воскликнул я.

— Здесь! Здесь! — прошептал этот странный, дрожащий голос. Я принялся шарить по стене и нащупал голую ногу. Она была на уровне моего лица, но, насколько я мог понять, висела без всякой опоры. Я в изумлении отпрянул. Потом достал из кармана кремень с тру-

¹ О боже мой! Боже мой! (франц.).

том и высек огонь. При первой вспышке мне показалось, что человек парит передо мной в воздухе, и от удивления я выронил камень. Потом я снова дрожащей рукой ударил стальным кресалом по кремню, и на этот раз зажег не только трут, но и вощеную бумагу. Я поднял ее над головой и увидел такое, что перестал удивляться, и теперь единственным чувством, наполнявшим меня, был ужас.

Человек был распят на стене, как распинают крестьяне ласку на двери курятника. Руки и ноги его произвели огромные железные штыри. Бедняга был в предсмертной агонии, его голова свесилась на плечо, а почерневший язык вывалился из рта. Он умер от ран и от жажды, а эти бесчеловечные негодяи поставили перед ним на столе чашу с вином, чтобы усугубить его страдания. Я поднес чашу к его губам. У него хватило сил сделать несколько глотков, и глаза его несколько оживились.

— Вы француз? — прошептал он.

— Да. Меня послали выяснить, что с вами случилось.

— Они узнали, кто я. И предали меня казни. Но перед смертью я расскажу вам все, что знаю. Умоляю, еще глоток вина! Скорей же, скорей. Мне немного осталось жить. Силы покидают меня. Слушайте! Порох хранится в келье матери-настоятельницы. В стене уже просверлено отверстие, и конец шнура выведен в келью сестры Анхелы, что рядом с часовней. Все было готово еще два дня назад. Но они перехватили доносение и стали меня пытаться.

— Боже правый! Неужели вы висите здесь целых два дня?

— Эти дни показались мне годами. Товарищ, скажи, ведь я послужил Франции верой и правдой? Тогда окажи мне одну маленькую услугу. Всади мне нож в сердце, дорогой друг! Заклинаю тебя всем святым, положи конец моим страданиям.

Действительно, состояние его было безнадежным и милосерднее всего было бы выполнить его просьбу. И все же я не мог хладнокровно всадить в него нож, хотя знал, что на его месте я сам молил бы о смерти, как о милосердии. И вдруг я вспомнил, что в кармане у меня яд, действующий мгновенно и безболезненно. Этот яд

должен был избавить от пыток меня самого, но несчастный Юбер нуждался в нем самым отчаянным образом и достойно послужил Франции. Я достал пузырек и вылил его содержимое в чашу с вином. Я уже подносил чашу к его губам, как вдруг услышал снаружи бряцание оружия. В мгновение ока я погасил свет и притаялся за шторой. Дверь распахнулась, и в дом ввалились двое испанцев, свирепые, смуглолицые, в гражданской одежде, но с ружьями за плечами. Я смотрел на них сквозь щель меж занавесками, дрожа при мысли, что они напали на мой след, но было ясно, что они пришли просто для того, чтобы насладиться страданиями моего несчастного соотечественника. Один из них поднес фонарь, который держал в руках, к лицу умирающего, и оба громко, злорадно захохотали. Потом взгляд того, что держал фонарь, упал на чашу с вином, стоявшую на столе. Он взял ее, с дьявольским смехом поднес к губам Юбера, а когда бедняга невольно потянулся к ней, отдернул ее и сам сделал большой глоток. В тот же миг он с диким криком схватил себя за горло и бездыханный свалился на пол. Его товарищ смотрел на него в страхе и изумлении. Вдруг, охваченный суеверным ужасом, он издал пронзительный вопль и, как безумный, выбежал из комнаты. Я слышал, как его шаг прогрохотал по мостовой, потом все стихло.

Горящий фонарь остался на столе, и я, выйдя из-за занавески, увидел при его свете, что голова несчастного Юбера поникла на грудь, и он тоже мертв. Движение, которое он сделал, пытаясь дотянуться до чаши губами, было последним. В доме громко тикали часы, и больше ничто не нарушало тишины. На стене висело поинкшее тело француза, на полу валялся недвижный труп испанца, и все это освещал тусклый фонарь. Впервые в жизни отчаянный страх приковал меня к месту. Я видел, как десять тысяч человек лежали на земле, терзаемые всеми страданиями, какие только можно вообразить, но даже это зрелище потрясло меня меньше, чем две безмолвные фигуры, перед которыми я очутился в этой полутемной комнате. Я опрометью выбежал на улицу, как тот, второй испанец,— только бы вырваться из этого жуткого дома, и опомнился, лишь когда добежал до самого собора. Там я остановился в темном углу, тяжело дыша, при-

жал руку к сердцу и попытался собраться с мыслями и решить, что же теперь делать. Пока я стоял там, все еще не в силах перевести дух, огромные медные колокола дважды ударили у меня над головой. Два часа. А в четыре штурмовой отряд выйдет на рубеж для атаки. У меня оставалось два часа времени.

Собор был ярко освещен изнутри, люди то и дело входили и выходили; я тоже вошел, решив, что там едва ли кто-нибудь заговорит со мной и я смогу спокойно обдумать план действий. На этот собор, скажу я вам, стоило посмотреть — он служил одновременно госпиталем, укрытием от ядер и складом. Один придел был завален всякими припасами, другой — переполнен больными и ранеными, а посередине ютилось множество беспомощных людей, которые даже развели на мозаичном полу костры и стряпали себе пищу. Многие молчали, и я тоже встал на колени у колонны и молился всем сердцем, прося бога помочь мне выбраться из этой переделки живым и совершить в эту ночь подвиг, который сделает мое имя столь же славным в Испании, как и в Германии. Я дождался, пока часы пробьют три, вышел из собора и направился к монастырю Мадонны, откуда нашим войскам предстояло начать приступ. Вы ведь меня знаете, не такой я человек, чтобы струсить и вернуться к своим с докладом, что наш лазутчик погиб и надо искать иных путей прорваться в город. Либо я должен был найти средство завершить незаконченное дело, либо в Коифлаиский гусарский полк назначили бы нового капитана взамен погибшего.

Я беспрепятственно прошел по широкому бульвару, о котором уже рассказывал, и очутился у огромного монастыря с каменными стенами, этого главного бастиона в обороне города. Монастырь стоял на площади, перед ним росли деревья. Здесь сосредоточилось несколько сот человек, вооруженных и готовых к бою, — ведь защитники города, конечно, знали, что именно отсюда французы скорее всего начнут штурм. До тех пор нашей армии приходилось драться в Европе лишь с регулярными войсками. И только здесь, в Испании, мы узнали, как это ужасно — воевать против всего народа. С одной стороны, никакой славы — велика ли слава одолеть этот сброд, этих пожилых лавочников, невежественных кре-

ствия, фанатичных священников, обезумевших женщин и прочих вояк, из которых состоял гарнизон? С другой стороны, это было крайне хлопотно и опасно, потому что они не давали нам ни минуты покоя, не соблюдали законов ведения войны и были полны решимости дойти нас не мытьем, так катаньем. Я начал понимать, что мы делаем недоброе дело, когда увидел пеструю, но грозную толпу, которая собралась вокруг сторожевых костров во дворе монастыря Мадонины. Конечно, не наше солдатское дело рассуждать о политике, но с самого начала в этой Испании над нами словно висело проклятие.

Однако у меня не было времени раздумывать обо всем этом. Как я уже говорил, проникнуть в монастырский сад не составляло никакого труда, зато пройти внутрь самого монастыря, мимо часовых, было не так-то просто. Первым делом я обошел сад и сразу обратил внимание на большое окно с цветным стеклом, — вероятно, там и была часовня. Из слов Юбера я понял, что келья матери-настоятельницы, где теперь пороховой склад, находится рядом с часовней и шнур протянут через дыру в стене из соседней кельи. Я должен был любой ценой проникнуть внутрь. У дверей стояла стража — как же войти без объяснений? И тут меня вдруг словно какое-то вдохновение осенило — я понял, как это можно сделать. В саду был колодец, рядом с ним стояло несколько пустых ведер. Я наполнил водой два ведра, взял их и подошел к двери. Не приходится объяснять, зачем идет человек, у которого в каждой руке по полному ведру. Стража расступилась и пропустила меня. Я очутился в длинном, вымощенном каменными плитами коридоре, освещенном фонарями, по одну сторону которого были расположены кельи монашек. Наконец-то я был на верном пути. Я, не колеблясь, пошел дальше, так как еще в саду заметил, в какую сторону надо идти, чтобы попасть к часовне.

По коридору, покуривая, слонялось много испанских солдат, некоторые заговаривали со мной, когда я проходил мимо. Наверное, они просили у меня благословения, и мое «*oga pro pobis*» как будто вполне их удовлетворяло. Вскоре я добрался до часовни — здесь сразу видно было, что в соседней келье устроен склад, так как пол перед дверью был весь черен от пороха. Дверь была за-

крыта, и снаружи ее охраняли два свирепых с виду молодца, у одного из которых за поясом торчал ключ. Будь нас только двое, этот ключ живо оказался бы у меня в руках, но в присутствии второго часового мне нечего было и надеяться завладеть им силой. Соседняя со складом келья, видимо, и принадлежала сестре Аихеле. Дверь была приоткрыта. Я собрал все свое мужество и, оставив ведра в коридоре, беспрепятственно вошел в келью.

Я ожидал найти там по крайней мере шестерых испанских головорезов, но то, что я увидел, смутило меня еще больше. Келья, очевидно, была отдана в распоряжение монахинь, которые по какой-то причине отказались покинуть монастырь. Их было три: одна пожилая, с суровым лицом, очевидно, сама настоятельница, а две другие — молодые и хорошенькие. Они сидели рядом в дальнем конце кельи, но встали, едва я вошел, и я не без удивления понял по их поведению и выражению лиц, что моего прихода ждали и рады ему. Ко мне сразу же вернулось присутствие духа, и я сообразил, в чем дело. Поскольку ожидался штурм монастыря, эти сестры, разумеется, полагали, что их отведут в какое-нибудь убежище. Возможно, они дали обет не покидать эти стены, и им велели оставаться в келье до дальнейших распоряжений. Так или иначе, я действовал, исходя именно из этого, ведь необходимо было как-то удалить их из кельи, а тут подвернулся удобный повод. Первым делом я оглянулся на дверь и убедился, что ключ торчит в замке изнутри. Тогда я знаком велел монахиням следовать за мной. Настоятельница о чем-то спросила меня, но я нетерпеливо покачал головой и снова сделал знак. Она колебалась, но я топнул ногой и так властно указал на дверь, что все три немедленно повиновались. Самым безопасным местом была часовня, я отвел их туда и поместил в дальнем от порохового склада конце. Когда монахини расселись наконец перед алтарем, сердце мое подпрыгнуло от радости и гордости, — я понял, что последнее препятствие устранено с моего пути.

И все же я всегда каким-то нюхом чувствовал приближение самой опасной минуты. Собираясь уйти, я еще раз посмотрел на настоятельница и с тревогой увидел, что ее пронзительный взгляд прикован к моей правой

руке, а на лице у нее написано удивление, быстро переходящее в подозрительность. Что же могло привлечь ее внимание? Во-первых, моя рука была обогрета кровью часового, которого я ударил ножом на дереве. Само по себе это ничего не значило, ведь нож у монахов Сарагоссы в таком же ходу, как и трезинки. Во-вторых, на указательном пальце я носил массивное золотое кольцо — подарок одной немецкой баронессы, чье имя я называть не стану. Оно ярко сверкало при свете лампы. А кольцо на руке у монаха — это уже нечто невиданное, поскольку он принес обет бедности. Я быстро повернулся и пошел к двери, но дело уже невозможно было поправить. Оглянувшись, я увидел, что настоятельница спешит за мной следом. Я выбежал из часовни и бросился по коридору, но она пронзительным голосом выкрикнула предостережение часовым у склада. К счастью, у меня хватило присутствия духа тоже крикнуть и указать вперед, словно мы оба гнались за кем-то еще. Тем временем я проскочил мимо них, вбежал в келью, захлопнул тяжелую дверь и запер ее изнутри. На этой толстой деревянной двери сверху и снизу были засовы, а посередине — здоровенный замок, и взломать ее было нелегко.

И все же, если б у них хватило ума подложить под дверь бочку с порохом, песенка моя была бы спета. Это была их последняя возможность, потому что я уже оказался у цели. Наконец-то, после множества опасностей, какие мало кому довелось пережить, я очутился у одного конца шнура, другой конец которого был протянут на склад, где хранился весь порох Сарагоссы. Они были в коридоре, как волки, и колотили в дверь прикладами. Я не обращал никакого внимания на весь этот шум и торопливо озираясь в поисках шнура, о котором говорил Юбер. Разумеется, шнур должен быть в стене, примыкающей к складу. Я прополз на четвереньках вдоль всей стены, заглядывая в каждую щель, но не нашел никаких следов. Две пули прошли дверь насквозь и расплющились о стену. Удары прикладов становились все громче. Я заметил в углу что-то серое, бросился туда с радостным криком и увидел, что это всего лишь мусор. Тогда я, встав сбоку, у самой двери, где пули, которые буквально изрешетили ее, не могли причинить мне вреда, попытался отвлечься от оглушавшего меня

дьявольского воя и сообразить, где же может быть этот шиур. Видимо, Юбер искусно спрятал его, в противном случае он не укрылся бы от монахинь. Я попытался представить себе, как проложил бы его я сам на месте Юбера. Внимание мое привлекла статуя святого Иосифа, стоявшая в углу. Вокруг пьедестала был венок из листьев, среди которых теплилась лампада. Я бросился к статуе и сорвал венок. Да, да, я увидел там тонкий черный шиур, исчезающий в едва приметном отверстии в стене. Я опрокинул лампаду и распластался на полу. Через мгновение раздался громовой взрыв, стены зашатались и рухнули, потолок обвалился и, перекрывая вопль перепуганных испанцев, раздался грозный боевой клич: это гренадеры пошли на приступ. Как во сне — в счастливом сне — услышал я этот клич и больше уж ничего не слышал.

Когда я очнулся, двое французских солдат помогли мне сесть, — голова у меня звенела, как котел. Шатаясь, я встал на ноги и огляделся. Вся штукатурка осыпалась, скамьи валялись на полу, в кирпичах зияли пробоины, но никаких следов бреша. Да, стены монастыря были слишком толсты, и взрыв порохового склада их не разрушил. Но зато этот взрыв посеял такую панику среди защитников, что нашим штурмовым частям удалось без особого труда высадить окна и двери. Выскочив в коридор, я увидел, что он запружен французскими войсками, и тут сам маршал Лани вошел туда в сопровождении своего штаба. Он остановился и с интересом выслушал мой доклад.

— Великолепно, капитан Жерар, просто великолепно! — воскликнул он. — О вашем подвиге непременно будет доложено императору.

— Осмелюсь заметить, ваше превосходительство, что я только завершил то, что задумал и подготовил мсье Юбер, отдавший свою жизнь за великое дело.

— Его заслуги не будут забыты, — сказал маршал. — Однако, капитан Жерар, уже половина пятого, и вы, наверное, умираете с голоду после столь трудной ночи. Я со своим штабом буду завтракать в городе. Прошу вас быть моим почетным гостем.

— Я вскоре догоню ваше превосходительство, — сказал я. — У меня тут одно небольшое дельце.

Он посмотрел на меня с удивлением.

— Как, в такой час?

— Да, ваше превосходительство,— отвечал я.— Я обману ожидания моих товарищей офицеров, с которыми я только вчера познакомился, если не повидаюсь с ними в этот час.

— В таком случае до свидания,— сказал маршал Лани и проследовал дальше.

Я поспешно вышел через разбитые ворота монастыря. Возле дома с сорванной крышей, куда накануне вызвал меня маршал, я сбросил монашеское одеяние и надел кивер и шпагу, которые оставил там. Снова став гусаром, я поспешил к роще, где была назначена встреча. Голова у меня все еще кружилась после контузии, и я был измучен волнениями этой ужасной ночи. Рассвет еще только занимался, и я шел как во сне, а вокруг глели гасиющие костры и гудела просыпающаяся армия. Сигнальные трубы и барабаны во всех концах созывали пехоту, так как взрыв и крики уже оповестили о случившемся. Я все шел и, наконец, добравшись до дубовой рощицы за коновязями, увидел двенадцать своих товарищей. Все они были при саблях и ждали меня, собравшись в кружок. Когда я приблизился, меня встретили любопытными взглядами. Быть может, теперь, когда лицо у меня было черным от пороха, а руки обгажены кровью, я показался им совсем иным Жераром, нежели тот молодой капитан, над которым они потешались накануне.

— Доброе утро, господа,— сказал я.— Приношу глубочайшие извинения, что заставил вас ждать, но это не моя вина.

Они молчали, но по-прежнему смотрели на меня с любопытством. Как сейчас вижу их: они стояли в ряд, рослые и приземистые, толстые и худощавые,— Оливье, со своими вонзистыми усами, Пеллетан с худым, горячим лицом, юный Удэи, покрасневший от волнения перед своей первой дуэлью, Мортье, с косым шрамом на морщинистом лбу. Я снял кивер и обнажил саблю.

— Господа, у меня к вам только одна просьба,— сказал я.— Маршал Лани пригласил меня к завтраку, и я не могу заставить его ждать.

— Что же вы предлагаете?—спросил майор Оливье.

— Прошу освободить меня от обещания уделить

каждому из вас пять минут и позволить мне драться со всеми разом.

Сказав это, я встал в боевую позицию.

Ответ их был великолепен и достоин истых французов. Единым движением все двенадцать клинков вылетели из ножен и поднялись вверх, салютуя мне. Все двенадцать офицеров замерли, вытянувшись, и каждый поднял саблю перед собой.

Я попятился, переводя взгляд с одного на другого. Сначала я не мог поверить своим глазам. Эти люди, которые накануне смеялись надо мной, теперь отдавали мне дань уважения! И вдруг я все понял. Они оценили мой благородный поступок и не хотели остаться в долгу. Человек слаб, он может закалить себя против опасности, но не против чувств.

— Друзья! — вскричал я. — Друзья мои!

И больше не мог вымолвить ни слова. Что-то сдавило мне горло, дыхание перехватило. В тот же миг Оливье обнял меня, Пеллетан жал мне правую руку, Мортье — левую, кто-то трепал меня по плечу, кто-то хлопал по спине, со всех сторон на меня смотрели улыбающиеся лица, и я понял, что принят конфланскими гусарами.

III

КАК БРИГАДИР УБИЛ ЛИСУ

Во всем великом французском войске был только один офицер, к которому англичане из армии Веллингтона питали глубокую, ярую, неугасимую ненависть. Были среди французов грабители, насильники, заядлые игроки, дуэлянты и повесы. Все это можно простить, поскольку нетрудно было найти им подобных и среди англичан. Но один офицер из армии Массена совершил преступление невиданное, неслыханное, ужасное; не к ночи будь оно помянуто, разве только когда вторая бутылка развяжет языки. Весть об этом донеслась до Англии, и джентльмены из глухих ее уголков, которые мало что знали о войне, краснели от ярости, когда слышали об этом, а йомеины из всех графств грозили в небо веснуш-

чатыми кулаками и изрыгали проклятия. И кто бы вы думали совершил это ужасное деяние? Ну конечно же, наш друг бригадир Этьен Жерар из Конфланского гусарского полка, лхой наездник, забияка, добрый малый, любимец дам и шести бригад легкой кавалерии.

Но самое удивительное, что этот храбрый и благородный человек совершил такой ужасный проступок и стал пользоваться самой дурной славой на Пиренейском полуострове, даже не подозревая, что повинен в преступлении, которое невозможно описать никакими словами. Он умер в преклонных годах и никогда в своей невозмутимой самоуверенности, которая украшала или, быть может, скорее портила его репутацию, даже не заподозрил, что многие тысячи англичан охотно повесили бы его собственными руками. Напротив, он считал это приключение среди прочих подвигов, которые прославили его на весь мир, не раз, посмеиваясь и любясь собой, рассказывал о нем в кругу друзей, ловивших каждое его слово, в том скромном кафе, где между обедом и партей в домно он вспоминал, то со смехом, то со слезами, неповторимые наполеоновские времена, когда Франция, подобно ангелу гнева, вознеслась, прекрасная и ужасная, над трепещущей Европой. Послушаем же этот рассказ из его собственных уст и попытаемся увидеть все его глазами.

— Да будет вам известно, друзья мои, — начал он, — что в конце тысяча восемьсот десятого года мы с Массена и всеми остальными теснили Веллингтона, надеясь сбросить его самого и его армию в Тахо. Но еще в двадцати пяти милях от Лисабона мы обнаружили, что нас обманули: этот англичанин построил мощную линию укреплений на том месте, которое называется Торрес Ведрас, и даже мы не в силах были ее прорвать! Она протянулась через весь полуостров, а мы были так далеко от родины, что не рисковали повернуть назад, так как еще при Бусако поняли, что война с этим народом совсем не детская игра. Что нам оставалось, кроме как остановиться перед этими укреплениями и блокировать их всеми силами? Мы проторчали там полгода в невыносимых условиях, и Массена потом говорил, что совершенно поседел за это время. Что касается меня, то я не очень тревожился, меня заботили только кони, которым

нужно было отдохнуть и подкормиться на зеленых пастбищах. А мы пили местное вино и веселились, как только могли. Была у меня одна знакомая в Сантарене... но нет, молчок! Благородный человек обязан хранить тайну, хотя вправе дать понять, что мог бы сказать многое.

Однажды вызывает меня Массена к себе. Я тотчас явился в его палатку, где он сидел за столом и рассматривал большую карту. Он молча посмотрел на меня своим единственным орлиным глазом, и по выражению его лица я понял, что дело нешуточное. Он нервничал, хмурился, но мой бравый вид, видимо, его ободрил. Всегда полезно побыть в обществе храбреца.

— Полковник Этьен Жерар, — сказал он, — я не слышал, что вы храбрый и находчивый офицер.

Не мне было подтверждать это, но и отрицать такие вещи тоже глупо, так что я звякнул шпорами и отдал честь.

— Кроме того, говорят, вы отлично ездите верхом. Я не возражал.

— И лучший рубака на все шесть бригад легкой кавалерии.

Массена славился своей осведомленностью.

— Так вот, — продолжал он, — взгляните на эту карту, и вы сразу поймете, чего я от вас хочу. Вот линии укреплений Торрес Ведрас. Посмотрите, как они растянуты, и вам станет ясно, что силы англичан сильно разбросаны. А за укреплениями до самого Ансабона тянется голая равнина. Мне чрезвычайно важно знать, как расположены на этом пространстве войска Веллингтона, и я прошу вас отправиться туда и принести точные сведения.

От его слов мне стало не по себе.

— Ваше превосходительство, — сказал я, — немислмо кавалерийскому полковнику унизиться до роли шпиона.

Он рассмеялся и хлопнул меня по плечу.

— Гусар — всегда горячая голова, иначе какой же это гусар, — сказал он. — Выслушайте меня, и вы поймете, что я вовсе не посылаю вас шпионить. Что вы скажете вот об этой лошадке?

Он подвел меня к окну, где егерь прогуливал замечательного коня. Конь был серый, в яблоках, не очень рос-

лый, пожалуй, немногим повыше пяти футов, но с короткой, красиво выгнутой шеей, как у лошадей арабских кровей. Ноги крепкие, мускулистые, но бабки такие тонкие, что я, едва взглянув на него, пришел в полиный восторг. Никогда не мог смотреть равнодушно ни на хорошую лошадь, ни на красивую женщину, и не могу даже теперь, когда семьдесят зим поостудили мою кровь. Представьте же себе, каков я был в десятом году.

— Это Вольтижер, — сказал Массена, — лучший скакун во всей армии. Итак, отправляйтесь сегодня же вечером, вы должны обогнуть противника с фланга, объехать его тылы и, вернувшись с другого фланга, привезти сведения о расположении вражеских частей. Вы будете в мундире, и поэтому, если попадете в плен, вас не казнят, как шпиона. Вполне возможно, что вы проедете через линию обороны незамеченным, так как вражеские посты сильно разбросаны. Когда же вы окажетесь по ту сторону, вас никому не догнать, пока светло, а если станете избегать дорог, то, пожалуй, вообще никого не встретите. Жду вас до завтрашнего вечера, после чего буду считать, что вы попали в плен, и предложу им в обмен на вас полковника Петри.

Ах, какой гордостью и радостью преисполнилась моя душа, когда я вскочил в седло и галопом проехался на этом изумительном коне. Конь был великолепен—мы оба были великолепны, и Массена захлопал в ладоши и закричал в восторге. Я не набивался на похвалу, он сам сказал, что достойному коню—достойный всадник. А когда я, как молния, промчался мимо него в третий раз, и султан мой развевался, а доломан, трепеща, летел следом, по его суровому, словно каменному, лицу было видно, что он больше не сомневается в правильности своего выбора. Я обнял саблю, поцеловал эфес, отсалютовал и поскакал в расположение своего полка. Все уже знали, что мне поручено важное дело, и мои дьяволы высыпали из палаток, приветствуя меня. Ах! И сейчас, в старости, на глазах у меня выступают слезы, когда я вспоминаю, как гордились они своим полковником. И я тоже гордился ими. Они были достойны своего лихого командира.

Ночь обещала быть ненастной, и это оказалось мне на руку. Я постарался сохранить свой отъезд в строжайшей тайне: ведь было ясно, что если англичане проню-

хают о моей отлучке из армии, они, естественно, поймут, что дело тут нешуточное. Поэтому моего коня вывели за линию пикетов, как будто на водопой, я же пошел пешком и там сел в седло. У меня была при себе карта, компас и письменные инструкции маршала — с этой бумагой на груди, под мундиром, и с саблей на боку я пустился в опасный путь.

Моросил дождь, луна была скрыта облаками — словом, можете себе представить, обстановка не очень приятная. Но на сердце у меня было легко, когда я думал о том, какая честь мне оказана и какая слава меня ожидает. Этот подвиг должен был умножить блестящий список, благодаря которому я получу вместо сабли маршальский жезл. Ах, каким мечтам предавались мы, глупые молодые люди, опьяненные успехом! Мог ли предвидеть в тот вечер я, избранный из шестидесяти тысяч, что буду на старости лет выращивать капусту за сотню франков в месяц! Ах, моя юность, мои мечты, мои боевые друзья! Но колесо судьбы вертится, не останавливаясь. Простите, друзья мои, старика за его слабость.

Итак, путь мой лежал через плато Торрес Ведрас, потом через ручеек, мимо сгоревшего дома, который теперь служил только ориентиром, и дальше через небольшую дубраву к монастырю святого Антония, который находился на левом фланге англичан. Оттуда я повернул на юг и стал тихонько спускаться с горы, так как именно здесь, как считал Массена, легче всего было проехать через вражеские позиции незамеченным. Ехал я шагом, поскольку тьма стояла такая, что я не видел дальше собственного носа. В таких случаях я всегда отпускаю поводья и целиком полагаюсь на лошадь. Вольтижер уверенно шел вперед, а я, удобно сидя в седле, только поглядывал вокруг да держался подальше от всяких огней. Так мы осторожно продвигались часа три, и я уже решил было, что все опасности позади. Я поскакал быстрее, так как хотел к рассвету оказаться в тылу вражеской армии. В тех местах много виноградариков, и зимой ехать через них верхом одно удовольствие — скачи себе напрямик.

Но Массена недооценил коварство англичан: как выяснилось, там была не одна линия обороны, а все три, и как раз третью, самую сильную, я и проезжал в тот

миг. Я ехал, радуясь удаче, как вдруг впереди вспыхнул фонарь, и я увидел блеск ружейных стволов и красивые мунидыры.

— Кто едет? — окликинул меня голос, и какой голос! Я взял вправо и помчался во весь опор, но из темноты вылетело с десяток огненных стрел, и вокруг меня запыли пули. Это пение мне хорошо знакомо, друзья мои, но я не стану утверждать, как какой-нибудь глупый новобранец, будто мне оно по душе. Однако же я по крайней мере никогда не терял при этом голову и теперь знал, что остается только одно — скакать вперед что есть духу и попытаться счастья где-нибудь в другом месте. Я оставил позади пикеты англичан и, не слыша больше ни звука, справедливо заключил, что уж теперь-то проехал линию их обороны. Я проскакал пять миль на юг, время от времени высекая огонь, чтобы взглянуть на карманный компас. А потом вдруг — до сих пор, как вспомню об этом, душа обливается кровью — мой конь, даже не споткнувшись, без единого звука пал подо мной!

Я и не подозревал, что одна из пуль, лущенных этим проклятым пикетом, ранила его навывлет. Благородное животное даже не дрогнуло, оно скакало до последнего издыхания. Только что я чувствовал себя неуловимым на самом быстром, самом великолепном скакуне в армии Массена. И вот он лежит на боку, и толку от него никакого, разве только шкуру содрать, а я стою над ним, спешенный гусар — самое беспомощное, самое нелепое существо на свете. На что мне теперь сапоги, шпоры, сабля, волочащаяся по земле? Я был глубоко во вражеском тылу. Как мог я надеяться вернуться? Не стыжусь признаться, что я, Этьен Жерар, присел на труп своего коня и в отчаянии закрыл лицо руками. На востоке уже брезжил рассвет. Через полчаса станет совсем светло. Я преодолел все препятствия, и вот теперь, в последний миг, оказался беспомощным среди врагов, провалил поручение и попал в плен — разве мало этого, чтоб привести в отчаяние солдата?

Но не огорчайтесь, друзья мои! Даже у самых важных бывают минуты слабости; но у меня дух, как стальная пружина, — чем больше его сгибаешь, тем выше он рвется вверх. Мгновенный приступ отчаяния миновал, и вот уж мой ум холодеи как лед, а сердце пылает

огнем. Не все было потеряно. Я прошел через столько опасностей, пройду и через эту. Я встал и начал раздумывать, как быть.

Мне сразу же стало ясно, что возвращаться назад нельзя. Прежде чем я успею миновать английские позиции, будет уже совсем светло. Надо где-то спрятаться до вечера, а ночью попытаться унести ноги. Я снял с бедняги Вольтижера седло, кобуру и уздечку и спрятал их в кустах, чтобы нельзя было узнать, если кто на него наткнется, что лошадь французская. Потом, оставив его там, я отправился на поиски какого-нибудь укрытия, где можно будет отсидеться до вечера. Со всех сторон от меня на склонах холмов горели бивачные костры, и вокруг них уже закопошились люди. Надо было спрятаться поскорее, иначе я пропал.

Но куда? Я забрел в виноградник, где еще торчали сухие лозы, но зелени не было. Здесь не укроешься. Кроме того, чтобы переждать до ночи, мне нужна была пища и вода. Становилось все светлее, и я поспешил вперед, надеясь, что случай мне поможет. И мне не пришлось разочароваться. Случай что женщина, друзья мои, он всегда благосклонен к отважному гусару.

Так вот, шел я, спотыкаясь, через виноградник, вдруг вижу, впереди что-то маячит — это я набрел на большой квадратный дом с длинной низкой боковой пристройкой. Дом стоял на скрещении трех дорог, и нетрудно было догадаться, что это *posada*, иными словами — таверна. Окна не светились, всюду было темно и тихо, но я, разумеется, понимал, что такая удобная квартира не может пустовать и, скорее всего, занята кем-нибудь из высокого начальства. Одно я по опыту знал, что чем ближе опасность, тем порой бывает надежней убежище, и вовсе не собирался уходить. Пристройка, видимо, была хлевом, и я забрался туда, поскольку дверь оказалась незапертой. В хлеву было полно волов и овец, — ясно было, что их спрятали здесь от лап мародеров. Вверх, на сеновал, вела лестница, я залез туда и уютно устроился на сене. Наверху было маленькое незастекленное оконце, откуда я мог видеть крыльцо и дорогу. Я устроился у окна и стал ждать.

В недолгом времени стало ясно, что я не ошибся: здесь расположилось какое-то высокое начальство. Вско-

ре после восхода солнца прискакал английский легкий драгун с донесением, и больше уже не было ни минуты тишины, офицеры то и дело приезжали и уезжали. И на устах у всех одно имя: «Сэр Стэплтон, сэр Стэплтон». Нелегко мне было лежать на сене с пересохшей глоткой и видеть, как хозяин таскает этим офицерам здоровенные бутылки с вином, но я забавлялся, глядя на их свежие, гладко выбритые, беззаботные физиономии и представляя себе, что они подумали бы, если бы знали, что у них под самым носом пристроился такой знаменитый человек, как я. Лежу я себе, поглядываю и вдруг вижу такое, что впору рот раскрыть от изумления.

Просто невероятно, до какой наглости доходят эти англичане! Что, по-вашему, сделал милорд Веллингтон, когда узнал, что Массена его блокировал и ему с армией некуда податься? Ни за что не угадаете. Скажете, что он пришел в бешенство или в отчаяние, собрал все свои войска и обратился к ним с речью, говорил о славе и родине, а потом повел в последнее, решительное сражение. Нет, милорд не сделал ничего подобного. Он отправил в Англию военный корабль за гоичими и начал травить лисич. С места мне не сойти, если вру. За укреплениями Торрес Ведрас эти сумасшедшие англичане три дня в неделю охотились на лисич. Слухи об этом доходили до нас и раньше, а теперь мне предстояло своими глазами убедиться в их правдивости.

По дороге, про которую я говорил, бежали эти самые собачки, штук тридцать, не то сорок, белые с коричневым, и у всех хвосты торчали под одинаковым углом, как штыки в старой гвардии. Клянусь богом, на это стоило посмотреть! А позади и посередке ехали трое в острокопечных шапочках и красных куртках — я догадался, что это егеря. Следом двигалась целая толпа конных в мундирах всех родов войск, они тянулись по двое или по трое, со смехом болтая о чем-то. Ехали они мелкой рысью, и я подумал, что лиса, которую они собирались затравить, видно, не больно резвая. Однако это было их дело, а не мое, и вскоре все они проехали мимо моего убежища и скрылись из виду. Я притаился и ждал, готовый воспользоваться любым благоприятным случаем.

Вскоре по дороге проскакал офицер в голубой форме, похожей на ту, что носят наши конные артиллеристы, немолодой уже, грузный человек с седыми бакенбардами. Он остановился и начал разговаривать с драгунским штабным офицером, ждавшим у крыльца, и тут я убедился, как важно знать английский язык, которому у меня был случай научиться. Я слышал и понимал каждое слово.

— Где место сбора? — спросил офицер.

Второй ответил, что возле Альтары.

— Вы опаздываете, сэр Джордж, — сказал ординарец.

— Да, пришлось заседать в трибунале. Сэр Стэптон Коттон уехал?

В этот миг отворилось окно, и в него выглянул красивый молодой человек в блестящем мундире.

— Хэлло, Мэррей! — сказал он. — Меня задержали эти чертовы протоколы, но я вас сейчас нагоню.

— Прекрасно, Коттон. Я опаздываю и поеду вперед.

— Велите груму подвести мне коня, — сказал молодой генерал через окно ординарцу, а пожилой двинулся дальше по дороге.

Ординарец отъехал куда-то к конюшне, и через несколько минут появился проворный английский грум с кокардой на фуражке, ведя под уздцы коня, — ах, друзья мои, кто не видел английского охотничьего скакуна, тот ничего не видел! Это было настоящее чудо: рослый, широкий в кости, сильный, стройный и быстроногий, как олень. Масти вороной, без единого пятнышка, а что за шея, круп, ноги, бакки — описать невозможно. Он весь блестел под солнцем, как полированное черное дерево, нетерпеливо пританцовывал на месте, легко и изящно поднимая копыта, тряс гривой и тонко ржал. Сроду не видел я такой силы, красоты и грации. Раньше я часто удивлялся, как это английским гусарам удалось обскákat гвардейских егерей под Асторгой, но когда увидел английских лошадей, то перестал удивляться.

У двери в стену было ввинчено кольцо, грум привязал лошадь, а сам вошел внутрь. Я мигом сообразил, какой счастливый случай посылает мне судьба. Стоит вскочить в седло, и положение мое станет еще выгодней, чем вначале. Даже Вольтижер не мог бы сравниться

с этим великолепным конем. Долго раздумывать не в моих привычках. Вмиг спустился я с лестницы и был у дверей хлева. Еще миг — и, выскочив наружу, я схватил повод и прыгнул в седло. Кто-то, хозяин или слуга, ошалело закричал мне вслед. Но что мне его крики! Я дал коню шпоры, и он ринулся вперед так резво, что лишь столь искусный наездник, как я, мог усидеть в седле. Я отпустил поводья и дал ему волю — мне было безразлично, куда скакать, лишь бы подальше от постоянного двора. Конь пронесся вихрем по виноградникам, и через несколько минут целые мли легли между мной и моими преследователями. В этой дикой стране им уже не узнать было, в какую сторону я поскакал. Я почувствовал себя в безопасности и, доехав до вершины невысокого холма, достал из кармана карандаш и записную книжку и снова принялся зарисовывать местность и набрасывать план позиций.

Подо мной был славный конь, но рисовать, сидя на нем, оказалось нелегким делом — он все время прядал ушами, дрожал и водил боками от нетерпения. Сначала я не мог понять, что это с ним, но потом заметил, что он делает это, только когда откуда-то из дубравы под нами доносится странный звук: «Улю-лю-лю». Потом вдруг этот нелепый крик сменяло дикое порсканье и отчаянный рев рога. Мой конь словно обезумел. Глаза его метал искры. Грива встала дыбом. Он высоко прыгнул раз, другой, дрожа всем телом. Карандаш мой полетел в одну сторону, записная книжка — в другую. А когда я взглянул вниз, в долину, то увидел необычайное зрелище. Туда лавиной мчались охотники. Лисцы мне видно не было, но собаки так и заливались лаем, они уткнули носы в землю, задрали хвосты и бежали такой тесной гурьбой, что казались большим летящим желто-белым ковром. А за ними следом скакали охотники — бог мой, какое это было зрелище! Представьте себе всех офицеров, какие только входят в состав большой армии. Некоторые были в охотничьих костюмах, но большинство в мундирах: голубые драгуны, красные драгуны, гусары в красных рейтузах, зеленые стрелки, артиллеристы, уланы в мундирах с золотой оторочкой, и почти сплошь красные, красные, красные, потому что пехотные офицеры ездили верхом не хуже кавалеристов. Ну и тол-

па — одни хорошо сидели в седле, другие плохо, но каждый летел вперед во весь опор, младшие офицеры и генералы сшибались и теснили друг друга, давали лошади шпоры, дергали поводья, забыв обо всем на свете, кроме одного — они жаждали крови этой несчастной лисы! Право, странный народ эти англичане!

Но у меня не было времени любоваться на охоту или дивиться на глупых островитян, потому что впереди всех этих сумасшедших несся конь, на котором я сидел. Помните, это был охотничий конь, и собачий лай для него значил то же, что для меня сигнал кавалерийской трубы, раздайся он сейчас на улице. Этот конь ошалел. Он обезумел. Он сделал скачок, потом другой и вдруг, закусив удила, пустился с холма вслед за собаками. Я ругался, дергал поводья, тянул их изо всех сил, но ничего не мог поделать. Этот английский генерал ездил только с трезелем, и пасть у его коня была как из железа. Бесплезно было и пробовать его сдержать. С таким же успехом можно пытаться оторвать гренадера от бутылки с вином. Я отбросил всякую надежду остановиться и, покрепче усевшись в седле, приготовился к самому худшему.

Что это был за конь! В жизни мне не доводилось на таком ездить. С каждым прыжком он весь подбирался и несся вперед все быстрее, распластавшись, как борзая, а ветер хлестал меня в лицо и свистел в ушах. На мне была обычная форма, простой и скромный мундир — хотя, конечно, есть люди, которые любой мундир способны украсить, — и я из осторожности, когда отправлялся, снял с кивера высокий плюмаж. Поэтому я не привлекал к себе внимания среди пестрых мундиров охотников, и никто из этих людей, увлеченных травлей, меня не заметил. Мысль, что среди них может скакать французский офицер, была до такой степени нелепой, что не могла прийти им в голову. Я не удержался от смеха, потому что, хотя меня со всех сторон окружала опасность, в моем положении было что-то комическое.

Я уже говорил, что не все охотники одинаково хорошо умели ездить верхом, и через несколько миль они уже не скакали единым строем, как атакующий полк, а сильно растянулись — лучшие наездники мчались впереди, следом за собаками, но многие отстали. Само со-

бой, я был лучшим из лучших, а конь мой не имел себе равных, так что, сами понимаете, он вскоре вынес меня вперед. И когда я увидел собак, мчавшихся по равнине, и егерей в красивых куртках, от которых меня отделяло всего семь или восемь всадников, произошло самое поразительное — я, Этьен Жерар, тоже ошалел! Азарт вмиг охватил меня, я жаждал показать себя и пылал ненавистью к лисе. Ах, бестия, как смеешь ты нас дразнить! Разбойница, минуты твои сочтены! Ах, что за славное чувство — этот азарт, друзья мои, это желание растоптать лису копытами коня! И я вместе с англичанами принял участие в травле. А ведь был в моей жизни и такой случай — когда-нибудь я вам о нем расскажу, — я дрался против самого Бастлера из Бристоля. И, надо вам сказать, спорт — удивительная штука, он захватывает и подобен безумию.

Мой конь летел все быстрее, и вот уже всего трое скачут рядом со мной за собаками. Страх, что меня разоблачат, как рукой сняло. Голова у меня закружилась от волнения, кровь взыграла в жилах, — казалось, только ради одного и стоит жить на свете: чтобы истребить эту проклятую лисицу. Я обскакал еще одного охотинка, он был гусар, как и я. Теперь впереди оставались только двое: один в черном муидире, второй — артиллерист в голубом, тот самый, которого я видел около постоянного двора. Ветер трепал его седые бакенбарды, но скакал он лихо. Еще с милую он продержался впереди, но потом, когда мы помчались вверх по крутому склону, я благодаря тому, что был легче его, вырвался вперед. Я обошел обонх и по холму скакал голова в голову с маленьким, суровым на вид егерем. Впереди были собаки, а в сотие шагов перед ними — рыжий комок, лисица, которая распласталась в бешеном беге. При виде ее кровь бросилась мне в голову.

— Ага, попалась, подлая! — завопил я и стал криками подбадривать егеря. Я махиул ему рукой, давая понять, что не подкачаю.

Теперь меня отделяли от лисицы только собаки. Они нужны для того, чтобы указывать охотинку, где зверь, и теперь стали только помехой, потому что я не знал, как их обойти. Егерь тоже был в затруднении, из-за собак он не мог истребить добычу. Он был неплохой наезд-

ник, но смекалки ему не хватало. Я знал, что если спасую, то посрамлю коифлаиских гусар. Неужели Этьена Жерара остановит свора собак? Какой вздор! Я гикнул и дал коию шпоры.

— Держитесь, сэр! Держитесь! — кричал егерь.

Он боялся за меня, добрый малый, но я успокоил его, с улыбкой махнув рукой. Собаки шарахнулись от меня в стороны. Может быть, нескольком досталось копытами, но что поделаешь! Лес рубят — щепки летят. Я слышал позади восхищенные крики егеря. Надал еще, и вот уж собаки позади. Передо мной только лисица.

Ах, какую радость и гордость я почувствовал! Подумать только, я обставил англичан в их национальном спорте. Три сотни охотников жаждали убить этого зверя, а он достанется мне. Я подумал о своих товарищах из кавалерийской бригады, о своей матушке, об императоре, о Франции. Я прославил их всех. С каждым мгновением я настигал лисицу. Пришла пора действовать, и я обнажил саблю. Я взмахнул ею, и молодцы англичане издали дружный крик.

Только тут я понял, какое это трудное дело — травля лисицы: рубишь по ней и рубишь, но никак не можешь попасть. Она ведь маленькая и ловко увертывается. При каждом ударе я слышал ободряющие крики, и они подстегивали меня. Наконец настал миг моего торжества. Лисица попыталась увернуться, и тут-то я накрыл ее таким же точно боковым ударом, каким я зарубил адъютанта русского императора. Я рассек ее надвое, голова покатила в одну сторону, а хвост — в другую. Я оглянулся и взмахнул окровавленным клинком. Торжество переполняло меня — это было замечательно!

Ах, до чего же мне хотелось остановиться и принять поздравления моих благородных соперников! Их было человек пятьдесят, и все они махали руками и кричали. Право, не такие уж они флегматичные, эти англичане. Геройский поступок на войне или на охоте всегда разжигает их сердца. Что же до старика егеря, он был ближе всех ко мне, и я собственными глазами видел, как он был поражен тем, что произошло. Его словно хватил столбик — рот разинут, поднятая рука с растопырен-

ными пальцами застыла в воздухе. Я готов был повернуть назад и расцеловать его.

Но в ушах у меня уже звучал зов долга, и к тому же эти англичане, несмотря на братство, объединяющее всех охотников, без сомнения, взяли бы меня в плен. Теперь не было никакой надежды выполнить поручение маршала, хотя я сделал все, что в человеческих силах. Я видел расположение войск Массена, французы были недалеко, так как по счастливой случайности мы скакали именно в ту сторону. Я объехал мертвую лисицу, отдал салют саблей и поскакал прочь.

Но эти славные охотники не дали мне уйти так легко. Теперь я оказался на месте лисицы, и мы лихо помчались по равнине. Только когда я поскакал прямо к нашим позициям, они поняли, что я француз, и теперь все устремились за мной. Лишь на расстоянии выстрела от наших передовых постов они остановились жучками, но не поворачивали назад, а кричали и махали мне руками. Нет, я не верю, что это было выражением враждебных чувств. Скорей, мне кажется, души их исполнились восхищением, и они хотели только одного — обнять чужеземца, проявившего такую доблесть и искусство.

IV

КАК БРИГАДИР СПАС АРМИЮ

Я уже рассказывал вам, друзья мои, как мы полгода, с октября тысяча восемьсот десятого по март одиннадцатого года, осаждали англичан в Торрес Ведрас. Как раз тогда мне довелось охотиться с ними на лису и показать им, что среди них нет ни одного кавалериста, способного обскákat гусара Конфланского полка. Когда я вернулся в расположение своих войск, на моем клинке еще не высохла лисья кровь, и передовые посты, которые всё видели, встретили меня радостными криками, да и английские охотники надрывали глотки у меня за спиной, — так что меня приветствовали обе армии. Я прослезился, когда увидел, сколько храбрецов мной восхищается. Эти англичане — благородные противни-

ки. В тот же вечер нарочный под белым флагом привез сверток, адресованный «гусарскому офицеру, убившему лису». Вскрыв его, я нашел там эту самую лису, разрубленную мной надвое. Кроме того, там была записка, короткая, но очень сердечная, вполне в английском духе, в ней говорилось, что, поскольку я убил лису, мне остается только съесть ее. Откуда им было знать, что мы, французы, не имеем обычая есть лисцу, но, значит, они считают, что добыча принадлежит победителю. Однако француз не может позволить, чтобы его перешеголяли в вежливости, и я вернул лисцу этим удалцам-охотникам на закуску к следующему *déjeuner de la chasse*¹. Вот как воюют благородные люди.

Я привез с собой довольно подробный план английских позиций и в тот же вечер выложил его перед генералом Массена.

Я надеялся, что это побудит его начать наступление, но все наши маршалы в то время перегрызлись, они щелкали зубами и рычали, как свора голодных собак. Ней ненавидел Массена, Массена ненавидел Жюно, а Сульт — их обоих. Поэтому мы бездействовали. Припасы наши тем временем таяли, и наша прекрасная конница имела печальный вид из-за бескормицы. К весне мы начисто опустошили всю страну и сидели голодные, хотя и посылали фуражные команды к черту на рога. Даже самым отчаянным храбрецам было ясно, что настало время отступать. Мне самому пришлось признать это.

Но отступить было не так-то легко. И не только потому, что люди вымотались и ослабели от голода, но еще и потому, что враг, видя, как долго мы бездействуем, воспрянул духом. Веллингтона мы не очень-то боялись. Мы знали, что он смел и благоразумен, но не слишком предприимчив. Кроме того, в этой разоренной стране он не мог быстро нас преследовать. Но с флангов и в тылу сосредоточились большие силы португальского ополчения, состоявшего из вооруженных крестьян и других партизан. Всю зиму они держались от нас на почтительном расстоянии, но теперь, когда кони у нас отошлись, они влились, как мухи, вокруг наших передовых постов, и если кто попадал к ним в лапы, то за его

¹ Охотничьему завтраку (франц.).

жизнь нельзя было дать ни единого су. Я мог бы назвать с десятков офицеров, которых лично знал, погнбших в те дни, и счастливее всех был тот, кому пуля, пущенная из-за скалы, угодила прямо в голову или в сердце. Некоторых постигла до того страшная смерть, что об этом было запрещено сообщать родственникам. Этих ужасных случаев было столько и они производили такое впечатление на наших людей, что стало нелегко заставить их выйти за пределы лагеря. Особенный ужас наводил на них один негодяй, командир партизан Мануэло по прозвищу «Шутинок». Это был здоровенный толстяк, такой благодущный с виду, он засел со своей бандой головорезов в горах у нас на левом фланге. Можно было бы написать целую книгу о жестоких делах этого малого, но командовать он, надо прямо сказать, умел и так вышколил своих бандитов, что они не давали нам шагу ступить. Это ему удалось, потому что он ввел у себя железную дисциплину и за малейший проступок наказывал без всякой жалости, так что люди его наводили ужас на всех, однако это, как вы сейчас услышите, привело к самым неожиданным последствиям. Если бы он не высек собственного лейтенанта... но об этом речь впереди.

При отступлении нас ждало немало всяких трудностей, но было совершенно ясно, что другого выхода нет; и Массена принялся поспешно готовить обоз и лазарет к отправке из Торрес Новас, где был штаб, в Коимбру, первый укрепленный пост на его коммуникациях. Однако это невозможно было сделать незаметно, и партизаны сразу начали роиться все ближе и ближе к нашим флангам. Одно из наших подразделений, которым командовал Клозель, вместе с кавалерийской бригадой Монбреа находилось далеко к югу от Тахо, и было необходимо сообщить им, что мы готовимся к отступлению, так как иначе они остались бы без всякой поддержки, один в самом сердце враждебной страны. Поминтся, я все думал, как же Массена это сделает, ведь нарочные проехать туда не могли, а мелкие отряды, без сомнения, были бы сразу же уничтожены. Нужно было как-то передать им приказ об отступлении, иначе Франция потеряла бы четырнадцать тысяч человек. Но я и не думал тогда, что именно мне, полковнику Жерару, выпадет

честь совершить поступок, который для всякого другого мог бы стать величайшим подвигом в жизни, да и среди тех подвигов, что прославили меня, окажется не на последнем месте.

В то время я состоял при штабе Массена, и, кроме меня, у него было еще два адъютанта, тоже храбрые и неглупые офицеры. Фамилия одного была Кортекс, другого — Дюплесси. Оба были старше меня по возрасту, но во всех прочих отношениях старшим мог считаться я. Кортекс был маленький, темноволосый, очень живой и подвижный. Прекрасный был солдат, но его погубила самонадеянность. Послушать его, так он первый герой во всей армии. Дюплесси был гасконец, мой земляк, славный малый, как все гаскоинцы. Мы дежурили по очереди, и в то утро, о котором у нас пойдет речь, дежурил Кортекс. Я видел его за завтраком, а потом он куда-то исчез, и коня его тоже не было в стойле. Весь день Массена был по обыкновению мрачен и долго осматривал в подзорную трубу позиции англичан и суда на Тахо. Он ни слова не сказал о том, с каким поручением послал нашего товарища, и не нам было задавать ему вопросы.

Около полуночи, когда я стоял у дверей штаба, он вышел и полчаса не двигался с места, сложив руки на груди, вглядываясь во тьму на востоке. Он был так неподвижен в своей настороженности, что его закутанную фигуру в треуголке можно было принять за изваяние. Я не понимал, чего он ждет; наконец он с досадой выругался, круто повернулся и, войдя в дом, с грохотом захлопнул за собой дверь.

На другое утро Массена о чем-то долго говорил со вторым адъютантом, Дюплесси, после чего тот тоже исчез вместе с конем. Ночью, когда я сидел в прихожей, маршал прошел мимо меня, и я видел через окно, как он стоял и смотрел на восток, точно так же, как накануне. Он простоял там не меньше получаса, застыв в темноте черной тенью. Потом он вошел, хлопнула дверь, и я услышал звяканье его шпор и ножен в коридоре. Конечно, это был всего-навсего вспыльчивый старик, но когда он приходил в ярость, я предпочел бы предстать перед самим императором, чем попасться ему на глаза. Я слышал, как он всю ночь шагал по комнате и ругался

у меня над головой, но меня он не вызвал, а я слишком хорошо его знал, чтобы пойти без зова.

На другое утро снова пришлось дежурить мне, так как я остался единственным из адъютантов. Я был любимцем маршала. Сердце его всегда бывало открыто для brave солдата. И, честное слово, когда он утром позвал меня, в его черных глазах блестели слезы.

— Жерар! — сказал он. — Подойди сюда!

Он дружески взял меня за рукав и подвел к открытому окну, выходившему на восток. Внизу был лагерь пехотинцев, рядом — позиции кавалерии с длинным частоколом коновязей. Видны были наши передовые посты, а дальше — открытая равнина, вся в виноградниках. За ней — цепь гор, над которыми возвышалась одна, самая высокая. У подножия этих гор лежала широкая полоса леса. Единственная дорога была отчетливо видна, она вилась белой полоской то вверх, то вниз, а потом исчезала среди гор.

— Это Сьерра де Меродаль, — сказал Массена, указывая на высокую гору. — Видишь ты что-нибудь на ее вершине?

Я ответил, что ничего не вижу.

— А теперь? — спросил он, протянув мне подзорную трубу.

В трубу я увидел на вершине горы небольшую пирамиду.

— Это бревна, заготовленные для сигнального костра, — сказал маршал. — Мы сложили его, когда эта территория была в наших руках. Жерар, сегодняшней ночью костер этот необходимо зажечь. Это нужно сделать ради Франции, ради императора, ради нашей армии. Двое твоих товарищей отправились туда, но ни один не добрался до вершины. Сегодня твоя очередь, и да пошлет тебе бог удачи.

Солдату не положено обсуждать приказ, и я уже хотел выйти, но маршал удержал меня, положив руку мне на плечо.

— Ты должен знать все. Так узнай же, какой важности это дело, ради которого ты рискуешь жизнью, — сказал он. — В пятидесяти милях к югу от нас, по другую сторону Тахо, стоит армия генерала Клозеля. Лагерь его разбит близ горы, которая называется Сьерра

д'Осса. На ее вершине тоже приготовлен сигнальный костер, и у костра дежурит дозорный. У нас условлено, что если Клозель в полночь увидит наш сигнал, то в ответ зажжет свой и сразу же присоединится к главным силам. Если он не выступит немедленно, мне придется уйти без него. Вот уже два дня я пытаюсь подать ему сигнал. Он должен увидеть костер сегодня. Иначе его армия будет отрезана и разбита.

Ах, друзья мои, какой гордостью пренесполнилась моя душа, когда я услышал об этой великой задаче, посылаемой мне судьбой! Если я останусь в живых, еще одна лавровая ветвь появится в моем венце. Если же мне суждено погибнуть, я умру так же достойно, как жил. Я не сказал ни слова, но не сомневаюсь, что все эти благородные мысли были написаны у меня на лице, так как Массена крепко пожал мне руку.

— Вои там гора и сигнальный костер,— сказал он.— На пути у тебя только этот бандит со своим людьми. Я не могу отрядить на это дело крупные силы, а маленькую группу они заметят и уничтожат. Так что ты должен все сделать в одиночку. Каким образом, решай сам, но сегодня в полночь я должен увидеть костер на вершине горы.

— Если костер не загорится,— сказал я,— прошу вас, маршал Массена, прикажите продать все мое имущество, а деньги отослать моей матери.

Я отдал честь и повернулся кругом, а сердце мое ликовало от мысли, какой славный подвиг мне предстоит.

Я посидел немного у себя в комнате, раздумывая, как лучше приняться за это дело. Если ни Кортесу, ни Дюплесси, весьма исполнительным и энергичным офицерам, не удалось добраться до вершины Сьерры де Меро-дала, это означало, что за местностью пристально наблюдают партизаны. Я прикинул по карте расстояние. Выходило, что прежде чем я достигну гор, нужно пересечь десять миль открытой местности. Дальше начиналась полоса леса у подножия шириной мили в три-четыре. И наконец самая гора, не такая уж высокая, но спрятаться там решительно негде. Таковы были три этапа предстоящего мне пути.

Я решил, что стоит только пробраться к лесу, и дальше все пойдет как по маслу: я пролежу там до вечера,

а на гору заберусь под покровом темноты. С восьми вечера до полуночи целых четыре часа темного времени. Значит, серьезно обдумать надо лишь первый этап.

На равнине заманчиво белела дорога, и я вспомнил, что оба мои товарища уехали верхом. Ясное дело, это их и погубило, потому что бандитам легче легкого следить за дорогой, и всякий, кто там появлялся, попадал к ним в лапы. Мне ничего не стоило бы пересечь верхом равнину, ведь лошади у меня в ту пору были отличные — не только Фиалка и Барабан, два лучших скакуна во всей армии, но и великолепная английская вороная охотничья лошадь, которую я угнал у сэра Коттона. Однако, поразмыслив, я решил идти пешком, надеясь, что так мне легче будет воспользоваться всяким благоприятным случаем, какой только представится. Что же до одежды, то я накинул поверх гусарского мундира длинный плащ, а на голову надел серую фуражку. Вы спросите, почему я не переоделся в крестьянскую одежду, но, скажу я вам, благородному человеку вовсе не улыбается умереть смертью шпиона. Одно дело — расправа, другое — справедливая казнь по законам войны. Я не хотел позорной смерти.

Под вечер я украдкой вышел из лагеря и прошел мимо наших передовых постов. Под плащом у меня была подозрительная труба, небольшой пистолет, и, конечно, сабля. В кармане — трут, кремь и кресало.

Первые несколько миль меня скрывали виноградники, и я ушел так далеко, что уже ликовал, думая про себя, что нужно только иметь голову на плечах да уметь взяться за дело — и успех обеспечен. Конечно, Кортеса и Дюплесси сразу заметили, когда они скакали по дороге, но Жерар не так прост, он избрал путь через виноградники. И, представьте себе, я прошел не меньше пяти миль, прежде чем наткнулся на первое препятствие. На пути у меня оказалась маленькая таверна, вокруг которой я увидел несколько повозок, а около них суетились люди — первые, кого я встретил. Я уже далеко ушел от наших позиций и знал, что здесь могут быть только враги, а потому припал к земле и подполз поближе, желая узнать, что происходит. Я увидел, что это крестьяне и что они нагружают две повозки пустыми бо-

бочкамн из-под вина. Так как мне от них не могло быть ни вреда, ни пользы, я продолжал путь.

Но вскоре я понял, что дело совсем не так просто, как кажется. Когда я поднялся повыше, виноградники кончались, и я очутился на открытом склоне, усеянном невысокими пригорками. Присев в ложнне, я осмотрел их в подозрную трубу и сразу обнаружил, что на каждом из них сидит дозорный и что у португальцев есть линия передовых постов не хуже нашей. Я много слышал о том, какую железную дисциплину поддерживал среди своих людей этот негодяй по прозвищу Шутник, и вот теперь передо мной неоспоримое свидетельство, что это правда. В ущелье тоже оказался кордон, и хотя я несколько взял в сторону, впереди по-прежнему были враги. Я не знал, что делать. Укрыться было решительно нигде, тут даже крыса не проскользнула бы. Конечно, я мог бы без труда пройти этот открытый участок ночью, как пробрался через позиции англичан в Торрес Ведрас, но до горы было все еще далеко, и я не успел бы туда вовремя, чтобы зажечь костер в полночь. Я лежал в ложнне и строил сотни планов, один рискованнее другого. И вдруг меня словно озарила вспышка света — вот что значит не падать духом.

Помните, я уже говорил, что около таверны грузили пустыми бочкамн две повозки. Быки были повернуты на восток, и, значит, направлялись они именно в ту сторону, куда мне нужно. Если только мне удастся спрятаться в одном из них, едва ли я найду более удобный и легкий путь проникнуть через позиции партизан. План был так прост и удачен, что, когда он пришел мне в голову, я не удержался от радостного возгласа и поспешил к таверне. Там, спрятавшись в кустах, я хорошенько пригляделся к тому, что происходило на дороге.

Трое крестьян в красных шапках грузили бочки; одна повозка была уже нагружена доверху, вторая — только в один ряд. Много пустых бочков еще лежало перед домом, ожидая погрузки. Судьба была ко мне благосклонна, я всегда говорил, что она — женщина и не может устоять перед бравым молодым гусаром. Пока я наблюдал, все трое вошли в таверну, так как день был жаркий и с усталости им захотелось промочить глотку.

Я пулей выскочил из своего укрытия, залез на повозку и забрался в пустой бочонок. Он был с дном, но без крышки и лежал на боку, открытой стороной внутрь. Я заполз туда, как собака в конуру, подобрав колени к подбородку, так как бочонки были не очень большие, а я малый рослый. Тем временем крестьяне снова вышли, и вскоре я услышал грохот у себя над головой и понял, что сверху взвалили еще один бочонок. Они громоздили их все выше, и я уже не знал, как выберусь на волю. Но думать о том, как переправиться через Вислу, надо, когда будешь уже за Рейном, и я не сомневался, что, если случай и смекалка помогут мне добраться сюда, они помогут мне и дальше.

Вскоре повозка была нагружена, и крестьяне тронулись в путь, а я зная себе посмеивался, сидя в бочонке, так как меня везли именно туда, куда мне было надо. Ехали мы медленно, крестьяне шли пешком рядом с повозками. Я знал об этом потому, что слышал рядом их голоса. Мне показалось, что они веселые парни, потому что они над чем-то смеялись от всего сердца. В чем была соль, я не понял. Хотя я и неплохо изъяснялся на их языке, но в обрывках разговора, которые до меня долетали, я не усмотрел ничего смешного.

Прикинув скорость упряжных быков, я решил, что мы делаем около двух миль в час. И когда прошли два с половиной часа — да каких, друзья мои, ведь я лежал скрючившись, задыхаясь, едва не отравившись винными парами, — когда они прошли, я был уверен, что опасная открытая полоса осталась позади и мы уже у подножия горы, на опушке леса. Теперь надо было подумать, как выбраться из бочки. Я перебрал несколько способов и тщательно взвешивал каждый, как вдруг вопрос решил сам собой, просто и неожиданно.

Повозка вдруг остановилась, и я услышал грубые, раздраженные голоса.

— Где, где? — крикнул один.

— Да у нас в повозке, — ответил другой.

— А кто он? — спросил третий.

— Французский офицер. Я видел его фуражку и сапоги.

Все так и покатались со смеху.

— Я глянул в окно, вдруг вижу, как он снганет в бочонок, будто тореадор, за которым гонится севильский бык.

— В который же бочонок?

— Да вот сюда,— сказал этот малый и кулаком стукнул по бочонку у самой моей головы.

Ну и положеньице, доложу я вам, друзья мои, для такого прославленного человека, как я! Даже теперь, сорок лет спустя, я краснею, как вспомню об этом. Сидеть, словно птица в силке, беспомощно слушать грубый смех этих мужиков и знать, что дело, которое мне поручено, заканчивается столь постыдным и даже смешным образом,— да я благословил бы всякого, кто пустил бы в бочонок пулю и избавил меня от унижения.

Я услышал грохот сбрасываемых бочонок, а потом на меня глянули две бородатые рожн и два ружейных ствола. Меня ухватили за рукава и вытащили на свет божий. Вероятно, нелепый был у меня вид, когда я стоял, хлопая глазами от слепящего солнечного света. Я скрючился, как калека, не в состоянии расправить затекшее тело, и одна половина моего мундира стала красной, как у англичанина, от остатков вина, в которых я лежал. А эти псы все хохотали, и когда я попытался жестами и всем своим видом выразить то презрение, которое к ним испытывал, они загоготали еще пуще. Но даже в этих нелегких обстоятельствах я держался с обычным достоинством и медленно переводил с одного на другого взгляд, который никто из этих насмешников не мог выдержать.

Этого единственного взгляда вокруг мне оказалось достаточно, чтобы сообразить, где я. Крестьяне завезли меня прямо в лапы партизанам, к их передовым постам. Я увидел восемь бородатых дикарей — головы у них были повязаны под сомбреро бумажными платками, на них были куртки со множеством пуговиц, перепоясанные цветными шарфами. У каждого было ружье и по два, а то и по три пистолета за поясом. Начальник, здоровенный бородатый бандит, наставил ружье прямо мне в ухо, а остальные обшарили мои карманы, стянули с меня плащ, отобрали пистолет, подзорную трубу, саблю и, что хуже всего, кремьнь, трут и кресало. Теперь, как бы ни обернулось дело, все погибло, потому что даже если

я доберусь до вершины горы, мне нечем будет разжечь костер.

Я был один, друзья мои, безоружный, против восьмерых, да тут еще эти трое крестьян! Но неужто вы думаете, что Этьен Жерар отчаялся? Нет, вы меня слишком хорошо знаете; но они-то меня еще не знали, эти проклятые головорезы. В жизни не делал я столь могучего и великолепного усилия, как в этот миг, когда, казалось, все пропало. И все же вам пришлось бы долго гадать, прежде чем вы донскались бы способа, с помощью которого я от них ускользнул. Вот послушайте, я вам расскажу.

Они обыскали меня, а потом стащили с повозки, и я, все еще весь скрюченный, стоял среди этой толпы. Но постепенно оцепенение проходило, и вот уже мой мозг начал лихорадочно искать какого-нибудь способа бежать. Разбойничья засада находилась в узком ущелье. С одной стороны был крутой обрыв. С другой — тянулся длинный склон, спускавшийся в поросшую кустарником долину в сотне футов под нами. Сами понимаете, эти ребята были прирожденные горцы и, конечно уж, лазали по горам быстрее меня. На них были «абаркас», кожаные башмаки, привязанные к ногам, как саидалии, в которых всюду можно пройти. Человек менее решительный пришел бы в отчаяние. Но я в мгновение ока заметил, какой редкий случай посылает мне судьба, и воспользовался им.

На самом краю склона валялся один из винных бочонков. Я тихонько подвинулся поближе к нему, а потом прыгнул, как тигр, нырнул в бочонок ногами вперед и, дернувшись всем телом, покатился по склону.

Никогда не забыть мне это ужасное путешествие — с грохотом и треском летел я, подпрыгивая, по проклятому склону. Я подобрал колени и локти, свернувшись в тугой клубок, чтобы придать себе устойчивости; но голова все равно торчала наружу, и просто чудо, что мне не вышибло мозги. Сперва склон был пологий и довольно ровный, потом пошли крутые откосы, и бочонок уже не катился, а скакал, как козел, летя вниз с громом идребезгом, от которого трещали все мои косточки. Ох, как свистел ветер у меня в ушах, и все вокруг кружилось, так что меня стало тошнить, и я чуть не лишился чувств! Со свистом,

хрустом и треском вломился я в кусты, которые только что видел далеко внизу под собой, пролетел их насквозь и врезался в рожицу, где мой бочонок, налетев на деревцо, развалился. Я выполз из кучи обломков досок и обручей, все тело у меня ныло, но сердце громко пело, ликуя, и я воспрянул духом, радуясь своему замечательному подвигу, и уже словно видел костер, пылающий на вершине горы.

Во время спуска меня так швыряло, что нестерпимая тошнота подкатывала к горлу, и я чувствовал себя, как в море, когда мне впервые довелось испытать силу ветра и волн, которыми англичане так бессовестно воспользовались¹. Пришлось мне посидеть немного, обхватив руками голову, подле обломков бочонка. Но прохладиться было некогда. Я уже слышал крики наверху, свидетельствовавшие, что мои преследователи спускаются. Я бросился в самую чащу и бежал до тех пор, пока совершенно не выбился из сил. Тогда я, задыхаясь, упал на землю и стал напряженно прислушиваться, но все было тихо. От погони я ушел.

Когда я отдышался, то поспешил дальше и прошел вброд по руслам нескольких ручьев, где мне было по колено, потому что партизаны могли пойти по моему следу с собаками. Выйдя на поляну и оглядевшись, я, к радости своей, обнаружил, что не слишком отклонился от своего пути. Надо мной высилась вершина Меродаля, ее голый пик торчал над рощами карликовых дубов, растущих по склонам. Эти рощи были продолжением того леса, в котором я укрылся, и я подумал, что теперь бояться нечего, пока не доберусь до дальней опушки. Но я не забывал ни на минуту, что со всех сторон окружен врагами и они многочисленны, а я безоружен. Я никого не видел, но слышал несколько раз пронзительный свист и отдаленные выстрелы.

Нелегко было продираться сквозь кусты, и я обрадовался, когда пошли деревья побольше и появилась тропинка, которая вела через лес. Конечно, я был не такой дурак, чтобы идти по ней, но держался поблизости, продвигаясь в том же направлении. Я шел уже довольно

¹ Намек на Трафальгарскую битву, во время которой ветер и волны мешали французскому флоту маневрировать.

долго и считал, что опушка близко, как вдруг услышал какие-то странные стоны. Сначала я подумал, что кричит какой-нибудь зверь, но потом услышал слова, из которых разобрал только французское восклицание «Mon Dieu!». Я с большой осторожностью двинулся на голос и увидел вот что.

На подстилке из сухих листьев лежал человек в таком же сером мундире, какой был на мне. Видимо, он был тяжело ранен, потому что прижимал к груди тряпку, красную от крови. Вокруг растеклась целая лужа, и над раненым, изойливо жужжа, роились мухи, которые наверняка привлекли бы мое внимание, если б я даже не услышал стоны. Сначала я затаился, опасаясь ловушки, но потом сострадание и чувство товарищества взяли верх над всем остальным, я бросился вперед и опустился подле него на колени. Он повернул ко мне осунувшееся лицо, и я узнал Дюплесси, который отправился прежде меня с тем же поручением. Достаточно было одного взгляда на его ввалившиеся щеки и помутневшие глаза, чтобы понять, что он умирает.

— Жерар! — сказал он. — Жерар!

Я мог лишь взглядом выразить свое сострадание, но он, хотя жизнь быстро покидала его, помнил о своем долге, как и подобает храбрецу.

— Костер, Жерар! Вы зажжете его?

— А есть у вас кремень и кресало?

— Вот!

— В таком случае сегодня ночью он загорится.

— Теперь я могу умереть спокойно. Они подстрелили меня, Жерар. Но скажите маршалу, что я сделал все возможное.

— А Кортекс?

— Ему повезло еще меньше. Он попал к ним в лапы и принял страшную смерть. Жерар, если увидите, что вам не уйти, пустите пулю в сердце. Не дай вам бог умереть, как он.

Я видел, что дыхание его слабеет, и должен был низко склониться к нему, чтобы расслышать его слова.

— Что вы мне посоветуете? — спросил я.

— Де Помбаль. Он поможет. Положитесь на де Помбаля.

С этими словами он уронил голову и испустил дух.
— Вы слышали, положитесь на де Помбаль. Это хороший совет!

Тут я с удивлением увидел, что совсем рядом стоит человек. Я был так занят своим товарищем, так жадно ловил его слова, что незнакомец подошел незамеченным. Я мгновенно вскочил с колен и повернулся к нему. Он был высокнй, темноволосый, черноглазый и чернобородый, с длинным печальным лицом. В руке он держал бутылку вина, а через плечо у него, как у всех партизан, висел «трабуко». Он не сделал движения снять мушкетон, и я понял, что это ему вверил меня мой погнбший друг.

— Увы, он мертв! — сказал де Помбаль, склоняясь над Дюплесси. — Когда его ранили, он скрылся в лесу и вскоре упал, но, к счастью, я нашел его и облегчил его конец. Я устроил ему вот это ложе и принес вина, чтобы он мог утолить жажду.

— Сеньор, — сказал я. — Благодарю вас от лица Франции. По чину я всего лишь кавалерийский полковник, но меня зовут Этьен Жерар, а это имя не из последних во французской армии. Могу ли узнать...

— Да, я Алонсус де Помбаль, младший брат знаменитого дворянина, носящего ту же фамилию. В настоящее время я офицер в отряде у Шутника Мануэло.

Клянусь, рука моя потянулась к тому месту, где недавно висел пистолет, но де Помбаль только улыбнулся.

— Я правая рука Мануэло, но в то же время злейший его враг, — сказал он. С этими словами он скинул куртку и поднял рубаху. — Вот поглядите! — воскликнул он и повернулся ко мне спиной, которая вся была исполосована и иссечена красными и багровыми рубцами. — Вот что сделал Шутник со мной, с человеком, в чьих жилах течет кровь самого благородного рода в Португалии. Но вы еще увидите, что я сделаю с Шутником!

В его глазах и усмешке была такая ненависть, что я больше не сомневался в правдивости его слов, да и кровавые, запекшиеся рубцы на спине подтверждали это.

— Со мной десять человек, которые поклялись мне в верности, — сказал он. — Я надеюсь вскоре присоединиться к вашей армии, вот только улажу здесь кое-ка-

кне дела. А пока...— Вдруг лицо его странным образом изменилось, и он схватился за ружье.— Руки вверх французский пес! — заорал он.— Руки вверх, не то я вышибу тебе мозги!

Вы вздрогнули, друзья мои! У вас глаза полезли на лоб! Представьте же себе, что было со мной, когда наш разговор закончился столь неожиданно. На меня смотрел черный ствол, и над ним блестели черные злые глаза. Что было делать? Податься некуда. Я поднял руки. В тот же миг со всех сторон послышались голоса, крики, свистки, быстрый топот множества ног. Из зеленых кустов высыпал всякий сброд, десяток рук схватили меня, и я, жалкий, несчастный, взбешенный, снова очутился в плену. Слава богу, за поясом у меня не было пистолета, не то я пустил бы себе пулю в лоб. Будь у меня в тот миг оружие, я не сидел бы сейчас здесь в кафе и не рассказывал вам эти давнишние истории.

Грязные, волосатые руки вцепились в меня со всех сторон и потащили по тропинке через лес, а этот негодяй де Помбаль отдавал приказы. Четверо головорезов несли труп Дюплесси. Уже смеркалось, когда мы вышли из леса на голый склон горы. Меня повели вверх, и наконец мы очутились в главном штабе партизан, в ущелье почти под самой вершинной. Прямо у нас над головами висел тот самый костер, из-за которого меня постигла столь ужасная судьба. Ниже лепнились хижины — раньше тут, без сомнения, жили пастухи, а теперь разместились эти негодяи. Меня, связанного и беспомощного, втокнули в одну из них, а рядом швырнули тело моего бедного товарища.

Я лежал на полу, и одна мысль не давала мне покоя: как протянуть еще несколько часов и добраться все-таки до этой кучи дров у меня над головой? Но вдруг дверь распахнулась, и вошел какой-то человек. Не будь у меня связаны руки, я вцепился бы ему в горло, потому что это был не кто иной, как де Помбаль. Следом за ним вошли еще двое, но он приказал им выйти и плотно притворил дверь.

— Ты подлец! — сказал я.

— Тс! — остановил он меня.— Говорите шепотом, потому что нас могут подслушать, а на карту поставлена моя жизнь. Мне нужно кое-что сказать вам, полковник

Жерар. Я желаю вам добра, как желал вашему несчастному умершему другу. Когда мы разговаривали у его тела, я вдруг увидел, что мы окружены и вас неизбежно схватят. Замешкайся я хоть на миг, мне пришлось бы разделить вашу участь. Я тотчас взял вас на мушку, чтобы сохранить доверие отряда. Рассудите сами, и здравый смысл скажет вам, что ничего другого мне не оставалось. Не знаю, удастся ли мне теперь спасти вас, но я по крайней мере попытаюсь.

Дело приняло иновый оборот. Я сказал, что не могу быть уверен в его искренности, но буду судить об этом по его поступкам.

— Лучшего я и не желаю,— сказал он.— И позвольте дать вам один совет. Сейчас вас отведут к командиру. Говорите ему правду, не перечьте ему ни в чем. Выложите ему все сведения, какие он потребует. Это ваш единственный шанс на спасенье. Если вы сумеете выиграть время, быть может, случай придет нам на помощь. А теперь медлить больше нельзя. Выходите скорей, не то меня заподозрят.

Он помог мне встать и, открыв дверь, грубо выволок меня из хижины, а потом вместе с теми двумя, что ждали снаружи, грубыми пиками и ударами погнал туда, где сидел их командир, а вокруг столпились его подчиненные.

Этот Шутник Мануэло был удивительный человек. Толстый, румяный, самодовольный, с широким, чисто выбритым лицом, ни дать ни взять добропорядочный отец семейства. Увидев его открытую улыбку, я не мог поверить, что это в самом деле тот презренный негодяй, чье имя приводило в трепет английскую армию да и нашу тоже. Все знают, что впоследствии английский офицер Трент повесил его за зверства. А сейчас он сидел на валуне и улыбался мне, словно встретил старого знакомого. Однако от меня не укрылось, что один из его подчиненных опирался на длинную пилу, и этого было довольно, чтобы рассеять все мои иллюзии.

— Добрый вечер, полковник Жерар,— сказал он.— Штаб генерала Массена оказал нам высокую честь. Сначала нас посетил майор Кортес, на другой день — полковник Дюплесси, а теперь — полковник Жерар. Как знать, может, и самому маршалу придется нанести нам

визит. Я полагаю, Дюплесси вы видели. А Кортеса вы найдете вон там внизу. Остается только решить, как нам лучше всего поступить с вами.

Это была не слишком обнадеживающая речь. Но его жирное лицо все время морщилось в улыбку, и говорил он самым успокаивающим и благодушным тоном. Но вдруг он подался вперед, и я почувствовал, что он буквально сверлит меня взглядом.

— Полковник Жерар,— сказал он.— Я не могу обещать, что подарю вам жизнь, ибо не таков наш обычай, но в моей воле предать вас легкой смерти или смерти в страшных мучениях. Какую вы предпочитаете?

— А чего вы потребуете от меня взамен?

— Если хотите умереть легко, вы должны правдиво ответить на все мои вопросы.

У меня в голове мелькнула внезапная мысль.

— Вы намерены меня убить,— сказал я.— Вам все равно, как я умру. Если я отвечу на ваши вопросы, позволите ли вы мне самому выбрать смерть?

— Отчего ж,— ответил он.— Но все должно быть кончено сегодня до полуночи.

— Поклянитесь!— вскричал я.

— Слова португальского дворянина должно быть достаточно,— сказал он.

— Я ничего не скажу, пока вы не дадите клятву.

Он побагровел от ярости и покосился на пилу. Но по моему тону он понял, что у меня слово не расходится с делом и меня не запугаешь. Он вынул из-под «самар-ра», полушубка из черной овчины, крест.

— Клянусь,— сказал он.

Ах, как я обрадовался, когда услышал это! Какой конец, какой великолепный конец для первого рубака Франци! Я готов был смеяться от восторга.

— Спрашивайте!— сказал я.

— Поклянитесь и вы, что скажете правду.

— Клянусь честью солдата и дворянина.

Как видите, я дал ужасную клятву, но это был пустяк по сравнению с тем, что я мог выиграть.

— Ну что ж, сделка честная и прелюбопытная,— сказал он, доставая из кармана записную книжку.— Не соблаговолите ли вы обратить свой взор в сторону французского лагеря?

Взглянув туда, куда он указывал, я увидел внизу, на равнине, наш лагерь. Хотя до него было пятнадцать миль, прозрачный воздух позволял разглядеть все до мельчайших подробностей. Я видел прямоугольники наших палаток, домики с коновязями и темные пятна — десять артиллерийских батарей. Как грустно было думать о моем славном полку, который ждет меня там, внизу, и знать, что никогда больше не видеть им своего полковника! Будь со мной один только эскадрон, я стер бы этих головорезов с лица земли. Я жадно вглядывался вдаль, и глаза мои наполнились слезами, когда я взглянул на тот угол лагеря, где, я знал, был восьмьсот человек, любой из которых отдал бы за своего полковника жизнь. Но моя печаль рассеялась, когда я увидел за палатками дымок над главным штабом в Торрес Нова. Там был Массена, и, слава богу, ценой своей жизни я выполню сегодня ночью его приказ. Душа моя исполнилась ликованием и гордостью. Мне хотелось крикнуть громовым голосом, так, чтобы меня услышали: «Глядите, это я, Этьен Жерар, я умираю, чтобы спасти армию Клозеля!» Право, обидно было думать, что некому будет потом рассказать о моем славном подвиге.

— Итак, — сказал разбойничий главарь, — вон лагерь, а вон дорога, которая ведет в Конмбру. Она вся забита вашими фургонами и санитарными повозками. Значит ли это, что Массена готовится к отступлению?

Мне были видны темные очертания движущихся фургонов, среди которых порой поблескивали штыки конвойных. Не говоря уж о том, что я обещал ответить на все вопросы, не было никакого смысла отрицать очевидное.

— Да, он намерен отступить.

— На Конмбру?

— Насколько мне известно, да.

— А как же армия Клозеля?

Я пожал плечами.

— Все дороги, ведущие на юг, отрезаны. Сблизиться с Клозелем нет никакой возможности. Если Массена отступит, армия Клозеля обречена.

— Видно, такова уж ее судьба, — сказал я.

— Сколько у него солдат?

— Вероятно, около четырнадцати тысяч.

— А кавалерии?

— Одна бригада из дивизии Монбрена.

— Какие полки в ее составе?

— Четвертый егерский, Девятый гусарский и один полк кирасиров.

— Все верно, — сказал он, справившись в своей книжке. — Я вижу, вы говорите правду, но, если вздумаете соврать, пеняйте на себя.

После этого он перебрал всю армию, подразделение за подразделением, расспрашивая о составе каждой бригады. Нужно ли говорить вам, что я скорее дал бы вырвать себе язык, чем выдал бы все это, не будь у меня более важной цели? Пускай знает все, только бы спасти армию Клозеля.

Наконец он закрыл свою книжку и сунул ее в карман.

— Я весьма признателен вам за все эти сведения, которые завтра же будут переданы лорду Веллингтону, — сказал он. — Вы, со своей стороны, соблюдаете условия сделки, теперь моя очередь. Как же вам желательно умереть? Вы солдат и, без сомнения, предпочтете расстрел, но некоторые считают, что прыжок в меродальскую пропасть более легкая смерть. Ее приняли многие, но мы, к несчастью, ни разу не имели возможности узнать потом их мнение. Мы, конечно, можем и вздернуть вас на суку, но это нежелательно, потому что придется спускаться к лесу. Однако слово есть слово, а вы, я вижу, славный малый, так что мы исполним ваше желание.

— Вы сказали, — ответил я, — что я должен умереть до полуночи. Я хочу, чтобы это произошло в двенадцать часов без одной минуты.

— Прекрасно, — сказал он. — Правда, это ребячество так цепляться за жизнь, но ваше желание будет исполнено.

— Что же до способа казни, — сказал я, — то я хочу умереть так, чтобы меня видел весь мир. Положите меня вои на ту кучу хвороста и сожгите заживо, как сжигали некогда святых и мучеников. Это не совсем обычный конец, но ему мог бы позавидовать сам император.

Такая мысль, видимо, показалась ему очень забавной.

— Отчего же,—сказал он.—Раз Массена послал вас сюда шпионить, он, быть может, догадается, что значит этот костер.

— Вот именно,—подтвердил я.—Вы попали в самую точку. Конечно, он догадается, и все будут знать, что я умер смертью, достойной солдата.

— Не имею ничего против,—сказал разбойник со своей гадкой улыбочкой.—Я пришлю вам козлятины и вина. Солнце садится, скоро восемь. Через четыре часа будьте готовы покончить счеты с жизнью.

Мир был так прекрасен, и мне не хотелось умирать. Я поглядел на золотистую дымку внизу, где последние лучи заходящего солнца сверкали на голубой поверхности извилистого Тахо и поблескивали на белых парусах английских грузовых судов. Как все это было прекрасно, как не хотелось расставаться с жизнью! Но есть вещи во сто крат прекрасней! Пожертвовать собой ради других, во имя чести, долга, верности и любви — прекраснее этого нет ничего на земле. Сознание собственного благородства наполнило мою грудь восторгом, и я раздумывал о том, узнает ли хоть одна живая душа, как я по собственной воле взошел на костер, спасая армию Клозеля. Я надеялся и молчал об этом бога — ведь только подумать, каким утешением это было бы для моей матушки, каким примером для всей армии, какой гордостью для моих гусар. Когда наконец ко мне пришел де Помбаль с едой и вином, я первым делом попросил его написать донесение о моей смерти и послать во французский лагерь. Он ничего не ответил, но за ужином у меня прибавилось аппетита от мысли, что моя славная судьба не останется безвестной.

Я пробыл в хижине около двух часов, когда дверь снова отворилась и в нее заглянул главарь разбойников. Я сидел в темноте, но сопровождавший его бандит держал факел, и я увидел, как блестят его глаза и оскаленные зубы.

— Готов?—спросил он.

— Еще не время.

— Вы непременно хотите дотянуть до последней минуты?

— Слово есть слово.

— Отлично. Будь по-вашему. А мы пока займемся собственными делами — один из моих молодцов осмелится оказать неповиновение. А у нас на этот счет строго, спросите хоть у де Помбалья, более достойного свидетеля не найти. Де Помбаль, ты свяжешь его и положишь на костер, а я потом приду поглядеть, как он будет поджариваться.

Де Помбаль и человек с факелом вошли в хижину, а шагн начальника замерли где-то в отдалении. Де Помбаль притворил дверь.

— Полковник Жерар, — сказал он, — доверьтесь этому человеку, он один из наших. Спасение или смерть. Мы еще можем вас выручить. Но я многим рискую и хочу получить от вас одно обещание. Если мы вас спасем, обещаете ли вы, что французы примут нас дружески и прошлое будет забыто?

— Обещаю.

— Я верю вашему слову. А теперь скорей, нельзя терять ни секунды! Если этот злодей вернется, нам всем не миновать лютой смерти.

И он принялся за дело, а я с удивлением следил за ним. Схватив длинную веревку, он опутал ею труп моего погибшего товарища и заткнул ему рот тряпкой, которая почти скрыла лицо.

— Ложитесь сюда! — крикнул он и уложил меня на то место, где только что лежал труп. — Там за дверью четверо моих людей, они положат тело на костер.

Он открыл дверь и отдал приказ. Несколько человек вошли и вынесли Дюплесси. А я остался лежать на полу, и в голове у меня беспорядочно смешались надежда и удивление.

Минут через пять де Помбаль и его люди вернулись.

— Вы уже лежите на костре, — сказал он. — Пусть только кто-нибудь посмеет сказать, что это не вы. А во рту у вас такой кляп, руки и ноги так туго связаны, что вы не можете ни пошевелинуться, ни пикнуть. Ну, а теперь остается только вынести отсюда труп Дюплесси и сбросить его в меродавльскую пропасть.

Двое из них подхватили меня за руки, а двое — за ноги и вынесли из хижины, причем я не пошевелился и не издал ни звука. Очутившись под открытым небом,

я чуть не вскрикнул от удивления. Над костром светила луна, и в ее серебристом свете отчетливо видно было распростертое тело. Бандиты либо были в своем лагере, либо столпнулись вокруг костра, так как наш маленький отряд никто не остановил и не задал нам никаких вопросов. Де Помбаль повел своих людей к пропасти. Вскоре мы скрылись за уступом, и тогда мне позволили встать на ноги. Де Помбаль указал на узкую извилистую тропинку.

— Она ведет вниз, — сказал он и вдруг вскрикнул: — *Dios mio*¹, что это?

Ужасный вопль донесся из леса внизу под нами. Я видел, что де Помбаль дрожит, как испуганная лошадь.

— Ах, дьявол, — прошептал он. — Расправляется с кем-то, как расправился со мной. Но вперед, вперед, потому что если мы попадем к нему в лапы, да смлается над нами небо.

Мы гуськом двинулись по узкой, протоптанной козами тропе. Спустившись в ущелье, мы снова очутились в лесу. Вдруг над нами вспыхнуло желтое пламя, и черные тени стволов вытянулись вперед. Это подожгли костер. Даже издали нам видно было тело, недвижно распростертое среди языков пламени, и черные фигуры бандитов, которые, воя, как людоеды, плясали вокруг костра. Ух! Как я грозил им кулаком, этим псам, и какие давал клятвы, что настанет день, когда я с моими гусарами сведу с ними счеты.

Де Помбаль знал расположение дозоров и все тропинки, которые вели через лес. Но, чтобы избежать встречи с этими негодяями, нам пришлось углубиться в горы, путь через которые был нелегким, и пройти немало миль. И все же с какой охотой прошел бы я не одну лигу, только бы увидеть это зрелище! Было, наверное, около двух ночи, когда мы остановились на скалистом горном отроге, по которому вилась тропа. Оглянувшись, мы увидели красное зарево костра, словно на высокой вершине Меродала началось вулканическое извержение. Но вот я увидел нечто такое, отчего радостно вскрикнул и, упав, начал от восторга кататься по земле. Далеко на

¹ Бог мой (исп.).

юге, у самого горизонта, мерцал дрожащий желтый свет, он то ярко вспыхивал, то мерк — это был не огонек в окне, не звезда, а ответный сигнал со Сьерра д'Осса: армия Клозеля увидела костер Жерара.

V

КАК БРИГАДИР ПРОСЛАВИЛСЯ В ЛОНДОНЕ

Я уже рассказывал вам, друзья мои, как я прославился среди англичан во время охоты на лису, которую гнал таким бешеным галопом, что даже свора прекрасных гончих не могла со мной тягаться, и собственной рукой разрубил ее надвое. Быть может, я слишком много говорю об этом, но есть в охотничьих победах радость, которую не приносит даже война, — ведь на войне делишь славу со своим полком и армией, а на охоте завоевываешь лавры без чужой помощи. У англичан есть перед нами то преимущество, что все они, и простые люди и аристократы, увлекаются спортом. Может быть, дело тут в том, что они богаче нас, а может, у них просто больше досуга, но я диву давался, когда был там в плену, до чего широко распространено это увлечение и как заполняет оно умы и жизнь людей. Скачки и бега, петушиные бои, травля собаками крыс, бокс — да они ради любого из этих зрелищ отвернулись бы от самого императора во всей его славе.

Я мог бы многое рассказать вам об английском спорте, потому что довольно насмотрелся на эти штуки, когда гостил у лорда Рафтона после того, как в Англию пришел приказ о моем обмене. Минуло много месяцев, пока удалось отправить меня во Францию, и все это время я жил у гостеприимного лорда Рафтона в его чудесном доме в Хай-Коме, в северной части Дартмура. Когда я удрал из Приистауна, он поехал вслед за мной вместе с полицией, меня нагнали, и я поправился лорду, как он поправился бы мне, если б я встретил у себя во Франции храброго и доброго малого, у которого нет ни чужbine ни единого друга. Одним словом, он взял ме-

ня к себе, одевал, кормил и обращался со мной, как с родным братом. Надо отдать справедливость англичанам, они всегда были благородными противниками, и воевать с ними — одно удовольствие. На Пиренейском полуострове передовые посты испанцев выставляли нам навстречу ружья, а англичане — флаги с коньяком. Но среди этих благородных людей не было ни одного, кто мог бы сравниться с достойным милордом, который от всей души протянул руку врагу, попавшему в печальные обстоятельства.

Ах, сколько воспоминаний о спорте пробуждает во мне одно название — Хай-Ком! Как сейчас вижу этот низкий, длинный гостеприимный дом из красного кирпича, с белыми оштукатуренными колоннами перед входом. Лорд Рафтон был большой любитель спорта, и все его друзья тоже. Но могу вас порадовать, я им почти ни в чем не уступал, а иногда мог бы дать и фору. За домом был лес, в котором разводили фазанов, и лорд Рафтон обожал их стрелять. Перед охотой в лес посылали людей, чтобы они гнали оттуда фазанов, а лорд со своими друзьями стоял на опушке и стрелял. Я же взялся за дело иначе: я изучил привычки фазанов и как-то вечером, когда они спали на деревьях, отправился в лес. Я не сделал почти ни одного промаха, но выстрелы привлекли лесника, и он, бестактный, как все англичане, стал упрашивать меня пощадить хотя бы уцелевших. В тот вечер лорда Рафтона ждал сюрприз: я принес к ужину двенадцать фазанов. Он смеялся до слез, так это его обрадовало. «Ох, Жерар, вы меня уморите!» — воскликнул он. Он частенько повторял это, потому что я то и дело удивлял его своими успехами в английском спорте.

Есть такая игра, которая называется крикет, в нее играют летом, и я ей тоже выучился. Главный садовник Радд был знаменитым игроком в крикет, да и сам лорд Рафтон ему не уступал. Перед домом была лужайка, и на ней-то Радд и учил меня. Это славная забава, самая что ни на есть подходящая игра для солдата, в ней каждый пытается попасть в другого шаром, а отбивать шар можно только маленькой палочкой. Три колышка сзади обозначают место, дальше которого нельзя отступать. Это не детская игра, скажу я вам, и должен признаться,

что хоть мне и довелось участвовать в девяти кампаниях, я почувствовал, что бледиею, когда шар в первый раз проиесся мимо меня. Он летел так быстро, что я не успел даже подиять свою палку, чтобы отразить удар, но, на мое счастье, он попал не в меня, а в деревьяшки, которые отмечали границу поля. Потом настала очередь Радда защищаться, а моя — нападать. Еще мальчишкой в Гаскоинн я научился бросать камни далеко и метко и не сомнелся, что сумею попасть в этого храброго англичанина. Я с криком разбежался и метнул шар. Быстро, как пуля, шар летел ему прямо в грудь, но он без единого слова взмахнул палкой, и шар взвился высоко в небо. Лорд Рафтон захопал в ладоши с криком одобрения. Шар вернулся ко мне, и снова пришла моя очередь бросать. На этот раз шар пролетел мимо его головы, и теперь он побледнел. Но он был не трус, этот садовник, и снова встал передо мной. Ах, друзья мои, настал час моего торжества! На нем был красивый жилет, и я нацелился в этот жилет. Вы сказали бы, что я канионир, а не гусар, потому что трудно представить себе более точию наводку. С душераздирающим криком — так кричит храбрец, видя свое поражение, — он опрокинулся на деревянные колышки позади и вместе с ними рухнул на землю. А этот английский милорд был жестокий человек: он так смеялся, что не мог даже прийти на помощь своему слуге. Пришлось мне, победителю, броситься вперед, подхватить смелого игрока и поставить его на ноги со словами похвалы, ободрения и надежды. Он весь скорчился от боли и не мог разогнуться, но все же этот честный малый признал, что моя победа не случайна. «Он это нарочно! Нарочно!» — снова и снова повторял он. Все-таки замечательная игра кркет, и я охотно сыграл бы еще, но лорд Рафтон и Радд сказали, что сезон уже кончился и больше они играть не будут.

Конечно, это глупо, когда я, немошный старик, рассказываю о своих победах, и все же должен признаться, что в старости меня очень утешают и успокаивают воспоминания о женщинах, любивших меня, и о мужчинах, которых я в чем-либо превзошел. Приятно вспомнить, что через пять лет, когда заключили мир, лорд Рафтон приехал в Париж и заверил меня, что мое имя все еще гремит по всему северному Девонширу после удивитель-

ных подвигов, которые я совершил. В особенности, сказал он, много говорят о моем боксерском матче с достопочтенным Болдоком. Дело было так. По вечерам у лорда Рафтона собирались спортсмены, они выпивали немало вина, заключали самые невероятные пари и толковали о лошадях и травле лисниц. Как сейчас помню этих странных людей: сэр Бэррингтон, Джек Лаптон из Барнстейбла, полковник Эддисон, Джонни Миллер, лорд Сэдлер и мой противник, достопочтенный Болдок. Все они были на один лад — пьяницы, сумасброды, драчуны, игроки с вечными причудами и прихотями. Но все же они были по-своему добрые ребята, хоть и грубые, кроме этого Болдока, толстяка, который ужасно кичился своим боксерскими талантами. Его насмешки над французами, которые, мол, ничего не смыслят в спорте, и заставили меня вызвать его на бокс, в котором он был так силен. Вы скажете, что это глупость, друзья мои, но графини с вином уже не раз обошел стол, и молодая, горячая кровь взыграла во мне. Я буду драться с этим хвастуном; я покажу ему, что если мы и не владеем боксерским искусством, то храбрости нам не занимать. Лорд Рафтон не хотел допустить этого состязания. Я настаивал. Остальные подзадоривали меня и хлопали по спине.

— Черт поберит, Болдок, нельзя же так, ведь он наш гость, — сказал Рафтон.

— Но он сам вызвался, — возразил тот.

— Послушайте, Рафтон, если они наденут перчатки, то не покалечат друг друга! — воскликнул лорд Сэдлер.

На том и порешили.

Я уже хотел вынуть из кармана перчатки, но нам тут же принесли четыре большие кожаные подушки, похожие на фехтовальные рукавицы, только побольше. Мы сияли сюртуки и жилеты, после чего нам надели эти самые рукавицы. Стол вместе с бокалами и графинями задвинули в угол, и вот мы стоим лицом к лицу! Лорд Сэдлер уселся в кресло с часами в руке.

— Первый раунд! — объявил он.

Признаюсь вам, друзья мои, что в этот миг я почувствовал вдруг такую дрожь, какой не испытывал ни на одной дуэли, а дрался я несчетное количество раз. Со шпагой или с пистолетом в руке я чувствую себя как рыба в воде, а тут я только понимал, что должен драться

с этим толстяком и сделать все, что в моих силах, чтобы его одолеть, несмотря на здоровенные подушки у меня на руках. Да еще с самого начала меня лишили лучшего оружия, которое оставалось.

— Помните, Жерар, ногам бить нельзя,— сказал лорд Рафтон мне на ухо. На мне была только пара тонких вечерних туфель, и все же при тучности противника несколько удачных пинков могли бы обеспечить мне победу. Но тут существует определенный этикет, так же как и в дуэли на саблях, и я воздержался от пинков. Я посмотрел на этого англичанина и подумал, как лучше его атаковать. У него были большие оттопыренные уши. Я мог бы ухватиться за них и повалить его на землю. Я бросился на него, но меня подвел толстый перчатки, и его уши дважды выскользнули из моих рук. Он ударил меня, но что мне его удары — я снова схватил его за ухо. Он упал, а я навалился сверху и стукнул его головой об пол. Как они подбадривали меня и хохотали, эти храбрые англичане, как хлопали меня по спине!

— Ставлю на француза один к одному!— воскликнул лорд Сэдлер.

— Но он дерется нечестно!— крикнул мой противник, потирая покрасневшее ухо.— Бросился на меня, как зверь, и повалил на пол.

— Ну, вы сами напросились,— холодно сказал лорд Рафтон.

— Второй раунд!— объявил лорд Сэдлер, и мы снова заняли боевые позиции.

Мой противник побагровел, его маленькие глазки сверкали злобой, как у бульдога. На лице была написана ненависть. Я, со своей стороны, держался непринужденно и добродушно. Благородный француз в драке не испытывает ненависти. Я встал перед ним и поклонился, как делал на дуэли. Поклоном можно выразить любезность и учтивость, равно как и вызов; я же вложил в него все эти три оттенка, да еще слегка насмешливо пожал плечами. В этот миг он нанес мне удар. Все вокруг закружилось. Я упал навзничь. Но в мгновенное ока я был уже на ногах и перешел в ближний бой. Я хватал его то за уши, то за волосы, то за нос. И снова радостное безумие боя загло мою кровь. С уст моих сорвался старый победный клич.

— *Vive l'Empereur!* — закричал я и ударил его головой в живот. Он обхватил меня за шею и, удерживая одной рукой, другой начал осыпать ударами. Я вцепился ему в руку зубами, и он взвыл от боли.

— Разведите нас, Рафтон! — взвизгнул он. — Разведите, слышите! Он кусается!

Меня оттащили. Никогда не забуду этот день — смех, приветствия, поздравления! Даже мой противник не застал на меня злобы и пожал мне руку. Я же, со своей стороны, расцеловал его в обе щеки. Через пять лет после этого лорд Рафтон сказал мне, что доблесть, проявленная мною в тот вечер, все еще живет в памяти моих английских друзей.

Однако сегодня я хочу рассказать вам не о своих спортивных победах, а о леди Джейн Дэкр и о странном приключении, которому она послужила причиной. Леди Джейн Дэкр была сестрой лорда Рафтона и хозяйкой в его доме. Боюсь, что до моего появления она чувствовала себя одинокой, ведь это была красивая и утонченная женщина, у которой не могло быть ничего общего с окружающими ее людьми. Право же, это относится ко многим английским дамам того времени, поскольку мужчины там все были грубые, неотесанные, низменные, с мужицкими замашками, лишённые каких-либо достоинств, а женщины — самые милые и нежные, каких я только знал. Мы с леди Джейн стали большими друзьями, и я, поскольку мне не под силу выпить после обеда три бутылки портвейна, как этим девоиширским джентльменам, искал приюта в ее гостиной, где она каждый вечер играла на клавинодах, а я пел ей французские песни. В эти безмятежные минуты я забывал о своих горестях и тоске, которая меня охватывала, когда я вспоминал, что мой полк остался без любимого командира и вождя перед лицом врага. Право, я готов был рвать на себе волосы, когда читал в английских газетах о славных сражениях в Португалии и на границах Испании, ведь я бы участвовал в них, не попади я в плен к милорду Веллингтону.

Из того, что я рассказал о леди Джейн, вам, друзья мои, конечно, уже ясно, какой оборот приняло дело. Этьен Жерар очутился в обществе молодой и красивой женщины. Чем это может кончиться для него? И для

нее? Не мне, гостю, да еще пленному, заводить шашки с сестрой хозяина. Я был сдержан. Я был скромен. Старался обуздать свои чувства. Правда, боюсь, что я все-таки выдал себя с головой, ведь когда язык молчит, глаза становятся особенно красноречивыми. Я перелистывал ноты, когда она играла, и дрожание пальцев обнаруживало мои чувства. Но она... она была восхитительна. В таких делах женщина способна на непостижимое притворство. Если б я не разгадал ее, мне нередко казалось бы, что она просто-напросто забывала о моем присутствии. Она часами сидела, погруженная в задумчивость, а я любовался ее бледным лицом и красивыми локонами, освещенными лампой, и трепетал от восторга при мысли, что так сильно затронул ее чувства. Наконец я нарушал молчание, она вздрагивала в своем кресле и смотрела на меня с восхитительным притворством, будто удивленная, что я здесь. Ах! Как хотелось мне броситься к ее ногам, поцеловать ее белую ручку, сказать ей, что я разгадал ее тайну и не обману ее доверия! Но нет, я не был ей равным, я жил в ее доме как отверженный, как враг. Мои уста были замкнуты. Я попытался подражать ей в ее поразительном притворном равнодушии, но, как вы можете себе представить, с нетерпением ждал малейшего повода быть ей полезным.

Однажды утром леди Джейн села в карету и уехала в Оукхемптон, а я пошел пешком по дороге, надеясь встретить ее, когда она будет возвращаться. Зима была в самом начале, и увядшие папоротники клонились к извилистой дороге. Унылое место этот Дартмур — глушь да скалы, край ветров и туманов. Я шел и размышлял, что не мудрено, если англичане страдают сплином. У меня у самого было тяжело на сердце, и я присел на пригорок у дороги, глядя на унылые окрестности, а душа моя была беспокойна и полна дуриных предчувствий. Но вдруг, взглянув на дорогу, я увидел такое, что все прочие мысли разом вылетели у меня из головы, и я вскочил на ноги с криком удивления и гнева.

Из-за поворота дороги показалась карета, и лошадка, которой она была запряжена, скакала во всю прыть. В карете сидела та, которую я вышел встречать. Она нахлестывала лошадь, словно спасалась от какой-то страшной опасности, то и дело оглядываясь. Ее пресле-

дователь был скрыт за поворотом дороги, и я бросился вперед, не зная, что меня ждет. В тот же миг я увидел этого преследователя, и удивление мое возросло еще больше. Это был джентльмен в красной охотничьей куртке, верхом на большой серой лошади. Он летел, как на скачках, и благодаря размашистому шагу своего прекрасного коня вскоре настиг карету. Я видел, как он наклонился, схватил вожжи и остановил лошадь. И тут же у них начался какой-то серьезный разговор, он что-то горячо говорил, склонившись с седла, а она жалась в угол, прячась от него, видимо, со страхом и отвращением.

Вы сами понимаете, друзья мои, что я не мог смотреть на это спокойно. Каким восторгом преисполнилось мое сердце, когда я подумал: вот прекрасный случай быть полезным леди Джейн! И я побежал — бог мой, как я бежал! Наконец, задышавшись, не в силах вымолвить ни слова, я добежал до кареты. Этот человек, голубоглазый, как все англичане, скользнул по мне взглядом, но он был так поглощен разговором, что не обратил на меня никакого внимания, и леди тоже не сказала ни слова. Она все еще сидела, забившись в угол, и ее прекрасное бледное лицо было обращено к нему. Он был недурен собой — высокий, ладный, смуглолицый; когда я взглянул на него, то почувствовал укол ревности. Он говорил тихо и быстро, как все англичане, когда ведут серьезный разговор.

— Слышите, Джинни, я люблю вас, только вас одну, — сказал он. — Не будьте злопамятны, Джинни. Что было, то было, забудем прошлое. Ну, скажите же, что все забыто.

— Нет, Джордж, никогда, слышите, никогда! — воскликнула она.

Его красное лицо побагровело. Он едва сдерживал ярость.

— Почему вы не хотите простить меня, Джинни?

— Я не в силах забыть случившееся.

— А, черт, вы должны выбросить это из головы! Довольно я умоляла вас. Настало время требовать. У меня есть на вас права, понятно?

Он грубо схватил ее за руку.

Я тем временем перевел наконец дух.

— Мадам,— сказал я, приподнимая шляпу,— простите за вмешательство, но не могу ли я быть чем-нибудь вам полезен?

Однако оба они обратили на меня не больше внимания, чем на муху, которой вздумалось бы жужжать около них. Они не сводили глаз друг с друга.

— Слышите, у меня есть права! И я достаточно долго ждал.

— Напрасно вы хотите меня запугать, Джордж.

— Так вы согласны?

— Никогда в жизни!

— Это ваше последнее слово?

— Да, последнее.

С уст его сорвалось проклятие, и он бросил ее руку.

— Ну ладно, миледи, я приму меры.

— Простите, сэръ!— сказал я с достоинством.

— Ах, да подите вы к черту!— воскликнул он, поворачивая ко мне искаженное злобой лицо. С этими словами он дал шпоры коню и поскакал назад.

Леди Джейн провожала его взглядом, пока он не скрылся из виду, и я с удивлением заметил, что она вовсе не хмурится, а улыбается. Потом она повернулась ко мне и протянула руку.

— Благодарю вас, полковник Жерар. Я знаю, вы сделали это из благородных побуждений.

— Мадам,— сказал я,— если вы соблаговолите сообщить мне имя этого джентльмена, ручаюсь, что он никогда более не посмеет вам докучать.

— Нет, нет, заклинаю вас, не поднимайте скандала!— воскликнула она.

— Мадам, посмею ли я забыть до такой степени! Будьте уверены, что в этой истории имя леди мною упомянуто не будет. Послав меня к черту, этот джентльмен избавил меня от щекотливой необходимости искать повода для ссоры.

— Полковник Жерар,— сказала леди Джейн серьезно,— вы должны мне обещать как благородный человек и офицер, что с этим делом покончено и что вы не скажете моему брату о том, что видели. Обещаете?

— Как вам будет угодно.

— Ловлю вас на слове. А теперь садитесь и поедem домой, по дороге я вам все объясню.

Первая же ее фраза произвела меня, как клинок.

— Этот человек — мой муж, — сказала она.

— Ваш муж!

— Разве вы не знали, что я замужем?

Казалось, мое волнение удивило ее.

— Не знал.

— Это лорд Джордж Дэкр. Мы поженились два года назад. Не к чему рассказывать, как он меня обидел. Я ушла от него, и брат приютил меня. До сегодняшнего дня этот человек оставлял меня в покое. Больше всего я опасаясь дуэли между моим мужем и братом. Страшно даже подумать об этом. Вот почему лорд Рафтон не должен ничего знать о нашей сегодняшней случайной встрече.

— Если мой пистолет может избавить вас от затруднения...

— Нет, нет, об этом даже не думайте. Вспомните свое обещание, полковник Жерар. И ни слова в Хай-Коме о том, что вы слышали!

Ее муж! В своем воображении я видел ее молодой вдовой. И вот смуглолицый негодяй с его «подите к черту» оказался мужем этой нежной голубки. Ах, если б только она позволила мне освободить ее от ненавистной обузы! Нет более быстрого и надежного способа развестись, чем тот, который я мог ей предложить. Но слово есть слово, и я сдержал его. Я никому ничего не сказал.

Через неделю меня должны были отправить из Плимута в Сеи-Мало, и я думал, что никогда не узнаю продолжения этой истории. Но судьбе угодно было, чтобы она имела продолжение, и я сыграл в ней весьма приятную и почетную роль.

Всего через три дня после того случая, о котором я рассказал, лорд Рафтон вдруг ворвался ко мне в комнату. Он был бледен и, как видно, чем-то крайне взволнован.

— Жерар! — воскликнул он. — Вы видели леди Джейн Дэкр?

Я видел ее после завтрака, а теперь было уже за полдень.

— Клянусь богом, совершенно злодеяние!— воскликнул мой бедный друг, бегая по комнате, как безумный.— Приезжал бейлиф и сказал, что люди видели, как карета, запряженная парой, мчалась что есть духу по Тавистокской дороге. Когда она проезжала мимо кузницы, кузнец услышал женский крик. Джейн исчезла. Провалиться мне на месте, если ее не похитил этот негодяй Дэкр.— Он резко позвонил.— Немедленно оседлать двух лошадей!— крикнул он.— Полковник Жерар, где ваши пистолеты? Сегодня же я привезу Джейн назад из Грэйвел-Хэнгера, или же в Хай-Коме появится новый хозяин.

И вот через полчаса мы, как странствующие рыцари в старину, скакали на выручку леди, попавшей в беду. Лорд Дэкр жил близ Тавистока, и в каждом доме, на каждой дорожной заставе мы слышали о почтовой карете, мчавшейся впереди, так что не приходилось сомневаться, куда они держат путь. Дорогою лорд Рафтон рассказал мне о человеке, которого мы преследовали. Его имя было притчей во языцех по всей Англии, он стал символом всяких безобразий. Вино, женщины, кости, карты, скачки — всеми этими скандальными делами он стяжал себе дурную славу. Этот человек был из древнего и знатного рода, и, когда он женился на красавице леди Джейн Рафтон, все надеялись, что он уймется. В самом деле, несколько месяцев он вел себя хорошо, а потом затеял какую-то грязную интрижку. Оскорбленная в своих лучших чувствах, Джейн бежала из дому и нашла приют у брата, из-под чьего крова ее теперь похитили силой, против воли. Судите же сами, может ли быть цель более благородная, чем та, которая свела нас с лордом Рафтоном в тот день.

— Вон Грэйвел-Хэнгер! — воскликнул он наконец, указывая хлыстом вперед; там, на зеленом склоне холма, стоял старинный дом из кирпича и дерева, такой очаровательный, какой встретишь только в английской глуши.— У ворот парка есть постоянный двор, там мы оставим лошадей,— добавил он.

Но я считал, что раз наше дело правое, нам всего лучше смело подскочить к дверям и потребовать, чтобы он отпустил леди. Однако тут я ошибался. Ибо англи-

чанин боится только одного — закона. Он сам его устанавливает, но стоит закону войти в силу, и он становится тираном, перед которым пасуют самые отчаянные храбрецы. Англичанин с улыбкой преступит порог смерти, но поблдеет от страха, если придется преступить закон. Пока мы шли через парк, лорд Рафтон кое-что объяснил мне, и из его слов выходило, что в этой истории закон не на нашей стороне. Лорд Дэкр имел право увезти жену, так как она принадлежит ему, мы же ничем не отличались от грабителей, посягающих на чужую собственность. А грабителям нельзя открыто подходить к парадной двери. Мы могли забрать леди Джейн силой или хитростью, но не могли сделать это по праву, так как закон был против нас. Вот что объяснил мне мой друг, когда мы притаились в кустах под окнами. Из кустов мы могли наблюдать за этой крепостью и решить, удастся ли нам занять здесь прочные позиции и, главное, как снестись с прекрасной пленницей.

И вот мы с лордом Рафтоном засели в кустах, сжимая пистолеты в карманах охотничьих курток, и наши сердца были исполнены решимости не возвращаться домой без леди Джейн. Мы нетерпеливо вглядывались в длинный ряд окон. Никаких признаков присутствия пленницы заметно не было; но на усыпанной гравием дорожке перед дверью остались глубокие следы колес. Без сомнения, они уже приехали. Затаившись в кустах, мы шепотом держали военный совет, который вдруг был прерван самым необычным образом.

Из дома вышел высокий, белокурый человек, и идти и взять правофланговый гренадерской роты. Когда он повернул к нам смуглое, голубоглазое лицо, я узнал лорда Дэкра. Широким шагом он прошел по дорожке прямо к тому месту, где мы притаились.

— Выходите, Нед! — крикнул он. — Не то лесник, чего доброго, всадит в вас порцию свинца. Выходите, приятель, нечего сидеть в кустах.

Нельзя сказать, чтобы вид у нас был очень героический. Мой бедный друг встал, весь красный от смущения. Я тоже вскочил на ноги и поклоннулся как можно учтивее.

— А! И этот француз тоже здесь?— сказал он, не отвечая на мой поклон.— Мы уже с ним столкнулись недавно. Что же касается вас, Нед, я знал, что вы примчитесь по горячим следам, и сам искал вас. Я видел, как вы прошли через парк и засели в кустах. Входите в дом, приятель, и сыграем в открытую.

Ну что ж, он был хозяином положения, этот рослый красавец, который непринужденно стоял у дверей дома, пока мы выбирался из своего убежища. Лорд Рафтон не сказал ни слова, но по его потемневшему лицу и мрачному взгляду я видел, что вот-вот грянет буря. Лорд Дэкр первый вошел в дом, мы последовали за ним. Он сам ввел нас в гостиную, отделанную дубовыми панелями, и плотно затворил дверь. Потом окнул меня наглым взглядом.

— Послушайте, Нед,— сказал он,— до сих пор англичане сами улаживали свои семейные дела. Какое отношение имеет этот чужеземец к вашей сестре и моей жене?

— Сэр,— сказал я,— да будет мне позволено заметить, что речь здесь идет не только о жене или сестре,— я друг леди Джейн и имею неотъемлемое право, как всякий благородный человек, защищать женщину от жестокого обращения. Слова бессильны выразить то, что я о вас думаю, поэтому вот, извольте!

В руке у меня была перчатка, и я хлестнул его по лицу. Он отшатнулся со злобщей усмешкой, взгляд его был тверд, как камень.

— Значит, Нед, вы привезли с собой наемника,— сказал он.— Могли бы по крайней мере сами драться, если уж без драки не обойтись.

— Я буду драться,— сказал лорд Рафтон.— И немедленно, не сходя с места.

— Ну нет, сперва я уложу этого французского нахала,— сказал лорд Дэкр. Он подошел к столику, стоявшему у стены, и открыл ящик с медной отделкой.— Клянусь,— сказал он,— один из нас выйдет отсюда ногами вперед. Я не хотел ссориться с вами, Нед, разрази меня гром, но я пристрелю вашего прихвостия, это так же верно, как то, что я Джордж Дэкр. Сэр, выбирайте себе пистолет, стреляться будем через стол. Оба заряжены. Цельтесь хорошенько и постарайтесь меня убить,

потому что, если вы промахнетесь, клянусь, ваша песенка спета.

Напрасно лорд Рафтон пытался обратить его ярость на себя. Я твердо помнил два обстоятельства: первое, что леди Джейн больше всего на свете боялась дуэли между своим мужем и братом, и второе, что, если мне удастся убить этого рослого мнлорда, все устроится как нельзя лучше раз и навсегда. Лорд Рафтон хочет от него избавиться. И леди Джейн тоже. Поэтому я, Этьен Жерар, их друг, уплачу им долг благодарности, освободив их от этой обузы. Да много выбора у меня и не было, так как лорд Дэкр жаждал всадить в меня пулю, и я, со своей стороны, желал оказать ему ту же услугу. Напрасно лорд Рафтон спорил и ругался. Остановить дальнейший ход событий не было возможности.

— Ну, если уж вы непременно хотите драться не со мной, а с моим гостем, пускай дуэль состоится завтра утром, в присутствии двух свидетелей!— воскликнул он наконец.— А стреляться через стол— ведь это же просто убийство.

— Меня это вполне устраивает, Нед,— сказал лорд Дэкр.

— И меня!— подхватил я.

— Тогда я умываю руки!— воскликнул лорд Рафтон.— Говорю вам, Джордж, если вы убьете полковника Жерара при таких обстоятельствах, то окажетесь на скамье подсудимых. Я отказываюсь быть секундантом.

— Сэр,— сказал я,— что до меня, я вполне готов обойтись без секунданта.

— Но это невозможно! Это не по правилам!— вскричал лорд Дэкр.— Послушайте, Нед, не валяйте дурака. Вы же видите, мы не шутим. Черт подери, да единственное, что от вас требуется,— это бросить платок.

— Я в этом деле не участвую.

— Ну, раз так, придется мне найти кого-нибудь другого,— сказал лорд Дэкр. Он положил пистолеты на стол, прикрыл их скатертью и позвонил. Вошел лакей.

— Попросите полковника Беркли зайти сюда. Он в бильярдной.

Через минуту вошел высокий, худой англичанин с длинными усами, что редко встретишь в этой стране среди гладко выбритых лиц. Позже я узнал, что усы

носили только гвардейцы и гусары. Этот полковник Беркли был гвардеец. Он был странный, вялый, ленивый, медлительный, и из его огромных усов, как шест из кустарника, торчала длинная черная сигара. Он с чисто английской флегматичностью оглядел нас и не выказал ни малейшего удивления, узнав о наших намерениях.

— Отлично,— сказал он.— Отлично.

— Я отказываюсь участвовать в этом, полковник Беркли!— воскликнул лорд Рафтон.— Имейте в виду, эта дуэль не может состояться без вашего согласия, и я возлагаю лично на вас ответственность за все, что произойдет.

Полковник Беркли, очевидно, был знатоком дуэлей, потому что он вынул сигару изо рта и скрипучим голосом стал разъяснять, что к чему.

— Обстоятельства несколько необычны, однако не противоречат правилам, лорд Рафтон,— сказал он.— Один джентльмен нанес удар, другой джентльмен его получил. Все совершенно ясно. Время и условия зависят от человека, который требует удовлетворения. Превосходно. Этот человек желает стреляться немедленно, не сходя с места, через стол. Это — его право. Ответственность я готов взять на себя.

Разговаривать больше было не о чем. Лорд Рафтон сидел в углу мрачнее тучи, нахмурив брови и глубоко засунув руки в карманы брюк. Полковник Беркли осмотрел оба пистолета и положил их на середину стола. Лорд Дэкр стал по одну его сторону, а я по другую — нас разделяло теперь восемь футов полнированного черного дерева. Рослый полковник встал на коврик спиной к камину, держа платок в левой руке, а сигару зажав между двумя пальцами правой.

— Когда я брошу платок, вы берете пистолеты и стреляете без команды. Готовы?

— Да!— воскликнули мы.

Он разжал руку, и платок упал. Я быстро наклонился вперед и схватил пистолет, но стол, как я уже говорил, был длинней в восемь футов, и длиннорукому милорду было легче дотянуться до оружия. Я не успел выпрямиться, как он уже выстрелил,— это меня и спасло. Если б я стоял прямо, он вышиб бы мне мозги. А так

пуля только задела мои волосы. Я тоже вскинул пистолет, но в этот миг дверь распахнулась, и чьи-то руки обхватили меня. В лицо мне заглянуло прекрасное, раскрасневшееся, взволнованное лицо леди Джейн.

— Не стреляйте! Полковник Жерар, ради меня, не стреляйте!— воскликнула она.— Это ошибка, уверяю вас, ошибка! Он самый лучший, самый любящий из мужей. Я никогда больше его не покину!

Ее руки скользнули по моей руке и закрыли дуло пистолета.

— Джейн, Джейн!— воскликнул лорд Рафтон.— Пойдем! Тебе здесь не место. Я уведу тебя.

— Все это чертовски не по правилам,— сказал лорд Беркл.

— Полковник Жерар, ведь вы не выстрелите, правда? Если вы его убьете, я этого не перенесу.

— Черт подери, Джинни, дай этому малому честно получить свое!— воскликнул лорд Дэкр.— Он выдержал мой выстрел, как настоящий мужчина, и я не допущу, чтобы ему помешали. Будь что будет, я сам во всем виноват.

Но мы с леди Джейн уже успели переглянуться, и она все поняла. Она выпустила мою руку.

— Я отдаю в руки полковника Жерара жизнь моего мужа и мое счастье,— сказала она.

Ах, как эта восхитительная женщина меня понимала! Секунду я раздумывал с пистолетом в руке. Мой противник храбро стоял передо мной, и его загорелое лицо ничуть не побледнело, а дерзкие голубые глаза ни разу даже не моргнули.

— Что же вы медлите, сэр, стреляйте!— воскликнул полковник, стоявший у камня.

— Пора кончать,— сказал лорд Дэкр.

Должен же я был по крайней мере показать им, что его жизнь в моих руках. Этого требовала моя гордость. Я посмотрел глазами какую-нибудь мишень. Полковник смотрел на моего противника, ожидая, что вот сейчас он упадет. Я видел его лицо сбоку — длинная сигара торчала из рта, и на ее конце было с дюйм пепла. С быстротой молнии я вскинул пистолет и выстрелил.

— С вашего позволения, я стряхнул пепел с вашей сигары, сэр,— сказал я и поклонился с изяществом, недоступным этим островитянам.

Я убежден, что всему виной пистолет, потому что глаз у меня верный. Я не поверил своим глазам, когда увидел, что отстрелил сигару у самых его губ. Он стоял, уставившись на меня, и из его опаленных усов торчал искромсанный обломок сигары. Как сейчас вижу его глупые, злые глаза и длинное, худое, растерянное лицо. А потом он открыл рот. Я всегда говорил, что англичане вовсе не флегматичный и молчаливый народ, надо только их расшевелить. В жизни не слышал, чтобы кто-нибудь говорил так оживленно, как этот полковник. Леди Джейн зажала уши.

— Послушайте, полковник Беркли,— сказал лорд Дэкр сурово,— вы забываетесь. Здесь дама.

Полковник неловко поклонился.

— Если леди Дэкр будет настолько любезна выйти из комнаты,— сказал он,— я выскажу этому мерзкому французу все, что я думаю о нем и о его дурацких выходках.

Я с великолепным бесстрашием пропустил его слова мимо ушей и обратил внимание только на вызывающий тон.

— Сэр,— сказал я,— я готов принести вам извинения за эту неприятную случайность. Мне было ясно, что, если я не разряжу свой пистолет, это нанесет ущерб чести лорда Дэкра, но в то же время после всего, что сказала эта леди, мне было решительно невозможно целиться в ее мужа. Поэтому я искал мишень и, к величайшему несчастью, выбил у вас изо рта сигару, хотя намеревался просто стряхнуть пепел. Меня подвел пистолет. А теперь, сэр, когда я объяснился и принес свои извинения, если вы все-таки желаете удовлетворения, мне незачем говорить, что в этом я никак не могу вам отказать.

Я держался безупречно и всех их покорила этим. Лорд Дэкр подошел и стиснул мне руку.

— Черт возьми, сэр,— сказал он,— никогда бы не думал, что могу испытывать такие теплые чувства к французу. Вы настоящий мужчина и благородный человек, больше мне нечего к этому добавить.

Лорд Рафтон ничего не сказал, но его рукопожатие было красноречивей слов. Даже полковник Беркли преподнес мне комплимент и заявил, что готов забыть об этой несчастной сигаре. А она... ах, если б вы только видели, каким взглядом она меня подарила, как вспыхнули ее щеки, увлажнились глаза, задрожали губы! Когда я вспоминаю мою красавицу леди Джейн, она представляется мне именно такой, какой была в тот миг. Они настойчиво приглашали меня отобедать, но, сами понимаете, друзья мои, нестати было бы ни лорду Рафтону, ни мне оставаться в Грэйвел-Хэнгере. Примирившаяся чета жаждала уединения. В карете лорд Дэкр убедил ее в своем искреннем раскаянии, и они снова стали любящими мужем и женой. А дабы они такими не остались, мне лучше всего было удалиться. Зачем разрушать семейный мир? Против моей воли мое присутствие и вид могли подействовать на леди Джейн. Нет, нет, прочь из этого дома, даже она не могла убедить меня остаться. Много лет спустя я узнал, что чета Дэкров — одна из самых счастливых в Англии и что жизнь их больше не омрачило ни одно облачко. И все же осмелюсь сказать, что, если б он мог прочесть мысли своей жены... но нет, ни слова больше! Тайна женского сердца священна, и боюсь, что леди Джейн вместе со своей тайной давно уж погребена на каком-нибудь Девонширском кладбище. Быть может, нет уж на свете и тех веселых людей, которые ее окружали, и леди Джейн живет лишь в памяти старого французского бригадира в отставке. Зато он никогда ее не забудет.

VI

КАК БРИГАДИР ПОБЫВАЛ В МИНСКЕ

Сегодня, друзья мои, мне хочется глотнуть чего-нибудь покрепче, и я, пожалуй, выпью бургундского вместо бордо. А все потому, что мое сердце, сердце старого солдата, не на месте. Просто днву даешься, как незаметно подкрадывается старость. Не думаешь, не гадаешь; душа все так же молода, и не чувствуешь, как раз-

рушается и дряхлеет тело. Но наступает день, когда понимаешь это, когда вдруг, как блеск разящего клинка, осеняет прозрение, и видишь, каким ты был и каким стал. Да, да, сегодня со мной это случилось, и я выпью бургундского. Белого бургундского — монтраше. Мсье, я ваш должник.

Все это произошло сегодня утром на Марсовом поле. Простите, друзья, старика за то, что он изливает вам свои горести. Ведь вы были на смотре. Правда, великолепно? Я был на местах, отведенных для ветеранов, кавалеров почетных орденов. Ленточка у меня на груди служила мне пропуском. А крест я храню дома в кожаном кошельке. Нам оказали честь, отвели места там, где войска проходят церемониальным маршем, а справа от нас был император и кареты придворных.

Я бог весть сколько лет не ходил на смотры, потому что многого не одобряю. Не одобряю красивые рейтузы пехотинцев. Раньше пехота сражалась в белых рейтузах. А красные должна носить кавалерия. Того и гляди, они присвоят еще наши кивера и шпоры! Если б я показался на смотре, все решили бы, что я, Этьен Жерар, примирился с этим. Вот я и сидел дома. Но сейчас идет Крымская война, а это меняет дело. Люди отправляются в бой. И не мне сидеть дома, когда собираются храбрые.

Честное слово, они недурно маршировали, эти пехотинцы! Хоть рост и не тот, но крепкие ребята и выправка отличная. Когда они проходили мимо меня, я обнажил голову. А потом двинулась артиллерия. Добрые пушки, лошади, и люди тоже не плохи. Я обнажил голову. Дальше пошли саперы, и перед ними я тоже снял шляпу. Нет на свете людей храбрее саперов. А там — кавалерия: уланы, кирасиры, егеря, спаги¹. Я снимал шляпу перед всеми, кроме спаги. У императора их не было. Но, как вы думаете, кто ехал в самом конце? Гусарская бригада в боевом строю! Ах, друзья мои, какая краса, гордость, слава, великолепие, блеск, грохот подков и звяканье уздечек, развевающиеся гривы, благородные лица, облако пыли и колыхание

¹ Спаги — кавалеристы из французской колониальной Африки.

стальных сабель! Сердце мое стучало, как барабан, когда они проезжали мимо меня. А самым последним проскакал мой собственный полк. Я увидел серебристо-черные доломаны, чепраки из леопардовых шкур и словно сбросил с себя бремя лет, увидел своих удалцов, которые мчались за своим молодым полковником на добрых конях во всем блеске молодости и силы сорок лет назад. Я поднял трость. «Chargez! En avant! Vive l'Empereur!»¹. Это прошлое взывало к настоящему. Но, боже, какой у меня был тонок, писклявый голос! Неужели это его слышала вся наша непобедимая бригада? А рука едва могла поднять трость. Неужели это те стальные, несокрушимые мускулы, которым не было равных в могучей армии Наполеона? Мне улыбались. Меня приветствовали. Император засмеялся и кивнул. Но я видел все вокруг, как в туманном сне, а явью были мои восемьсот павших гусар и прежний Этьен, которого давным-давно уже нет. Но довольно — храбрец должен встретить старость так же, как встречал казаков и улан. И все же иногда монтраше лучше, чем бордо.

Эти войска отправляются в Россию, и я расскажу вам о России. Сейчас это кажется мне страшным сном! Кровь и лед. Лед и кровь. Озверелые лица и заledenевшие бакенбарды. Посиневшие руки, протянутые в мольбе о помощи. И через всю бесконечную равнину протянулась непрерывная вереница людей; они брели, брели — одну сотню миль за другой, а впереди была все та же белая равнина. Иногда ее однообразие нарушали еловые леса, иногда она расстилалась до самого голубого холодного горизонта, а черная вереница все тянулась вперед. Эти измученные, оборванные, умирающие от голода люди, промерзшие до самого нутра, не смотрели по сторонам, — понурившись и сгорбившись, они уползали туда, во Францию, как зверь в свою берлогу. Они не разговаривали, и снег заглушал их шаги. Только один раз я услышал смех. Это было под Вильно. К командиру нашей ужасной колонны подъехал адъютант и спросил, это ли Великая армия. Все, кто был поблизости и слышал его слова, огляделись и, увидев этих павших духом людей, эти разбитые полки, эти закутанные в мех

¹ В атаку! Вперед! Да здравствует император! (франц.)



«Приключения бригадира Жерара»



«Приключения бригадира Жерара»

скелеты, которые когда-то были гвардейцами, засмеялись, и смех затрещал по колонне, как фейерверк. Я много слышал в своей жизни стонов и криков, но куда ужасней был этот смех Великой армии.

Как же в таком случае русские не перебили этих беспомощных людей? Почему казаки не подняли их на пикн или не сбили в стадо и не угнали в глубь России? Вокруг черной, извивавшейся по снегу, как змея, колонны со всех сторон мелькали смутные тени, они то появлялись, то исчезали с обонх флангов и в хвосте. Это были казаки, они рыскали вокруг нас, как волки вокруг овечьего стада. А не нападали они только потому, что весь лед России не мог остудить сердца некоторых храбрецов. До самого конца они готовы были в любую минуту встать между этими дикарями и их добычей. И когда нависла опасность, один из них в особенности показал, как он велик, и прославился в дни бедствий гораздо больше, чем тогда, когда вел наш авангард к победе. Я поднимаю бокал за него, за Нея, этого рыжегривого льва, который, сверкая глазами, оглядывался через плечо на врага, а тот боялся подступить к нему слишком близко. Я вижу его так, словно это было вчера, — широкое бледное лицо искажено яростью, светлые голубые глаза мечут искры, могучий голос гремит среди ружейных выстрелов. Его потрепанная треуголка без пера была знаменем, вокруг которого в эти ужасные дни сплотилась вся Франция.

Всем известно, что ни я, ни Конфланский гусарский полк не были в Москве. Мы оставались в тылу, охраняя коммуникации в Бородине. Ума не приложу, как мог император наступать без нас. Когда он этим решением ослабил армию, я понял, что он уж не тот, что прежде. Однако солдат должен повиноваться приказу, и я остался в этой деревне, отравленной смрадом тридцати тысяч трупов людей, павших в великой битве. Весь остаток осени я занимался тем, что подкармливал лошадей своего полка и кое-как экипировал людей, так что, когда армия снова отступила к Бородину, мои гусары были лучшими в кавалерийских частях и получили приказ двигаться под начальством Нея в аррьергарде. Что делал бы он без нас в эти ужасные дни? «Ах, Жерар!» — сказал он как-то вечером, но не мне повто-

рять его слова. Достаточно того, что он выразил мысли всей армии. Арьергард прикрывал армию, а конфланские гусары прикрывали арьергард. В этих словах была святая правда. Казаки ни на минуту не оставляли нас в покое. Нам то и дело приходилось их сдерживать. Не было дня, чтобы мы не обтирали кровь со своих клинков. Да, нам пришлось-таки послужить императору.

Но между Вильно и Смоленском положение стало отчаянным. С казаками мы, хоть и промерзшие до костей, кое-как справлялись, но бороться с голодом оказалось нам не под силу. Надо было добыть провиант любой ценой. В тот вечер Ней вызвал меня в свой фургон. Он сидел, уронив свою большую голову на руки.

— Полковник Жерар,— сказал он,— наши дела отчаянно плохи. Люди умирают с голоду. Необходимо любой ценой их накормить.

— Лошади,— предложил я.

— Кроме тех, что остались у горстки ваших кавалеристов, больше ни одной нет.

— Музыканты,— сказал я.

Несмотря на все свое отчаяние, он рассмеялся.

— Почему же именно музыканты?

— Всех, кто может сражаться, надо беречь.

— Так,— сказал он.— Вижу, вы не выйдете из игры до последнего, и я тоже. Молодец, Жерар!— Он стиснул мне руку.— Но у нас еще остается одна надежда.— Он снял с крюка фонарь, который висел под крышей фургона, и поставил его около карты, развернутой перед ним.— Вот здесь, к югу от нас,— сказал он,— город Минск. Русский перебежчик сообщил, что в городской ратуше хранятся большие запасы зерна. Берите людей, сколько считаете нужным, отправляйтесь в Минск, захватите зерно, погрузите его на повозки, какие найдете в городе, и присоединитесь к нам на Смоленской дороге. Если вы потерпите неудачу, что ж, мы потеряем только один отряд. Зато в случае успеха это — спасение для всей армии.

Конечно, это было не совсем удачно сказано, ведь было ясно, что наша неудача не просто потеря отряда. Важно ведь не только количество, но и качество. И все же какое почетное задание, какой благородный риск! Если только это в человеческих силах, зерно из Минска

будет доставлено. Так я и сказал ему и добавил несколько горячих слов о долге храбреца, после чего маршал до того растрогался, что встал и, ласково обняв меня за плечи, вытолкнул из фургона.

Мне было ясно, что для успешного исполнения дела нужно взять небольшой отряд и рассчитывать более на внезапность, чем на численность. Большому отряду не пройти незамеченным, ему трудно добыть пропитание, и русские приложат все силы, чтобы его истребить. А небольшой кавалерийский отряд, если только ему удастся незаметно проскользнуть мимо казаков, вполне возможно, не встретит больше войск на своем пути, так как мы знали, что главные силы русских находятся в нескольких переходах от нас. Зерно в Мииске наверняка предназначалось для них. Эскадрон гусар да тридцать польских улан — вот все, кого я выбрал для этого рискованного дела. В ту же ночь мы выступили и двинулись на юг, к Мииску.

По счастью, до полинуния было еще далеко, и враг нас не заметил. Два раза мы видели яркие костры на снегу и вокруг них высокий густой частокол. Это были казачьи пики, воткнутые на ночь в снег. Как хотелось нам напасть на казаков врасплох и отомстить им за все; мои товарищи выжидающе поглядывали то на меня, то на красные мерцающие круги в темноте. Клянусь богом, я сам едва поборол искушение, ведь это послужило бы врагам отличным уроком и научило бы их держаться от французской армии на почтительном расстоянии. Но для хорошего командира важнее всего на свете не отвлекаться от главной цели, и мы тихо ехали по снегу, объезжая стороною казачьи биваки. Ночное небо позади нас все было охвачено заревом, там наши бедняги боролись за жизнь, чтобы встретить новый день, полный невзгод и голода.

Всю ночь мы медленно продвигались вперед, держась так, что полярная звезда светила нам в спину. В снегу было проторено множество троп, и мы ехали по ним, чтобы никто не обнаружил здесь следов кавалерийского отряда. По таким мелким предосторожностям всегда узнаешь опытного офицера. Кроме того, тропа скорее приведет в деревню, а только в деревнях можно было рассчитывать добыть еду. На рассвете мы

очутились в густом еловом лесу, снег лежал на ветках так плотно, что свет едва пробивался сквозь них. Когда мы наконец выбрались оттуда, уже совсем рассвело, край восходящего солнца поднялся над заснеженной равниной, и вся она, из края в край, стала красной. Я остановил своих гусар и улан на опушке и стал осматривать местность. Неподалеку стоял какой-то домик. В нескольких милях за ним была деревня. А вдали, на горизонте, виднелся большой город, над которым во множестве сверкали купола церквей. Видимо, это и был Минск. Следов войск я нигде не заметил. Ясно было, что мы миновали казачьи посты и ничто не преграждало нам путь к цели. Радостный крик вырвался у моих людей, когда я сказал им, где мы находимся, и мы быстро двинулись к деревне.

Однако, как я сказал, прямо перед нами был домик. Когда мы подъехали к нему, я увидел, что у двери привязан прекрасный серый конь под кавалерийским седлом. Я прищепил своего коня, но прежде чем успел доскакать до домика, из двери выбежал какой-то человек, прыгнул в седло и умчался во весь опор, оставляя за собой облако хрусткого, сухого снега. Солнце играло на его золотых эполетах, и я понял, что это русский офицер. Если его не настичь, он поднимет на ноги всю округу. Я дал Фналке шпоры и пустился в погоню. Мои люди последовали за мной; но ни одна из наших лошадей не могла сравниться с Фналкой, и я знал, что если не настигну русского сам, то на других надеяться нечего.

Только очень искусный всадник на быстром скакуне может надеяться уйти от Фналки с Этьеном Жераром в седле. Он неплохо скакал, этот молодой русский офицер, и сидел недурно, но постепенно мы его измотали. Он то и дело оглядывался через плечо — смуглый красавец с орлиными глазами, — и я, настигая его, понял, что он взглядом измеряет расстояние, разделяющее нас. Вдруг он обернулся — вспышка, треск выстрела, и пистолетная пуля просвистела у самого моего уха. Прежде чем он успел обнажить саблю, я настиг его, но он все еще вонзал шпоры в бока своего коня, и мы скакали бок о бок, и все-таки я успел ухватить его левой рукой за плечо. Вдруг я увидел, что он быстро поднес руку ко рту. Я ми-

гом перетянул его на свою луку и стиснул ему горло, чтобы он не мог ничего проглотить. Лошадь вырвалась из-под него, но я держал его крепко, а Фиалка остановилась. Сержант Удэн из гусарского полка первым подскакал к нам. Это был старый вояка, он сразу смекнул что к чему.

— Держите его крепче, полковник,— сказал он.— А остальное предоставьте мне.

Он вытащил нож, просунул лезвие между стиснутыми зубами русского и, повернув лезвие, заставил его открыть рот. На языке у него был мокрый клочок бумаги, который он старался проглотить. Удэн взял бумажку, а я отпустил горло русского. Он, полузадушенный, не сводил с нее глаз, и я сразу понял, что это донесение большой важности. Его руки сжимались, как будто он хотел вырвать у меня бумагу. Но когда я попросил прощения за грубость, он пожал плечами и беспечно улыбнулся.

— А теперь к делу,— сказал я, когда он прокашлялся и отплевался.— Ваше имя?

— Алексис Бараков.

— Чин и полк?

— Капитан гродненских драгун¹.

— Что это у вас за письмо?

— Это записка к моей возлюбленной.

— И зовут ее,— сказал я, разглядывая адрес,— гетман Платов². Ну нет, меня не обманете, это важный военный документ, вы везли письмо одного генерала другому. Живо говорите, что там написано.

— Прочтите сами.

Он, как большинство образованных русских, превосходно говорил на французском языке. Но ему было прекрасно известно, что и один французский офицер на тысячу едва ли знает хоть слово по-русски. Записка состояла всего из одной строчки и выглядела так:

«Пусть французы придут в Минск. Мы готовы».

Я посмотрел на записку и пожал плечами. Потом показал ее своим гусарам, но и они не могли взять в толк, что это может значить. Все поляки были простые, негра-

¹ В составе русской армии были гродненские гусары, а не драгуны.

² Атаман Платов.

мотные люди, кроме сержанта, но он был родом из Мемеля и не знал русского языка. С ума можно было сойти, ведь я понимал, что в руки мне попала важная тайна, от которой, может быть, зависит судьба всей армии, и ни слова не мог прочесть! Я опять попросил пленного перевести записку и обещал отпустить его за это на свободу. Но он только улыбнулся в ответ. Я невольно восхищался им, потому что сам точно так же улыбался, когда попадал в подобное положение.

— Тогда скажите нам по крайней мере, как называется эта деревня? — спросил я.

— Это Доброва.

— А вон там, вдали, вероятно, Минск?

— Да, это Минск.

— Что ж, поедем в деревню, там нам живо переведут эту депешу.

И мы тронулись. По обе стороны пленника ехали мои люди с карабинами на изготовку. Деревня оказалась малейкой, и я поставил часовых в каждом конце ее единственной улицы, чтобы никто не мог ускользнуть. Необходимо было остановиться и добыть еды для людей и корм лошадям, ведь они ехали всю ночь, и путь предстоял неблизкий.

Посреди деревни стоял большой каменный дом, к которому я и направился. В доме жил священник, злой и угрюмый старик, который не ответил вежливо ни на один наш вопрос. В жизни не видел более мерзкого человека, но, клянусь богом, его единственная дочь, которая вела у него хозяйство, ничуть на него не походила. Она была брюнетка, что редко увидишь в России, с белоснежной кожей, волосы черные, как вороново крыло, и самые чудесные темные глаза, какие только загорались при виде бравого гусара. Я с первого взгляда понял, что она передо мной не устоит. Конечно, при исполнении своего долга солдату не время заниматься амурами, но все же за скромным завтраком, который мне подали, я непринужденно болтал с дамой, и не прошло и часа, как мы стали самыми лучшими друзьями. Ее звали Софи, а фамилии я не знаю. Я научил ее называть меня Этьеном и постарался ободрить, потому что ее милое лицо было печально, а в прекрасных темных глазах стояли слезы. Я захотел узнать, что ее так печалит.

— Как же мне не печалиться,— сказала она по-французски, очаровательно шепелявя,— когда один из моих бедных соотечественников попал к вам в плен. Я видела, как он въехал в деревню под конвоем двух гусар.

— Таковы превратности войны,— сказал я.— Сегодня его черед, завтра, быть может, мой.

— Но подумайте, мсье...

— Этьен,— подсказал я.

— Ах, мсье...

— Этьен.

— Ну, хорошо! — воскликнула она с отчаянной решимостью и мило покраснела.— Подумайте только, Этьен, ведь этого молодого офицера отвезут к вам, и там он умрет с голоду или замерзнет, потому что, если этот поход, боюсь, нелегко для ваших солдат, то какова же будет участь пленного?

Я пожал плечами.

— У вас доброе лицо, Этьен,— сказала она.— Вы не можете обречь этого беднягу на верную смерть. Молю вас, отпустите его!

Ее нежная рука коснулась моего рукава, темные глаза умоляюще заглянули мне в лицо.

Вдруг у меня мелькнула счастливая мысль. Я исполнил просьбу, но взамен потребую от нее услуги. Я приказал привести пленного.

— Капитан Бараков,— сказал я,— эта молодая особа просит меня отпустить вас, и я готов уступить ее просьбе, но дайте мне слово не покидать этот дом ровно сутки и не пытаться сообщить кому-либо о наших действиях.

— Даю слово,— сказал он.

— Полагаюсь на вашу честь. Одним человеком больше или меньше — ничего не изменит в войне между такими огромными армиями, а привезти вас с собой как пленника значит обречь на смерть. Ступайте же и благодарите не меня, а первого Французского офицера, который попадет к вам в руки.

Когда он вышел, я достал из кармана бумагу.

— Ну вот, Софи,— сказал я,— я исполнил вашу просьбу, а теперь преподайте мне за это урок русского языка.

— С удовольствием,— сказала она.

— Начнем с этого, — сказал я и положил бумагу перед ней. — Переведем все слова подряд и посмотрим, что получится.

Она посмотрела на записку с удивлением.

— Здесь сказано, — объяснила она, — что если французы придут в Мииск, все погибло. — И вдруг ужас мелькнул на ее красивом лице. — Боже мой, — воскликнула она, — что я наделала! Я предала свою родину! Ах, Этиен, эти слова меньше всего предназначались для ваших глаз. Зачем вы прибегли к хитрости и заставили бедную, простодушную, наивную девушку изменить своей родине?

Я утешил как мог бедняжку Софи и заверил ее, что тут нет ничего зазорного, если ее перехитрил такой старый вояка и пронзительный человек, как я. Но мне было не до разговоров. Из записки стало ясно, что зерно действительно в Мииске, а защищать его некому, потому что войск там нет. Высунувшись из окна, я поспешил отдать приказ, трубач заиграл сбор, и через десять минут мы, оставив деревню позади, уже скакали к городу, золоченые купола церквей и колокола которого поблескивали над заснеженным горизонтом. Они поднимались все выше и выше, и вот, когда солнце уже начало клониться к западу, мы очутились на широкой главной улице и поскакали по ней под крики мужиков и визг испуганных женщин, пока не оказались перед ратушей. Я остановил своих кавалеристов на площади, а сам с двумя сержантами, Удэном и Папилетом, бросился внутрь.

Господи, никогда не забуду то, что я там увидел! Прямо перед нами, выстроившись в три ряда, стояли русские гренадеры. Когда мы вошли, они вскинули ружья, и прямо в лица нам грянул залп. Удэн и Папилет упали на пол, подкошенные пулями. С меня же пуля сбила кивер, и в доломане появились две дыры. Гренадеры бросились на меня со штыками.

— Измена! — закричал я. — Нас предали! По коням!

Я выбежал из ратуши, но вся площадь была запружена войсками. Со всех боковых улиц на нас скакали драгуны и казаки, а из домов открыли такую пальбу, что половина моих людей и лошадей рухнула на землю.

— За мной! — крикнул я и вскочил на Фиалку, но тут русский драгунский офицер, здоровенный, как мед-

ведь, обхватил меня, и мы покатались по земле. Он обхватил саблю, чтобы убить меня, но передумал, схватил меня за горло и стал бить головой о камни, пока я не потерял сознания. Так я попал в плен к русским.

Когда я пришел в себя, то жалел лишь об одном, что он сразу не вышиб мне мозги. Там, на главной площади в Минске, лежала половина моих людей, мертвых или раненых, а русские с ликующими криками столпились вокруг. Жалкую горстку уцелевших согнали на крыльцо ратуши под коновое казачьей сотни. Увы, что я мог сказать, что мог поделать? Было ясно, что я завел их в хитроумную западню. Враги узнали, зачем мы здесь, и приготовились к встрече. А виной всему это донесение, которое заставило меня пренебречь предосторожностями и ехать прямо в город. Как мне оправдаться? Слезы потекли по моим щекам, когда я увидел гибель своего эскадрона и подумал о тяжелой судьбе моих товарищей из Великой армии, которые ждали, что я привезу им еду. Ней доверился мне, а я не оправдал доверия. Как часто вглядывается он теперь в снежную даль, ожидая отряда с зерном, который никогда не порадует его взор! Да и собственная моя участь была не из легких. Ссылка в Сибирь — вот лучшее, на что я мог рассчитывать. Но поверьте мне, друзья, что не о себе, а о голодающих товарищах горевал Этьен Жерар, когда по щекам его покатались слезы, которые тут же замерзали.

— Что такое? — раздался около меня грубый голос, и я, повернувшись, увидел того самого здоровенного чернобородого драгуна, который стащил меня с седла. — Глядите-ка, француз плачет! А я-то думал, за корсикайцем идут одни только храбрецы, а не дети.

— Если б мы встретились один на один, я показал бы вам, кто храбрее, — сказал я.

Вместо ответа этот негодяй дал мне пощечину. Я схватил его за горло, но десяток русских солдат оттащили меня от него и держали за руки, а он снова ударил меня.

— Презренный пес! — воскликнул я. — Разве так обращаются с офицером и дворянином?

— Никто вас не звал в Россию, — сказал он. — А уж ежели вы сюда пришли, то и получайте, что заслужили. Будь моя воля, я попросту пристрелил бы тебя на месте.

— Когда-нибудь вы за это ответите! — воскликнул я, вытирая с усов кровь.

— Если гетман Платов одного со мной мнения, завтра в этот час тебя уже не будет в живых, — ответил он и бросил на меня свирепый взгляд. Потом он сказал своим солдатам несколько слов по-русски, и все они мигом вскочили в седла. Подвел бедняжечку Фялку, у которой вид был такой же несчастный, как у ее хозяина, и велел мне сесть. Мою левую руку обвязали ремнем, другой конец которого прикрепили к стремени драгунского сержанта. И вот я с остатком своих людей в самом плачевном положении выехал из Минска на север.

В жизни не видал такого негодяя, как этот майор Сержин, начальник конвоя. В русской армии можно найти и самых лучших и самых худших людей в мире, но хуже Сержина, майора киевского драгунского полка, я не видел ни в одних войсках, кроме партизан на Пиренейском полуострове. Это был рослый малый со свирепым, жестоким лицом и щетинистой черной бородой, которая торчила поверх его кирасы. Говорят, потом его представили к награде за храбрость и силу, что ж, могу только сказать, что лапы у него медвежьи, это я почувствовал на себе, когда он стащил меня с седла. По-своему он был неглуп и все время отпускал по-русски шуточки в наш адрес, отчего все драгуны и казаки покатывались со смеху. Дважды он стегнул моих товарищей плетью, а один раз подъехал ко мне, уже занеся плеть, но, видно, взгляд у меня был такой, что он не посмел ее опустить. Так, жалкие и несчастные, терзаемые холодом и голодом, ехали мы печальной вереницей через огромную снежную равнину. Солнце село, но мы продолжали свой тягостный путь в долгих северных сумерках. Я весь закоченел, голова у меня болела от побоев, и, сидя на своей верной Фялке, я не знал, где я и куда еду. Лошадь плелась, понурившись и поднимая голову только затем, чтобы презрительно фыркнуть на захудалых казачьих лошадей.

Вдруг конвой остановился, и я увидел, что мы на единственной улице какой-то русской деревушки. На одной стороне улицы была церковь, а напротив — большой каменный дом, который показался мне знакомым. Я огляделся в полумраке и увидел, что нас снова привезли в Доброву и мы стоим у дверей все того же дома священ-

инка, где наш отряд останавливался утром. Здесь очаровательная и наивная Софи перевела мне ту злополучную записку, которая столь странным образом нас погубила. Подумать только, всего несколько часов назад мы выехали отсюда, полные надежд на успех своего дела, а теперь остатки нашего отряда, побежденные и униженные, ожидали своей участи, которую решит жестокий враг! Но такова судьба солдата, друзья мои; сегодня поцелун, а завтра побон. Токайское во дворце, грязная вода в лачуге, роскошные меха или отрепья, туго набитый кошелек или пустой карман, непрестанные переходы от лучшего к худшему, и лишь храбрость и честь остаются неизменны.

Русские спешились, и моим бедным товарищам тоже приказали сойти с лошадей. Было уже поздно, и конвойные явно намеревались заночевать в деревне. Крестьяне громко ликovali и радовались, когда узнали, что все мы попали в плен, они высыпали на улицу с факелами, женщины понли казаков чаем и водкой. Вышел и старик священник, тот самый, которого мы видели утром. Теперь он весь расплылся в улыбке и вынес на подносе что-то вроде горячего пуиша, запах которого я помню до сих пор. За спиной у отца стояла Софи. Я с ужасом увидел, как горячо она пожала руку майора Сержина, поздравив его с победой и взятнем врагов в плен. Старик священник, ее отец, со злобой посмотрел на меня и отпустил на мой счет какие-то оскорбительные замечания, указывая на меня худой грязной рукой. Красавица Софи тоже посмотрела на меня, но ничего не сказала, и я прочел в ее темных глазах жалость. Потом она повернулась к майору Сержину и что-то сказала ему по-русски, отчего он нахмурился и раздражению покачал головой. При свете, падавшем из открытых дверей, видно было, как она упрашивала его. Я не отрываясь глядел на их лица — красивой девушки и темноволосого свирепого мужчины, чутьем угадав, что они спорят о моей судьбе. Офицер долго качал головой, потом наконец ее мольбы смягчили его, и он, видимо, уступил. Он повернулся ко мне, стоявшему под охраной сержанта.

— Эти добрые люди предлагают тебе ночлег под своим кровом, — сказал он, окидывая меня злобыим взглядом с головы до ног. — Мне трудно им отказать, но не

скрою, что я охотно оставил бы тебя валяться на снегу. Это охладило бы твой пыл, французская сволочь!

Я взглядом выразил все свое презрение к нему.

— Кто родился дикарем, дикарем и умрет,— сказал я.

Мои слова, видимо, уязвили его, он выругался и занес плеть, чтобы ударить меня.

— Заткнись, корнюухий пес!—заорал он.—Будь моя воля, я выморозил бы за ночь всю твою наглость.—Овладев собой, он обратился к Софи в соответствии со своими понятиями об учтивости.—Если у вас есть погреб с надежным запором, пускай этот малый проведет там ночь, раз уж вы оказали ему такую честь и позаботились о его удобстве. Я возьму с него слово, что он не станет выкидывать фокусов, ведь я отвечаю за него, пока не сдам его завтра гетману Платову.

Я больше не мог выносить этого высокомерия. Видимо, он нарочно разговаривал с девушкой по-французски, чтобы я понимал, как оскорбительно он обо мне отзывается.

— Я не приму от вас никаких одолжений,—сказал я.—Делайте, что хотите, но слова я вам не дам.

Русский пожал широчеными плечами и отвернулся, видимо, считая, что вопрос исчерпан.

— Ну что ж, милейший, тем хуже для твоих рук и ног. Посмотрим, каков-то ты будешь утром, когда проведешь ночь на снегу.

— Одну минуту, майор Сержин,—сказала Софи.—Вы не должны так сурово обходиться с этим пленником. Есть особые причины, по которым он имеет право на нашу доброту и милосердие.

Русский подозрительно посмотрел сперва на нее, потом на меня.

— Какие еще причины? Я вижу, вы к этому французу неравнодушны,—сказал он.

— Главная причина здесь та, что не далее как сегодня утром он по собственной воле отпустил Алексея Баракова, капитана гродненских драгун.

— Это правда,—сказал Бараков, который тем временем вышел из дома.—Сегодня утром он взял меня в плен и отпустил под честное слово вместо того, чтобы отпра-

вить под коновое во французскую армию, где я умер бы с голоду.

— Поскольку полковник Жерар поступил так благородно, теперь, когда он попал в беду, вы, конечно, позволите ему провести эту холодную ночь у нас в погребе,— сказала Софи.— Это не слишком большая награда за его благородство.

Но драгун все еще злился.

— Пускай сперва даст слово, что не будет пытаться бежать,— сказал он.— Слышишь, ты? Дашь слово?

— Не дам,— сказал я.

— Полковник Жерар! — воскликнула Софи с пленительной улыбкой.— А мне вы дадите слово, правда?

— Вам, мадемуазель, я ни в чем не могу отказать. С удовольствием даю вам слово.

— Ну вот, майор Сержин! — с торжеством воскликнула Софи.— Этого вполне достаточно. Вы сами слышали, он сказал, что дает мне слово. Я отвечаю за то, что с ним все будет благополучно.

Русский медведь изъявил свое согласие невинным ворчаньем, и меня повели в дом, а следом шел священник, бросая мне в спину недобрые взгляды, и огромный чернобородый драгун. Под домом был большой и просторный подвал, где хранились дрова. Туда меня и отвели, и я понял, что здесь проведу ночь. Половина этого унылого подвала была до потолка завалена дровами. Каменный пол, голые стены, в одной из них — единственное узкое оконце, надежно забранное железной решеткой. С низкого потолка свисал большой фонарь. Майор Сержин с усмешкой снял его и осветил все углы мрачного помещения.

— Как вам нравятся наши русские отели, мсье? — спросил он со злобным смешком.— Не слишком роскошные, но лучших у нас нет. Быть может, в следующий раз, когда вам, французам, вздумается путешествовать, вы изберете другую страну, где будет больше удобств.

Так он насмеялся надо мной, и его белые зубы сверкали из-под бороды. Потом он ушел, и я услышал, как заскрежетал в замке большой ключ.

Целый час, весь продрогший, я сидел на куче дров в совершенном отчаянии, закрыв лицо руками, одолеваемый самыми печальными мыслями. В этих четырех стенах бы-

ло довольно холодно, но мысль о том, как тяжело придется моим людям на дворе, заставляла меня страдать вдвойне. Я начал ходить взад-вперед, хлопать в ладоши, бить ногами в стену, чтобы не замерзнуть окончательно. Фонарь давал немного тепла, но все-таки холод был собачий, и я с утра ничего не ел. Мне казалось, что про меня все забыли, но вот наконец в замке заскрежетал ключ и вошел — как вы думаете, кто? Мой недавний пленник, капитан Алексис Бараков. Под мышкой у него была бутылка вина, а в руках — большая тарелка горячего жаркого.

— Тс! — шепнул он. — Ни слова! И не падайте духом! Я не могу сейчас ничего объяснить, потому что Сержин еще здесь. Не спите и будьте готовы!

Торопливо сказав все это, он поставил еду, от которой у меня потекли слюнки, и выбежал за дверь.

«Не спите и будьте готовы!» Эти слова продолжали звучать в моих ушах. Я съел жаркое и выпил вино, но не это согрело мне душу. Что значили слова Баракова? Почему мне нельзя спать? К чему быть готовым? Неужели есть еще надежда на побег? Я всю жизнь презирал людей, которые никогда не молятся, а в минуту опасности прибегают к молитве. Точно так же плохой солдат старается угодить своему полковнику только тогда, когда ему нужна какая-нибудь поблажка. Но я вспомнил о соляных коях в Сибири и о моей матушке, которая ждала меня во Франции, и молитва излилась сама собой, не с моих уст, а из сердца, — я молился о том, чтобы слова Баракова не обманули моих надежд. Но часы на деревенской колокольне отбивали час за часом, а ничего не было слышно, кроме переключки русских часовых на дворе.

И вдруг сердце мое дрогнуло: я услышал за дверью легкие шаги. Через секунду щелкнул замок, дверь отворилась, и вошла Софи.

— Мсье!.. воскликнула она.

— Этьен, — подсказал я.

— Вы неисправимы, — проговорила она. — Но, скажите, вы в самом деле не питаете ко мне ненависти? Вы простили меня за то, что я сыграла с вами эту шутку?

— Какую шутку? — спросил я.

— Господи боже! Возможно ли, что вы до сих пор не поняли? Помните, вы попросили меня перевести за-

писку. Я сказала вам, что там написано: «Если французы придут в Минск, все погибло».

— А что же там было?

— Там было сказано: «Пусть французы приходят в Минск. Мы их ждем».

Я отпрянул от нее.

— Вы меня предали! — воскликнул я. — Вы заманили меня в ловушку! Из-за вас все мои люди убиты или попали в плен. Какой же я был дурак, что поверил женщине!

— Будьте же справедливы, полковник Жерар. Ведь я русская, и для меня всего важнее долг перед моей родиной. Разве вы не хотели бы, чтобы французская девушка поступила точно так же? Ведь если бы я правильно перевела записку, вы не поехали бы в Минск, и ваш отряд ускользнул бы от наших войск. Скажите же, что прощаете меня.

Она была очаровательна, когда стояла передо мной, прося простить ее. И все же, вспомнив про своих убитых товарищей, я не мог пожать ее протянутую руку.

— Ну, хорошо, — сказала она, опуская руку. — Вы любите своих, а я своих, значит, мы квиты. Но, полковник Жерар, здесь, в этом доме, вы произнесли мудрые и добрые слова. Вы сказали: «Одним человеком больше или меньше — ничего не изменит в войне между такими огромными армиями». Ваш урок благородства не пропал даром. Вон там, за дровами, есть дверь, которую никто не караулит. Вот ключ. Уходите, полковник Жерар, и, надеюсь, мы никогда больше не встретимся.

Мгновение я стоял с ключом в руке, и голова у меня шла кругом. Потом я вернул ей ключ.

— Не могу, — сказал я.

— Но почему же?

— Я дал слово.

— Кому? — спросила она.

— Да вам же.

— Я возвращаю вам его.

Сердце мое дрогнуло от радости. Ну, конечно же, она права. Я отказался дать слово Сержию. С ним я ничем не связан. Если она освобождает меня от обещания, честь моя останется незапятнанной. Я снова взял ключ.

— В конце улицы вас ждет капитан Бараков,— сказала она.— Мы, северяне, не забываем ни зла, ни добра. У него ваша лошадь и сабля. Не медлите ни секунды, потому что через два часа начнет светать.

Я вышел в звездную русскую ночь и в последний раз увидел Софи, смотревшую мне вслед через открытую дверь. Она провожала меня тоскливым взглядом, словно ожидала чего-то большего, нежели та холодная благодарность, которую я ей принес, но у самого скромного человека есть гордость, и не стану утверждать, будто моя гордость не была задета тем, что она меня провела за нос. Я не мог заставить себя поцеловать ей руку, не говоря уж о губах. Дверь вела в узкий проулок, в конце которого стоял закутанный с ног до головы человек, державший под уздцы Фналку.

— Вы сказали, чтобы я помог первому французскому офицеру, который окажется в беде,— сказал он.— Желаю удачи! *Bon voyage* ¹,— шепнул он, когда я вскочил в седло.— И запомните: пароль «Полтава».

Хорошо, что он сказал мне пароль, так как я дважды наталкивался на казачьи пикеты, прежде чем выехал в открытое поле. Только я миновал последний пост и уже думал, что свободен, как вдруг у меня за спиной раздался глухой стук копыт по снегу, и огромный человек на здоровенной лошади стал быстро настигать меня. Первой моей мыслью было дать Фналке шпоры. Второй, когда я увидел длинную черную бороду поверх стальной кирасы, остановиться и подождать его.

— Я так и знал, что это ты, французский пес,— сказал он, потрясая обнаженной саблей.— Негодяй, ты нарушил слово!

— Я не давал слова.

— Врешь, собака!

Я огляделся — вокруг ни души. Казачьи посты вдали словно вымерли. Мы были совершенно одни, только луна над головой да снег под ногами. Судьба всегда была благосклонна ко мне.

— Я не давал вам слова.

— Ты дал его девушке.

¹ Счастливого пути (франц.).

— Перед ней я и отвечаю.

— Еще бы, этого только тебе и надо. Но, к несчастью, ответ придется держать передо мной.

— Я готов.

— Эге, да при тебе сабля! Тут пахнет изменой! Я все понял! Эта женщина помогла тебе бежать. Теперь ей не миновать Сибири.

Этимн словами он подписал себе смертный приговор. Ради Софи я не мог отпустить его живым. Наши сабли скрестились, и через мгновение мой клинок проткнул его черную бороду и воиизился ему в горло. Как только он упал, я тотчас соскочил на землю, но одного удара оказалось достаточно. Он умер, норовя укусьть меня за ногу, как бешеный волк.

Через два дня я нагнал нашу армию в Смоленске и снова оказался в печальной колонии, которая плелась по снегу, оставляя за собой длинный кровавый след.

Но довольно, друзья мои; не стану пробуждать воспоминания о несчастьях и смерти. Они все еще преследуют меня во сне. Мы, наконец, остановились в Варшаве, потеряв по дороге пушки, обоз и три четверти наших товарищей. Но не честь Этьена Жерара. Говорили, что я нарушил слово. Но попробовал бы кто-нибудь сказать мне это в лицо, потому что я рассказал вам святую правду, и хотя я стар, мой палец еще может спустить курок, когда надо встать на защиту своей чести.

VII

КАК БРИГАДИР ДЕЙСТВОВАЛ ПРИ ВАТЕРЛОО

1. РАССКАЗ О ЛЕСНОЙ ХАРЧЕВНЕ

Из всех великих сражений, в каких мне выпала честь обнажать саблю за нашего императора и за Францию, ни одно не было проиграно. При Ватерлоо же, где я хотя и присутствовал, но был лишен возможности сражаться, враг восторжествовал. Не мне говорить, что одно тут связано с другим. Вы слишком хорошо меня

знаете, друзья мои, чтобы подумать, что я способен на такую нескромность. Но это дает пищу для размышлений, и кое-кто пришел к лестным для меня выводам. В конце концов надо было только прорвать несколько английских каре, и победа была бы за нами. Кто скажет, что гусары Конфланского полка во главе с Этьеном Жераром не могли бы это сделать? Но судьба решила иначе: я оказался в стороне, и империя пала. При этом судьба решила также, что этот день траура и скорби должен принести мне такое торжество, какого я не знал, даже когда летел на крыльях победы из Булони в Венту. Никогда моя слава не сняла так ярко, как в этот великий миг, когда все вокруг окутала тьма. Вы понимаете, что я остался предан императору в его несчастьях и не пожелал продать свою шпагу и честь Бурбонам. Никогда больше я не почувствую под собой своего боевого коня, никогда не услышу у себя за спиной звуки серебряных труб и антавр, не поскачу впереди моих орлов. Но, друзья мои, я утешаюсь и умиляюсь до слез, когда вспоминаю, как достойно я вел себя в этот последний день своей военной службы, и я думаю о том, что из всех замечательных подвигов, которые стяжали мне любовь стольких красавиц и уважение стольких благородных людей, не было ни одного, который блеском, дерзостью и благородством цели мог бы сравниться с моей знаменитой поездкой в ночь на девятнадцатое июня тысяча восемьсот пятнадцатого года. Я знаю, эту историю часто рассказывают в офицерском обществе, за столом и в казармах, так что в армии она известна всякому, но скромность заставляла меня молчать, а сегодня, друзья мои, я разоткровенничался с вами и готов рассказать все как было.

Прежде всего смею вас заверить в одном. Никогда еще у Наполеона не было такой замечательной армии, как та, которая участвовала в этой кампании. К тринадцатому году Франция обесшлела. На каждого бывшего солдата приходилось пятеро желторотых птенцов — «марий-лунз», как мы их называли, потому что, пока император воевал, императрица занималась набором рекрутов. Но в пятнадцатом году все переменялось. Пленные вернулись на родину — из снегов России, из подземелья Испании, с галер Англии. Это были от-

чаянные люди, ветераны двадцати сражений, они жаждали снова заняться любимым делом, и сердца их были полны ненависти к местн. В армии было немало солдат, носивших по два и по три шеврона¹, и каждый означал пять лет службы. Дух их был неукротим. Полные ярости, беспощадные, слепо преданные делу, они боготворили императора, как мамелюки своего пророка, и готовы были самих себя поднять на штыки, если их кровь ему потребуется. Видели бы вы, как эти свирепые старики-ветераны шли в бой с налитыми кровью лицами, со сверкающими глазами, с грозным ревом, и вам стало бы ясно, что никто перед ними не устоит. Так высоко поднялся боевой дух Франции в то время, что ему нигде не было равных; но у этих англичан нет ни боевого духа, ни души, а только жесткая, неподвижная туша, о которую мы напрасно бились. Вот как оно было, друзья мои! С одной стороны, поэзия, доблесть, самопожертвование, все, что есть прекрасного и героического. А с другой — туша. Наши надежды, идеалы, мечты — все разбилось об эту ужасную тушу Старой Англии.

Вы читали о том, как император собрал свои войска, а потом мы с ним, во главе ста тридцати тысяч ветеранов, стремительным маршем двинулись к северной границе и обрушились на пруссаков и англичан. Шестнадцатого июня Ней завязал с англичанами сражение под Катр-Бра, а мы разбили пруссаков при Линьи. Не мне говорить, сколь много сделал я для этой победы, но хорошо известно, что гусары Конфланского полка покрыли себя славой. Пруссаки дрались крепко, и восемь тысяч их осталось лежать на поле боя. Император уже думал, что с ними покончено, и послал маршала Груши с войском в тридцать две тысячи человек преследовать их, чтобы они не помешали дальнейшим его планам. А сам с восьмьюдесятью тысячами войска повернул на этих треклятых англичан! Нам надо было за многое с ними расквитаться: за гинее Питта, за корабль Портсмута, за вторжение Веллингтона, за вероломные победы Нельсона! И наконец день расплаты настал.

¹ Шеврон — нашивка на левом рукаве.

У Веллингтона было шестьдесят семь тысяч солдат, но мы знали, что среди них много голландцев и бельгийцев, которые не очень-то рвались в бой против нас. Хорошего войска у него не набралось бы и пятидесяти тысяч. Очутившись перед лицом самого императора с восьмьюдесятью тысячами людей, этот англичанин оцепенел от страха и не мог ни сам сдвинуться с места, ни двинуть свои войска. Вы видели кролика под взглядом удава? Вот так застыли англичане на склонах у Ватерлоо. Накануне император, у которого под Линьей убили адъютанта, приказал перевести меня в штаб, и я передал своих гусар под начало майора Виктора. Не знаю, кто из нас был более огорчен, он или я, тем, что меня отозвали перед самым сражением, но приказ есть приказ, хорошему солдату остается только пожать плечами и повиноваться. Вместе с императором я проехал восемнадцатого утром вдоль вражеских позиций, он осматривал их в подзорную трубу и обдумывал план сокрушительного удара. Рядом с ним были Сульт, Ней, Фуа и другие, которые воевали с англичанами в Португалии и в Испании.

— Будьте осторожны, ваше величество,— сказал Сульт.— Английская пехота — твердый орешек.

— Вы считаете их хорошими солдатами, потому что они вас разбили,— сказал император, и мы, из тех, кто был помоложе, отвернулись, пряча улыбку. Но Ней и Фуа хранили суровую серьезность. Английские позиции, пестревшие красным и синим и усеянные батареями, в настороженном молчании лежали от нас на расстоянии ружейного выстрела. По другую сторону неглубокой долины наши люди, покончив с супом, готовились к бою. Незадолго перед тем прошел сильный дождь, и теперь выглянуло солнце и осветило французскую армию, превратив наши кавалерийские бригады в сверкающие реки стали, его лучи блестя и переливались на бесчисленных штыках пехотинцев. При виде этой великолепно-красивой армии, ее красоты и величия, я не мог более сдерживаться, привстал на стременах, взмахнул кивером и крикнул: «Vive l'Empereur!» — и этот клич оглушительным громом покотился из края в край наших позиций; кавалеристы размахивали саблями, а пехотинцы — своими фуражками, надев их на штыки. Англичане

словно окаменели на склоие. Они знали, что их час пробил.

Так оно и получилось бы, если б в этот миг был отдан приказ и вся армия двинута в наступление. Нам стоило только навалиться на них, и мы бы стерли их в порошок. Не говоря уже о мужестве, мы превосходили их численностью, были опытнее в ратных делах, и полководец наш был не ихнему чета. Но император хотел действовать по всем правилам, он ждал, пока земля подсохнет, чтобы артиллерия могла маневрировать. Из-за этого мы потеряли три часа и только в одиннадцать увидели, как колонны Жерома Бонапарта двинулись с левого фланга, и услышали пальбу, возвестившую начало сражения. Потеря этих трех часов погубила нас. Войска с левого фланга наступали на крестьянский дом, где засели английские гвардейцы, и мы слышали три восклицательных возгласа, которые поневоле вырвались у защитников. Они все еще держались, а корпус Д'Эрлона уже продвигался справа, чтобы занять еще часть английских позиций, но тут наше внимание привлекло то, что происходило далеко от нас.

Император смотрел в подзорную трубу на крайний левый фланг английских позиций. Вдруг он повернулся к герцогу Далматийскому, или, попросту, Сульту, как мы, солдаты, предпочитали его называть.

— Что это там, маршал? — спросил он.

Все мы посмотрели в ту сторону, одни в подзорные трубы, другие — просто приставив к глазам ладонь. Там был густой лес, за ним — длинный голый склон, а дальше — снова лес. На открытом пространстве между двумя лесами виделось что-то темное, похожее на тень движущегося облака.

— По-моему, это стадо, ваше величество, — ответил Султ.

В тот же миг среди этой темной тени что-то быстро сверкнуло.

— Это маршал Груши, — сказал император и отнял от глаз подзорную трубу. — Теперь англичане окончательно погибли. Они у меня в кулаке. Им не уйти.

Он огляделся и остановил взгляд на мне.

— А! Вот он, король гоицов, — сказал он. — Под вами хороший конь, полковник Жерар?

Подо мной была моя любимая Финалка, гордость всей бригады. Я так и сказал императору.

— Тогда скачите во весь опор к маршалу Груши, видите, вои его войска. Скажите, чтобы он напал на англичан с левого фланга и с тыла, а я ударю с фронта. Вместе мы их раздавим, ни один живым не уйдет.

Я отдал честь и, не сказав ни слова, поскакал, а сердце у меня так и прыгало от радости, что на меня возложили столь ответственное поручение. Я посмотрел на длинную, сплошную красно-синнюю линию, маячившую сквозь пороховой дым, и на скаку погрознал ей кулаком. «Мы их раздавим, ни один живым не уйдет». Так сказал император, и я, Этьен Жерар, должен претворить его слова в дело. Мне не терпелось поскорей добраться до маршала, и я подумал, не прорваться ли напрямик через левый фланг англичан. Мне приходилось совершать и более дерзкие дела и выходить целым и невредимым, но я подумал, что, если мой замысел не удастся и меня убьют или возьмут в плен, донесение не будет доставлено и планы императора рухнут. Поэтому я проехал мимо нашей кавалерии, мимо егерей, улан, гвардейцев, карабинеров, коиных гренадеров и, наконец, мимо своих дьяволов, которые проводили меня прощальными взглядами. За кавалерией стояла старая гвардия, двенадцать полков, все как на подбор ветераны многих сражений, суровые и решительные, в длинных синих шинелях и высоких медвежьих шапках, с которых были сняты плюмажи. На спине у каждого был кожаный ранец, все надели синие с белым парадные мундиры, чтобы назавтра войти в них в Брюссель. Проезжая мимо них, я думал, что эти люди никогда не знали поражения, и при виде их обветренных лиц и строгой, спокойной осанки я сказал себе, что они никогда и не будут разбиты. Господи, я не подозревал о том, что произойдет всего через несколько часов!

Справа от старой гвардии стояли молодые гвардейцы и шестой корпус Лобо, а на крайнем левом фланге растянулись уланы Жакнио и гусары Марбо. Все эти войска ничего не знали о корпусе, приближавшемся к ним через лес, внимание их было поглощено

сраженнем, которое разворачивалось слева от них. Более сотни пушек гремело с каждой стороны, грохот стоял ужасный,— из всех сражений, в каких мне довелось участвовать, не наберется и полдюжины таких бурных. Я оглянулся через плечо и увидел две бригады кирасиров, английскую и французскую, они катились вниз по склону, и клинки сверкали, как грозовые молнии. Как хотелось мне повернуть Фналку и повести гусар в гущу битвы! Ах, что это было за зрелище! Этьен Жерар едет, повернувшись спиной к горячей схватке между кавалеристами. Но долг есть долг, и я проехал мимо конных дозорных Марбо к лесу, оставив слева деревню Фншермон.

Передо мной был большой лес, почти сплошь дубовый, который назывался Парнжским, и через него вели узкие тропки. Доехав до леса, я остановился и прислушался, но из его мрачной глубины не донеслось ни звука трубы, ни стука колес, ни топота копыт, которые возвестили бы о продвижении большой колонны, хотя я своим глазами видел, как она двигалась к этому лесу. Позади меня кипело сражение, а впереди все было тихо, как в могиле, уже готовой для стольких храбрецов. Ветки сомкнулись у меня над головой, закрыв солнце, и густой запах прелой поднимался от влажной земли. Несколько миль я проскакал таким галопом, на какой немногие решились бы, когда внизу торчат корни, а над головой — ветки. И вот наконец я увидел авангард Грушн. Отдельные отряды гусар проехали по обе стороны от меня среди деревьев. Я услышал в отдалении бой барабана и тихий, глухой шум, какой издает армия на марше. В любой миг я мог встретить штаб и передать приказ лично Грушн, так как знал, что при таком переходе маршал Францин, несомненно, едет в авангарде своей армии.

Вдруг лес поредел, и я обрадовался, поняв, что он кончается: теперь-то я увижу всю армию и найду маршала. На опушке, куда сходятся тропы, стояла маленькая харчевня, в таких обычно пьют вино лесорубы и возчики. Я придержал коня у двери харчевни и огляделся. В нескольких милях впереди я увидел второй лес, Сен-Ламберский, откуда выходили войска, когда их заметил император. Нетрудно было понять, однако,

почему они так долго не могли достичь второго леса, ведь путь им преграждало глубокое Ланское ущелье. Не мудрено, что растянутая колонна — кавалерия, пехота и артиллерия — только сползала по одному склону и взбиралась на второй, тогда как авангард был уже позади меня в лесу. По дороге проезжала артиллерийская батарея, и я уже хотел подъехать и спросить командира, где найти маршала, как вдруг увидел, что, хотя артиллеристы и в голубых мундирах, на них нет доломанов с красными нашивками на воротниках, какие носят наши. Пораженный, смотрел я на этих солдат, растерянно озираясь, как вдруг чья-то рука коснулась моего колена, и я увидел хозяина харчевни, который выбежал ко мне.

— Сумасшедший! — воскликнул он. — Как вы сюда попали? Что вы здесь делаете?

— Ищу маршала Груши.

— Да ведь вы в самой гуще прусской армии! Скачите прочь!

— Не может быть! Это корпус Груши.

— Откуда вы знаете?

— Так сказал император.

— Значит, император совершил роковую ошибку! Говорю вам, патруль силезских гусар только что был в моей харчевне. Разве вы не встретили их в лесу?

— Я встретил гусар.

— Это враги.

— А где Груши?

— Сзади. Они его обогнали.

— Как же я могу вернуться? Мне надо ехать вперед, тогда я могу еще встретить его. У меня приказ, я должен найти его хоть под землей.

На мгновение он задумался.

— Скорей! — крикнул он, хватая моего коня под уздцы. — Слушайте меня, еще не все потеряю. Вас не заметили. Я спрячу вас, пока они не пройдут.

За домом была низенькая конюшня, и туда он ввел Фиалку. Меня же он даже не повел, а буквально поволок на кухню. Она была почти пустая, с кирпичным полом. Краснолицая толстуха жарила на очаге котлеты.

— В чем дело? — спросила она, враждебно поглядывая то на меня, то на хозяина. — Кого это ты привел?

— Это французский офицер, Мари. Мы не можем допустить, чтобы пруссаки схватили его.

— Это почему же?

— Как почему? Разрази меня гром, да разве сам я не был солдатом Наполеона? Разве меня не наградили карабином в числе самых доблестных гвардейцев? Неужели я допущу, чтобы моего боевого товарища взяли у меня на глазах? Мари, мы должны его спасти.

Но женщина смотрела на меня весьма недружелюбно.

— Пьер Шарра, — сказала она, — видать, ты не успокоишься, куда твой дом не спалют, да и тебя самого заодно. Неужели ты не понимаешь, дубина, что ежель ты воевал за Наполеона, то лишь потому, что Наполеон правил Бельгией? А теперь кончилась его власть. Пруссак — наш союзник, а он нам враг. Я не потерплю француза в своем доме. Ступай выдай его!

Хозяин почесал в затылке и в отчаяние посмотрел на меня, но я сразу смекнул, что этой женщине дороги не Франция и не Бельгия, она боится только за свой дом.

— Мадам, — сказал я, собрав все свое достоинство и хладнокровие, — император уже громит англичан, и еще до вечера французская армия будет здесь. Если вы поможете мне, то получите награду, а если выдадите, — понесете наказание, и ваш дом сожжет военная полиция.

Это произвело на нее должное впечатление, и я поспешно закрепить победу, переменяя тактику.

— К тому же, — сказал я, — возможно ли, чтобы у такой красавицы было столь жестокое сердце? Я уверен, что вы не откажетесь спрятать меня.

Она взглянула на мои бакенбарды и сразу смягчилась. Я взял ее за руку, и через две минуты мы уже так наладили отношения, что ее муж сам пообещал выдать меня, если я не остановлюсь.

— К тому же вся дорога запружена пруссаками! — воскликнул он. — Скорей, скорей на чердак!

— Скорей на чердак! — подхватила его жена, и они вдвоем повели меня к лестнице, которая поднималась к люку в потолке. Тут в дверь громко постучали, и, сами понимаете, в одно мгновение шпоры мои сверкнули в люке, и крышка захлопнулась. Внизу подо мной сразу же слышалась немецкая речь.

Я очутился на длинном, во весь дом, чердаке под самым стропилами. Чердак находился над харчевней, и сквозь щели в полу я мог видеть и кухню, и комнату для приезжих, и питьевой зал. Окон не было, но, поскольку дом сильно обветшал, в крыше не хватало нескольких досок, сквозь щели проникал свет, и можно было наблюдать, что делается снаружи. Чердак был завален всяким хламом. В одном конце лежала куча соломы, в другом — целая груда пустых бутылок. Кроме люка, через который я забрался, здесь не было ни окон, ни дверей.

Несколько минут я просидел на куче сена, стараясь прийти в себя и собраться с мыслями. Дело приняло весьма серьезный оборот, раз прусские войска оказались на поле битвы, опередив наши резервы, но, кажется, тут был всего один корпус, а одним корпусом больше или меньше — невелика разница для такого человека, как император. Ему ничего не стоило разгромить англичан, невзирая на такое преимущество. Поскольку Груши позади, лучшее, что я мог сделать для императора, — это переждать, пока пруссаки пройдут, а потом ехать дальше, найти маршала и передать ему приказ. Если он вместо того, чтобы преследовать пруссаков, выйдет в тыл англичанам, все будет хорошо. Судьба Франции зависела от моего благоразумия и самообладания. Вам известно, что мне к этому было не привыкать, и вы знаете также, что я мог быть твердо уверен: ни благоразумие, ни самообладание мне не изменят. Разумеется, император не ошибся, поручив это дело мне. Он назвал меня «королем гонимых». Что ж, я не посрамлю это звание.

Ясно было, что, пока пруссаки не пройдут, предпринять ничего нельзя, и я коротал время, разглядывая их. Я их всегда терпеть не мог, но должен признать, что дисциплина у них железная: ни один не зашел в харчевню, хотя на губах у них запеклась пыль и сами

они чуть не падали от усталости. Солдаты, стучавшие в дверь, внесли товарища, который был без сознания, и, оставив его, сразу вернулись в строй. Принесли еще нескольких раненых, их уложили на кухне, и молодой врач, совсем еще мальчик, остался ухаживать за ними. Рассмотрев все это через щели в полу, я принялся глядеть сквозь отверстия в крыше, откуда все было прекрасно видно. Прусские войска все шли и шли мимо. Сразу было ясно, что они совершили невероятно тяжелый марш и почти не ели, потому что на них было страшно смотреть: они были измучены и с головы до ног облеплены грязью, так как то и дело падали на скользкой дороге. И все же, несмотря ни на что, они были полны боевого духа и на себе выволакивали пушки, когда колеса уходили по ступицы в топкую грязь, а измученные лошади проваливались до колен, сляясь их вытащить. Офицеры разъезжали верхом вдоль колонны, ободряя усердных похвалами, а нерадивых ударами саблей плашмя. И все время спереди, из-за леса, доносился оглушительный грохот сражения, словно все реки на земле собрались в один гигантский водопад, который бурлит и низвергается с высоты. Длинный шлейф дыма, разостлавшийся высоко над деревьями, был подобен огромной сбруе. Офицеры указывали на него саблями, с их запекшихся губ срывались хриплые крики, и люди, облепленные грязью, рвались на поле боя. Целый час двигались они мимо меня, и я решил, что их авангард уже столкнулся с дозорными Марбо и император знает об их появлении.

— Что ж, друзья, вы очень спешите на поле боя, но поглядим, с какой скоростью вы станете улепетывать назад, — сказал я себе, и эта мысль меня утешала.

Я томился в ожидании, но вскоре произошло нечто такое, что рассеяло мою скуку. Я сидел на своем наблюдательном посту, радуясь, что почти весь корпус прошел и скоро дорога будет свободна, как вдруг в кухне послышалась перебранка по-французски.

— Не пушу! — закричал женский голос.

— Нет, пустите! — воскликнул мужчина, и поднялась громкая возня.

В мгновение ока я был у щелк в полу. Я увидел, что моя толстуха, как верная сторожевая собака, стоит у лестницы, а молодой врач, бледный от ярости, пытается подняться наверх. Несколько немцев, придя в сознание, сидели на кухонном полу и тупо, но пристально следили за ними. Хозяйна видно не было.

— Вина там нет,— сказала женщина.

— А мне вино и не нужно. Я возьму сена или соломы на подстилку для раненых. Почему они должны валяться на кирпичах, когда на чердаке есть солома?

— Нет там соломы.

— Что же там?

— Пустые бутылки.

— И больше ничего?

— Ничего.

Врач уже готов был отказаться от своего намерения, но один из солдат указал на потолок. Из его слов я понял, что он видит солому, торчащую между досками. Напрасно женщина спорила с ними. Двое солдат с трудом встали на ноги и оттащили ее, а врач полез наверх, поднял люк и забрался на чердак. Едва он поднял крышку, я спрятался за нее, но на беду он снова закрыл ее за собой, и мы оказались лицом к лицу.

В жизни еще не видел, чтобы человек был так растерян.

— Французский офицер! — пробормотал он.

— Тихо! — сказал я. — Говорите шепотом. — И я обнажил саблю.

— Я не солдат, — сказал он. — Я врач. Отчего вы грозите мне саблей? Я безоружен.

— Я не хотел бы вас трогать, но вынужден защищаться. Я скрываюсь здесь.

— Шпион!

— Шпионы не ходят в военных мундирах и вообще не числятся в составе армий. Я по ошибке оказался среди прусского корпуса и укрылся здесь, надеясь ускользнуть, когда все пройдут. Я не трону вас, если вы покладываетесь молчать о моем присутствии, иначе вам не уйти отсюда живым.

— Можете вложить саблю в ножны, мсье, — сказал врач и дружелюбно посмотрел на меня. — Я поляк по происхождению и не питаю ненависти ни к вам, ни к

французам вообще. Я сделаю все возможное для раненых, но не больше. В обязанности врача не входит брать в плен гусар. С вашего разрешения я только захвачу охапку соломы на подстилку этим беднякам.

Я хотел взять с него клятву, но по опыту знал, что, если человек решился лгать, он не поколеблется дать ложную клятву, и промолчал. Врач поднял крышку люка, сбросил вниз соломы сколько ему было нужно и спустился с лестницы, закрыв крышку. Я внимательно следил за ним — он вернулся к своим раненым, моя добрая хозяйка не отходила от него ни на шаг, но он занялся своими обязанностями, не сказав ни слова.

К этому времени я был уже уверен, что весь корпус прошел, и направился к отверстию в крыше, полагая, что путь свободен, — разве только на дороге окажется несколько отставших, на которых нечего и обращать внимание. Действительно, первый корпус прошел, и я видел, как последние ряды пехоты скрылись в лесу; но представьте себе мое разочарование, когда из Сен-Ламберского леса показался второй корпус, столь же многочисленный, как и первый. Сомнений не оставалось: вся прусская армия, которая, как мы считали, была разгромлена при Линьи, вот-вот обрушится на наш правый фланг, а Груши попался на какую-то нелепую удочку. Рев пушек, который стал теперь гораздо ближе, возвестил, что прусские батареи, проехавшие мимо меня, уже вступили в дело. Представьте себе мое положение! Проходил час за часом, солнце клонилось к западу. А эта проклятая харчевня, в которой я укрылся, все ещё была островком среди бурного потока свирепых пруссаков. Мне было необходимо найти маршала Груши, а я не мог высунуть носа из харчевни — меня немедленно взяли бы в плен. Можете вообразить, как я ругался и рвал на себе волосы. Как мало знаем мы, что нас ждет! Но в то самое время, когда я в ярости роптал на судьбу, она готовила мне предназначение гораздо более высокое, нежели доставить приказ Груши, предназначение, которое я никогда не исполнил бы, если б не застрял в этой грязной харчевне на опушке Парнжского леса.

Два прусских корпуса уже прошли, и мимо меня двигался третий, как вдруг я услышал в комнате для

гостей громкий шум и голоса. Я перебрался на другое место и заглянул вниз, желая узнать, что там происходит.

Прямо подо мной два прусских генерала склонились над картой, расстеленной на столе. Несколько адъютантов и штабных офицеров молча стояли вокруг. Один из генералов был злобный старик, седой и морщинистый, с растрепанными седеющими усами и голосом, похожим на собачий лай. Другой был помоложе, с длинным суровым лицом. Он измерял расстояние по карте с усердием студента, а первый генерал топал ногами, злился и ругался, как гусарский капрал. Странно было видеть старика в такой ярости, тогда как молодой сохранял полнейшее самообладание. Целком их разговор я не понял, но мог поручиться за общий смысл.

— Говорю вам, надо наступать — вперед и только вперед! — крикнул старик и страшно выругался по-немецки. — Я обещал Веллингтону, что прибуду со всей армией, даже если меня придется привязать, чтобы я не упал с лошади. Корпус Бюлова уже в деле, Цитен поддержит его всеми силами и огнем всех пушек. Вперед, Гнейзенау, вперед!

Второй покачал головой.

— Ваше превосходительство, не следует забывать, что если англичане будут разбиты, они отступят к морю. Каково же будет ваше положение, когда Груши отрежет вас от Рейна?

— Мы их разобьем, Гнейзенау. Мы с герцогом сотрем их в порошок. Вперед, я приказываю! Война будет закончена единым ударом. Подтяните войска Пирша, и мы сможем бросить на чашу весов шестьдесят тысяч человек, а Тильман будет удерживать Груши за Вавром.

Гнейзенау пожал плечами, но тут в дверях появился ординарец.

— Прибыл адъютант герцога Веллингтона, — доложил он.

— Ага! — вскричал старик. — Послушаем, чем он нас порадует!

В комнату, шатаясь, вошел английский офицер, его красный мундир почернел от грязи и запекшейся кро-

ви. Рука у него была перевязана окровавленным платком, и, чтобы не упасть, он оперся о стол.

— Я послан к маршалу Блюхеру,— сказал он.

— Я маршал Блюхер. Говорите скорей, в чем дело!— воскликнул нетерпеливый старик.

— Герцог приказал передать вам, что английская армия не дрогнет и он нисколько не сомневается в успехе. Французская кавалерия разбита, две пехотные дивизии полностью уничтожены, в резерве осталась только гвардия. Если вы поддержите нас сильным ударом, французы будут разгромлены наголову, и...

Тут колени его подкосились, и он, как мешок, свалился на пол.

— Все ясно!— воскликнул Блюхер.— Гнейзенау, пошлите к Веллингтону адъютанта, пусть сообщит, что герцог может полностью на меня рассчитывать. Вперед, господа, у нас много дела!

Он выбежал из комнаты, и весь его штаб, звякая шпорами, поспешил следом, а двое ординарцев передали раненого англичанина на попечение врача.

Гнейзенау, который был начальником штаба, помедлил немного, потом положил руку на плечо одному из адъютантов. Этот человек сразу привлек мое внимание, потому что на достойных людей глаз у меня наметанный. Он был высок и строен, хоть сейчас в кавалерию; право, у нас с ним было даже кое-что общее во внешности. В темном его лице было что-то ястребиное, черные глаза грозно сверкали из-под густых, косматых бровей, а с такими усами, как у него, ему нетрудно было бы попасть в лучший эскадрон моих гусар. На нем был зеленый мундир с белыми обшлагами и кивер с конским хвостом — я понял, что он драгун и самый лихой из всех кавалеристов, каких я с удовольствием проткнул бы саблей.

— Послушайте, граф Штейн,— сказал Гнейзенау.— Если враг будет разгромлен, но императору удастся бежать, он соберет новую армию, и нам придется все начинать сначала. Если же мы возьмем императора в плен, тогда войне конец. Ради этого стоит не пожалеть стараний и рискнуть головой.

Молодой драгун ничего не ответил, но слушал очень внимательно.

— Допустим, герцог Веллингтон прав, французская армия будет разбита наголову и обращена в бегство. Тогда император, несомненно, отправится назад через Женап и Шарлеруа, так как это самая короткая дорога к границе. Надо полагать, у него будут хорошие лошади и отступающие войска очистят ему дорогу. Наша кавалерия будет преследовать разбитую армию, но император окажется далеко впереди своих войск.

Молодой драгуи наклонил голову.

— Вам, граф Штейн, я поручаю императора. Если вы возьмете его в плен, ваше имя войдет в историю. У вас слава лучшего кавалериста во всей армии. Берите себе в помощь кого хотите — думаю, что десяти или двенадцати человек вам хватит. В бой не ввязывайтесь, отступающих не преследуйте, езжайте стороной и берегите силы для достижения более высокой цели. Вы меня поняли?

Драгуи снова наклонил голову. Он не тратил слов, и это произвело на меня впечатление. Я понял, что он и в самом деле опасный человек.

— Ну что ж, остальное предоставляю на ваше усмотрение. Отбросьте все, кроме главного. Карету императора и его самого вы узнаете без труда, ошибиться невозможно. А теперь мне нужно догонять маршала. Прощайте! Если мы еще увидимся, я не сомневаюсь, что смогу поздравить вас с подвигом, который будет греметь по всей Европе.

Драгуи отдал честь, а Гейзену поспешно вышел из комнаты. Молодой офицер постоял немного в глубокой задумчивости. Потом он вышел вслед за начальником штаба. Я с любопытством следил за ним через щель, ожидая, что он будет делать дальше. Его конь, красивый, сильный, гнелой, с белыми чулками на передних ногах, был привязан у двери харчевни. Он вскочил в седло и, выехав наперерез колонии кавалеристов, показавшейся на дороге, заговорил с офицером, ехавшим во главе передового полка. После короткого разговора двое гусар — полк был гусарский — выехали из рядов и встали рядом с графом Штейном. Затем он остановил следующую полк, и к нему присоединились двое улан. Из следующего полка он взял двух драгуи, потом



«Приключения бригадира Жерара»



«Женитъба бригадира»

двух кирасиров. Наконец, он отвел свой маленький отряд в сторону, собрал всех вокруг себя и стал объяснять, что им предстоит сделать. А потом девять человек тесной группой исчезли в Парижском лесу.

Незачем и объяснять вам, друзья мои, что все это означало. Ведь этот Штейн действовал именно так, как стал бы действовать я сам на его месте. У каждого полковника он взял двоих лучших кавалеристов и собрал такой отряд, от которого никому не уйти. И если они пустятся в погоню за императором, а при нем не будет конвоя, да помилует его бог!

Представьте же себе, дорогие друзья, каково было мне — меня била лихорадка, бросало в жар, я едва не лишился рассудка. О Груши я больше не думал. На востоке не было слышно стрельбы. Значит, он далеко. Если он и подойдет, то все равно опоздает, и исход сражения будет уже решен. Солнце стояло низко, до темноты оставалось всего два или три часа. Так что не имело никакого смысла выполнять приказ. Зато появилось другое, более срочное и важное дело, от которого зависело спасение императора, а может быть, и его жизнь. Любой ценой, невзирая ни на какую опасность, я должен прорваться к нему. Но как это сделать? Путь к своим мне преграждала вся прусская армия. Они отрезали все дороги, но дорогу долга отрезать невозможно, когда Этьен Жерар видит ее перед собой. Дольше медлить было нельзя. И я решился ехать.

Спуститься с чердака я мог только по лестнице, тут уж ничего не попишешь, так как другого люка не было. Я заглянул в кухню и увидел, что молодой врач все еще там. Раненый английский адъютант сидел на стуле, а рядом на соломе лежали в совершенном изнеможении двое прусских солдат. Остальные уже пришли в себя, и их отправили в тыл. Итак, мне, чтобы добраться до своего коня, предстояло пройти мимо врагов. Врача мне нечего было бояться; англичанин был ранен, и к тому же его сабля вместе с плащом лежала в углу; двое немцев валялись почти без чувств, и ружей около них не было видно. Чего же проще? Я поднял крышку люка, соскольз-

нул вниз по лестнице и появился среди них с обнаженной саблей в руке.

Видели бы вы их удивление! Врач, тот, конечно, все знал, но англичанину и двум немцам, должно быть, показалось, что сам бог войны спустился с небес. Пожалуй, на меня и впрямь стоило посмотреть, я был великолепен в серебристо-сером мундире со сверкающей саблей в руке. Оба немца окаменели, вытаращив глаза. Английский офицер привстал, но от слабости снова упал на стул, разинув рот.

— Что за черт! — повторял он. — Что за черт!

— Ни с места, — сказал я. — Я никого не трою, но горе всякому, кто попытается меня задержать. Если вы не будете мне мешать, вам нечего бояться, но берегитесь оказаться на моем пути. Я полковник Этьен Жерар из Конфланского гусарского полка.

— Ах черт! — сказал англичанин. — Тот самый, что убил лису.

Его лицо перекосилось от злобы. Охотничья зависть — изменное чувство. Этот англичанин ненавидел меня за то, что я, а не он убил лисицу. До чего же разные у нас характеры! Сделай он это у меня на глазах, я обнял бы его, радуясь и ликуя. Но пререкаться было некогда.

— Мне, право, очень жаль, сэр, — сказал я. — Но я вынужден буду позаимствовать у вас плащ.

Он попытался встать со стула и дотянуться до сабли, но я загородил угол, где она лежала.

— Есть у вас что-нибудь в карманах?

— Шкатулка, — ответил он.

— Не стану вас грабить, — сказал я. Взяв плащ, я вынул из кармана серебряную флягу, квадратную деревянную шкатулку и подозрительную трубу. Все это я отдал ему. Но тут этот негодяй открыл шкатулку, достал пистолет и прицелился мне в лоб.

— А теперь, милейший, — сказал он, — положите-ка свою саблю и сдавайтесь.

Я был так поражен этим низким коварством, что буквально остолбенел. Я пытался говорить о чести, о благодарности, но глаза его над стволом пистолета стали еще злее.

— Довольно болтать! — сказал он. — Бросай оружие!

Мог ли я вынести такое унижение? Лучше умереть, чем дать себя обезоружить таким образом. Я уже готов был крикнуть: «Стреляй!», — как вдруг англичанин куда-то исчез, и на его месте выросла гряда сена, среди которой барахтались рука в красном рукаве и пара ботфорт. Ах, моя храбрая хозяйшюка! Бакенбарды меня спасли.

— Беги, солдатик, беги! — воскликнула она и навалила еще сена на барахтающегося англичанина. В мгновение ока я перебежал двор, вывел Фиалку из конюшни и вскочил в седло. Из окна грянул выстрел, пуля просвистела у самого моего плеча, и я увидел искаженное яростью лицо. Я презрительно усмехнулся, прищпорил лошадь и вылетел на дорогу. Последний прусский солдат уже скрылся в лесу, путь к исполнению долга был свободен. Если Франция победила, все в порядке. Если Франция побеждена, то от меня и от моей лошадки зависит даже больше, чем победа или поражение, от меня зависит спасение и жизнь императора. «Вперед, Этьен, вперед! — воскликнул я. — Из всех твоих славных подвигов тебе сейчас предстоит самый великий, пусть даже он будет последним!»

2. РАССКАЗ О ДЕВЯТИ ПРУССКИХ КАВАЛЕРИСТАХ

В прошлый раз, друзья мои, я рассказал о том, как император поручил мне доставить важный приказ маршалу Груши, но мне не удалось исполнить его поручение в силу неожиданных обстоятельств, и я целый долгий день просидел на чердаке харчевни, не имея возможности выйти, потому что вокруг были прусские войска. Вы помните, как я подслушал приказ прусского начальника штаба графу Штейну и узнал про опасный план, который они сразу начали приводить в исполнение, — убить или взять в плен императора после разгрома Французской армии. Сперва я не мог этому поверить, но пушки гремели весь день, и канонада не приближалась, а это значило, что англичане, во всяком случае, не отступают и отбили все наши атаки.

Я уже говорил, что в тот день душа Франции натолкнулась на тушу Англии, но надо признать, что туша ока-

залась весьма крепкой. А если императору не удалось справиться с одними англичанами, то теперь, когда шестьдесят тысяч этих проклятых пруссаков лезут с фланга, ему и впрямь приходится туго. И как бы то ни было, зная о тайных планах врага, я должен быть рядом с ним.

В прошлый раз я вам рассказывал, как смело я вырвался из харчевни и умчался во весь опор, а этот идиот английский адъютант в бессильной злобе грозил мне кулаком из окна. Оглянувшись на него, я поневоле рассмеялся, потому что его злое, красное лицо все было облеплено сеном. Выехав на дорогу, я привстал на стременах и накинул красивый черный плащ на красной подкладке, принадлежавший англичанину. Он доходил мне до самых ботфорт и совершенно скрыл мундир, который мог меня выдать. Что же до моего кивера, то такие носят и немцы, следовательно, он не должен был привлечь к себе внимание. Если со мной никто не заговорит, я вполне смогу проехать через всю прусскую армию; но, хотя я и понимал по-немецки, поскольку в то золотое время, когда мы воевали в этой стране, у меня там было очень много знакомых дам, говорил я с красивым парижским акцентом, который сразу отличишь от их грубой, немелодичной речи. Я знал, что этот акцент сразу же меня выдаст, но мне оставалось только уповать на бога и надеяться, что я сумею проехать молча.

Парижский лес был такой огромный, что нечего было и думать объехать его стороной, поэтому я собрал все свое мужество и поскакал прямо по дороге, по которой прошла прусская армия. Найти дорогу не составило труда, колес от пушек и повозок с зарядными ящиками были глубиной не меньше двух футов. Вскоре я увидел, что по обе стороны от меня валяются раненые, пруссаки и французы, — здесь авангард Бюлова столкнулся с гусарами Марбо. Один старик с длинной седой бородой, видимо, врач, окликнул меня и побежал вслед за мной, но я даже головы не повернул и не обратил никакого внимания на его крики, только прищипорил коня. Он давно уже скрылся за деревьями, а крики его все еще были слышны.

Вскоре я доехал до прусских резервов. Пехотинцы стояли, опершись на ружья, некоторые, обессилив, ле-

жалн на мокрой земле, а офицеры собрались кучками, прислушиваясь к могучему грохоту и обсуждая вести с поля битвы. Я промчался мимо них во весь опор, но один из них выбежал на дорогу, преградил мне путь и поднял руку, приказывая остановиться. На меня смотрели глаза пяти тысяч пруссаков. Да, это был ужасный миг! Вы бледнеете, друзья мои, от одной мысли об этом. А у меня просто волосы встали дыбом. Но ни на секунду меня не покинули самообладание и мужество. «Генерал Блюхер!» — крикнул я. Не мой ли ангел-хранитель шепнул мне на ухо эти слова? Пруссак отскочил в сторону, отдал честь и указал вперед. У них прекрасная дисциплина, у этих пруссаков, да и кто он такой, чтобы остановить офицера, который скачет с донесением к генералу? Теперь я словно обрел талисман, с которым невредимый пройду через все опасности, и при этой мысли душу мою наполнило ликование. Я был в таком восторге, что уже не ждал вопроса, а сам, проезжая среди войск, кричал направо и налево: «Генерал Блюхер! Генерал Блюхер!» — и все указывал вперед и расступались, давая мне дорогу. Бывают обстоятельства, когда нахальство — это высшая мудрость. Но нельзя злоупотреблять этим, а я, признаться, перестарался. Когда я был уже совсем близко от поля сражения, один уланский офицер схватил моего коня под уздцы и указал на группу людей, которые стояли подле горящего дома.

— Вон маршал Блюхер. Передайте ему донесение! — сказал он, и правда, этот ужасный седой старик был от нас на расстоянии пистолетного выстрела и смотрел прямо на меня.

Но мой добрый ангел-хранитель не оставил меня. Как молния промелькнула у меня в голове фамилия генерала, который командовал авангардом прусских войск.

— Генерал Бюлов! — крикнул я. Улан отпустил уздечку. — Генерал Бюлов! Генерал Бюлов! — кричал я, а мой добрый конь с каждым шагом уносил меня все ближе к своим.

Я проскакал через горящую деревню Плансиуа, промчался между двумя колоннами прусской пехоты, заставил лошадь перепрыгнуть через изгородь, зарубил силезского гусара, бросившегося мне наперерез, и через

мгновенье, распахнув плащ, чтобы виден был мой мундир, пронесся через ряды Десятого полка и снова оказался в самой середине корпуса Лобо. Его обошли с флангов, и он медленно отступал перед превосходящими силами противника. Я поскакал дальше, думая только о том, как добраться до императора.

Но то, что я увидел, приковало меня к месту, словно я вдруг превратился в величественную конную статую. Не в силах пошевелиться, я едва дышал. Я очутился на холме, и передо мной открылась вся длинная, неглубокая долина Ватерлоо. Еще недавно, уезжая отсюда, я видел по ее краям две огромные армии, а посередине открытое пространство. Теперь же на обоих склонах виднелись лишь остатки потрепанных и разбитых полков, а посередине — целая армия убитых и раненых. На две мили в длину и на полмили в ширину земля была сплошь усеяна трупами. Но вид побоища был для меня не нов, и не от этого я оцепенел. А оттого, что на длинном склоне, где были английские позиции, вырос подвижный лес, черный, шевелящийся, колышущийся, густой. Мне ли не узнать медвежьи шапки гвардейцев? Не мое ли чутье солдата подсказало мне, что это последний резерв Французи, что император, как отчаявшийся игрок, поставил все на последнюю карту? Гвардейцы поднимались все выше, величественные, бесстрашные, не дрогнув под ружейными залпами и ураганным огнем артиллерии, они катились вперед грозной черной волной и захлестнули английские батареи. В подзорную трубу я увидел, как английские артиллеристы попрятались под свои пушки или бросились бежать. А волна медвежьих шапок катилась все дальше и наконец с грохотом, который донесся до меня, схлестнулась с английской пехотой. Прошла минута, другая — третья. У меня упало сердце. Они топтались на месте; они уже не наступали; их остановили. Боже правый! Возможно ли, что они дрогнули? Одна черная точка скользнула вниз по склону, потом две, четыре, десять, и вот огромная, беспорядочная, бурлящая толпа дрогнула, остановилась, снова дрогнула и наконец в беспорядке, обезумев, устремилась вниз. «Гвардия разбита! Гвардия разбита!» Этот крик несся со всех сторон. По всему фронту пехота обратилась в бегство, артиллеристы побросали пушки.

«Старая гвардия разбита! Гвардия бежит!» Выкрикивая эти слова, мимо меня пробежал офицер с мертвенно-бледным лицом. «Спасайтесь! Спасайтесь! Нас предали! — кричал другой. — Спасайтесь! Спасайтесь!» Люди, потеряв рассудок, бежали прочь с поля боя, они метались и прыгали, как стадо перепуганных баранов. Со всех сторон неслись крики и вопли. Я оглядел английские позиции, и то, что я увидел, мне никогда не забыть. На фоне зловещего заката отчетливо вырисовывался черный силуэт одинокого всадника. Он был такой черный и недвижный в мрачном, мертвенном свете, словно сам бог войны спустился в эту ужасную долину. Я видел, как он высоко поднял над головой шляпу, и по этому сигналу, с глухим яростным ревом, подобным реву при боях, вся английская армия хлынула по склону и захлестнула долину. Длинные, ошетилившиеся сталью красносиние шеренги, стремительные волны кавалерии, конные батареи, с грохотом подпрыгивавшие на кочках, разом устремились вниз, на наши редущие ряды. Все было кончено. От одного нашего флага до другого пронесся душераздирающий крик храбрецов, которые видят безнадежность своего положения, и вмиг вся славная армия была сметена, превратилась в обезумевшую, охваченную ужасом толпу. Вы видите, друзья мои, что даже теперь я не могу говорить об этом ужасном мгновении без слез и без дрожи в голосе.

Сначала этот дикий поток захватил меня и понес, как ручей соломнику. И вдруг среди смешавшихся полков я увидел суровых всадников в серебристо-серых мундирах, которые ехали, высоко подняв порванное и потрепанное знамя! Вся мощь Англии и Пруссии не могла сломить гусар Конфланского полка. Но, когда я приблизился к ним, сердце мое облилось кровью. Майор, семь капитанов и пятьсот рядовых остались лежать на поле брани. Командовал полком молодой капитан Сабатье, и когда я спросил его, где пять недостающих эскадронов, он указал назад и сказал: «Вы найдете их вокруг одного из английских каре». Люди и кони едва дышали, они были взмыленные и грязные; но когда я увидел, что остатки потрепанного полка все же едут сомкнутым строем и все как один, от юного трубача до старого полкового сержанта, на своих местах, сердце мое

преисполнилось гордостью. Если б я мог повести их за собой для охраны императора! Окруженный гусарами Конфланского полка, он был бы в полной безопасности. Но их кони слишком устали и еле плелись шагом. И я поехал вперед, отдав приказ собраться возле деревушки Сент-Онэ, где мы два дня назад стояли лагерем. Я нахлестывал лошадей, торопясь найти императора.

Пробираясь через эту ужасную толпу, я насмотрелся такого, что никогда не изгладится из моей памяти. По ночам мне снова и снова снится это море мертвенно-бледных лиц, с вытаращенными глазами, ртами, разинутыми в крике, которое плескалось подо мной. Это был настоящий кошмар. В пылу победы не чувствуешь всех ужасов войны. Только в ледящем душу ознобе поражения сознаешь их до конца. Помню старого гвардейца-гренадера, он лежал на обочине дороги, и его сломанная нога торчала в сторону. «Братцы, братцы, не наступайте мне на ногу!» — кричал он, но все равно его топтали и пинали. Передо мной ехал уланский офицер, голый до пояса. Ему только что отняли руку в лазарете. Повязка съехала. Это было ужасно: Двое артиллеристов пытались протолкнуть свое орудие. Какой-то егерь вскинул ружье и выстрелил одному из них в голову. Я видел, как майор кирасирского полка вытащил из седельной кобуры два пистолета и сначала пристрелил свою лошадь, а потом пустил пулю себе в лоб. У самой дороги человек в синем мундире вопил и бесновался, как одержимый. Лицо у него почернело от порохового дыма, мундир разорвался, одного эполета не было, другой болтался на груди. Только подъехав к нему совсем близко, я узнал его — это был маршал Ней. Он буквально был на бегущие войска, да, да, это был вой зверя. Вдруг он поднял обломок своей шпаги — она была сломана в трех дюймах от эфеса.

— Глядите, как умеет умирать маршал Франции! — воскликнул он.

Я с охотой последовал бы его примеру, но мой долг звал меня дальше. Вы знаете, что он не нашел тогда смерти, которой искал, но хладнокровно принял ее через несколько недель от своих врагов¹.

¹ После реставрации Людовика XVIII маршал Ней был приговорен к смертной казни и расстрелян.

Есть старая пословица, что в наступлении француз смелее льва, а в отступлении — хуже зайца. И в тот день я понял, что это так. Но даже в этой сумятице я видел такое, о чем могу рассказать с гордостью. Через поля, в отдалении от дороги, двигались три резервных батальона гвардии Камброна, краса и гордость нашей армии. Они шагали медленно, выстроившись в каре, и знамена развевались над величественными медвежьими шапками. Вокруг них неистовствовала английская кавалерия, черные уланы герцога Брауншвейгского набегали волна за волной, с грохотом разбивались о них и откатывались. Когда я видел этих гвардейцев в последний раз, шесть английских пушек разом выпалили в них картечью, английская пехота окружила их с трех сторон и осыпала пулями; но, подобно тому, как отважный лев отбивается от свирепых собак, которые наедаются на него с боков, остатки доблестной гвардии с честью выходили из последнего боя, медленно, шаг за шагом, то и дело останавливаясь, выравнивая и смыкая ряды. Неподалеку на склоне стояла гвардейская батарея двенадцатифунтовых пушек. Все артиллеристы были на местах, но пушки молчали.

— Почему вы не стреляете? — спросил я, проезжая мимо, у их полковника.

— Порох кончился.

— Тогда почему же не отступаете?

— Может быть, мы их хоть немного отпугнем своим видом. Надо дать императору время спастись.

Таковы были французские солдаты.

Под прикрытием этих храбрецов остальные перевели дух и двигались уже без прежней паники. Они разбрелись в стороны от дороги, и в сумерках я повсюду видел трусливую, беспорядочную, перепуганную толпу, которая десять часов назад была лучшей армией из всех, какие когда-либо вступали в бой. Я на своей резвой лошади вскоре выбрался из толпы и, миновав Женап, нагнал императора с остатками его штаба. Сулыт все еще был при нем, и Друо, Лобо и Бертраи тоже, вместе с пятью гвардейцами егерского полка, но лошади их едва плелись. Было уже почти темно, и когда император повернулся ко мне, лицо его смутно белело.

— Кто это? — спросил он.

— Полковник Жерар, — ответил Сульт.
— Вы нашли маршала Груши?
— Нет, ваше величество. Там были пруссаки.
— Это не имеет значения. Теперь ничто не имеет значения. Сульт, я вернусь назад.

Он попытался повернуть, но Бертран схватил его коня под уздцы.

— Ах, ваше величество, — сказал Сульт, — враг и без того торжествует.

И, окружив императора, они заставили его ехать дальше. Он ехал молча, склонив голову на грудь, — самый великий и скорбный из людей. А далеко позади все грохотали неумолимые пушки. Иногда в темноте слышались крики, стоны и быстрый глухой стук копыт. Но мы лишь прищипывали коней и спешили вперед, обгоняя отступающие в беспорядке войска. Мы ехали всю ночь при свете луны и наконец оставили позади и преследователей и преследуемых. Когда мы миновали мост при въезде в Шарлеруа, уже занималась заря. Должно быть, в ее холодном и ясном свете мы казались толпой призраков — император с бледным, словно восковым, лицом, Сульт, весь черный от порохового дыма, Лобо в пятнах крови! Но теперь мы ехали спокойнее и перестали оглядываться назад, так как Ватерлоо осталось более чем в тридцати милях позади. В Шарлеруа мы взяли одну из карет императора и теперь, остановившись на другом берегу Самбры, спешили.

Вы спросите, почему я все это время ни словом не обмолвился о самом главном — о необходимости бдительно охранять императора. Клянусь, я пытался заговорить об этом и с Султом и с Лобо, но они были так потрясены несчастьем и так заняты неотложными заботами, что невозможно было заставить их понять, какие важные сведения я привез. Кроме того, весь этот долгий путь вместе с нами по дороге двигалось много французских беглецов, и, как ни подавлены они были, мы все же могли не бояться нападения девяти человек. Теперь же, в это раннее утро, когда мы стояли вокруг кареты императора, я с тревогой увидел, что на длинной белой дороге, уходившей вдаль позади нас, нет ни одного французского солдата. Мы опередили армию. Я огляделся в поисках каких-нибудь средств защиты. Конн егерей

пали, и нас сопровождал теперь только один из них, сержант с седыми бакенбардами. Оставались Сульт, Лобо и Бертран; но при всех их талантах, если дойдет до настоящей схватки, я предпочел бы одного-единственного гусарского квартирмейстера всем трем вместе. Кроме них, был еще сам император, кучер и камердинер, который присоединился к нам в Шарлеруа, итого восемь человек; но из этих восьми только двое, егерь и я, были настоящими бойцами, на которых можно было положиться в крайнюю минуту. Я похолодел, когда понял, как мы беспомощны. И тут, подняв глаза, я увидел, что в гору поднимаются девять прусских всадников.

Дорога в том месте шла через широкую холмистую равнину — часть ее желтела посевами, а часть была пойма Самбры и поросла густой травой. К югу от нас была цепь невысоких холмов, через которую переваливала дорога во Францию. По этой дороге и ехала кучка всадников. Граф Штейн неукоснительно выполнил приказ, он взял южнее, уверенный, что обгонит императора. Теперь он двигался нам навстречу — с этой стороны мы меньше всего могли ожидать нападения. Когда я их заметил, они были в полумиле от нас.

— Ваше величество! — воскликнул я. — Пруссаки!

Все вздрогнули и вытаращили на меня глаза. Молчание нарушил император.

— Кто говорит, что это пруссаки?

— Я, ваше величество, я, Этьен Жерар!

Когда кто-нибудь сообщал императору неприятную новость, он всегда гневался на этого человека. И он принялся ругать меня хриплым, надтреснутым голосом, с корсиканским акцентом, который у него появлялся, когда он выходил из себя.

— Вы всегда были шутом! — воскликнул он. — С чего это вам, болван вы этакий, взбрело на ум, что там пруссаки? Как могут пруссаки ехать из Франции? Если у вас и была голова, вы ее потеряли.

Его слова как плетью хлестали меня, но каждый из нас испытывал к императору те же чувства, что старая собака к своему хозяину. Она тут же все забывает и прощает ему побои. Я не стал спорить или оправдываться. Мне сразу бросились в глаза белые чулки на

передних ногах головной лошади, и я отлично знал, что на ней сидит граф Штейн. Девять всадников придерживали коней и принялись нас разглядывать. Потом они дали коням шпоры и с торжествующим криком помчались по дороге прямо к нам. Они знали, что добыча не ускользнет.

Когда они стремительно ринулись на нас, всякие сомнения исчезли.

— Ваше величество, клянусь богом, это действительно пруссаки! — воскликнул Сульц. Лобо и Бертран метались по дороге, как две перепуганные курницы. Егерский сержант, изрыгая проклятия, обнажил саблю. Кучер и камердинер вопили и ломали руки. Наполеон стоял с каменным лицом, поставив одну ногу на подножку кареты. А я... ах, друзья мои, я был великолепен! Какими словами описать мое поведение в этот славный миг моей жизни? Я весь подобрался, призвал на помощь все свое хладнокровие, всю ясность ума и был готов действовать. Он назвал меня болваном и шутком. Как быстро и как благородно я отомстил ему! Когда он сам потерял голову, помог ему не кто иной, как Этьен Жерар.

Вступать в бой было бы нелепо; бежать — смешно. Император был такой грузный и к тому же валнулся с ног от усталости. Да и вообще он никогда не был хорошим кавалеристом. Разве ему уйти от этих людей, лучших наездников в целой армии? Ведь среди них самый знаменитый кавалерист Пруссии. Но я был самым знаменитым кавалеристом Франции. Только я и мог с ними тягаться. Если они примут меня за императора и погонятся за мной, есть еще надежда на счастливый исход. Все эти мысли молиней сверкнули у меня в голове. Еще мгновение, и я перешел к быстрым и решительным действиям. Я бросился к императору, который, казалось, окаменел; от врагов его скрывала карета.

— Ваш сюрок, ваше величество! Вашу шляпу! — воскликнул я.

Я сорвал с него сюрок и шляпу. Никогда еще с ним не обращался так непочтительно. Мгновенно облачившись в них, я толкнул его в карету. Потом вскочил на его знаменитого арабского скакуна и вылетел на дорогу.

Вы уже, конечно, поняли, что я задумал; но у вас может возникнуть вполне справедливый вопрос: как это я рассчитывал, что меня примут за императора? Ведь вы еще сейчас можете видеть, как я прекрасно сложен, он же никогда не был хорош собой,—полный, невысокого роста. Но когда человек сидит в седле, трудно определить его рост, что же касается всего прочего, то достаточно пригнуться, сгорбить спину и стараться быть похожим на мешок с мукой. На мне была треуголка и широкий серый сюртук с серебряной звездой, знакомый в Европе каждому ребенку. Подо мной был знаменитый белый конь императора. Этого было довольно.

Пруссак были уже от нас в двух сотнях шагов. Я с нарочитым отчаянием взмахнул руками и заставил коня вскочить на придорожную насыпь. Этого оказалось достаточно. Пруссак издали крик, полный торжества и злобой ненависти. Это был вой голодных волков, почуявших добычу. Я прищепил коня и помчался через пойменные луга, оглядываясь назад и прикрывая лицо ладонью. Ах, это был славный миг, когда я увидел, что восемь всадников одни за другим перемахнули через насыпь и устремились за мной! Только один замешкался, и я услышал крики и шум схватки. Я вспомнил про старого сержанта и с уверенностью сказал себе, что одним врагом стало меньше. Путь был свободен, император мог ехать дальше.

Теперь пришло время подумать о себе. Если пруссаки настигнут меня, они рассвирепеют, и расправа будет короткой. Ну что ж, раз уж мне суждено умереть, я по крайней мере дорого продам свою жизнь. Но я надеялся, что мне удастся уйти от них. Будь там обычные всадники на обычных лошадях—это не составило бы для меня никакого труда, но и всадники и кони были лучшие из лучших. Подо мной конь был отличный, но он устал после долгой ночной скачки, а император не очень-то умел беречь лошадей. Он совсем о них не думал и без жалости рвал поводья. Но ведь Штейн и его люди тоже совершили долгий и быстрый бросок. Скачки проходили на равных.

До сих пор я действовал под влиянием мгновенного порыва и не успел подумать о том, как спастись само-

му. Подума́й я об этом, я, разумеется, поскакал бы назад по той же дороге и в конце концов добрался бы до своих. Но я проехал уже больше миль в сторону от дороги, прежде чем это пришло мне в голову. Оглянувшись, я увидел, что мои преследователи растянулись длинной вереницей, стараясь отрезать меня от дороги на Шарлеруа. Я не мог повернуть назад, но мог по крайней мере постепенно забираться к северу. Я знал, что вся округа полна нашими отступающими войсками и рано или поздно кто-нибудь из своих попадется мне на пути.

Но я забыл об одном — о Самбре. Разгоряченный, я не вспомнил об этой реке до тех пор, пока не увидел ее, широкую и полноводную, сверкающую под лучами утреннего солнца. Она преградила мне путь, а пруссаки радостно выли у меня за спиной. Я доскакал до воды, но дальше конь никак не шел. Я дал ему шпоры, но берег был высок, а река глубока. Дрожа и фыркая, он попятился. Торжествующие вопли все приближались. Я повернул и помчался во весь опор по берегу. В том месте река образовывала излучину, через которую мне предстояло как-то перебраться, так как путь назад был отрезан. И вдруг в душе у меня блеснула надежда — я увидел на этом берегу дом, а на том — еще один. Два таких дома обычно означают, что между ними брод. К воде вел пологий спуск, и я направил по нему коня. Он повиновался, и вскоре вода дошла до седла, она пенилась справа и слева. Один раз конь потерял опору, оступился, и я уже думал, что мы пропали, но он снова нащупал дно и через мгновение уже скакал по противоположному склону. Когда мы выбрались из воды, я услышал позади плеск — это первый из пруссаков въехал в реку. Нас разделяла теперь только ширина Самбры.

Я ехал, втянув голову в плечи, как это делал Наполеон, и не смел оглянуться, боясь, что они увидят мои усы. Чтобы хоть как-то скрыть их, я поднял воротник серого сюртука. Ведь даже теперь они, поняв свою ошибку, еще могли повернуть назад и настичь карету. Скоро мы снова скакали по дороге. Стук копыт за моей спиной становился все громче — погоня настигала меня. Мой конь мчался по каменной, избитой дороге, кото-

рая вела от брода. Я украдкой взглянул назад из-под руки и увидел, что меня нагоняет только один всадник, который далеко опередил своих товарищей. Это был маленький, щуплый гусар на огромном черном коне, он оказался впереди благодаря своему малому весу. Быть впереди почетно, но вместе с тем и опасно, в чем ему вскоре довелось убедиться. Я ощупал кобуры, но к моему ужасу пистолетов там не оказалось. В одной я нашарил подзорную трубу, другая была набита бумагами. Моя сабля осталась на седле у Фялки. Но я был не совсем безоружен. На седле висела сабля самого императора. Она была короткая и кривая, с золотой насечкой,—такая штука более пригодна для того, чтобы сверкать на парадах, чем служить воину в минуту смертельной опасности, но я выхватил ее из ножен, какую ни на есть, и ждал только случая пустить в ход. С каждой секундой стук копыт приближался. Я слышал фыркание лошади и угрожающие крики всадника. Впереди был крутой поворот, и, едва миновав его, я поднял своего белого арабского скакуна на дыбы. За поворотом я оказался лицом к лицу с прусским гусаром. Он не успел остановиться, и ему оставалось лишь одно—сшибить меня с разгона. Если б это удалось ему, он погиб бы сам, зато искалечил бы меня или мою лошадь, и я уже не мог бы спастись бегством. Но этот болван, видя, что я жду его, взял вправо и проскакал мимо. Я сделал выпад через шею своего скакуна и вонзил свою игрушечную саблю ему в бок. Должно быть, она была из превосходной стали и острая, как бритва, потому что я и не почувствовал, как она вошла в него, но кровь обагрила клинок почти до самого эфеса. Лошадь поскакала дальше, и раненый еще сотню шагов держался в седле, а потом повалился вперед, зарывшись лицом в гриву, соскользнул на бок и упал на дорогу. А я уже скакал вслед за его лошадью. Все, о чем я рассказал, продолжалось лишь несколько секунд.

Я услышал, как пруссаки злобно завопили далеко позади,—это они проехали мимо своего мертвого товарища, и я не удержался от улыбки при мысли о том, каким лихим кавалеристом и рубакой они считают императора. Я снова украдкой поглядел назад и увидел, что ни один из семерых не остановился. Судьба това-

рища была ничто в сравнении с их главной целью. Они были неустойчивы и кровожадны, как гонимые. Но я вырвался далеко вперед, и мой скакун шел шагом. Я уже думал, что спасен, но в этот самый миг на меня надвинулась смертельная опасность. Я очутился на развилке и выбрал из двух дорог ту, что поуже, потому что она заросла травой и коню мягче было по ней скакать. Представьте же себе мой ужас, когда, проехав через какие-то ворота, я очутился в тупике среди конюшен и крестьянских домов, откуда был только один путь — назад! Ах, друзья, если волосы мои белые, как снег, то разве мало мне пришлось пережить?

Нечего было и думать повернуть обратно. Я огляделся, — глаз-то у меня острый от природы, ведь для солдата это важнее всех прочих качеств, а для кавалерийского командира тем более. Между длинным рядом низких конюшен и одним из домов был загон для свиней. Передняя стена была бревенчатая, высотой в четыре фута, задняя — каменная и выше передней. Что за нею, я не знал. Переднюю стену от задней отделяло всего несколько ярдов. И я решился на отчаянную попытку. Стук копыт нарастал с каждым мгновением. Я заставил своего скакуна прыгнуть в загон. Бревенчатую стену он перемахнул без труда, но, угодив передними копытами в спящую свинью, поскользнулся и упал на колени. Я перелетел через вторую стену и свалился ничком на мягкую цветочную клумбу. Мой конь был по одну сторону стены, я — по другую, а пруссаки в это время ворвались во двор. Но я мигом вскочил на ноги, перегнулся через стену и схватил упавшего коня под уздцы. Стена была сухой кладки, я сбросил сверху несколько камней, благодаря чему образовалась брешь. Я с криком дернул поводья, мой храбрый конь прыгнул, очутился по эту сторону стены, и я мигом вдел ногу в стремя.

Когда я вскочил в седло, мне пришла героическая мысль. Этим пруссакам, чтобы одолеть стену, придется прыгать по одному, и справиться с каждым по отдельности будет не так уж трудно, потому что враг не успеет прийти в себя после прыжка. Почему бы мне не подождать и не перебить их одного за другим? Это была славная мысль. Пусть знают, что нельзя безнаказанно гоняться за Этьеном Жераром. Я схватился за саблю,

но представьте себе мои чувства, друзья, когда оказалось, что ножны пусты. Сабля выпала, когда конь споткнулся об эту проклятую свинью. Вот от каких нелепых пустяков зависит человеческая судьба — свинья на одной чаше весов, Этьен Жерар — на другой! Может быть, перепрыгнуть через стену и подобрать саблю? Нет, поздно! Пруссак были уже во дворе. Я повернул своего коня и снова пустился наутек.

Но тут я попал в еще худшую ловушку. Я очутился в фруктовом саду с грядками цветов по краям. Сад был обнесен высокой стеной. Однако я сообразил, что должен же тут быть какой-то вход, ведь едва ли хозяева рассчитывали, что все гости станут прыгать сюда через свинарник. Я поскакал вдоль стены. Как я и ожидал, в ней оказалась калитка, ключ торчал изнутри. Я слез с лошади, повернул ключ, открыл калитку и увидел в каких-нибудь шести футах от себя прусского улана на коне.

Секунду мы таращили друг на друга глаза. Потом я захлопнул калитку и снова запер ее. В дальнем конце сада послышались шум и крики. Я понял, что один из моих врагов свалился с лошади, пытаюсь перепрыгнуть через стену свинарника. Как мне было выбраться из этого тупика? Ясно, что часть отряда поскакала кружным путем, а часть пустилась вслед за мной. Будь при мне сабля, я без труда справился бы с уланом у калитки, а так сунуться туда означало верную смерть. И все же, если я стану медлить, несколько пруссаков, спешившись, наверняка переберутся через свинарник, и как мне тогда быть? Надо действовать немедленно, иначе я пропал. Но именно в такие мгновенья мой мозг работает особенно четко. Взяв коня под уздцы, я пробежал вдоль стены шагов сто от того места, где меня подстерегал улан. Там я остановился и с грохотом свалил со стены несколько камней. Сделав это, я бросился назад к калитке. Как и следовало ожидать, он решил, что я разваливаю стену, намереваясь улизнуть, и я услышал стук копыт — он спешил отрезать мне путь. Вернувшись к калитке, я оглянулся и увидел, как всадник в зеленом мундире — я знал, что это граф Штейн, — перескочил через стену свинарника и теперь с ликующим криком скакал во весь дух по саду.

— Сдавайтесь, ваше величество, сдавайтесь! — кричал он. — Мы вас пощадим.

Я выскользнул в калитку, но не успел запереть ее за собой. Штейн мчался за мной по пятам, а улан уже повернул коня назад. Вскочив на своего скакуна, я снова понесся по травянистой равнине. Штейну пришлось спешиться, открыть калитку, провести в нее лошадь, а потом снова сесть в седло, прежде чем продолжать погоню. Его я опасался больше, чем улана, чья лошадь была нечистых кровей и к тому же устала. Я проскакал во весь опор с мнью, прежде чем ринуться оглянуться, и тут оказалось, что Штейн в ружейном выстреле от меня, улан следует за ним примерно на таком же расстоянии, а далеко позади видны еще только трое. Теперь пруссаков было уже не девять, число их поубавилось, но даже один из них легко справился бы с безоружным.

Меня удивило, что за время этой долгой погоняи я не видел ни одного из наших отступающих солдат, и я подумал, что сильно удалился к западу от их пути и теперь, чтобы встретиться с ними, надо взять восточнее. В противном случае мои преследователи если и не настигнут меня, будут продолжать погоню до тех пор, пока мне не преградит путь кто-нибудь из их товарищей,двигающихся с севера. Взглянув на восток, я увидел вдалеке облако пыли, растянувшееся на много миль. Там, конечно, была дорога, по которой отступала наша несчастная армия. Но вскоре я убедился, что некоторые из отставших французов попали и на этот проселок, так как вдруг увидел лошадь, которая паслась на краю поля, а неподалеку, прижавшись спиной к насыпи, сидел ее хозяин, французский кирасир, видимо, смертельно раненный. Я соскочил с коня, схватил длинную тяжелую саблю кирасира и поскакал дальше. Никогда не забуду лицо этого бедняги, когда он взглянул на меня угасающими глазами. Это был старый, седоусый солдат, слепо преданный своему долгу, и, когда он в предсмертные мгновения увидел императора, для него это было подобно откровению свыше. Удивление, любовь, гордость озарили его бледное лицо. Он что-то сказал — боюсь, что это были его последние слова, но мне некогда было слушать, и я помчался дальше.

Все это время я скакал через пойменные луга, пересеченные широкими лощинами. Лощины эти иногда достигали четырнадцати, а то и пятнадцати футов в ширину, и у меня душа уходила в пятки всякий раз, как конь через них прыгал,—ведь стоило ему оступиться, и я погиб. Но тот, кто выбирал лошадей для императорской конюшни, видимо, знал свое дело. Конь только один раз заупрямился на берегу Самбры, но с тех пор ни разу меня не подвел. Мы мчались, обгоняя ветер. И все же я никак не мог оторваться от этих проклятых пруссаков. Всякий раз, перемахнув через какой-нибудь ручей, я с надеждой оглядывался назад и неизменно видел Штейна, который так же легко, как я, брал препятствие на своем белоногом гнедом коне. Это был мой враг, но я уважал его за мужество.

Снова и снова я прикидывал на глаз расстояние, отделявшее меня от преследователя. У меня мелькнула мысль: что, если резко повернуть назад и зарубить его, как зарубил я того гусара, прежде чем его товарищ подоспеет к нему на помощь. Но остальные пруссаки подтянулись и тоже были теперь близко. Я подумал, что этот граф Штейн, вероятно, владеет саблей не хуже, чем конем, и с ним сразу не справишься. А тем временем остальные поспешат к нему на выручку, и песенка моя спета. Поэтому разумнее всего уносить ноги.

Я увидел дорогу, обсаженную по обеим сторонам полями, которая шла через равнину с востока на запад. Она должна была привести меня к облаку пыли, поднятому отступающими французами. Поэтому я повернул коня и поскакал по ней. Справа от дороги показался одинокий дом с большой веткой над дверью вместо вывески—это была таверна. Возле нее стояло несколько крестьян, но их я не боялся. Испугало меня другое: впереди мелькнул красный мундир, значит, там англичане. Однако я не мог ни свернуть, ни остановиться, оставалось только махнуть рукой на опасность и скакать дальше. Регулярных частей поблизости не было, значит, это отставшие или мародеры, которых опасаться нечего. Приблизившись, я увидел, что двое англичан сидят на скамье у входа и пьют вино. Я видел, как они, шатаясь, встали на ноги,—ясно было, что оба мертвецки пьяны. Один, пошатываясь, вышел на середину дороги.

— Это Бонапарт! — воскликнул он. — Провалиться мне, если не Бонапарт!

Он растопырил руки и кинулся мне навстречу, но, на свое счастье, спьяну споткнулся и упал ничком на дорожку. Второй был опаснее. Он бросился в таверну, и я, промчавшись мимо, успел заметить, как он снова выскочил оттуда с ружьем. Он припал на одно колено, а я распластался на шее лошади. Одиночный выстрел пруссака или австрийца — это пустяк, но англичане были в то время лучшими стрелками в Европе, и как только этот пьянчуга почувствовал у плеча приклад, весь хмель с него соскочил. Я услышал грохот, и мой конь сделал такой отчаянный скачок, что немногие всадники усидели бы при этом в седле. У меня мелькнула мысль, что он ранен смертельно, но, обернувшись назад, я увидел кровь на его задней ноге. Я поглядел на англичанина — этот негодяй уже забивал в ствол новый заряд, но, прежде чем он успел насыпать на полку пороху, я был уже вне выстрела. Эти люди были пешне и не могли присоединиться к погоне, но я слышал, как они гикали и улюлюкали мне вслед, словно травли лисицу. Крестьяне тоже с криками бежали через поле, размахивая палками. Со всех сторон неслись вопли, всюду мелькали бегущие, размахивающие руками фигуры монахов преследователей. Подумать только, ведь это была облава на великого императора! Ах, как мне хотелось хорошенько угостить этих негодяев саблей!

Но я уже чувствовал приближение конца. Я сделал все, что было в человеческих силах, и даже больше, а теперь не видел выхода из положения. Конн монахов преследователей были измучены, но мой измучен не меньше и к тому же ранен. Он истекал кровью, и мы оставляли за собой на белой пыльной дороге красный след. Он бежал все медленней, и я знал, что рано или поздно он падет подо мной. Я оглянулся — пятеро пруссаков упорно настигали меня: Штейн скакал на сотню шагов впереди, за ним улан, а дальше — остальные трое. Штейн обнажил саблю и размахивал ею. Но я решил не сдаваться. Посмотрим, сколько пруссаков я сумею утащить с собой на тот свет. В этот славный миг все подвиги моей жизни живо предстали у меня перед глазами, и я понял, что этот последний подвиг — поистине достойное

завершение такого пути. Моя смерть будет роковым ударом для всех, кто меня любит, для моей дорогой матушки, для моих гусар и еще для некоторых, их я не назову. Но всем им дорога моя слава и честь, и я был уверен, что когда они узнают, как я скакал и как сражался в последний день своей жизни, то почувствуют не только скорбь, но и гордость. Я заставил молчать свое сердце и, видя, что мой скакун все сильнее припадает на раненую ногу, обнажил длинную саблю, которую взял у кирасира, стиснул зубы и изготовился к смертельному бою. Я уже хотел было натянуть поводья, боясь, что, если еще помедлю, мне придется пешим драться против пятерых конных. Но тут я взглянул вперед, и в сердце моем сверкнула надежда, а с губ сорвался ликующий крик.

Передо мной был лесок, а над ним виднелась церковная колокольня. Второй такой колокольни не найти — ее угол обрушился или был разбит молнией, и это придало ей совершенно фантастическую форму. Я видел ее всего два дня назад, это была церковь в деревне Госсели. Но сердце мое возликовало не оттого, что я надеялся добраться до деревни, — нет, теперь я знал, как спастись, ведь всего в полумиле оттуда был дом, его крыша уже виднелась среди деревьев, тот самый дом в Сент-Онэ, где мы стояли лагерем и где я назначил капитану Сабатье место сбора конфланских гусар. Они, конечно, уже там, мои орлы, надо только добраться туда. Мой конь слабел с каждым шагом. А шум погони все приближался. Я слышал хриплые немецкие ругательства буквально у себя за спиной. У самого уха просвистела пуля. Вонзив шпоры в бока моего бедного скакуна и немилосердно колотя его саблей, я гнал его, заставляя бежать из последних сил. Вот и открытые ворота усадьбы. Там, впереди, блеснула сталь. Штейн был уже в каком-нибудь десятке шагов позади, когда я влетел в ворота.

— Ко мне, друзья! Ко мне! — крикнул я что было мочи.

Послышалось гудение, словно в потревоженном улье. И тут мой великолепный арабский скакун пал подо мной, и я, свалившись на мощный камень двор, потерял сознание.

Таков был мой последний и самый славный подвиг, дорогие друзья,— весть о нем разнеслась по всей Европе, и имя Этьена Жерара вошло в историю. Увы! Все мои старания принесли императору всего несколько недель свободы, потому что пятнадцатого июля он сдался в плен англичанам. Но не моя вина, что он не сумел собрать войск, которые еще ждали его призыва во Францию, и одержать победу при новом Ватерлоо. Будь все остальные так же верны ему, как я, ход мировой истории мог бы измениться, император сохранил бы свой трон, и мне, старому, заслуженному бойцу, не пришлось бы владеть жалкую жизнь, сажая капусту, или коротать время на старости лет, рассказывая историю в кафе. Вы хотите знать, что случилось со Штейном и остальными пруссаками? О тех тронах, которые отпали по дороге, я ничего не знаю. Одного, как вы помните, я убил. Остались пятеро. Трех из них зарубили мои гусары, которым в первый миг показалось, что они в самом деле спасают императора. Штейн, легко раненный, попал в плен, и один из улан тоже. Они тогда так и не узнали правды, поскольку мы считали, что никакие сведения о местопребывании императора, истинные или ложные, распространять не следует, и граф Штейн был уверен, что всего несколько шагов отделяло его от славного подвига.

— Да, вы не напрасно преклоняетесь перед своим императором,— сказал он,— я никогда в жизни не видел человека, который так владел бы конем и саблей.

И он никак не мог взять в толк, почему молодой гусарский полковник от души смеялся над его словами. Со временем он узнал, в чем дело.

VIII

ПОСЛЕДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ БРИГАДИРА

Больше, дорогие друзья, вы не услышите моих рассказов. Говорят, человек, что заяц, который бежит по кругу и возвращается умирать на то же место, откуда начал свой путь. И вот меня зовет родная Гасконь. Ви-

жу голубую Гаронну, которая вьется меж виноградников, и синий океан, куда она несет свои воды. Вижу старинный город и лес мачт у длинной каменной пристани. Моя душа жаждет воздуха родины и тепла ее солнца. Здесь, в Париже, у меня есть друзья, дела, развлечения. А там все, кто знал меня, уже в могилах. И все же, когда юго-западный ветер шумит за моим окном, мне кажется, что это родная земля зовет сына, которому пора вернуться в ее лоно. В свое время я совершил то, что мне было суждено. Это время прошло. И жизнь тоже прошла. Нет, друзья мои, не печальтесь: что может быть счастливее жизни, которая оканчивается в почете и среди друзей. Разве не чувствуете вы торжественность минуты, когда человек приближается к концу долгого пути и виден поворот, за которым ждет неизвестное? Император и все его маршалы уже прошли этот темный поворот и скрылись за ним. Мои гусары тоже — их не осталось и пятидесяти в этом мире, остальные ждут меня там. Я должен идти. И сегодня, в этот прощальный вечер, я расскажу вам не просто случай, а нечто большее — я открою вам великую историческую тайну. До сих пор мои уста были сомкнуты, но я не вижу, почему бы не оставить после себя память об этом замечательном приключении, которое иначе бесследно канет в вечность, потому что я единственный из всех живущих на земле знаю о нем.

Итак, прошу вас перенестись вместе со мной в тысяча восемьсот двадцать первый год. Вот уже шесть лет не было с нами нашего славного императора, и только изредка из-за моря доходили глухие слухи. Вы не можете себе представить, как тяжело было всем нам, любившим его, знать, что он в плену и его великая душа изнывает на пустынном острове. С той минуты, как мы просыпались по утрам, и до ночи, когда сон смыкал наши глаза, мы были с ним всеми помыслами и стыдились, что он, наш вождь и повелитель, так унижен, а мы бессильны ему помочь. Многие были бы счастливы пожертвовать остатком своей жизни, чтобы хоть как-нибудь облегчить его участь, но, увы, мы могли только брюзжать, сидя в кафе, глядеть на карту и подсчитывать, сколько лиг океана отделяет нас от него. Будь он на луне — мы и то не могли бы помочь ему больше

ичем. Ведь все мы были простыми солдатами и не знали моря.

Конечно, у нас были свои мелкие невзгоды, которые отравляли жизнь не меньше, чем несчастья императора. Многие из нас носили прежде высокие чины и, вернись они к власти, снова получили бы их. Мы не считали возможным служить под белым флагом Бурбонов или принести присягу, которая могла обратить наше оружие против того, кого мы любили. И мы оказались не при деле, без всяких средств. Что оставалось нам, кроме как собираться вместе, пересказывать друг другу слухи и ворчать, и те, у кого было немного денег, платили по счету, а те, у кого ничего не было, пили за компанию. Иногда, на наше счастье, удавалось затеять ссору с кем-нибудь из королевских гвардейцев, и если он оставался лежать в Булонском лесу, нам казалось, что мы снова сражались за Наполеона. Со временем гвардейцы узнали наши излюбленные места и избегали их, словно то были гнезда шершней.

В одном из таких мест—кафе «У великого человека», на рю Варени,—обычно собирались самые славные и молодые офицеры армии Наполеона. Почти все мы были полковниками или адъютантами, и когда среди нас оказывался человек ниже чином, мы обычно давали ему почувствовать, что это непозволительная вольность. Бывал там капитан Лепин, награжденный в Лейпциге почетной медалью, полковник Боние, адъютант Макдональда, полковник Журдан, который пользовался в армии почти такой же славой, как и я, Сабатье из моего гусарского полка, Менье из полка Красных улан, Ле Бретон из гвардии и много других. Каждый вечер мы собирались там, беседовали, играли в домино, выпивали стаканчик-другой и размышляли о том, скоро ли вернется император и мы снова встанем во главе своих полков. Бурбоны в то время уже потеряли во Франции всех своих приверженцев, это стало ясно через несколько лет, когда весь Париж поднялся против них и их в третий раз изгнали из Франции. Наполеону стоило только высадиться на французском берегу, и он без единого выстрела дошел бы до столицы, точно так же, как при возвращении с Эльбы.

Вот как обстояли дела, когда однажды февральским вечером к нам в кафе явился преудивительный человек. Он был невысок ростом, но широкоплеч, с огромной, почти уродливой головой. Его большое смуглое лицо было иссечено странными белыми полосами, а на щеках топорщились седые бакенбарды, как у настоящего морского волка. Золотые серьги в ушах и руки, разукрашенные татуировкой, также свидетельствовали, что он моряк, и мы это поняли прежде, чем он представился нам. У капитана Фурио, офицера императорского флота, были рекомендательные письма к двоим из нас, и не приходилось сомневаться, что он предан делу императора. Кроме того, он сразу завоевал наше уважение, так как участвовал в сражениях не меньше любого из нас, и следы ожогов на его лице были памятью о том, как он до самой последней минуты оставался на палубе «Ориента», взлетевшего в воздух во время битвы на Ниле. Он мало говорил о себе, а сидел в уголке, поглядывая вокруг своими острыми глазами, и внимательно прислушивался к нашим разговорам.

Однажды вечером, когда я собрался домой, капитан Фурио вышел за мной следом и, коснувшись моей руки, без единого слова повел меня к себе — он поселился в доме неподалеку от нашего кафе.

— Мне надо с вами поговорить, — сказал он и пригласил меня наверх, в свою комнату. Там он зажег лампу, достал из ящика стола конверт, вынул оттуда лист бумаги и протянул его мне. Письмо было написано несколько месяцев назад во дворце Шёнбрунн в Вене. «Капитан Фурио действует в высших интересах императора Наполеона. Все, кто любил императора, обязаны подчиняться ему, не задавая никаких вопросов. Мария-Луиза». Вот что я там прочел. Я знал подпись императрицы, и у меня не было сомнений в ее подлинности.

— Ну, — сказал он, — удовлетворены ли вы моими верительными грамотами?

— Вполне.

— Готовы ли вы повиноваться моим приказам?

— Этот документ не оставляет мне иного выбора.

— Прекрасно! Во-первых, из ваших слов в кафе я заключил, что вы говорите по-английски.

— Да, говорю.

— Скажите что-нибудь на этом языке.

Я сказал: «Когда бы императору ни понадобилась помощь Этьена Жерара, я готов в любое время дня и ночи отдать свою жизнь в его распоряжение».

Капитан Фурно улыбнулся.

— Это звучит несколько смешно, — сказал он, — но все же лучше такой английский, чем никакой. А я говорю по-английски не хуже настоящего англичанина. Это — единственное, чем я могу похвастать, после того как просидел шесть лет в английской тюрьме. А теперь я открою вам цель моего приезда в Парнж. Я приехал, чтобы найти помощника для дела, касающегося императора. Мне сказали, что в кафе «У великого человека» я найду цвет его старых офицеров, которые и по сей день преданы ему. Я присмотрелся ко всем вам и пришел к заключению, что вы более всех прочих подходите для моей цели.

Я поблагодарил за комплимент.

— Что же я должен делать? — спросил я.

— Ничего особенного, просто составить мне компанию на несколько месяцев, — сказал он. — Знайте, что после того, как я вышел в Англии из тюрьмы, я поселился там, женился на англичанке и даже стал капитаном небольшого английского торгового судна, на котором совершил несколько рейсов от Саутгемптона до побережья Гвинен. Меня считают англичанином. Однако вы понимаете, что я, всей душой любя императора, иногда чувствую себя одиноким, и мне хотелось бы иметь товарища, который разделяет мои чувства. Во время этих долгих рейсов ужасно скучаешь, и, даю слово, вы не раскаетесь, если разделите со мной каюту.

Пока капитан вел этот незначительный разговор, он не сводил с меня своих пронизательных серых глаз. Мой ответный взгляд заставил его почувствовать, что он имеет дело не с дураком. Он вынул парусиновый мешочек, туго набитый деньгами.

— Здесь сто фунтов золотом, — сказал он. — Купите себе все, что нужно для путешествия. Советую доставить весь багаж в Саутгемптон, откуда мы отплываем через десять дней. Судно называется «Черный лебедь».

Завтра я возвращаюсь в Саутгемптон и надеюсь увидеть вас там на будущей неделе.

— Полю вам,— обратился я к нему.— Скажите мне откровенно, куда мы возьмем курс?

— Ах, разве я не сказал? — ответил он.— Мы плывем в Африку, на побережье Гвинен.

— Но как это может быть связано с высшими интересами императора? — спросил я.

— Высшие интересы требуют, чтобы вы не задавали нескромных вопросов, а я не давал на них нескромных ответов,— отрезал капитан. На этом он прервал разговор, и я вернулся восвояси ни с чем, если не считать мешочка с золотом, который подтверждал, что этот удивительный разговор не привиделся мне во сне.

Я не видел причин, почему бы мне не участвовать в этом деле до конца, и через неделю был уже на пути в Англию. Я добрался из Сен-Мало в Саутгемптон и, расспросив встречных в порту, без труда отыскал «Черного лебедя», красное, стройное суденышко, которое, как я узнал потом, называлось бригом. На палубе я увидел самого капитана Фурно и семь или восемь здоровенных матросов, которые, трудясь в поте лица, мыли палубу и готовили судно к плаванию. Капитан поздоровался со мной и провел меня в свою каюту.

— Вы теперь всего только мистер Жерар, родом с Нормандских островов,— сказал он.— Я буду вам весьма признателен, если вы забудете свои военные привычки и оставите кавалерийское щегольство, когда расхаживаете по моей палубе. И потом, неплохо бы вам отрастить бороду, тогда у вас будет более морской вид, чем с этими усами.

Я пришел в ужас от его слов, но в конце концов в открытом море нет дам, так что не все ли равно? Он позвонил и вызвал стюарда.

— Густав,— сказал он,— поручаю вашим заботам моего друга, мсье Этьена Жерара, который отправляется вместе с нами в плаванье. Это Густав Керуан, мой стюард, он бретонец,— объяснил капитан.— Вы можете совершенно на него положиться.

У этого стюарда, с его грубым лицом и суровым взглядом, вид был слишком воинственный для столь

мирной должности. Однако я ничего не сказал, хотя, можете быть уверены, глядел в оба. Мне отвели соседнюю с капитаном каюту, которая была вполне удобной, но никак не могла сравниться с великолепием каюты Фурно. Он явно любил роскошь, каюта его была заново отделана бархатом и серебром, что куда больше подходило для яхты какого-нибудь аристократа, чем для суденышка, совершающего торговые рейсы на западное побережье Африки. Именно такого мнения придерживался помощник капитана, мистер Бернс, который не мог удержаться презрительной усмешки всякий раз, как заходил в его каюту. Этот рослый, широкоплечий, рыжеволосый англичанин помещался в каюте по другую сторону от капитанской. На борту был еще второй помощник по фамилии Тэрнер, чья каюта находилась где-то возле рубки, а также девять матросов и юнга, из которых трое, как сообщил мне мистер Бернс, были, как и я, родом с Нормандских островов. Этот Бернс, первый помощник, очень любопытствовал, зачем мне вздумалось отправиться в плаванье.

— Я путешествую для удовольствия, — сказал я. Он вытаращил на меня глаза.

— А вы бывали когда-нибудь на западном побережье Африки? — спросил он.

Я ответил, что не бывал ни разу.

— Так я и знал, — сказал он. — Ну уж во второй раз вы туда не отправитесь.

Дня через три после моего приезда мы развязали веревки, которыми судно было привязано, и пустились в путь. Я никогда не был хорошим моряком, и, признаться, земля давным-давно уже скрылась из виду, когда я почувствовал себя наконец в силах выйти на палубу. Лишь на пятый день я выпил бульон, который принес мне добрый Керуан, сполз с койки и поднялся по трапу. Свежий воздух оживил меня, и с этого дня я кое-как приспособился к качке. Борода у меня тоже начала отрастать, и я не сомневаюсь, что стал бы таким же лихим матросом, как и солдатом, если бы судьба предназначила меня для морской службы. Я научился тянуть веревки, которыми поднимают паруса, и поворачивать длинные палки, к которым они прикреплены. Однако главной моей обязанностью было играть

в экарте с капитаном Фурио и составлять ему компанию. Не было ничего странного в том, что он искал признания общества, так как оба помощника были неграмотны, хоть и отлично знали свое дело. Умри вдруг наш капитан, ума не приложу, как мы нашли бы путь среди всей этой массы воды, потому что только он один умел определять по карте, где мы находимся. Карта висела на стене в его каюте, и он каждый день отмечал на ней пройденный путь. Просто удивительно, как ловко он умел все рассчитывать — например, однажды утром он сказал, что к вечеру мы увидим маяк Кейп-Верд, и в самом деле, он показался с левого борта, едва стемнело. Однако на другой день берега видно не было, и Бернс объяснил мне, что теперь мы не увидим земли, пока не прибудем в свой порт в заливе Бнафра. Дул попутный ветер, и с каждым днем мы все дальше уходили на юг. Булавка на карте передвигалась все ближе и ближе к африканскому берегу. Добавлю, что плаыл мы за пальмовым маслом, а везли всякие цветные тряпки, старые ружья и прочий хлам, который аианчаие сбывают дикарям.

Наконец ветер, который так долго нам благоприятствовал, упал, и несколько дней мы дрейфовали в спокойном, маслянистом море, под солнцем, от лучей которого смола пузырилась меж досками палубы.

Мы поворачивали паруса во все стороны, ловя каждое дуновение, и наконец вышел из полосы штиля, и опять поплыл на юг со свежим ветром, а все море вокруг так и кишело летучими рыбами. Несколько дней Бернс, казалось, был чем-то обеспокоен, и я заметил, что он то и дело приставляет ладонь к глазам и оглядывает горизонт, словно высматривает землю. Дважды я видел, как его рыжая голова торчала у карты в капитанской каюте — он глядел на булавку, которая с каждым днем приближалась к африканскому берегу, но никак не могла его достичь. И вот однажды вечером, когда мы с капитаном Фурио играли в экарте в его каюте, вошел помощник, на загорелом лице которого было сердитое выражение.

— Прошу извинить меня, капитан Фурио, — сказал он. — Но известно ли вам, куда рулевой держит курс?

— Точно на юг, — ответил капитан, пристально глядя в свои карты.

— А должен на восток.

— Откуда вы знаете?

Помощник что-то сердито проворчал.

— Может, я не такой уж шибко образованный,— заявил он,— но позвольте вам сказать, капитан Фурио, что я начал плавать в этих водах десятилетним мальчишкой и знаю, когда прохожу экватор, а когда — штилевую полосу, и умею найти путь туда, где берут нефть. Мы теперь к югу от экватора и должны держать курс на восток, а не на юг, ежели вы идете в тот порт, куда вас послали хозяева.

— Извините, мистер Жерар. Прошу вас запомнить, что ход мой,— сказал капитан, кладя карты.— Подойдите сюда, мистер Берис, и я дам вам практический урок кораблевождения. Вот полоса юго-западного пассата, вот экватор, вот порт, куда мы плывем, а вот человек, который командует на своем корабле.

С этими словами он схватил несчастного помощника за горло и душил его до тех пор, пока тот не лишился чувств. Стюард Керуан вбежал с веревкой, они вдвоем связали помощника и заткнули ему рот, так что он стал совершенно беспомощен.

— На руле стоит один из наших французов. А этого, пожалуй, придется, швырнуть за борт,— сказал стюард.

— Да, так будет вернее всего,— согласился капитан Фурио.

Но такого я не мог стерпеть. Никакие соображения не заставят меня равнодушно смотреть, как убивают беззащитного.

Капитан Фурио с большой неохотой согласился пощадить Бернса, и мы отнесли его в кормовой трюм под каютой. Там его положили среди тюков манчестерской мануфактуры.

— Нет смысла закрывать люк,— сказал капитан Фурио.— Густав, скажи мистеру Тэриеру, что мне нужно поговорить с ним.

Второй помощник, ничего не подозревая, вошел в каюту, его мигом связали, как Бернса, и во рту у него оказался кляп. Потом его отнесли вниз и положили рядом с его товарищем. Крышку люка закрыли.

— Этот рыжий болван вынудил нас поторопиться, — сказал капитан, — и мне пришлось раньше времени открыть карты. Однако особой беды тут нет, это не нарушает мои планы. Керуан, выкати для команды бочонок рома и скажи, что капитан просит выпить за его здоровье по случаю перехода экватора. Они ничего не заподозрят. Наших ребят собери у себя в камбузе, и мы проверим, все ли готовы к делу. А теперь, полковник Жерар, с вашего разрешения мы продолжим игру.

Да, такое не забудешь до самой смерти. Этот железный человек тасовал и снимал карты, сдавал и делал ходы, как будто сидел в своем излюбленном кафе. Снизу доносились нечленораздельные звуки, которые издавали оба помощника, чьи рты были заткнуты кляпами из носовых платков. Наверху, под свежим ветром, который гнал нас вперед, скрипела оснастка и гудели паруса. Сквозь плеск воли и свист ветра мы слышали дикие крики английских матросов, которые радовались, откупоривая бочонок с ромом. Мы сыграли партий шесть, после чего капитан встал.

— Ну, теперь они, пожалуй, готовы, — сказал он, вынул из ящика два пистолета и протянул один мне.

Но мы могли не бояться сопротивления, так как сопротивляться было некому. Англичанин в те времена, будь то солдат или матрос, закоренел в пьянстве. Без вина это был бравый и добрый малый. Но стоило поставить ему выпивку, и он буквально терял рассудок — ничто не могло принудить его к воздержанности. В полумраке матросского кубрика мы увидели команду «Черного лебедя» — пять бесчувственных фигур и двое безумных, которые орали, ругались и распевали песни. Стюард принес моток веревки, и мы с помощью двух французов (третий стоял на руле) связали пьяных и заткнули им рты, так что они не могли ни пикнуть, ни пошевеливаться. Их, так же как обоих помощников капитана, одного за другим бросили в трюм, но на носу, и Керуану было приказано дважды в день приносить им воду и еду. Теперь «Черный лебедь» был целиком в наших руках.

Разыграйся на океане шторм, не знаю, что мы стали бы делать, но корабль весело бежал по волнам все даль-

ше и дальше на юг, и, хотя ветер был достаточно крепок, он не вызывал у нас беспокойства. Вечером третьего дня я застал капитана на мостике, он пристально вглядывался в даль.

— Смотрите, Жерар, смотрите! — воскликнул он и указал вперед поверх палки, которая торчала на носу судна.

Над темно-синим морем голубело небо, а вдали, на самом горизонте, виднелось какое-то туманное облачко, с четкими очертаниями.

— Что это? — спросил я.

— Земля.

— Какая?

Я напряженно ждал ответа, уже заранее зная, что он скажет.

— Это остров Святой Елены.

Так вот он, остров, о котором я столько думал! Вот она, клетка, в которую посадили великого орла Франции! Многие тысячи лнг океана не помешали Жерару добраться до своего любимого повелителя. Он там, вои на том туманном берегу, за темно-синей водой. Я пожирал остров глазами! Душа моя опережала корабль и летела к императору с вестью, что его не забыли, что после долгой разлуки верный слуга спешит к нему. С каждым мгновеньем темное пятно становилось все отчетливей. Вскоре я уже ясно видел, что это действительно скалистый остров. Наступила ночь, а я все стояла на палубе, преклонив колени, и вглядывался в темноту, туда, где, я знал, находится наш великий император. Прошел час, потом другой, и вдруг золотой, мерцающий огонек загорелся прямо впереди нас. Это светилось окно дома, быть может, его окно. И всего в нескольких милях от нас! О, с каким жаром я простер к нему руки! Вместе со мной, с Этьеном Жераром, простирала к нему руки вся Франция.

У нас на борту огни были погашены, и мы, по приказу капитана Фурио, все разом потянули за какую-то веревку, она повернула наверху одну из палок, и корабль остановился. После этого он попросил меня спуститься в каюту.

— Теперь вам все ясно, полковник Жерар, — сказал он. — И простите, что я не посвятил вас в свой план

с самого начала. В столь важном деле я не мог открыться никому. Я давно уже замыслил спасти императора, лишь для этого я остался в Англии и пошел служить в торговый флот. Все получилось так, как я и рассчитывал. Я совершил несколько удачных рейсов к западному побережью Африки, а потом без труда сам подобрал себе команду. Постепенно я взял на борт этих старых французских моряков с военных кораблей. А вас я пригласил потому, что мне нужен был испытанный воин на случай сопротивления и, кроме того, подходящий человек, который состоял бы при императоре во время долгого пути на родину. Моя каюта уже приготовлена для него. Надеюсь, к утру он будет здесь и этот треклятый остров останется далеко за кормой.

Можете себе представить, друзья мои, какие чувства меня охватили, когда я услышал все это. Я обиял отважного Фурно и заклинал его сказать скорее, чем я могу быть ему полезен.

— Мне придется предоставить все дело вам, — сказал он. — Я хотел бы первым засвидетельствовать императору свою преданность, но мне иеразумно сейчас покидать судно. Барометр падает, надвигается шторм, а берег от нас с подветренной стороны. Кроме того, близ острова стоят три английских крейсера, которые в любой миг могут нас обнаружить. Так что я должен оберегать судно, а вы — привезти на борт императора.

Эти слова привели меня в восторг.

— Приказывайте! — воскликнул я.

— Я могу дать вам в помощь только одного человека, ведь мы и так едва справляемся со снастями, — сказал он. — Шлюпка спущена на воду, матрос доставит вас на берег и будет ждать. Свет, который вы видите, горит в Лонгвуде. В доме все друзья, и на них можно положиться, они помогут императору бежать. Правда, там есть английский кордон, но не очень близко от дома. Проникиув в дом, вы откроете наши планы императору, проводите его к шлюпке и привезете на борт.

Сам император не мог бы дать более короткне и ясиые указания. Нельзя было терять ни секунды. Шлюпка с матросом ждала у борта. Я спустился в нее, и мы оттолкнулись от корабля. Наша лодчонка плясала

на темных волнах, но огонек Лонгвуда все время светил мне в глаза, то был свет императора, звезда надежды. Наконец шлюпка задела килем каменное дно. Бухта была отдаленная, и караульные нас не заметили. Я оставил матроса в шлюпке и полез вверх на крутой берег.

Тропа, протоптанная дикими козами, петляла среди скал, и я без труда находил дорогу. Само собой разумеется, все пути на Святой Елене вели к императору. Я подошел к воротам. Часового возле них не было, и я беспрепятственно вошел. Еще ворота, и опять нет часового! Я недоумевал, куда подевалась охрана, о которой говорил Фурно. Я уже достиг цели, потому что прямо передо мной, не угасая, горел огонь. Я спрятался и хорошенько огляделся, но никаких признаков врага не заметил. Тогда я подошел к дому и осмотрел его — он был длинный, низкий, с верандой. По дорожке прогуливался человек. Я подкрался ближе и взглянул на него. Возможно, это проклятый Гудзон Лоу. Вот было бы славно, если б я не только спас императора, но и отомстил врагу! Но, вероятнее всего, это был просто английский часовой. Я подкрался еще ближе, а он остановился у освещенного окна, и тут я его разглядел как следует. Нет, то был не солдат, а священник. Я удивился. Что он здесь делает в два часа ночи? Француз он или англичанин? Если он здесь живет, я могу ему открыться. А если это англичанин, тогда все мои планы рухнут. Я приблизился почти вплотную, но в этот миг он отошел от окна и скрылся в доме, из распахнутой двери хлынул поток света. Теперь мне все было ясно, я понял, что медлить нельзя ни секунды. Низко пригнувшись, я бросился к освещенному окну, выпрямился и заглянул внутрь... Император лежал предо мной мертвый.

Ах, друзья мои, я упал на дорожку замертво, словно пуля пробилла мне голову. Удар был так ужасен, что не знаю, как я его выдержал. И все же через полчаса я, пошатываясь, встал на ноги — я дрожал всем телом, зубы у меня стучали, и я безумными глазами снова заглянул в эту обитель смерти.

Он лежал в гробу посреди комнаты, спокойный, бесстрастный, величественный, черты его лица были полны той скрытой силы, которая некогда воспламеняла

наши сердца на битву. На его бледных губах застыла слабая улыбка, глаза были приоткрыты — словно смотрел на меня. Он показался мне полнее, чем при Ватерлоо, а лицо смягчилось, чего я никогда не видел у него при жизни. По обе стороны гроба горели свечи, их свет, как маяк, звал нас издали, это он указывал мне путь, и его я приветствовал как звезду надежды. Я смутно видел, что в комнате много людей — все они стояли, преклонив колени; это был его скромный двор, мужчины и женщины, разделившие с ним его судьбу, — Бертран с женой, священник, Монтолон. Я тоже помолчился бы за него, но сердце мое окаменело, и я не мог молиться. Нужно было уходить, но я не мог покинуть его, не подав о себе знака. Не заботясь о том, что меня могут увидеть, я вытянулся во фронт перед своим умершим вождем, щелкнул каблуками и поднял руку в прощальном приветствии. Потом повернулся и поспешил прочь, во тьму, а перед моим взором все стояли бледные улыбающиеся губы и застывшие серые глаза.

Мне казалось, будто я отсутствовал совсем недолго, но, по словам матроса, прошло уже много часов. И только теперь я заметил, что ветер с моря почти перешел в шторм и волны с ревом набегают на берег. Мы дважды пытались отчалить на своей маленькой шлюпке, но волны отбрасывали нас назад. В третий раз огромная волна захлестнула шлюпку и пробилла дно. Беспомощные, мы дождались около нее рассвета и увидели вокруг лишь бушующее море да брызги пены. «Черного лебедя» не было. Мы залезли на скалу и огляделись, но нигде среди бушующего простора океана не мелькал парус. Наш корабль исчез. Затонул ли он, или английские матросы снова захватили его, или же ему была уготована какая-то иная, неведомая нам судьба, — не знаю. Никогда больше я не видел капитана Фурно и не мог рассказать ему, как мне не удалось выполнить его поручение. Сам я сдался англичанам — мы с матросом сказали, будто спаслись вдвоем с погибшего корабля, и, право, нам не пришлось притворяться. Английские офицеры, как всегда, оказали мне самое щедрое гостеприимство, но прошло много долгих месяцев, прежде чем мне удалось вернуться на свою любимую родину,

за пределами которой не может быть счастлив истый француз, каким я всегда был.

Этим вечером, друзья мои, я рассказал вам, как мне довелось проститься с моим повелителем, а теперь я прощаюсь с вами и благодарю вас за то, что вы так терпеливо слушали скучные рассказы старого, немощного солдата. Вы побывали вместе со мной всюду — в России, в Италии, в Германии, в Испании, в Португалии, в Англии, увидел я мои, уже потускневшими глазами яркий блеск тех великих дней, я вызвал перед вами тени людей, чья поступь некогда сотрясала землю. Сохраните же все это в душе и передайте своим детям, потому, что память о той великой эпохе — самое драгоценное сокровище, какое только может быть у народа. Как дерево питается перегноем собственных павших листьев, так эти умершие люди и минувшие дни могут унавозить почву для новых славных героев, правителей и мудрецов. Я уезжаю в Гасконь, но слова мои останутся в вашей памяти и будут согревать сердца людей и укреплять их дух еще долго после того, как об Этьене Жераре забудут навсегда. Господа, старый солдат приветствует вас и желает вам всех благ.



рассказы



ЖЕНИТЬБА БРИГАДИРА

Расскажу я вам, друзья мои, о давно прошедших днях, когда я еще только добывал себе славу, сделавшую мое имя столь знаменитым. Среди тридцати офицеров Конфланского гусарского полка я ничем особенным не выделялся. Представляю себе, каково было бы их удивление, узнай они, что молодому лейтенанту Этьену Жерару предстоит блестящая карьера, что он дослужится до командира бригады и получит крест из рук самого императора. Если вы окажете мне честь и посетите мой домишко,— я покажу его вам, вы ведь знаете этот чистенький белый домик, увитый виноградом, стоящий на отшибе на берегу Гаронны.

Люди говорят про меня, что я никогда не знал страха. Вы, верно, слышали об этом не раз. Из глупой гордости я многие годы не оспаривал этой молвы. Теперь же, на старости лет, я могу позволить себе быть откровенным. Смелый человек не боится правды. Ее боится только трус. Потому-то я и не стану скрывать, что и меня прошибал холодный пот, а волосы вставали дыбом, что и мне известно, как душа уходит в пятки и как задают стрелкача. Вы поражены? Зато, случится вам когда-нибудь дрогнуть, вспомните, что даже и Этьену Жерару бывало страшно, и вам сразу станет легче. А теперь послушайте, в какую я однажды попал передрыгу, а заодно и обзавелся женушкой.

В те поры Франция ни с кем не воевала, и мы, конфланские гусары, все лето стояли лагерем в несколь-

ких милях от нормандского городка Лез Андели. Само по себе местечко это не очень веселое, но где гусары, там и веселье, так что время мы проводили недурно. За долгие годы страствий потускители воспоминания, а все же стоит мне произнести «Лез Андели», как встают перед глазами громадный полуразрушенный замок, большие яблоневые сады и, самое главное, прекрасный пол! Ах, что за прелестные создания эти нормандские девушки! Краше нет в целом свете, да и мы были мужчины, можно сказать, хоть куда. Словом, в то замечательное солнечное лето свиданий было не счесть. О молодость, красота, доблесть, как разглядеть вас сквозь туман тусклых, унылых лет! Порой славное прошлое ложится мне на сердце камнем. Нет, сэр, в вине таких мыслей не утопить. Болит-то душа. А вино — что? Оно приносит лишь телесную радость. Но уж коли угощают... не откажусь.

Прелестней всех девушек в тех краях была Мари Ра-вои. До чего мила да пригожа, будто самой судьбой для меня предназначена. Была она из рода Равоиов, прадеды ее пахали землю в Нормандии еще со времени, когда герцог Вильгельм отправился покорять Англию. Стоит мне и теперь закрыть глаза, Мари встает передо мной: щеки смуглые, как лепестки мускатной розы; взгляд карих глаз нежен и в то же время смел; волосы, черные как смоль, будят волнение в крови и в стихии просятся; а фигурка — точно молодая березка на ветру. А как она отпрянула, когда я впервые хотел обнять ее, — горяча была и горда, всякий раз ускользала, сопротивлялась, боролась до последнего рубежа, отчего капитуляция бывала сладостней во сто крат. Из ста сорока женщин... Но как их сравнивать, если все были по-своему совершенства!

Вас удивляет, что у кавалера такой красивой девушки не было соперников? Но на то была веская причина, друзья мои, ибо я сделал так, что все мои соперники быстро очутились в госпитале. Ипполит Лезер, к примеру, провел у Равоиов два воскресенья подряд. Так что же? Даю голову на отсечение, что он до сих пор хромает от пули, засевшей у него в колене, если, конечно, он еще жив. Да и бедняга Виктор до самой своей гибели под Аустерлицем носил мою отметину. Очень скоро все по-

няли, что от Мари Равои лучше отступить. В нашем лагере поговаривали, что безопаснее скакать в атаку на свежее пехотное каре, чем слишком часто появляться в усадьбе Равоиов.

А теперь позвольте мне кое-что уточнить. Собираюсь ли я жениться на Марн? О, друзья мои, женитьба не для гусара! Сегодня он в Нормандии, а завтра — среди холмов Испании или болот Польши. Что ему делать с женой? Каково им будет обом? Он станет думать, какое горе причинит жене его гибель, и былую храбрость сменит рассудительность, а она будет со страхом ждать очередную почту — вдруг придет известие о невозместимой утрате. Правильно ли это, разумно ли? Что остается гусару? Погревшись у камелька, марш-марш вперед, и добро, коли скоро будет ночевка под крышей, а не у бивачного костра. А Марн? Хотела ли она, чтобы я стал ее мужем? Она прекрасно знала: затрубят серебряные горны — и прощай семейная жизнь! Уж лучше держаться отца с матерью и родных мест — здесь, среди садов, не расставаясь с мужем-домоседом и не теряя из виду замка Ле Гайяр, будет она мирно коротать свои дни. А гусар пусть снится по ночам. Но мы с Марн о будущем не думали: день да ночь — сутки прочь, как говорится. Правда, отец ее, полный старик с лицом круглым, как яблоки, которые росли в его садах, и мать, худая робкая крестьянка, порой намекали, что пора бы мне объяснить свои намерения, хотя в душе и не сомневались, что Этьен Жерар — человек честный, что дочь их совершенно счастлива и ничто дурное ей не грозит. Так обстояли дела, пока не пришел тот вечер, о котором я хочу рассказать.

Однажды в воскресенье я выехал верхом из лагеря. Вместе с несколькими однополчанами, которые тоже ехали в деревню, мы оставили лошадей у гостиницы. Оттуда до Равоиов надо было идти пешком через большое поле, простиравшееся до самого порога их дома. Не успел я сделать несколько шагов, как меня окликнул хозяин гостиницы.

— Послушайте, лейтенант, — сказал он, — хоть путь через поле и короче, но шли бы вы лучше дорогой.

— Эдак я дам круг с милую, а то и больше.

— Верно. Но мне кажется, так будет благоразумней,— ухмыляясь, сказал он.

— Почему? — спросил я.

— Потому что в поле пасется бык английской породы.

Если бы не его гнусная ухмылка, я бы, наверно, послушался. Но предупредить об опасности, а потом ухмыльнуться... этого я со своим гордым нравом снести не мог. Я небрежно отмахнулся, показав этим, что я думаю о быке английской породы.

— Пойду напрямик,— сказал я.

Однако, выйдя в поле, я понял, что поступил опрометчиво. Поле было очень большое, и, удаляясь от гостиницы, я ощущал себя утлым суденышком, рискнувшим выйти в открытое море. Со всех сторон поле было огорожено. Впередн стоял дом Равонов, изгороди подходили к нему вплотную справа и слева. Со стороны поля был виден черный ход и несколько окон, но все они, как и в других нормандских домах, были забраны решетками. Единственным спасением был черный ход. И я устремился к нему, не роняя достоинства, приличествующего солдату, но тем не менее развив такую скорость, на какую только способны ноги. Верхняя моя половина была сама беззаботность и даже жизнерадостность. Зато нижняя — проворство и настороженность.

Я уже почти достиг середины поля, как вдруг справа от себя увидел быка. Он рыл копытами землю под большим буком. Я не повернул головы, даже виду не показал, что заметил опасность, а сам искоса с опаской следил за быком. Возможно, он был в благодушном настроении, а может, его обманул мой беспечный вид, но он не сделал в мою сторону ни шага. Прободрившись, я взглянул на открытое окно спальни Марн, которое было как раз над черным ходом,— вдруг из-за шторы смотрят ее милые карие глазки. Я стал помахивать тросточкой, сбавил шаг, сорвал первоцвет и запел лихую гусарскую песенку, чтобы подразнить этого зверя английской породы,— пусть любимая видит, что опасность мне ни по чем, если наградой — свидание. Мое бесстрашие привело быка в замешательство, я дошел до черного хода, толкнул дверь и очутился в безопасности, не посрамив гусарской чести.

Что для гусара опасность, когда его ждет свидание с любимой! Да карауль ее дом хоть все быки Кастилии, разве я остановился бы на полпути? Ах, вовек не вернуться тем счастливым дням юности, когда ног под собой не чувствуешь, живя в мире сладостных грез! Мари почитала и любила меня за храбрость. Прижавшись раскрасневшейся щечкой к шелку моего доломана, глядя мне в лицо изумленными глазами, сиявшими от любви и восхищения, она благоговейно внимала рассказам, в которых ее возлюбленный выступал во всем блеске своих достоинств.

— И сердце ваше ни разу не дрогнуло? Вы никогда не знали страха?— спрашивала она.

Такие вопросы вызывали у меня только смех. Разве место страху в душе гусара? Хоть я был еще очень молод, подвигам моим уже не было числа. Я рассказал ей, как во главе своего эскадрона ворвался в каре венгерских гренадеров. Обнимая меня, Мари содрогнулась. Еще я рассказал ей, как ночью переплыл на коне Дунай, доставляя донесение Даву. Откровенно говоря, то был вовсе не Дунай, да и глубина не такая, чтобы коню моему пришлось плыть, но когда тебе двадцать и ты влюблен, как не приукрасить рассказ. О многих подобных случаях я рассказывал ей, а ее милые глазки раскрывались от изумления все шире и шире.

— Даже в мечтах своих, Этьен,— сказала она,— я никогда не представляла себе, что мужчина может быть таким храбрым. Счастливая Франция, имеющая такого солдата, счастливая Мари, имеющая такого возлюбленного!

Вы понимаете, с каким чувством я бросился к ее ногам, бормоча, что я счастливейший человек на свете... я, нашедший ту, которая меня понимает и ценит.

Отношения наши были прелестны и слишком утонченны, чтобы их могли понять более грубые натуры. Однако ее родители, само собой разумеется, имели на этот счет свое мнение. Я играл в домино со стариком, помогал распутывать пряжу его жене, но никак не мог убедить их, что посещаю их ферму трижды в неделю только из любви к ним. В конце концов объяснение стало неизбежным, и случилось оно именно в тот вечер. Мари, не-

смотря на ее милое негодование, удалили в спальню, а я остался лицом к лицу со стариками, которые засыпали меня вопросами относительно моих намерений и видов на будущее.

— Одно из двух,— сказали они с крестьянской прямо-
мотой,— или вы даёте слово, что обручитесь с Мари, или вы ее никогда больше не увидите.

Я говорил о солдатском долге, о своих надеждах, о будущем, но они стояли на своем. Я ссылался на свою карьеру, а они эгоистично не хотели думать ни о чем, кроме своей дочери. Я оказался поистине в трудном положении. С одной стороны, я не мог отказаться от моей Мари, а с другой—к чему жениться молодому гусару? Наконец, когда меня уже совсем загноили в угол, я умолил их оставить все, как было, хотя бы до завтра.

— Я поговорю с Мари,— сказал я.— Я поговорю с Мари без промедления. Главное для меня—ее счастье.

Мои слова не удовлетворили старых ворчунов, но возразить они ничего не могли. Вскоре они пожелали мне спокойной ночи, и я отправился в гостиницу. Я вышел в совершенном расстройстве чувств в ту же дверь, в которую вошел, и услышал, как ее заперли за мной на засов.

Я шагал по полю, задумавшись,— из головы не шли доводы стариков и мои ловкие ответы. Как мне быть? Я обещал посоветоваться с Мари без промедления. Что мне сказать, когда я увижусь с ней? Должен ли я капитулировать перед ее красотой и навсегда распрощаться с военной карьерой? Если бы Этьен Жерар перековал свой меч на орало, то это было бы поистине невосполнимой утратой для императора и Франции. Или я должен ожесточиться сердцем и отказаться от Мари? А разве нельзя совместить все—быть счастливым супругом в Нормандии и храбрым солдатом в прочих местах? Все эти мысли теснились в моей голове, как вдруг какой-то шум заставил меня поднять голову. Из-за облака выглянула луна, и прямо перед собой я увидел быка.

Он и под буком показался мне большим, но тут передо мной стояла просто громадина. Он был весь черный. Голова опущена, свирепые, налитые кровью глаза

сверкали при свете луны. Он бил себя хвостом по бокам, передние ноги зарылись в землю. Такое чудовище не привидится даже в кошмарном сне. Бык медленно, как бы нехотя, двинулся в мою сторону.

Я оглянулся и, к своему отчаянию, увидел, что зашел в поле слишком далеко. Ближайшим убежищем была гостиница, но между нею и мной находился бык. Если этот зверь увидит, что я его не боюсь, он, наверное, уступит мне дорогу. Я пожал презрительно плечами. И даже свистнул. Бык подумал, что я вызываю его на бой и прибавил шагу. Я бросил на быка бесстрашный взгляд, а сам давай быстро-быстро пятиться. Молодой, подвижный человек способен даже бежать задом наперед, обратив лицо к противнику и храбро улыбаясь ему. На бегу я грозил быку тросточкой. Наверно, благоразумней было бы сдержать свой пыл. Бык считал это вызовом, хотя бросать ему вызов мне и в голову не приходило. Это было роковое недоразумение. Фыркнув, бык поднял хвост и ринулся в атаку.

Вы когда-нибудь видели, как нападает бык, друзья мои? Это — чудовищное зрелище. Вы думаете, наверное, что он припустил рысью или даже галопом. Это бы еще ничего... Нет, он делал прыжки, одни страшнее другого. Я не боюсь человека. Когда я имею дело с человеком, то чувствую, что благородство моей позы, смелая непринужденность, с которой я встречаю противника, уже сами по себе обезоруживают. Я владею теми же приемами, что и он, и поэтому мне ничего его бояться. Но когда тебе предстоит сразиться с толикой разъяренной говядины — это совсем другое дело. Тут не поспоришь, не успокоишь, не завоюешь расположения... Никакие уговоры не помогут. Что этому зверю до моего горделивого самообладания? С живостью, свойственной моему уму, я оценил обстановку и решил, что на моем месте никто, даже сам император, не мог бы удержать позиции. Значит, оставалось одно — бежать.

Но и бежать можно по-разному. Кто отступает с достоинством, а кто — в панике. Я удираю, как положено настоящему солдату. Хотя мои ноги работали быстро, сам я держался великолепно. Весь мой вид выражал протест. На бегу я улыбался... это была горькая улыбка.

ка храбреца, который философски относится к превратностям судьбы. Если бы в эти минуты меня увидели мои боевые товарищи, я бы нисколько не проиграл в их глазах. С поразительным самообладанием уходил я от быка.

Но тут я должен сделать одно признание. Известное дело: если удираешь, то паники не избежать, будь ты храбрец из храбрецов. Вспомните гвардию при Ватерлоо. То же самое было в тот вечер и с Этьеиом Жераром. Ведь поблизости не было никого, кто бы оценил мою доблесть... никого, кроме этого проклятого быка. А не благоразумнее ли в такую минуту забыть о собственном достоинстве? С каждым мгновеньем грохот копыт чудовища и его страшное фырканье за моей спиной становилось все громче. При мысли о такой постыдной смерти меня охватил ужас. Жестокая ярость зверя лишила меня мужества. Все было забыто. Во всем мире осталось только два существа: бык и я — он хотел убить меня, а я — во что бы то ни стало спастись. Я опустил голову и... дуил во все лопатки.

Мчался я к дому Равоиов. И вдруг сообразил: если даже я добегу, спрятаться будет нигде. Дверь заперта. Нижние окна забраны решетками. Ограда высокая. А бык с каждым прыжком все ближе и ближе. И вот тут-то, друзья мои, в момент наивысшей опасности Этьен Жерар и показал, на что он способен. Был лишь один путь к спасению, и я воспользовался им.

Я уже говорил, что окно спальни Мари было как раз над дверью. Занавески были задернуты, но не плотно — сквозь щели пробивался свет. Я был молодой, ловкий и поэтому знал, что смогу высоко прыгнуть, ухватиться за край подоконника и, подтянувшись, уйти от опасности. Подпрыгнул я в тот самый момент, когда чудовище достигло меня. Я и без посторонней помощи вскочил бы в окно. В великолепном прыжке я уже оторвался от земли, как бык поддал мне сзади, и я, как пушечное ядро, влетел в окно и упал на четвереньки посреди спальни.

Кровать стояла под самым окном, но я благополучно перелетел через нее. С трудом поднявшись на ноги, я с замиранием сердца повернулся к кровати, но она была

пуста. Моя Мари сидела в кресле в углу комнаты и, судя по раскрасневшимся щекам, плакала. Видно, родители уже рассказали ей о нашем разговоре. От изумления она не могла встать и смотрела на меня с раскрытым ртом.

— Этьен! — прошептала она, задыхаясь. — Этьен!

И тут, как всегда, мне на выручку пришла моя находчивость. Я поступил так, как должен поступать истинный джентльмен.

— Мари, — вскричал я, — простите, о, простите меня за внезапность вторжения! Мари, сегодня вечером я говорил с вашими родителями. И я не мог вернуться в лагерь, не узнав, согласны ли вы стать моей женой и сделать меня самым счастливым человеком на свете.

Ее изумление было так велико, что она долго не могла вымолвить ни слова. А затем стала восторженно изливать свои чувства.

— О Этьен! Мой замечательный Этьен! — восклицала она, обвив мою шею руками. — Такой любви не бывало никогда! Вы лучше всех мужчин на свете! Вот вы стоите предо мной, бледный, дрожа от страсти. Таким вы являлись мне в моих грезах. Как тяжело вы дышите, любовь моя, и какой великолепный прыжок бросил вас в мои объятия! За секунду до вашего появления я слышала топот вашего боевого коня.

Объяснять больше было нечего, и когда ты только что помолвлен, для губ находится другое занятие. Однако за дверью послышался какой-то шум — кто-то поднимался по лестнице. Когда я с грохотом появился в доме Равоиов, старики бросились в погреб, чтобы посмотреть, не свалилась ли с козел большая бочка сидра, а теперь они спешили в комнату дочери. Я распахнул дверь и взял Мари за руку.

— Вы видите перед собой вашего сына! — сказал я.

О, какую радость я доставил этим скромным людям! При воспоминании об этом у меня всякий раз навертываются слезы. Им не показалось слишком странным, что я влетел в окно, ибо кому быть горячим поклонником их дочерей, как не храброму гусару? И если дверь заперта, то разве нельзя проникнуть в дом через окно? Снова мы собрались все четверо в гостиной, из погреба была при-

несена облепленная паутиной бутылка, и полился рассказ о славном роде Равонов. Будто впервые видел я эту комнату с толстыми стропилами, два стариковских улыбающихся лица и ее, мою Мари, мою невесту, которую я завоевал таким странным образом.

Когда мы расставались, было уже поздно. Старик вышел со мной в переднюю.

— Вы пойдете парадным ходом или черным? — спросил он. — Черным ходом короче.

— Пожалуй, пойду парадным, — ответил я. — Этот путь, может, и длиннее, зато у меня будет больше времени думать о Мари.

ОТСТАЛ ОТ ЖИЗНИ

Моя первая встреча с доктором Джеймсом Винтером произошла при весьма драматических обстоятельствах. Случилось это в спальне старого загородного дома в два часа ночи. Пока доктор с помощью женщины заглашал фланелевой юбкой мои гневные вопли и купал меня в теплой ванне, я дважды лягнул его в белый жилет и сбил с носа очки в золотой оправе. Мне рассказывали, что оказавшийся при этом один из моих родителей тихоиько заметил, что с легкими у меня, слава богу, все в порядке. Не могу припомнить, как выглядел в ту пору доктор Винтер: меня тогда занимало другое, — но он описывает мою внешность отнюдь не лестно. Голова лохматая, тельце, как у общипанного гусеика, ноги кривые — вот что ему в ту ночь запомнилось.

С этой поры периодические вторжения в мою жизнь доктора Винтера разделяют ее на эпохи. Он делал мне прививки, вскрывал нарывы, ставил во время свинки компрессы. На горизонте моего безмятежного существования маячило единственное грозное облако — доктор. Но пришло время, когда я заболел по-настоящему: долгие месяцы провел я в своей плетеной кровати, и вот тогда я узнал, что суровое лицо доктора может быть приветливым, что скрипучие, сработанные деревенским сапожником башмаки его способны удивительно осторожно приближаться к постели и что, когда доктор разговаривает с больным ребенком, грубый голос его смягчается до шепота.

Но вот ребенок вырос и сам стал врачом, а доктор Винтер остался как был. Только побелели волосы да еще более опустились могучие плечи. Доктор очень высокий, но из-за своей сутулости кажется дюйма на два ниже. Широкая спина его столько раз склонялась над ложем больных, что и не может уже распрямиться. Сразу видно, что часто приходилось ему шагать в дождливые, ветреные дни по унылым деревенским дорогам — такое темное, обветренное у него лицо. Издали оно кажется гладким, но вблизи видны бесчисленные морщинки — словно на прошлогоднем яблоке. Их почти незаметно, когда доктор спокоен, но стоит ему засмеяться, как лицо его становится похожим на треснутое стекло, и тогда ясно, что лет старику еще больше, чем можно дать на вид.

А сколько ему на самом деле, я так и не смог узнать. Частенько пытался я это выяснить, добирался до Георга IV и даже до регентства, но до исходной точки так никогда и не дошел. Вероятно, ум доктора стал очень рано впитывать всевозможные впечатления, но рано и перестал воспринимать что-либо новое, поэтому волнуют доктора проблемы прямо-таки допотопные, а события наших дней его совсем не занимают. Толкуя о реформе избирательной системы, он сомневается в ее разумности и неодобрительно качает головой, а однажды, разгорячившись после рюмки вина, он гневно осуждал Роберта Пиля и отмену хлебных законов. Со смертью этого государственного деятеля история Англии для доктора Винтера закончилась, и все позднейшие события он расценивает как явления незначительные.

Но только став врачом, смог я убедиться, какой совершеннейший пережиток прошлого наш доктор. Медицину он изучал по теперь уже забытой и устаревшей системе, когда юношу отдавали в обучение к хирургу и анатомию штудировали, прибегая к раскопке могил. В своем деле он еще более консервативен, чем в политике. Пятьдесят лет жизни мало что ему дали и еще меньшего лишили. Во времена его юности широко обучали делать вакцинацию, но мне кажется, в душе он всегда предпочитал прививки.

Он бы охотно применял кровопускание, да только теперь никто этого не одобряет. Хлороформ доктор считает

изобретенном весьма опасным и, когда о нем упоминают, недоверчиво щелкает языком. Известно, что он нелестно отзывался даже о Леннеке и называл стетоскоп «новомодной французской игрушкой». Из уважения к своим пациентам доктор, правда, носит в шляпе стетоскоп, но он туг на ухо, и потому не имеет никакого значения, пользуется он инструментом или нет.

По долгу службы он регулярно читает медицинский еженедельник и имеет общее представление о научных достижениях, но продолжает считать их громоздкими и смехотворными экспериментами. Он едко проронзил над теорией распространения болезней посредством микробов и любил шутя повторять у постели больного: «Закройте дверь, не то налетят микробы». По его мнению, теория Дарвина — самая удачная шутка нашей эпохи. «Детки в детской, а их предки в конюшне!» — кричал он и хохотал так, что на глазах выступали слезы.

Доктор настолько отстал от жизни, что иной раз, к немалому своему изумлению, он обнаруживает — поскольку в истории все повторяется, — что применяет новейшие методы лечения. Так, в дни его юности было очень модно лечить диетой, и тут он превосходит своими познаниями любого другого известного мне врача. Массаж ему тоже хорошо знаком, тогда как для нашего поколения он новинка. Доктор проходил курс наук, когда применяли еще очень несовершенные инструменты и учили больше доверять собственным пальцам. У него классическая рука хирурга с развитой мускулатурой и чувствительными пальцами — «на кончике каждого — глаз».

Вряд ли я забуду, как мы с доктором Паттерсоном оперировали сэра Джона Сирвелла. Мы не могли отыскать камень. Момент был ужасный. Карьера Паттерсона и моя висела на волоске. И тогда доктор Винтер, которого мы только из любезности пригласили присутствовать при операции, запустил в рану палец — нам с перепугу показалось, что длиной он никак не меньше девяти дюймов, — и в мгновение ока выудил его.

— Всегда хорошо иметь в кармашке жилета такой инструмент, — посмеиваясь, сказал он тогда, — но, помо-
ему, вы, молодые, это презираете.

Мы избрали его президентом местного отделения Ассоциации английских медиков, но после первого же заседания он сложил с себя полномочия.

— Иметь дело с молодежью — не для меня, — заявил он. — Никак не пойму, о чем они толкуют.

А между тем пациенты его благополучно выздоравливают. Прикосновение его целительно — это его магическое свойство невозможно ни объяснить, ни постигнуть, но тем не менее это очевидный факт. Одно лишь присутствие доктора наполняет больных надеждой и бодростью. Болезнь действует на него, как пыль на рачительную хозяйку: он сердится и жаждет взяться за дело.

— Ну, ну, так не пойдет! — восклицает он, впервые посещая больного. Он отгоняет смерть от постели, как случайно влетевшую в комнату курицу. Когда же незваный гость не желает удаляться, когда кровь течет все медленнее и глаза мутнеют, тогда присутствие доктора Винтера полезнее любых лекарств. Умиравшие не выпускают руку доктора; его крупная энергичная фигура и жизнелюбие вселяют в них мужество перед роковой переменой. Многие страдальцы унесли в неведомое как последнее земное впечатление доброе обветренное лицо доктора.

Когда мы с Паттерсоном — оба молодые, полные энергии современные врачи — обосновались в этом районе, старый доктор встретил нас очень сердечно, он был счастлив избавиться от некоторых пациентов. Однако сами пациенты, следуя собственным пристрастиям — отвратительная манера! — игнорировали нас со всеми нашими новейшими инструментами и алкалоидами. И доктор продолжал лечить всю округу александрийским льном и каломелью. Мы оба любили старика, но между собой, однако, не могли удержаться, чтобы не посетовать на прискорбное отсутствие у пациентов здравого смысла.

— Бедняки-то уж понятно, — говорил Паттерсон. — Но люди образованные вправе ожидать от лечащего врача умения отличить шум в сердце при митральном пороке от хрипов в бронхах. Главное — способность врача разобраться в болезни, а не то, симпатичен он тебе или нет.

Я полностью разделял мнение Паттерсона. Но вскоре разразилась эпидемия гриппа, и от усталости мы валялись с ног.

Утром, во время обхода больных, я встретил Паттерсона, он показался мне очень бледным и изможденным. То же самое он сказал обо мне. Я и в самом деле чувствовал себя скверно и после полудня весь день пролежал на диване — голова раскалывалась от боли, и страшно ломило суставы.

К вечеру сомнений не оставалось — грипп свалил и меня. Надо было немедленно обратиться к врачу. Разумеется, прежде всего я подумал о Паттерсоне, но почему-то мне стало вдруг неприятно.

Я вспомнил, как он хладнокровно, придирчиво обследует больных, без конца задает вопросы, бесконечно берет анализы и барабанит пальцами. А мне требовалось что-то успокаивающее, более участливое.

— Миссис Хадсон, — сказал я своей домохозяйке, — сходите, пожалуйста, к старику Винтеру и скажите, что я был бы крайне ему признателен, если б он навестил меня.

Вскоре она вернулась с ответом:

— Доктор Винтер, сэр, заглянет через часок, его только что вызвали к доктору Паттерсону.

ЕГО ПЕРВАЯ ОПЕРАЦИЯ

Это было в первый день зимней сессии. Первокурсник с третьекурсником шли в клинику смотреть операцию. Колокола на Тронской церкви только что пробили двенадцать.

— Скажите, вы никогда не присутствовали на операции? — спросил третьекурсник.

— Никогда.

— В таком случае зайдемте сюда. Это знаменитый бар Резерфорда. Будьте любезны, стакан хереса для этого джентльмена. Кажется, вы весьма чувствительны?

— Боюсь, нервы у меня и в самом деле не очень крепкие.

— Гм! Еще один стакан хереса этому джентльмену. Видите ли, мы идем на операцию.

Новичок расправил плечи и сделал отчаянную попытку казаться безразличным.

— Операция пустяковая?

— Нет, довольно серьезная.

— Ам... ампутация?

— Нет, еще серьезней.

— Я... я вспомнил... меня ждут дома.

— Нет смысла уклоняться. Не сегодня, так завтра, а идти все равно придется. Чего тянуть? Ну как, повеселее немного стало?

— О, да.— Новичок улыбнулся, но улыбки не получилось.

— Тогда еще стакан хереса. И пойдем скорее, а то опоздаем и ближайшие ряды будут заняты.

— Спешить, по-моему, нет особой необходимости.

— Как это нет! Вон сколько народу идет на операцию. И почти все первокурсники. Их сразу отличишь, верно? Бледные, точно их самих будут оперировать.

— Неужели и я такой же бледный?

— Ничего, у меня самого был точно такой вид. Но неприятные ощущения скоро проходят. Глядишь, у парня лицо белое как мел, а через неделю он уже уплетает завтрак в анатомичке. Какая сегодня будет операция, я скажу вам, когда придем в аудиторию.

Студенты валом валили вниз по улице, которая вела к клинике. У каждого в руке была стопка тетрадей. Тут были и бледные, перепуганные ребята, только что окончившие школу, и очерствевшие ветераны, бывшие сокурсники которых уже давно стали врачами. Они вырывались сплошным шумным потоком из ворот университета. Студенты были молоды и телосложением и походкой, но юных лиц встречалось мало. У одних был такой вид, будто они слишком мало ели, у других — будто слишком много пили. Высокие и малорослые, в твидовых куртках и черных костюмах, широкоплечие и худосочные, обладавшие отличным зрением и носившие очки, они с топотом, стуча тростями о мостовую, вливались в ворота клиники. Время от времени толпа раздавалась и пропускала громыхавшие по булыжнику экипажи хирургов, служивших в клинике.

— На операцию к Арчеру, видно, соберется много народу, — сдерживая возбуждение, прошептал старший студент. — Его операции — это зрелище, скажу я вам! Однажды он на моих глазах так расправился с аортой, что мне чуть дурно не стало. Нам сюда. Осторожно, стены побелены, не испачкайтесь.

Они прошли под аркой и оказались в длинном коридоре с каменным полом и тускло-коричневыми переуменьрованными дверями по обеим сторонам. Некоторые из дверей были полуоткрыты, и новичок заглядывал в них с замиранием сердца. Но он видел только веселое пламя в каминах, ряды кроватей, застеленных белыми покрывалами, обилие цветных плакатов на стенах, и это немного приободрило его. Коридор выходил в приемный зал, вдоль стен которого на скамьях сидели бедно одетые люди. Молодой человек с парой ножиц, засунутых

в петлицу наподобие цветка, и записной книжкой в руке обходил людей, о чем-то шептался с ними и делал пометки.

— Есть что-нибудь стоящее? — спросил третьекурсник.

— Приходили бы к нам вчера, — подняв голову, сказал фельдшер. — Выдающийся был день. Подколенный аневризм, перелом Коллса, врожденная расщелина позвоночника, тропический абсцесс и слоновая болезнь. Ничего улов для одного захода?

— Жаль, что меня не было. Но все они еще не раз придут сюда, я надеюсь. А что с этим пожилым джентльменом?

В темном углу сидел скорчившийся рабочий и, раскачиваясь, стонал. Какая-то женщина, сидевшая рядом, пыталась утешить его, поглаживая по плечу рукой, испещренной странными маленькими белесыми волдырями.

— Это великолепный карбуикул, — сказал фельдшер с видом знатока, показывающего свои орхидеи человеку, который способен оценить их красоту. — Он на спиие, а у нас здесь сквозит, так что ему не следует раздеваться, верио, папаша? Пузырчатка, — добавил он небрежно, показывая на обезображенные руки женщины. — Не хотите ли задержаться у нас немного?

— Нет, спасибо. Мы торопимся на операцию Арчера. Пошли!

Молодые люди присоединились к толпе, спешившей на лекцию знаменитого хирурга.

Ярусы подковообразных скамей, поднимавшихся от пола до потолка, были уже заполнены, и вошедший новичок увидел перед собой, как в тумане, изогнутые дугой ряды лиц, услышал басовитое жужжание сотен голосов и смех, доносившиеся откуда-то сверху. Его товарищ высмотрел во втором ряду свободное место, и они оба втиснулись туда.

— Великолепно! — прошептал старший. — Отсюда вы увидите все.

Их отделял от операционного стола лишь один ряд голов. Стол был сосновый, некрашенный, крепко сколоченный и идеально чистый. Он был наполовину покрыт коричневой клеенкой, рядом на полу стояло большое жестяное корыто, наполненное опилками. Еще дальше у ок-

на на другом столе лежали блестящие стальные инструменты — хирургические щипцы, иглы, пилы, держатели. Сбоку рядом были выложены ножи с длинными, тонкими, изящными лезвиями. Перед этим столом сидели, развалившись, два молодых человека — один вдевал нитки в иголки, а другой что-то делал с похожей на медный кофейник штукой, с шипеньем испускавшей клубы пара.

— Видите высокого лысого человека в первом ряду? — прошептал старшекурсник. — Это Петерсон. Как вы знаете, он специалист по пересадке кожи. А это Энтони Браун, который прошлой зимой успешно удалил гортань. А вот Марфи, патолог, и Стоддарт, глазник. Скоро вы их тоже всех будете знать.

— А кто эти два человека, что сидят у стола с инструментами?

— Никто... помощники. Один ведает инструментами, другой — «пыхтелкой Билли». Это, как вы знаете, антисептический пульверизатор Листера. Арчер — сторонник карболовой кислоты. Хэйес — глава школы чистоты и холодной воды. И они смертельно ненавидят друг друга.

Теснившиеся на скамьях студенты оживились — две сестры ввели в аудиторию женщину в нижней юбке и корсаже. Голова ее была покрыта красным шерстяным платком, спускавшимся на плечи. Лицо, выглядывающее из-под платка, было молодое, но изможденное и специфического воскового оттенка. Голова ее была опущена, и одна из сестер, поддерживая женщину за талию и склонившись к уху, шепотом успокаивала ее. Проходя мимо стола с инструментами, женщина украдкой взглянула на них, но сестры повернули ее к столу спиной.

— Какая у нее болезнь? — спросил новичок.

— Рак околоушной железы. Чертовски трудный случай; опухоль разрослась как раз позади сонных артерий. Вряд ли кто, кроме Арчера, осмелился бы взяться за такую операцию. А вот и он сам!

При этих словах в комнату шагнул невысокий, подвижный, седовласый человек, потиравший на ходу руки. Он был похож на флотского офицера — чисто выбритое лицо, большие светлые глаза, прямой, тонкогубый рот. Следом, сверкая пенсне, вошел его рослый помощник-хирург, живший при клинике, которого сопровождал

ла процессия сестер, разошедшихся группками по углам аудитории.

— Джентльмены,— выкрикнул хирург,— голос у него был уверенный и энергичный, как и вся манера держаться,— перед нами интересный случай опухоли околоушной железы, сначала хрящевой, но теперь принявшей злокачественный характер, а следовательно, требующей удаления. На стол, сестра! Благодарю вас! Хлороформ! Спасибо! Можете сиять платок, сестра.

Женщина опустила на клеенчатую подушку, и взорам студентов предстала ее губительная опухоль. Сама по себе она не имела отталкивающего вида: желтоватобелая, с сеткой голубых вен, она слегка изгибалась от челюсти к груди. Но изможденное желтое лицо и жилистая шея ужасающе контрастировали с этим чудовищным, пухлым и лоснящимся наростом. Хирург обхватил опухоль рукой и стал легонько нажимать на нее то справа, то слева.

— Плотнo приросла к одному месту, джентльмены!— выкрикнул он.— Новообразование захватило сонные артерии и шейные вены и проходит позади челюсти, куда нам, вероятно, придется проникнуть. Невозможно предсказать, как глубоко может завести вскрытие. Карболку. Спасибо! Карболовые повязки, пожалуйста! Давайте хлороформ, мистер Джонсон. Приготовьте маленькую пилу на случай, если придется удалить челюсть.

Больная тихо стонала под полотенцем, которым ей закрыли лицо. Она попыталась поднять руки и согнуть ноги в коленях, но две сестры удержали ее. Душный воздух пропитался едкими запахами карболки и хлороформа. Из-под полотенца донесся глухой вскрик, а затем песенка, которую женщина затянула тоненьким голоском:

Сказал мне милый мой,
Убежим со мной,
Мороженое продавать,
Мороженое...

Потом послышалось сонное бормотанье, и наступила тишина. Хирург, по-прежнему потирая руки, подошел к скамьям и обратился к пожилому человеку, сидевшему перед новичком:

— Очень мало шансов у нынешнего правительства.

— Будет достаточно десяти голосов.

— Скоро оно и этого большинства лишится. Уж лучше пусть само подаст в отставку, чем его вынудят.

— Я боролся бы до конца.

— Что толку? Законопроект не пройдет через комитет, даже если пройдет большинством голосов в палате. Я видел...

— Пациентка к операции готова, сэр, — сказала сестра.

— Я видел Макдональда. Поговорим потом.

Он вернулся к больной, которая, раскрыв рот, тяжело дышала.

— Я намереваюсь, — сказал он, проводя рукой по опухоли и как бы даже лаская ее, — сделать один разрез над верхней границей опухоли, а второй — под нижней; оба разреза будут сделаны под прямым углом и дойдут, так сказать, до дна опухоли. Будьте любезны, средний скальпель, мистер Джонсон.

Новичок, сидевший с широко раскрытыми от ужаса глазами, увидел, как хирург взял длинный сверкающий нож, макнул его в жестяной тазик и перехватил пальцами за середину, как, наверное, художник берет кисть. Затем он увидел, как хирург оттянул левой рукой кожу на опухоли. Но тут его нервы, которые за день не раз подвергались испытаниям, окончательно сдали. Голова закружилась, и он почувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Он решил не смотреть на больную. Заткнул уши большими пальцами, чтобы не слышать крика, и уткнулся в деревянную полочку, приделанную к спинке передней скамьи. Он знал, что достаточно одного взгляда, одного вскрика — и он лишится остатков самообладания. Он попытался думать о крикете, о зеленых полях и воде, подернутой рябью, о сестрах, оставшихся дома... о чем угодно, только не о том, что происходило в двух шагах.

И все же как-то звук долетал до него, и он невольно возвращался мыслями к страшной опухоли. Он слышал, а может, ему казалось, что он слышит, протяжное шипенье карболового аппарата. Затем ему почудилось движение среди сестер. В уши врывались стоны, потом какой-то другой звук, как будто что-то текло. Воображение рисовало каждую фазу операции — одну кар-

тину кошмарней другой. Нервы его напряглись до крайности, он весь дрожал. С каждой минутой голова кружилась сильнее, стало болеть сердце. Вдруг он со стоном качнулся вперед, сильно ударился лбом об узкую деревянную полочку и потерял сознание.

Когда он пришел в себя, аудитория была уже пуста, а он лежал на скамье с расстегнутым воротом. Третьекурсник водил мокрой губкой по его лицу, и на это зрелище глазели два ухмыляющихся студента, помогавших при операции.

— Ладио,— сказал новичок, садясь и протирая глаза.— Простите, что свалил дурака.

— Это я виноват...— сказал его товарищ.— Но из-за чего, черт побери, вы хлопнулись в обморок?

— Не выдержал. Операция доконала.

— Какая операция?

— Ну, та самая... рак.

Наступила тишина, потом все три студента расхохотались.

— Вот чудак!— воскликнул третьекурсник.— Ведь никакой операции не было! Врачи нашли, что больная плохо переносит хлороформ, и операцию отменили. Вместо того Арчер прочитал нам одну из своих блестящих лекций. И вы хлопнулись в обморок, как раз когда он рассказывал свой любимый анекдот.

НЕУДАЧНОЕ НАЧАЛО

— Доктор Орас Уилкинсон дома?

— Это я. Входите, прошу вас.

Посетитель, казалось, был чуть удивлен тем, что дверь ему открыл сам хозяин дома.

— Я хотел бы поговорить с вами.

Доктор, бледный молодой человек с нервным лицом и холерными бакеибардами, в которые упирался высокий белый воротничок, одетый в строгий и длинный черный сюртук, какие носят только врачи, потер руки и улыбнулся.

В плотном, крепко сбитом человеке, стоявшем перед ним, он угадал пациента, первого своего пациента. Скудные его средства таяли, и он уже задумывался над текущими хозяйственными расходами, хотя безопасности ради давно запер в правый ящик стола деньги, предназначенные для арендной платы за первые три месяца. Он поклонился, жестом пригласил посетителя войти, небрежно, словно он случайно оказался в прихожей, запер дверь, проводил незнакомца в скромно обставленную приемную и предложил сесть. Сам доктор Уилкинсон сел за стол и, соединив кончики пальцев, стал внимательно разглядывать посетителя. Интересно, что его беспокоит? Лицо, кажется, слишком красное. Кое-кто из его прежних преподавателей уже поставил бы диагноз и поразил бы пациента описанием симптомов, прежде чем тот успел вымолвить слово. Доктор Орас Уилкинсон мучительно ломал голову, пытаясь угадать недуг своего первого пациента, но природа сотворила его всего

навсего трудолюбивым и усердным человеком, а не блестящим медиком. Мысли его вертелись вокруг цепочки от часов у посетителя, которую он видел перед собой. Она сильно смахивала на медную, и он сделал вывод, что может рассчитывать не более как на полкроны. Что ж, и полкроны на земле не валяются, особенно когда ты только начинаешь.

Пока врач внимательно разглядывал посетителя, тот шарил по карманам своего плотного сюртука. Из-за теплоты, не по погоде, одежды и усний, которые потребовались для этого, лицо его из кирпичного стало свекольным, а лоб покрылся испариной. Именно это и натолкнуло наконец наблюдательного медика на догадку. Не иначе как спиртному посетитель обязан таким цветом лица. Да, беда этого человека в том, что он пьет. Нужен, правда, некоторый такт, чтобы дать понять пациенту, что причина его недуга ясна для врача.

— Фу, жарко! — заметил незнакомец.

— Да, в такую погоду так и тянет выпить лишнюю кружку пива, хотя это и вредно, — ответил доктор Уэлкинсон, многозначительно глядя на посетителя поверх сомкнутых пальцев.

— Вот чего ни за что бы не посоветовал вам.

— Мне? Я пива не пью.

— Я тоже. Двадцать лет, как бросил.

Гнетущая пауза. Доктор Уэлкинсон вспыхнул, лицо у него стало такое же красное, как у собеседника.

— Чем я могу быть полезен? — спросил он, взяв стетоскоп и легонько постукивая им по ногтю большого пальца.

— Да-да, я как раз хотел перейти к делу... Я давно знаю, что вы прнехали, но как-то не собрался сразу...

Он неуверенно кашлянул.

— Понимаю, — произнес доктор сочувственно.

— Я должен был зайти к вам еще три недели назад, но знаете, как это бывает, — все откладываешь.

Он снова кашлянул, прикрыв рот большой красной ладонью.

— Я думаю, что больше не надо ничего рассказывать, — сказал доктор Уэлкинсон, уверенно беря дело в свои руки. — Ваш кашель говорит сам за себя. Затронуты бронхи, если судить на слух. Крохотный очажок, ничего

страшного, правда, есть опасность, что он увеличится, так что вы правильно сделали, что пришли. Кое-какие профилактические меры, и вы совсем поправитесь. Снимите, пожалуйста, жилет, рубашку не надо. Вздохните поглубже и низким голосом скажите «девятьсто девять».

Краснолицый рассмеялся.

— Да нет, со мной все в порядке, доктор. Кашель от того, что я жую табак. Дурная привычка. С вас причитается девять шиллингов и девять пенсов по счетчику. Я агент газовой компании.

Доктор Орас Уилкинсон рухнул в кресло.

— Так вы не больной? — пробормотал он.

— Нет, сэр, я ни разу в жизни не был у врача.

— Так вот что... По вашему виду и в самом деле не скажешь, что вы доставляете врачам много хлопот. Ума не приложу, что нам делать, если все будут такие здоровяки, как вы.— Доктор пытался замаскировать разочарование шуткой.— Хорошо, я как-нибудь найду в контору и внесу эту небольшую сумму.

— Сэр, было бы удобнее, поскольку я уже пришел... И вам не хлопотно...

— Ну что же, пожалуйста!

Эти вечные денежные дела причиняли доктору больше неприятностей, чем скромный образ жизни или скудная еда. Он вытащил кошелек и высыпал содержимое на стол: две монеты по полкроны и несколько пенсов. Правда, в ящике стола припрятаны десять золотых соверенов. Но это плата за помещение. Если притронутся к ним, он погиб. Нет, лучше уж голодать.

— Вот незадача! — сказал он, улыбаясь, словно произошло что-то совершенно неслыханное.— У меня вышла мелочь. Боюсь, что мне все-таки придется зайти в контору.

— Как вам угодно, сэр.

Агент поднялся и, оценив наметанным глазом все, что находилось в комнате — от ковра стоимостью в две гиней до восьмишillingовых муслиновых занавесок, — отклонился.

После его ухода доктор Уилкинсон прибрал в комнате, что он по обыкновению делал раз десять на дню. С краю на столе положил для вящей убедительности «Медицинскую энциклопедию Куэна», чтобы пациенты виде-

ли, какие у него под рукой авторитеты. Потом он вынул инструменты из своей карманной сумки—ножницы, щипчики, хирургические ножки, ланцеты — и аккуратнейшим образом разложил их на виду рядом со стетоскопом. Перед ним были раскрыты журнал, дневник и книга регистрации посетителей. Нигде не было ни единой записи, новенькие глянцевоы обложки внушали подозрение, поэтому он потер их друг о друга и даже поставил несколько чернильных клякс. Чтобы пациент не заметил, что его имя первое, он заполнил первую страницу в каждой книге записями о воображаемых визитах, которые он нанес безымянным больным за три последних недели. Пролделав все это, он уронил голову на руки и погрузился в томительное ожидание.

Ожидание клиента всегда томительно для молодого человека, едва начинающего карьеру, но особенно томительно для того, кто знает, что через несколько недель, а то и дней жить будет не на что. Как ни экономить, деньги будут утекать, точно вода, из-за бесчисленных мелких расходов, совершенно непонятных, пока не имеешь собственного дома. И вот сейчас, сидя за столом и задумчиво глядя на горстку серебряных и медных монет, доктор Уилкинсон не стал бы отрицать, что его надежды успешно практиковать в Саттоне быстро улечувиваются.

А ведь это был оживленный, процветающий город, тут было столько денег, что оставалось загадкой, почему знающий человек с умелыми руками должен бежать отсюда из-за невозможности найти работу. Со своего места доктор Орас Уилкинсон видел, как мимо его окна в обе стороны бежал и вихрился бесконечный людской поток. Он поселился в деловом квартале, где воздух всегда наполнен глухим городским шумом, стуком колес и шарканьем бесчисленных шагов. Тысячи и тысячи мужчины, женщины, детей каждый день проходили мимо его двери, но каждый спешил по своим делам и едва ли замечал маленькую медную табличку на ней и давал себе труд подумать о человеке, который ждал внутри. А ведь совершенно очевидно, что многие из них нуждались в его помощи. Мужчины, страдающие дуриым пищеварением, и анемичные женщины с прыщеватыми лицами и большой печеью — все они проходили мимо; они нужда-

лись в нем, он нуждался в них, но их разделял неумолимый закон профессиональной этики. Что ему было делать? Не мог же он, выйдя за дверь, схватить за рукав первого встречного и шепнуть ему на ухо: «Прошу прощения, сэр, я только хотел сказать, что ваше лицо усеяно угрями, на вас неприятно смотреть, позвольте рекомендовать вам отличное средство с мышьяком, оно будет стоить не больше, чем один обед или ужин, но, несомненно, поправит ваше здоровье»? Сказать такое — значит унижить высокое и благородное звание врача, а нет более ревностных хранителей профессиональной чести, чем те, кому эта профессия стала злой мачехой.

Доктор Орас Уилкинсон все так же задумчиво глядел в окно, как вдруг кто-то резко дернул звонок у входной двери. Колокольчик звонил часто, и каждый раз он загорался надеждой, которая тут же гасла и имела сердце свинцовым разочарованием, когда он встречал на пороге нищего или коммивояжера. И все-таки наш доктор был молод, обладал отходчивым характером, так что, несмотря на горький опыт, душа его снова радостно отозвалась на призыв. Он вскочил на ноги, окинул взглядом стол, придвинул на более видное место справочники и поспешил к двери. Но, выйдя в прихожую, он чуть не застонал от досады. Сквозь застекленный верх двери он увидел перед домом цыганский фургон, нагруженный плетеными столами и стульями, а у входа мужчину и женщину с ребенком. Он знал, что с этими людьми лучше даже не вступать в разговор.

— Ничего нет! — крикнул он, чуть отпустив цепочку замка. — Уходите! — Он захлопнул дверь, но колокольчик зазвонил снова. — Уходите! — крикнул он в сердцах и пошел к себе в приемную. Но едва он успел опуститься на стул, как колокольчик зазвонил в третий раз. Закрипая от гнева, он кинулся назад, распахнул дверь.

— Какого...?

— Простите, сэр, нам нужен врач.

В одно мгновение он уже с приятнейшей профессиональной улыбкой потирал руки. Значит, им все-таки нужен врач, а он хотел прогнать их с порога — первые посетители, которых он ждал с таким нетерпением. Правда, люди эти из самых низов. Мужчина, высокий цыган с гладкими волосами, отошел к лошади. Перед ним стоя-

ла невысокая суровая женщина с большой ссадиной у глаза. Голова у нее была повязана желтым шелковым платком, к груди она прижимала младенца, завернутого в красную шаль.

— Входите, сударыня, — любезно произнес доктор Орас Уилкинсон. Уж тут-то диагноз можно поставить безошибочно. — Присядьте на диван, через минуту вам будет лучше.

Он налил из графина воды в блюдо, и положил компресс из корпии на поврежденное место и сделал перевязку *secundum artem*¹.

— Спасибо, сэр, — сказала женщина, когда он кончил. — Так хорошо теперь и тепло. Да благослови вас бог, доктор. Но пришла-то я не с глазом.

— Не из-за глаза?

Доктор Орас Уилкинсон начинал сомневаться в преимуществе быстрого диагноза. Поразить пациента — вещь, конечно, превосходная, но до сих пор пациенты поражали его.

— Нет, у ребеночка вот сыпь.

Она отвернула шаль и показала крохотную темно-лосую черниглазую девочку. Ее смуглое горячее личико обметала темно-красная сыпь. Ребенок, хрипло посапывая, смотрел на доктора слипающимися со сна глазенками.

— М-да! Верно, сыпь... и порядочно высыпало.

— Я пришла показать ее вам, чтобы вы могли утвердить.

— Что утвердить?

— Ну, если что случится...

— Вот оно что... Подтвердить, значит.

— Ну, а теперь я, пожалуй, пойду. А то Рубен — это мой муж — спешит.

— Неужели вы не возьмете лекарства для девочки?

— Вы видели ее, значит, все в порядке. Если что случится, я скажу вам.

— Вы должны взять лекарство. Ребенок серьезно болен.

Он спустился в маленькую комнатку, которую приспособил под хирургический кабинет, и приготовил две ун-

¹ По всем правилам искусства (лат.).

цни успокаивающей мази в пузырьке. В таких городках, как Саттон, немногие могут позволить себе платить и врачу и фармацевту, и если врач не умеет приготовить лекарство, то ему вряд ли удастся заработать на жизнь.

— Вот лекарство, сударыня. Способ употребления на этикетке. Держите девочку в тепле и не перекармливайте.

— Премного благодарна вам, сэр.

Женщина взяла ребенка в руки и пошла к двери.

— Простите, сударыня, — тревожно сказал доктор, — не кажется ли вам, что неудобно посылать счет на такую небольшую сумму? Лучше, если вы сразу рассчитаетесь со мной.

Цыганка с упреком глянула на него здоровым глазом.

— Вы хотите взять с меня деньги? — спросила она. — Сколько же?

— Ну, скажем, полкроны.

Он назвал сумму небрежно, словно о такой мелочи и говорить всерьез не приходится, но цыганка подняла истошный крик.

— Полкроны? За что?

— Послушайте, дражайшая, почему же вы не обратились к бесплатному врачу, если у вас нет денег?

Неловко согнувшись, чтобы не уронить ребенка, женщина пошарила в карманах.

— Вот семь пенсов, — сказала она наконец, протягивая несколько медяков. — А в придачу дам плетеную скамеечку под ноги.

— Но мне платят полкроны.

Вся его натура, воспитанная на уважении к славной профессии врача, восставала против этой унизительной торговли, но у него не было выхода.

— Да где же я возьму полкроны-то? Хорошо господам, как вы сами: сидите себе в больших домах, едите, пьете, что пожелаете, да еще требуете полкроны. А за что? За то, что скажете «добрый день»? Полкроны на земле не валяются. Денежки-то нам oh как трудно достаются! Семь пенисов, больше у меня нет. Вот вы сказали не перекармливать ее. Куда там перекармливать, кормить не знаю чем.

Пока цыганка причитала, доктор Орас Уилкинсон рассеянно перевел взгляд на крохотную горстку монет

на столе — все, что отделяло его от голода, и мрачно усмехнулся про себя, подумав, что в глазах этой бедной женщины он купается в роскоши. Потом он сгреб со стола свои медяки, оставив две монеты в полкроны, и протянул их цыганке.

— Гоиорара не надо, — сказал он резко. — Возьмите это. Они вам пригодятся. До свидания!

Он проводил цыганку в прихожую и запер за ней дверь. Все-таки начало положено. У этих бродяг удивительная способность распространять новости. Популярность самых лучших врачей зиждется на таких вот рекомендациях. Повернутся у кухни, расскажут слугам, те несут в гостиную — так оно и идет. Во всяком случае, теперь он может сказать, что у него был больной.

Он пошел в заднюю комнату и зажег спиртовую горелку, чтобы вскипятить воды для чая; пока вода грелась, он с улыбкой думал об этом визите. Если все будут такие, то нетрудно посчитать, сколько потребуется больных, чтобы разорить его до нитки. Грязь на ковре и убитое время не в счет, но бинта пошло на два пенса и лекарства на четыре, не говоря уже о пузырьке, пробке, этикетке и бумаге. Кроме того, он дал ей пять пенсов, так что первый пациент стоил ему никак не меньше шестой части наличного капитала. Если появятся еще пятеро, он вылетит в трубу. Доктор Уилкинсон присел на чемодан и затрясся от смеха, отмеривая в коричневый керамический чайник полторы чайных ложки чая по шиллингу и восемь пенсов за фунт. Вдруг улыбка сбегала с его губ, он вскочил на ноги и прислушался, вытянув шею и скосив глаза на дверь. Заскрежетали колеса на обочине тротуара, слышались шаги за дверью, и громко задребезжал звонок. С ложкой в руке он выглянул в окно и с удивлением увидел экипаж, запряженный парой, и напудренного лакея у дверей. Ложка звякнула об пол, он недоуменно застыл. Потом, собравшись с духом, распахнул дверь.

— Молодой человек, — начал лакей, — скажи своему хозяину доктору Уилкинсону, что его просят как можно скорее к леди Миллбэнк, в «Башни». Он должен ехать немедленно. Мы бы подвезли его, но нам нужно заехать еще раз к доктору Мэйсону посмотреть, дома ли он. Поторопитесь-ка передать ему это!

Лакей кивиул и исчез; в ту же минуту возница хлестнул лошадей, и экипаж понесся по улице.

Дела принимали неожиданный оборот! Доктор Орас Уилкинсон стоял у двери, пытаясь собраться с мыслями. Леди Миллбэнк, владелица «Башни». Очевидно, состоятельная и высокопоставленная семья. И случай, видно, серьезный — иначе зачем такая спешка и два врача сразу? Однако каким чудом объяснить, что послали именно за ним?

Он скромный, никому не известный врач. Тут какая-то ошибка. Да, так оно, верно, и есть... А может быть, кто-нибудь решил сыграть с ним злую шутку? Но так или иначе пренебрегать таким приглашением нельзя. Он должен немедленно отправиться и выяснить, в чем дело.

Хотя кое-что он может узнать еще на своей улице. На ближайшем углу есть крохотная лавчонка, где один из старожиллов торгует газетами и сплетнями. Сперва он отправится туда... Доктор надел начищенный цилиндр, рассовал инструменты и перевязочный материал по карманам, не выпив чая, запер свою приемную и пустился навстречу приключению.

Торговец на углу был ходячим справочником обо всех и обо всем в Саттоне, так что очень скоро доктор Уилкинсон получил необходимые сведения. Оказалось, что сэр Джон Миллбэнк — популярнейшая фигура в городе. Крупный оптовик, он занимался экспортом письменных принадлежностей, трижды был мэром и, по слухам, стоил никак не меньше двух миллионов стерлингов.

«Башни» — это богатое поместье сэра Джона Миллбэнка недалеко от города. Супруга его давно хворает, и ей становится все хуже. Все выглядело пока вполне правдоподобно. Они вызвали его благодаря какой-то поразительной случайности.

Но вдруг доктора снова одолели сомнения, и он вернулся в лавку.

— Я доктор Орас Уилкинсон, живу по соседству. Нет ли в городе другого врача с этим именем?

Нет. Торговец был уверен, что второго доктора Уилкинсона в городе нет.

Итак, все ясно, ему выпал неслыханно счастливый случай, и он должен незамедлительно воспользоваться им. Он подозревал кэб и помчался в «Башню». У него то кру-

жила голова от радостных надежд и восторга, то замн-
рало сердце от страха и сомнений, что он не сможет быть
полезным или что в самый критический момент у него не
окажется с собой нужного инструмента или какого-ни-
будь средства. В памяти всплывали всякие сложные и
простые случаи, о которых он слышал или читал, и за-
долго до того, как добраться до «Башен», он окончательно
убедил себя, что его немедленно попросят сделать по
меньшей мере трепанацию черепа.

«Башни» оказались большим домом, стоящим посре-
ди парка на другом конце аллеи. Подкатив к дому, док-
тор выпрыгнул из кэба, отдал кэбмену половину своего
земного имущества и последовал за величественным ла-
кеем, который, справившись, как доложить, провел док-
тора через великолепную, обштую дубом и с цветными
стеклами в окнах залу, стены которой были увешаны
оленьими головами и старинным оружием, и пригласил
в большую гостиную. В кресле у камина с раздра-
женным видом восседал желчный мужчина, а в даль-
нем конце комнаты, у окна, стояли две молодые леди
в белом.

— Эй-эй, что такое? — воскликнул желчный мужчи-
на. — Вы доктор Уилкинсон, да?

— Да, сэр. Я доктор Уилкинсон.

— Так, так! Вы как будто очень молоды, гораздо мо-
ложе, чем я ожидал. Однако вот Мэйсон — старик, а все
же, кажется, не очень разбирается что к чему. Наверно,
стоит попробовать теперь с другого, так сказать, конца.
Вы тот самый Уилкинсон, который писал что-то про
легкие?

Теперь все ясно! Два единственные сообщения, кото-
рые он послал в «Ланцет» и которые были помещены
где-то на последних страницах среди дискуссий о про-
фессиональной этике и вопросов насчет того, во сколько
обходится держать в деревне лошадь, — два эти скром-
ные сообщения касались именно легочных заболеваний.
Значит, он не напрасно трудился. Значит, чей-то взгляд
остановился на них и имя автора было замечено. Кто
после этого осмелится утверждать, что труд может
остаться вознагражденным!

— Да, я писал о легких.

— Ага! Ну, хорошо, а где же Мэйсон?

— Не имею чести знать его.

— Вот как! Странно. Он знает вас и ценит ваше мнение. Вы ведь не здешний?

— Да, я приехал совсем недавно.

— Мэйсон так и сказал. Он не дал мне ваш адрес. Сказал, что сам привезет вас. Но когда жене стало хуже, я навел справки и без него послал за вами. Я послал и за Мэйсоном, но его не оказалось дома. Однако мы не можем так долго ждать, бегите-ка наверх и принимайтесь за дело.

— Гм, вы ставите меня в весьма неловкое положение,— сказал доктор Орас Уилкинсон неуверенно.— Насколько я понимаю, меня пригласили сюда на консилиум с моим коллегой, доктором Мэйсоном. Мне вряд ли удобно осматривать больную в его отсутствие. Я думаю, что лучше подождать.

— Подождать? Да вы что? Неужели вы думаете, что я позволю врачу прохлаждаться в гостиной, в то время как моей жене становится хуже и хуже! Нет, сэр, я человек простой и говорю попросту: либо вы немедленно идете к ней, либо уходите.

Неподобающие обороты речи хозяина дома покоробили доктора. Хотя человеку многое прощается, когда у него больна жена. Поэтому доктор Уилкинсон удовольствовался сухим поклоном.

— Если вы настаиваете, я иду к больной,— сказал он.

— Да, настаиваю! И вот еще что: нечего простукивать ей грудь и прочие штучки. У нее обыкновенный бронхит и астма и больше ничего нет. Можете ее вылечить — милости просим. От всех этих простукиваний да прослушиваний она только силы теряет, а пользы все равно никакой.

Доктор мог стерпеть личное неуважение, но когда осторожным словом задевали его святыню — профессию врача, он не мог сдержаться.

— Благодарю вас,— сказал он, беря шляпу.— Имею честь пожелать вам всего хорошего. Я не хочу брать на себя ответственность за больную.

— Пойдите, в чем дело?

— Не в моих правилах давать советы, не осмотрев пациента. Странно, что вы предлагаете это врачу. Желаю вам всего хорошего.

Сэр Джон Миллбэнк был сугубо коммерческий человек и неукоснительно придерживался коммерческого принципа: чем труднее заполучить что-либо, тем это дороже. Мнение врача определялось для него единственно тем, сколько за него будет заплачено. А этот молодой человек, казалось, не придавал никакого значения ни его состоянию, ни титулу. И потому он сразу же преисполнился уважения к нему.

— Вот как? У Мэйсона кожа потолще, — сказал он. — Ну, ладно, ладно, пусть будет по-вашему. Поступайте, как знаете. Я молчу. Вот только поднимусь наверх и скажу леди Миллбэнк, что вы сейчас придете.

Едва за ним захлопнулась дверь, как две застенчивые юные леди выпорхнули из своего угла и оживленно заговорили с доктором, которого все это до крайности удивляло.

— Так ему и надо! — воскликнула та, что повыше, хлопая в ладоши.

— Не позволяйте ему командовать собой, — сказала другая. — Хорошо, что вы настояли на своем. Вот так он и обращается с бедным доктором Мэйсоном. Он даже не имел возможности как следует осмотреть маму. Он во всем слушается папу. Ш-ш, Мод, он идет!

Они мгновенно утихли и кинулись в свой угол, молчаливые и робкие, как прежде.

Доктор Орас Уилкинсон последовал за сэром Джоном по широкой, устланной ковром лестнице в затемненную комнату, где находилась больная. За пятнадцать минут он тщательнейшим образом осмотрел ее и снова спустился с супругом в гостиную. У камина стояли два господина, один — типичный практикующий врач, аккуратный и гладко выбритый, другой — солидный, высокий мужчина средних лет с голубыми глазами и большой рыжей бородой.

— А, это вы, Мэйсон! Наконец-то!

— Сэр Джон, я не один. Я обещал привезти вам доктора Уилкинсона.

— Кого? Вот доктор Уилкинсон!

Доктор Мэйсон уставился на молодого человека.

— Я не знаю этого господина! — воскликнул он.

— И тем не менее я доктор Орас Уилкинсон с Кэ-нелвью-стрит, дом 14.

— Боже мой, сэр Джон! — воскликнул доктор Мэйсон. — Неужели вы полагаете, что к такой больной, как леди Миллбэнк, я пригласил бы для консультации начинающего врача? Доктор Адам Уилкинсон читает курс легочных заболеваний в Регентском колледже в Лондоне, является штатным врачом больницы Святого Сунзнна и автором десятка работ по этой специальности. Доктор Уилкинсон проездом в Саттоне, и я решил воспользоваться его присутствием, чтобы выслушать высококвалифицированное мнение о состоянии леди Миллбэнк.

— Благодарю вас, — сухо отвечал сэр Джон. — Этот молодой господин только что тщательно осмотрел мою жену, и боюсь, что это сильно утомило ее. На сегодня, думаю, хватит, но поскольку вы потрудились приехать, я, разумеется, буду рад получить от вас счет.

Доктор Мэйсон был крайне раздосадован появлением другого Уилкинсона, друга же его, специалиста, напротив, история эта крайне позабавила. Когда они уехали, сэр Джон выслушал мнение молодого врача о состоянии своей жены.

— Ну, а теперь я вам вот что скажу, — решил сэр Джон, когда тот кончил. — Я человек слова, понимаете? Когда мне кто понравится, я просто к нему прилипаю. Хороший друг и опасный враг — вот кто я такой. Я верю вам и не верю Мэйсону. Поэтому с сегодняшнего дня вы будете практиковать меня и мою семью. Заглядывайте к моей жене каждый день. Как у вас с расписанием визитов?

— Я очень благодарен за добрые слова и ваше великодушное предложение, боюсь, однако, что я не смогу, по всей видимости, воспользоваться им.

— В чем же еще дело?

— Я вряд ли смогу взяться за лечение вашей супруги, поскольку доктор Мэйсон уже лечит ее. Это было бы неэтично с моей стороны.

— Ну как хотите! — воскликнул сэр Джон. — Мне еще никто не доставлял столько хлопот. Вам сделано хорошее предложение, вы отказались, значит, и говорить не о чем!

Миллионер, топая ногами, раздраженно выскочил из комнаты, а доктор Орас Уилкинсон, унося в кармане первую заработанную гинейю, отправился домой, к своей

спиртовой горелке и чаю по шиллингу и восемь пенсов, преисполненный гордого сознания, что он следовал лучшим традициям врачебной профессии.

И все-таки это неудачное начало было вместе и добрым началом, ибо доктор Мэйсон, конечно, узнал, что младший коллега, имея возможность лечить самого выгодного в округе пациента, отказался от предложения. К чести медиков надо сказать, что это скорее правило, чем исключение, хотя в данном случае, когда врач так молод, а пациент так состоятелен, искушение было, бесспорно, велико. Поэтому вскорости последовало благодарное письмо, затем визит. Завязалась дружба. И теперь почти все больные Саттона лечатся у известной медицинской фирмы «Мэйсон и Уилкинсон».

ЛЮБЯЩЕЕ СЕРДЦЕ

Врачу с частной практикой, который утром и вечером принимает больных дома, а день тратит на визиты, трудно выкроить время, чтобы подышать свежим воздухом. Для этого он должен встать пораньше и выйти на улицу в тот час, когда магазины еще закрыты, воздух чист и свеж и все предметы резко очерчены, как бывает в мороз.

Этот час сам по себе очаровывает: улицы пусты, не встретишь никого, кроме почтальона и разносчика молока, и даже самая заурядная вещь обретает первозданную привлекательность, как будто и мостовая, и фонарь, и вывеска — все заново родилось для наступающего дня. В такой час даже удаленный от моря город выглядит прекрасным, а его пропитанный дымом воздух — и тот, кажется, несет в себе чистоту.

Но я жил у моря, правда, в городишке довольно дрянном; с ним примирял только его великий сосед. Но я забывал его изъязмы, когда приходил посидеть на скамейке над морем, — у ног моих расстился огромный голубой залив, обрамленный желтым полумесяцем прибрежного песка. Я люблю, когда его гладь усеяна рыбацкими лодками; люблю, когда на горизонте проходят большие суда: самого корабля не видно, а только маленькое облачко надутых ветром парусов сдержанно и величественно проплывает вдали. Но больше всего я люблю, когда его озаряют косые лучи солнца, вдруг прорвавшиеся

из-за гонимых ветром туч, и вокруг на много миль нет и следа человека, оскорбляющего своим присутствием величие Природы. Я видел, как тонкие серые нити дождя под медленно плывущими облаками скрывали в дымке противоположный берег, а вокруг меня все было залито золотым светом, солнце искрилось на бурунах, проливая в зеленую толщу воли и освещая на дне островки фиолетовых водорослей. В такое утро, когда ветерок играет в волосах, воздух наполнен криками кружащихся чаек, а на губах капельки брызг, со свежими силами возвращаешься в душные комнаты больных к унылой, скучной и утомительной работе практикующего врача.

В один из таких дней я и встретил моего старика. Я уже собирался уходить, когда он подошел к скамье. Я бы заметил его даже в толпе. Это был человек крупного сложения, с благородной осанкой, с аристократической головой и красно очерченными губами. Он с трудом подымался по извилистой тропинке, тяжело опираясь на палку, как будто огромные плечи сделались непосильной ношей для его слабеющих ног. Когда он приблизился, я заметил синеватый оттенок его губ и носа, предостерегающий знак Природы, говорящий о переутомленном сердце.

— Трудный подъем, сэр. Как врач, я бы посоветовал вам отдохнуть, а потом идти дальше, — обратился я к нему.

Он с достоинством, по-старомодному поклонился и опустил на скамейку. Я чувствовал, что он не хочет разговаривать, и тоже молчал, но не мог не наблюдать за ним краешком глаза. Это был удивительно как дошедший до нас представитель поколения первой половины этого века: в шляпе с низкой тульей и загнутыми краями, в черном атласном галстуке и с большим мясистым чисто выбритым лицом, покрытым сетью морщинок. Эти глаза, прежде чем потускнеть, смотрели из почтовых карет на землекопов, строивших полотно железной дороги, эти губы улыбались первым выпускам «Пиквика» и обсуждали их автора — многообещающего молодого человека. Это лицо было своего рода летописью прошедших семидесяти лет, где как общественные, так и личные невзгоды оставили свой след; каждая морщинка была сви-

детельством чего-то: вот эта на лбу, быть может, оставлена восстанием сипаев, эта — Крымской кампанней, а эти — мне почему-то хотелось думать — появились, когда умер Гордон. Пока я фантазировал таким нелепым образом, старый джентльмен с лакированной тростью как бы исчез из моего зрения, и передо мной воочию предстала жизнь нации за последние семьдесят лет.

Но он вскоре возвратил меня на землю. Отдышавшись, он достал из кармана письмо, надел очки в роговой оправе и очень внимательно прочитал его. Не имея ни малейшего намерения подсматривать, я все же заметил, что письмо было написано женской рукой. Он прочитал его дважды и так и остался сидеть с опущенными уголками губ, глядя поверх залива невидящим взором. Я никогда не видел более одинокого и заброшенного старика. Все доброе, что было во мне, пробудилось при виде этого печального лица. Но я знал, что он не был расположен разговаривать, и поэтому и еще потому, что меня ждал мой завтрак и мои пациенты, я отправился домой, оставив его сидеть на скамейке.

Я ни разу и не вспомнил о нем до следующего утра, когда в то же самое время он появился на мысу и сел рядом со мной на скамейку, которую я уже привык считать своей. Он опять поклонился перед тем как сесть, но, как и вчера, не был склонен поддерживать беседу. Он изменился за последние сутки, и изменился к худшему. Лицо его как-то отяжелело, морщины стало больше, он с трудом дышал, и зловещий синеватый оттенок стал заметнее. Отросшая за день щетина портит правильную линию его щек и подбородка, и он уже не держал свою большую прекрасную голову с той величавостью, которая так поразила меня в первый раз. В руках у него было письмо, не знаю то же или другое, но опять написанное женским почерком. Он по-стариковски бормотал над ним, хмурил брови и поджимал губы, как капризный ребенок. Я оставил его со смутным желанием узнать, кто же он и как случилось, что один-единственный весенний день мог до такой степени изменить его.

Он так заинтересовал меня, что на следующее утро я с нетерпением ждал его появления. Я опять увидел

его в тот же час: он медленно поднимался, сгорбившись, с низко опущенной головой. Когда он подошел, я был поражен переменной, происшедшей в нем.

— Боюсь, что наш воздух не очень вам полезен, сэр,— осмелился я заметить.

Но ему, по-видимому, было трудно разговаривать. Он попытался что-то ответить мне, но это вылилось лишь в бормотание, и он замолк. Каким сломленным, жалким и старым показался он мне, по крайней мере лет на десять старше, чем в тот раз, когда я впервые увидел его! Мне было больно смотреть, как этот старик — великолепный образец человеческой породы — таял у меня на глазах. Трясущимися пальцами он разворачивал свое неизменное письмо. Кто была эта женщина, чьи слова так действовали на него? Может быть, дочь или внучка, ставшая единственной отрадой его существования и заменившая ему... Я улыбнулся, обнаружив, как быстро я сочинил целую историю небритого старика и его писем и даже успел взгрустнуть над ней. И тем не менее он опять весь день не выходил у меня из головы, и передо мной то и дело возникали его трясущиеся, узловатые, с синими прожилками руки, разворачивающие письмо.

Я не надеялся больше увидеть его. Еще один такой день, думал я, и ему придется слезь в постель или по крайней мере остаться дома. Каково же было мое удивление, когда на следующее утро я опять увидел его на скамье. Но, подойдя ближе, я стал вдруг сомневаться, он ли это. Та же шляпа с загнутыми полями, та же лакированная трость и те же роговые очки, но куда делась сутулость и заросшее серой щетиной несчастное лицо? Щеки его были чисто выбриты, губы твердо сжаты, глаза блестели, и его голова, величественно, словно орел на скале, покоилась на могучих плечах. Прямо, с выправкой гренадера сидел он на скамье и, не зная, на что направить бьющую через край энергию, отбрасывал тростью камешки. В петлице его черного, хорошо вычищенного сюртука красовался золотистый цветок, а из кармана изящно выглядывал краешек красного шелкового платка. Его можно было принять за старшего сына того старика, который сидел здесь прошлое утро.

— Доброе утро, сэр, доброе утро! — прокричал старик весело, размахивая тростью в знак приветствия.

— Доброе утро, — ответил я. — Какое чудесное сегодня море!

— Да, сэр, но вы бы видели его перед восходом!

— Вы пришли сюда так рано?

— Едва стало видно тропику, я был уже здесь.

— Вы очень рано встаете.

— Не всегда, сэр, не всегда. — Он хитро посмотрел на меня, как будто стараясь угадать, достоин ли я его доверия. — Дело в том, сэр, что сегодня возвращается моя жена.

Вероятно, на моем лице было написано, что я не совсем понимаю всей важности сказанного, но в то же время, уловив сочувствие в моих глазах, он пододвинулся ко мне ближе и заговорил тихим голосом, как будто то, что он хотел сообщить мне по секрету, было настолько важным, что даже чайкам нельзя было это доверить.

— Вы женаты, сэр?

— Нет.

— О, тогда вы вряд ли поймете! Мы женаты уже пятьдесят лет и никогда раньше не расставались, никогда.

— Надолго уезжала ваша жена? — спросил я.

— Да, сэр. На четыре дня. Видите ли, ей надо было поехать в Шотландию, по делам. Я хотел ехать с ней, но врачи мне запретили. Я бы, конечно, не стал их слушать, если бы не жена. Теперь, слава богу, все кончено, сегодня она приезжает и каждую минуту может быть здесь.

— Здесь?

— Да, сэр. Этот мыс и эта скамейка — наши старые друзья вот уже тридцать лет. Видите ли, люди, с которыми мы живем, нас не понимают, и среди них мы не чувствуем себя вдвоем. Поэтому мы встречаемся здесь. Я точно не знаю, каким поездом она приезжает, но даже если бы она приехала самым ранним, она бы уже застала меня здесь.

— В таком случае... — сказал я, поднимаясь.

— Нет, нет, сэр, не уходите. Прошу вас, оставайтесь, если только я не наскучил вам своими разговорами.

— Напротив, мне очень интересно,— сказал я.

— Я столько пережил за эти четыре дня! Какой это был кошмар! Вам, наверное, покажется странным, что старый человек может так любить?

— Это прекрасно.

— Дело не во мне, сэр! Любой на моем месте чувствовал бы то же, если бы ему посчастливилось иметь такую жену. Наверное, глядя на меня и после моих рассказов о нашей долгой совместной жизни, вы думаете, что она тоже старуха?

Эта мысль показалась ему такой забавной, что он от души рассмеялся.

— Знаете, такие, как она, всегда молоды сердцем, поэтому они и не стареют. По-моему, она ничуть не изменилась с тех пор, как впервые взяла мою руку в свои; это было в сорок пятом году. Сейчас она, может быть, полновата, но это даже хорошо, потому что девушкой она была слишком уж тонка. Я не принадлежал к ее кругу: я служил клерком в конторе ее отца. О, это была романтическая история! Я завоевал ее. И никогда не перестану радоваться своему счастью. Подумать только, что такая прелестная, такая необыкновенная девушка согласилась пройти об руку со мной жизнь и что я мог...

Вдруг он замолчал. Я удивленно взглянул на него. Он весь дрожал, всем своим большим телом, руки вцепились в скамейку, а ноги беспомощно скользнули по гравию. Я понял: он пытался встать, но не мог, потому что был слишком взволнован. Я уже было протянул ему руку, но другое, более высокое соображение вежливости сдержало меня, я отвернулся и стал смотреть на море. Через минуту он был уже на ногах и торопливо спускался вниз по тропинке.

Навстречу ему шла женщина. Она была уже совсем близко, самое большее в тридцати ярдах. Не знаю, была ли она когда-нибудь такой, какой он мне описал ее, или это был только идеал, который создало его воображение. Я увидел женщину и в самом деле высокую, но толстую и бесформенную, ее загорелое лицо было покрыто здоровым румянцем, юбка комично обтягивала ее, корсет был тесен и неуклюж, а зеленая лента на шляпе так просто раздражала. И это было то прелестное, вечно юное

создание! У меня сжалось сердце, когда я подумал, как мало такая женщина может оценить его и что она, быть может, даже недостойна такой любви. Уверенной походкой поднималась она по тропинке, в то время как он кивал ей навстречу. Стараясь быть незамеченным, я украдкой наблюдал за ними. Я видел, как они подошли друг к другу, как он протянул к ней руки, но она, не желая, видимо, чтобы хоть кто-то был свидетелем их ласки, взяла одну его руку и пожала. Я видел ее лицо в эти минуты и успокоился за моего старика. Дай бог, чтобы в старости, когда руки мои будут трястись, а спина согнется, на меня так же смотрели глаза женщины.

УСПЕХИ ДИПЛОМАТИИ

Министра иностранных дел свалила подагра. Целую неделю он провел дома и не присутствовал на двух совещаниях кабинета, причем как раз тогда, когда по его ведомству возникла масса неотложных дел. Правда, у него был отличный заместитель и великолепный аппарат, но никто не обладал таким широким опытом и такой мудрой проициательностью, и дела в его отсутствие застопорились. Когда его твердая рука сжимала руль, огромный государственный корабль спокойно плыл по бурным водам политики, но стоило ему отнять руку, началась болтанка, корабль сбился с пути, и редакторы двенадцати британских газет, выказывая всеведение, предложили двенадцать различных курсов, каждый из которых объявлялся единственно верным и безопасным. Одновременно возвысила голос оппозиция, так что растерявшийся премьер-министр молился во здравие своего отсутствующего коллеги.

Министр находился в своей комнате в просторном особняке на Кавендиш-сквер. Был май, газон перед его окном уже зазеленел, но, несмотря на теплое солнце, здесь, в комнате больного, весело потрескивал огонь в камине. Государственный муж сидел в глубоком кресле темно-красного плюша, откинув голову на шелковую подушку и положив вытянутую ногу на мягкую скамеечку. Его точеное, с глубокими складками лицо было обращено к лепному, расписанному потолку, и застывшие глаза глядели с тем характерным непроициаемым выражением, которое привело в отчаяние восхищенных коллег с континента на памятном международном конгрессе, когда он

впервые появился на арене европейской дипломатии. И все-таки сейчас способность скрывать свои чувства изменила ему: и по линиям прямого волевого рта и по морщинам на широком выпуклом лбу видно было, что он не в духе и чем-то сильно озабочен.

Было от чего прийти в дурное расположение: министру предстояло многое обдумать, а он не мог собраться с мыслями. Взять хотя бы вопрос о Добрудже и навигации в устье Дуная — пора улаживать это дело. Русский посол прислал мастерски составленный меморандум, и министр мечтал ответить достойнейшим образом. Или блокада Крита. Британский флот стоит на рейде у мыса Матапан, ожидая распоряжений, которые могли бы повернуть ход европейской истории. Потом эти трое несчастных туристов, которые забрались в Македонию, — знакомые с ужасом ожидали, что почта принесет их отрезанные уши или пальцы, поскольку похитители потребовали баснословный выкуп. Нужно срочно вызволять их из рук горцев хоть силой, хоть дипломатической хитростью, иначе гнев возмущенного общественного мнения выплеснется на Даунинг-стрит. Все эти вещи требовали безотлагательного решения, а министр иностранных дел Великобритании не мог подняться с кресла, и его мысли целиком сосредоточились на больном пальце правой ноги! В этом было что-то крайне унижительное! Весь его разум восставал против такой нелепости. Министр был волевым человеком и гордился этим, но чего стоит человеческий механизм, если он может выйти из строя из-за воспаленного сустава? Он застонал и заерзал среди подушек.

Неужели он все-таки не может съездить в парламент? Доктор, наверное, преувеличивает. А сегодня как раз заседание кабинета. Он посмотрел на часы. Сейчас оно, должно быть, уже кончается. По крайней мере он мог съездить хотя бы в Вестминстер. Он отодвинул круглый столик, уставленный рядами пузырьков, поднялся, опираясь руками на подлокотники кресла, и, взяв толстую дубовую палку, неловко заковылял по комнате.

Когда он двигался, физические и духовные силы, казалось, возвращались к нему. Британский флот должен покинуть Матапан. На этих турков надо немного нажать. Надо показать грекам, что... Ох! В единое мгновение Средиземноморье заволокло туманом, и не оставалось

ничего, кроме пронзительной, нестерпимой боли в воспаленном пальце. Он кое-как добрался до окна и, держась за подоконник левой рукой, правой тяжело оперся на палку. Снаружи раскинулся залитый солнцем и свежестью сквер, прошло несколько хорошо одетых прохожих, катлась щегольская одноконная карета, только что отъехавшая от его дома. Он успел увидеть герб на дверице и на секунду стиснул зубы, а густые брови сердито сошлись, образовав складку на переносице. Он заковылял к своему креслу и позвонил в колокольчик, который стоял на столике.

— Попросите госпожу прийти сюда, — сказал он вошедшему слуге.

Ясно, что о поездке в парламент нечего было и думать. Стреляющая боль в ноге сигнализировала, что доктор не преувеличивает. Но сейчас его беспокоило нечто совсем другое, и на время он забыл о недомогании. Он нетерпеливо постукивал палкой по полу, но вот наконец дверь распахнулась, и в комнату вошла высокая, элегантная, но уже пожилая дама. Волосы ее были тронуты седinouй, но спокойное милое лицо сохранило молодую свежесть, а зеленое бархатное платье с отливом, отделанное на груди и плечах золотым бисером, выгодно подчеркивало ее стройную фигуру.

— Ты меня звал, Чарльз?

— Чья это карета только что отъехала от нашего дома?

— Ты вставал? — воскликнула она, погрозиw пальцем. — Ну что поделаешь с этим негодником! Разве можно быть таким неосмотрительным? Что я скажу, когда придет сэр Уильям? Ты же знаешь, что он отказывается лечиться, если больной не следует его предписаниям.

— На этот раз сам больной готов отказаться от него, — раздраженно возразил министр. — Но я жду, Клара, что ты ответишь на мой вопрос.

— Карета? Должно быть, лорда Артура Сибторна.

— Я видел герб на дверице, — проворчал больной.

Его супруга выпрямилась и посмотрела на него широко раскрытыми голубыми глазами.

— Зачем тогда спрашивать, Чарльз? Можно подумать, что тыставишь мне ловушку. Неужели ты дума-

ешь, что я стала бы обманывать тебя? Ты не принял свои порошки!

— Радн бога, оставь порошки в покое! Я удивлен визитом сэра Артура, потому и спросил. Мне казалось, Клара, что я достаточно ясно выразил свое к этому отношение. Кто его принимал?

— Я. То есть мы с Идой.

— Я не хочу, чтобы он встречался с Идой. Мне это не нравится. Дело и так зашло далеко.

Леди Чарльз присела на скамеечку с бархатным верхом, нзясно нагнувшись, взяла руку мужа и ласково хлопала по ней.

— Ну, раз уж ты заговорил об этом, Чарльз...— начала она.— Да, дело зашло далеко, так далеко, что назад не воротншь, хотя я — даю слово — ни о чем не подозревала. Наверное, тут я виновата, да, конечно, прежде всего виновата я... Но все произошло так внезапно. Самый конец сезона да еще неделя в гостях у семьи лорда Донниторна — вот и все! Право же, Чарльз, она так любит его! Подумай, она ведь наша единственная дочь — не надо мешать ее счастью!

— Ну-ну! — нетерпеливо прервал министр, стукнув по ручке кресла.— Это уж слишком! Честное слово, Клара, Ида доставляет мне больше хлопот, чем все мои служебные обязанности, чем все дела нашей великой империи.

— Но она у нас единственная.

— Тем более незачем мезальянс.

— Мезальянс? Что ты говоришь, Чарльз? Лорд Артур Сибторн — сын герцога Тавистокского, его предки правили в Союзе семи. А Дебрет ведет его родословную от самого Моркара, графа Нортумберлендского.

Министр пожал плечами.

— Лорд Артур — четвертый сын самого что ни на есть захудалого герцога в Англии. У него нет ни профессии, ни перспектив.

— Ты мог бы обеспечить ему и то и другое.

— Мне он не нравится. Кроме того, я не признаю связей.

— Но подумай об Иде. Ты же знаешь, какое слабое у нее здоровье. Она всей душой привязалась к

нему. Ты не настолько жесток, чтобы разлучить их, Чарльз, правда ведь?

В дверь постучали. Леди Чарльз встала и распахнула дверь.

— Что случилось, Томас?

— Прошу прощения, госпожа, приехал премьер-министр.

— Попроси его подняться сюда, Томас... Чарльз, не вздумай волноваться из-за служебных дел. Держи себя спокойно и рассудительно, будь умницей. Я вполне полагаюсь на тебя.

Она накинула на плечи больному легкую шаль и выскользнула в спальню как раз в тот момент, когда в дверях, сопровождаемый слугой, появился премьер-министр.

— Дорогой Чарльз, я надеюсь, вам уже лучше,— произнес он сердечным тоном, входя в комнату с той юношеской порывистостью, какой он славился.— Почти готов снова в упряжку, а? Вас очень не хватает и в парламенте и в кабинете. Знаете, из-за этого греческого вопроса разыгралась целая буря. Видели, «Таймс» сегодня разразилась?

— Да, я прочитал,— сказал министр, улыбаясь своему патрону.— Что ж, пора показать, что страна пока еще не целиком управляется с Принтинг-Хаус-сквер. Мы должны твердо держаться своего курса.

— Конечно, Чарльз, именно так,— подтвердил премьер-министр, не вынимая рук из карманов.

— Хорошо, что вы зашли. Мне не терпится узнать, что делается в кабинете.

— Ничего особенного, рутинно. Между прочим, наконец вызволили туристов, которые застряли в Македонии.

— Слава богу!

— Мы отложили прочие дела до вашего прихода на следующей неделе. Правда, пора уже думать о роспуске парламента. Отчеты с мест спокойные.

Министр иностранных дел нетерпеливо заерзал и тяжело вздохнул.

— Нам давно пора навести порядок в области наших внешнеполитических дел,— сказал он.— Нужно вот ответить Новикову на его ноту. Умно составлена, но есть шаткие аргументы. Затем я хочу определить наконец

границу с Афганистаном. Эта болезнь действует мне на нервы. Столько нужно делать, а голова как в тумане. Не знаю, то ли от подагры, то ли от этого снадобья из безвременника.

— А что говорит наш медицинский самодержец? — улынулся премьер-министр. — У вас, Чарльз, нет к нему должного почтения. Впрочем, даже с епископом легче разговаривать. Он хоть выслушает тебя. Врач же со своими стетоскопами и термометрами — существо особенное. Твои познания для него не существуют. Он выше всех и спокоен, как олимпиец. Кроме того, у него всегда перед тобой преимущество. Он здоров, а ты болен. Так что тягаться с ним невозможно... Между прочим, вы прочитали Хаиемаина? Что вы о нем думаете?

Больной слишком хорошо знал своего высокопоставленного коллегу и потому не хотел следовать за ним по окольным тропкам тех областей знания, где тот любил побродить время от времени. Его острый и практический ум не мог примириться с тем, сколько энергии тратится на бесплодные споры о раннем христианстве или о двадцати семи принципах месмеризма. Поэтому, едва тот затевал разговор на эти темы, он старался, ускорив шаг и отвернув лицо, прошмыгнуть мимо.

— Я успел только мельком посмотреть, — ответил он. — А в министерстве какие новости?

— Ах, да, чуть было не забыл! Я, собственно, и за этим тоже решил зайти. Сэр Олджернон Джоунз в Танжере подал в отставку. Открылась вакансия.

— Нужно сразу же кого-нибудь назначить. Чем дольше откладывать, тем больше желающих.

— Ох уж эти покровители и протеже! — вздохнул премьер-министр. — В каждом таком случае приобретаешь одного сомнительного друга и дюжину рьяных врагов. Никто так не помнит зла, как претендент, которому отказали в должности. Но вы правы, Чарльз, надо срочно кого-нибудь назначить, особенно в связи с осложнениями в Марокко. Насколько я понимаю, герцог Тавистокский хотел бы определить на это место своего четвертого сына, лорда Артура Сибторна. Мы кое-чем обязаны герцогу.

Министр иностранных дел выпрямился в кресле.

— Дорогой друг, я хотел предложить то же самое. Лорду Артуру сейчас в Танжере будет лучше, чем...

— Чем на Кавендиш-сквер? — не без лукавства спросил шеф, чуть приподняв брови.

— Чем в Лондоне, скажем так. У него достаточно такта, он умеет себя вести. Он был в Константинополе у Нортонна.

— Значит, он говорит по-арабски?

— Кое-как, зато по-французски отлично.

— Кстати, раз уж заговорили об арабах. Вы читали Аверроэса?

— Нет, не читал. Я думаю, что лорд Артур — отличная кандидатура во всех отношениях. Пожалуйста, распорядитесь насчет этого без меня.

— Конечно, Чарльз, о чем речь. Еще что-нибудь сделать?

— Да нет, как будто все. Я в понедельник буду.

— Надеюсь. За что ни возьмись, вы необходимы. «Таймс» опять поднимет шум из-за историй с Грецней. Эти авторы передовых статей — вполне безответственные люди. Пишут чудовищные вещи, и нет никаких возможностей опровергнуть их. До свидания, Чарльз! Почтайте Порсона!

Он пожал больному руку, щегольски помахал широкополой шляпой и вышел из комнаты тем же упругим, энергичным шагом, каким и вошел.

Лакей уже распахнул огромную двустворчатую дверь, чтобы проводить высокого посетителя до экипажа, когда из гостиной вышла леди Чарльз и дотронулась до его рукава. Из-за полузадернутой бархатной портьеры выглядывало бледное личико, встревоженное и любопытное.

— Можно вас на два слова?

— Конечно, леди Чарльз!

— Надеюсь, я не буду слишком навязчивой. Я ни в коем случае не преступила бы рамки...

— Ну что вы, дорогая леди Чарльз! — прервал ее премьер-министр, галантно поклонившись.

— Вы можете не отвечать, если это секрет. Я знаю, что лорд Артур Сибторн подал прошение на должность в Танжере. Могу ли узнать: есть у него какая-нибудь надежда?

— Должность уже занята.

— Вот как?!

Оба женских личика — и то, что было перед премьером, и то, что скрывалось за портьерой, — выразили крайнее огорчение.

— Занята лордом Артуром.

Премьер-министр засмеялся собственной шутке и продолжал:

— Мы только что решили это. Лорд Артур едет через неделю. Я рад, что вы, леди Чарльз, одобряете это назначение. Тайжер — интересное место. На память сразу приходят Екатерина из Брагансы и полковник Кирк. Бэртон неплохо писал о Северной Африке. Надеюсь, вы извините меня за то, что покидаю вас так скоро: я сегодня обедаю в Виндзоре. Думаю, что у лорда Чарльза дело идет на поправку. Иначе и быть не могло с такой сиделкой.

Он поклонился, сделал прощальный жест и спустился по ступенькам к своему экипажу. Леди Чарльз заметила, как, едва отъехав от подъезда, он погрузился в какой-то роман в бумажном переплете.

Она раздвинула бархатные портьеры и вернулась в гостиную. Дочь стояла у окна, залитая солнечным светом, высокая, хрупкая, прелестная; черты ее лица и фигура чем-то напоминали материнские, но были тоньше и легче. Золотой луч освещал ее нежное аристократическое лицо, играл на льняных локонах, а желто-коричневое, плотно облегающее платье с кокетливыми бежевыми рюшами отливало розовым. Узкая шифоновая оборка обвивалась вокруг белой точеной шеи, на которой, как лния на стебле, покоилась красивая голова. Леди Ида сжала тонкие руки и с мольбой устремила свои голубые глаза на мать.

— Ну что ты, глупышка! — проговорила почтенная дама, отвечая на молящий взгляд дочери. Она обняла ее хрупкие покатые плечики и привлекла к себе. — Совсем неплохое место, если ненадолго. Это первый шаг в его дипломатической карьере.

— Но это ужасно, мама, через неделю! Бедный Артур!

— Нет, он счастливый.

— Счастливый? Но мы ведь с ним расстаемся.

- Не расстайтесь. Ты тоже едешь.
- Правда, мамочка?¹
- Да, правда, раз я сказала.
- Через неделю?
- Да. За неделю можно многое сделать. Я уже рас-
порядилась насчет trousseau¹.
- Мамочка, дорогая, ты ангел! А папа что скажет?
Я так боюсь его.
- Твой отец — дипломат.
- Ну и что?
- А то, что его жена не менее дипломат, но это ме-
жду нами. Он успешно справляется с делами Британ-
ской империи, а я успешно справляюсь с ним. Вы давно
помолвлены, Ида?
- Десять недель, мама.
- Ну вот видишь, пора венчаться. Лорд Артур не
может уехать из Англии один. Ты поедешь в Таижер как
жена посланника. Посиди-ка здесь на козетке, дай мне
подумать... Смотри, экипаж сэра Уильяма. А у меня и к
нему есть ключ. Джеймс, попроси доктора зайти к нам!
- Тяжелый парный экипаж подкатил к подъезду, уве-
ренно звякнул колокольчик. Мгновенье спустя двери
распахнулись, и лакей впустил в гостиную знаменитого
доктора. Это был невысокий, гладко выбритый человек в
старомодном черном сюртуке, с белым галстуком под сто-
ячим воротничком. Ходил он, подав плечи вперед, в пра-
вой руке держал золотое пенсне, которым на ходу раз-
махивал, вся его фигура, острый прищуренный взгляд
невольно заставляли подумать о том, сколько же все-
возможных недугов исцелил он на своем веку.
- А, моя юная пациентка! — сказал сэр Уильям,
входя. — Рад случаю осмотреть вас.
- Да, мне хотелось бы посоветоваться с вами отно-
сительно дочери, сэр Уильям. Садитесь, прошу вас, в
это кресло.
- Благодарю вас, я лучше сяду здесь, — ответил он,
опускаясь на козетку рядом с леди Идой. — Вид у нас
сегодня гораздо лучше, не такой анемичный, и пульс пол-
нее. На лице румянец; но не от лихорадки.
- Я себя лучше чувствую, сэр Уильям.

¹ Приданое (франц.).

— Но в боку у нее еще побаливает.

— В боку? Гм...— Он постучал пальцем под ключицей, поднес к уху трубку стетоскопа и, наклонившись к девушке, пробормотал: — Да, пока еще вяловато дыханье... и легкие хрипы.

— Вы говорили, что хорошо бы переменить обстановку, доктор.

— Конечно, конечно, разумная перемена может быть полезной.

— Вы говорили, что желателен сухой климат. Я хочу в точности исполнить ваши предписания.

— Вы всегда были образцовыми пациентами.

— Мы стараемся ими быть, доктор. Так вы говорили о сухом климате.

— Правда? Я, видимо, запомнил подробности нашего разговора. Однако сухой климат вполне показан.

— И куда именно поехать?

— Видите ли, я лично считаю, что больному должна быть предоставлена известная свобода. Я обычно не настаиваю на очень строгом режиме. Всегда есть возможность выбрать: Энгадин, Центральная Европа, Египет, Алжир — куда угодно.

— Я слышала, что и Танжер рекомендуют.

— Конечно, климат там очень сухой.

— Ида, ты слышишь? Сэр Уильям считает, что ты должна ехать в Танжер.

— Или в любое другое...

— Нет, нет, сэр Уильям! Мы чувствуем себя спокойно, только когда подчиняемся вашим предписаниям. Вы сказали Танжер? Ну, что же, попробуем Танжер.

— Право же, леди Чарльз, ваше безграничное доверие мне весьма льстит. Не знаю, кто бы еще с такой готовностью пожертвовал своими желаниями и планами.

— Сэр Уильям, вы опытный врач. Это нам хорошо известно. Ида поедет в Танжер. Я уверена, это принесет ей пользу.

— Не сомневаюсь.

— Но вы знаете лорда Чарльза. Он подчас берется судить о болезнях с такой же легкостью, как если бы речь шла о решении государственного дела. Я рассчитываю на то, что вы проявите с ним твердость.

— Пока лорд Чарльз оказывает мне честь и считается с моими советами, я убежден, он не поставит меня в ложное положение, отвергнув это предписание.

Баронет поиграл цепочкой от пенсне и сделал рукой протестующий жест.

— Нет, нет, но вам следует быть особенно настойчивым в отношении Танжера.

— Если я пришел к убеждению, что для нашей молодой пациентки наилучшее место — Танжер, я, разумеется, не намерен его менять.

— Конечно.

— Я поговорю с лордом Чарльзом сейчас же, как только поднимусь вверх.

— Умоляю вас.

— А пока пусть она продолжает назначенный курс лечения. Я уверен, что жаркий воздух Африки через несколько месяцев полностью восстановит ее энергию и здоровье.

С этими словами он отвесил учтивый, несколько старомодный поклон, который играл немаловажную роль в его усилиях сколачивать десятитысячный годовой доход, и мягкой походкой человека, привыкшего проводить большую часть времени у постели больных, пошел за лакеем вверх.

Как только над дверью задернулись красные бархатные портьеры, леди Ида обвила руками шею матери и нежно прильнула головой к ее груди.

— Ах, мамочка, ты настоящий дипломат!

Но выражение лица леди Чарльз напоминало выражение лица генерала, только что заведшего первый дымок пушечной пальбы, а не человека, одержавшего победу.

— Все образуется, дорогая, — сказала она, с нежностью глядя на пышные желтые пряди волос и маленькое ушко дочери. — Впереди еще много хлопот, но я думаю, что уже можно рискнуть заказать *trousseau*.

— Ты у меня такая бесстрашная!

— Свадьба, конечно, будет тихой и скромной. Артур должен сейчас же получить разрешение на брак. Вообще-то я не одобряю поспешные браки, но, когда джентльмен отправляется на выполнение дипломатической миссии, это объяснимо. Мы можем пригласить леди

Хильду Иджоум и Треверсов, а также супругов Гревналл. Я убеждена, что премьер-министр не откажется быть шафером.

— А папа?

— Ну, конечно, он тоже будет, если почувствует себя лучше. Дождемся, пока уедет сэр Уильям. А пока я напишу записку лорду Артуру.

Через полчаса, когда стол был уже усеян письмами, написанными мелким смелым почерком леди Чарльз, хлопнула входная дверь, и с улицы донесся скрип колес отъезжающего экипажа доктора. Леди Чарльз отложила в сторону перо, поцеловала дочь и направилась в комнату больного. Министр иностранных дел лежал, откинувшись на спинку кресла, лоб его был повязан красным шелковым шарфом, а ступня, похожая на огромную луковницу — она была обмотана ватой и забинтована, — поконлась на подставке.

— Мне кажется, пора растереть ногу, — сказала леди Чарльз, взбалтывая содержимое снежного флакона замысловатой формы. — Положить немного мази?

— Неисносный палец! — простонал больной. — Сэр Уильям и слышать не желает о том, чтобы разрешить мне встать. Упрямый осел! Он явно ошибся в выборе профессии, я мог бы предложить ему отличный пост в Константинополе. Там как раз ослов не хватает.

— Бедный сэр Уильям! — рассмеялась леди Чарльз. — Чем это он умудрился так рассердить тебя?

— Такое упорство, такая категоричность!

— По поводу чего?

— Представь, он категорически утверждает, что Ида должна ехать в Танжер. Декрет подписан и обсуждению не подлежит.

— Да, он говорил что-то в этом роде перед тем, как подняться к тебе.

— Вот как?

Он медленно окинул жену любопытным взглядом. Лицо леди Чарльз выражало полнейшую невинность, восхитительно простое, какое появляется у женщины всякий раз, когда она пускается на обман.

— Он послушал ее, Чарльз. Ничего не сказал, но лицо его стало мрачно.

— Совсем как у совы, — вставил министр.

— Ах, Чарльз, тут уж не до смеха. Он сказал, что нашей дочери необходима перемена. И я убеждена, что сказал он далеко не все, что думает. Он толковал еще что-то о вялости тонов, о хрипах, о пользе африканского воздуха. Потом мы заговорили о курортах, где преобладает сухой климат, и он сказал, что лучше Таиждера ничего нет. По его мнению, несколько месяцев, проведенных там, принесут Иде большую пользу.

— И это все?

— Все.

Лорд Чарльз пожал плечами с видом человека, которого еще не вполне убедили.

— Но, конечно,— кротко продолжала леди Чарльз,— если ты считаешь, что Иде незачем туда ехать, она не поедет. Я только одного боюсь, если ей станет хуже, трудно будет сразу что-нибудь предпринять. В такого рода заболеваниях перемены происходят мгновенно. Очевидно, сэр Уильям считает, что именно сейчас наступил критический момент. Но слепо подчиняться сэру Уильяму все-таки нет резона. Правда, таким образом ты берешь всю ответственность на себя. Я умываю руки. Так что потом...

— Моя дорогая Клара, зачем пророчить дурное?

— Ах, Чарльз, я не пророчу. Но вспомни, что случилось с единственной дочерью лорда Беллами. Ей было столько же лет, сколько Иде. Как раз тот случай, когда пренебрегли советом сэра Уильяма.

— Я и не думаю пренебрегать.

— Нет, нет, конечно, нет, я слишком хорошо знаю твой здравый смысл и твое доброе сердце. Ты очень мудро взвесил все «за» и «против». Мы, бедные женщины, лишены этой способности. У нас чувства преобладают над разумом. Я это не раз слышала от тебя. Нас увлекает то одно, то другое, но и вы, мужчины, упрямы и потому всегда берете над нами верх. Я так рада, что ты согласился на Таиждер.

— Согласился?

— Но ты же сказал, что не думаешь пренебрегать советом сэра Уильяма.

— Допустим, Клара, что Ида должна ехать в Таиждер, но, надеюсь, ты понимаешь, что я-то не в состоянии ее сопровождать.

— Решительно не в состоянии.

— А ты?

— Пока ты болен, мое место подле тебя.

— Тогда, может быть, твоя сестра?

— Она едет во Флориду.

— Что ты думаешь о леди Дамбарт?

— Она ухаживает за своим отцом. О ней не может быть и речи.

— В таком случае кто поедет с Идой? Ведь сейчас начинается летний сезон. Вот видишь, сама судьба против сэра Уильяма.

Его жена облокотилась о спинку большого красного кресла и, нагнувшись так, что губы ее почти касались уха государственного мужа, погладила пальцами его сидящие локоны.

— Остается лорд Артур Сибторн,— вкрадчиво произнесла она.

Лорд Чарльз подскочил в кресле. С губ его сорвались слова, которые нередко были в обиходе министров кабинета лорда Мелбуриа. В наше время их уже не услышишь.

— Клара, ты сошла с ума! Кто мог тебя надоумить?

— Премьер-министр.

— Премьер-министр?

— Именно, дорогой. Ну-ну, будь умницей. Может быть, мне лучше не продолжать?

— Нет уж, говори. Ты зашла слишком далеко, чтобы отступать.

— Премьер-министр сказал мне, что лорд Артур едет в Таижер.

— Да, это так. Я как-то упустил это из виду.

— А потом пришел сэр Уильям и стал Иде советовать Таижер. Ах, Чарльз, это нечто большее, чем простое совпадение!

— Не сомневаюсь, что это нечто большее, чем простое совпадение,— произнес лорд Чарльз, окинув ее подозрительным взглядом.— Ты очень умная женщина, Клара. Прирожденный организатор и дипломат.

Леди Чарльз пропустила комплимент мимо ушей.

— Подумай о нашей молодости, Чарли,— прошептала она, продолжая играть прядями его волос.— Чем ты

был сам в те времена? Ты и послом в Таижере не был. И состояния никакого. Но я любила тебя и верила в тебя, и разве я об этом пожалела? Ида любит лорда Артура и верит в него, возможно, и она об этом никогда не пожалеет?

Лорд Чарльз молчал. Взгляд его был устремлен за окно, где качались зеленые ветви деревьев. Но мысли его унеслись на тридцать лет назад. Он видел загородный домик в графстве Девоишир: вот он шагает мимо старых изгородей из тиса рядом с тоненькой девушкой и с волиением рассказывает ей о своих надеждах, опасениях, о своих честолюбивых планах. Он взял белую, изящную руку жены и прижал ее к губам.

— Ты всегда была прекрасной женой, Клара,— сказал он.

Она не ответила. Не сделала никакой попытки еще более укрепить свои позиции. Менее опытный генерал, возможно, попытался бы и, разумеется, все бы погубил. Она стояла молчаливая и покорная, следя за игрой мысли, которая отражалась в его глазах и на губах. Когда он взглянул на нее, в глазах его сверкнул огонек, а губы тронула усмешка.

— Клара,— сказал он,— можешь не признаваться, но я убежден, что ты уже заказала *trousseau*.

Она ущипнула его за ухо.

— Оно ждет твоего одобрения.

— И написала письмо архиепископу.

— Еще не отправила.

— Послала записку лорду Артуру.

— Как ты догадался?

— Он уже виизу.

— Нет еще, но мне кажется, это его карета подъезжает к дому.

Лорд Чарльз откинулся в кресле и бросил на нее взгляд, выражающий комическое отчаяние.

— Кто может бороться с такой женщиной? Ах, если бы я только мог послать тебя к Новикову! Ни один из моих сотрудников не годится для этого. Но, Клара, я не в состоянии их принять.

— Даже для благословения?

— Нет, нет.

— А они так были бы счастливы!

— Я не люблю семейных сцен.

— Тогда я передам им твое благословение.

— И умоляю, не говори со мной обо всем этом по крайней мере сегодня. Эта история выбила меня из колен.

— Ах, Чарли, ты такой сильный!

— Ты обошла меня с флангов, Клара. Великолепно сделано. Поздравляю тебя.

— Ты ведь знаешь,— прошептала она, целуя его,— вот уже тридцать лет я учусь у такого умного дипломата.

ФИАСКО В ЛОС АМИГОС

В свое время я держал большую практику в Лос Амигос. Всякий, конечно, слышал, что там есть крупная электрическая станция. Город и сам раскинулся широко, а вокруг него еще с десяток поселков и деревень, и все подключены к одной системе, так что электростанция работала на полную мощность. Жители Лос Амигос утверждали, что они самые высокие люди на земле, да и вообще, все в городе было «самое высокое», кроме преступности и смертности. Преступность же и смертность, как говорили, были самыми низкими.

Поскольку электричества вырабатывалось вдоволь, то было просто грешно расходовать пеньку и позволять местным преступникам умирать старомодным способом. А тут как раз появились сообщения, что восточные штаты уже применяют казнь на электрическом стуле, хотя смерть преступника не наступала мгновенно, как рассчитывали. Инженеры в Лос Амигос читали эти сообщения и в недоумении поднимали брови: как вообще может последовать смерть от такого слабого тока? Они поклялись, что, попадись им преступник, они обойдутся с ним наилучшим образом и включают все динамо-машинны, какие есть в их распоряжении. Стыдно экономить на людях, замечали они. Никто не мог с точностью сказать, каков будет результат, если включить все динамо-машины, ясно было одно: потрясающий и абсолютно смертельный. Они

так начинают преступника электричеством, как никого еще никогда не начинали. В него словно ударят десять молний сразу. Один предсказывали сгорание, другие — полный распад тканей и дематериализацию. И все жадно ждали, когда подвернется случай опытным путем уладить споры. А тут как раз и подвернулся Дуикан Уориер.

Вот уже много лет, как Уориер был позарез нужен полиции, и никому больше. Сорвиголова, убийца, налетчик на поезда, грабитель с большой дороги, он был, конечно, недостойно решительно никакого сострадания. Он заслужил смерть раз десять, не меньше, и жители Лос Амигос скрепя сердце решили: ладно, пусть уж этот негодяй умрет такой замечательной смертью. Он, видно, почувствовал себя недостойным такой чести и предпринял две отчаянные попытки бежать. Это был высокий, крепкий человек с львиной головой, покрытой черными спутанными кудрями, и окладистой бородой, спадавшей на широкую грудь. В переполненном зале суда не было другой такой красивой головы, как у него. Впрочем, что за новость, порой самое привлекательное лицо смотрит на тебя именно со скамьи подсудимых. Увы, благородная внешность Уориера не уравновешивала его дурных поступков! Защитник старался, как мог, однако обстоятельства дела были настолько очевидны, что Дуикан Уориер был отдан на милость мощных динамо-машин Лос Амигос.

Я присутствовал на совещании комитета, когда обсуждалось это дело. Городской совет назначил четырех экспертов, которые должны были подготовить казнь. Трое из них были подходящими кандидатурами: Джозеф МакКониор, тот самый, что проектировал динамо-машин, Джошуа Уэстмейкот, председатель «Лос Амигос Электрик Сэплай компани, лимитед», и я как главный врач. Четвертым был старый немец по имени Петер Штульпнагель. В городе живет много немцев, и все они, естественно, голосовали за своего. Таким образом он и оказался в комитете. Утверждали, что у себя на родине он

слыл большим знатоком электричества, да и сейчас он постоянно возился с проводами, изоляторами и лейденскими банками, но поскольку дальше этого он не продвинулся и не получил никаких результатов, заслуживающих публикации, то вскорости на него стали смотреть как на безобидного чудака, влюбленного в электричество. Мы, трое, лишь усмехнулись, когда узнали, что он избран нашим коллегой, и, совещаясь на заседании комитета, не обращали никакого внимания на старика. Он сидел, приставив ладонь к уху, потому что был глуховат, и принимал такое же участие в обсуждении, как и джентльмены из прессы, которые торопливо записывали что-то в своих блокнотах, примостившись на задних скамейках.

Дело это не отняло у нас много времени. В Нью-Йорке пустили ток напряжением две тысячи вольт, но смерть наступила не сразу. Очевидно, напряжение оказалось недостаточным. Лос Амигос не повторит их ошибки. Заряд должен быть в шесть раз больше, а потому, разумеется, в шесть раз эффективнее. Нет ничего логичнее. Мы пустим все динамо-машины.

На том мы втроем и порешили и уже поднялись, чтобы расходиться, как вдруг наш молчаливый коллега раскрыл рот.

— Джентльмены,— сказал он,— вы обнаруживаете поразительное невежество по части электричества. Вы, я вижу, не знаете, как воздействует электрический ток на человека.

Члены комитета хотели было дать уничтожающий ответ на это дерзкое замечание, но председатель электрической компании постукал себя по лбу, как бы призывая быть снисходительным к выходкам этого чудака.

— Сэр,— иронически улыбнулся он,— может быть, вы сообщите, в чем ошибочность наших заключений?

— В том, что вы предполагаете, будто чем больше заряд электричества, тем он эффективнее. Не думается ли вам, что результат может быть прямо противопо-

ложным? Разве вы знаете по опыту, как действует ток высокого напряжения?

— Мы догадываемся об этом по аналогии,— произнес председатель напыщенно.— Если увеличить дозу какого-нибудь лекарства, оно действует сильнее. Возьмите, например... ну...

— Виски!— подсказал Джозеф Мак-Коннор.

— Вот именно! Виски. Разве не так?

Петер Штульпнагель улыбнулся и покачал головой.

— Ваш довод неубедителен,— сказал он.— Выпив одну рюмку, я приходил в возбуждение, после шести — валнулся спать, как видите, эффект прямо противоположный. А вдруг электричество действует так же, как виски? Что тогда?

Мы, трое практиков, расхохотались. Мы знали, что наш коллега со странностями, но нам н в голову не приходило, что до такой степени.

— Что тогда?— повторил Петер Штульпнагель.

— Мы все-таки попробуем,— ответил председатель.

— Прошу вас вспомнить вот что,— продолжал Петер.— Если коснуться провода с напряжением лишь в несколько сотен вольт, смерть наступает немедленно. Такие факты общезвестны. В Нью-Йорке к электрическому стулу подводят гораздо большее напряжение, а преступник какое-то время еще жив. Разве вы не видите, что малый ток гораздо смертельнее?

— Джентльмены, я полагаю, что обсуждение затянулось,— сказал председатель, поднимаясь снова.— Вопрос, как я понимаю, уже решен большинством голосов комитета. Дункан Уорнер будет казнен во вторник на электрическом стуле мощным током от всех шести динамо-машин Лос Амигос. Нет возражений, джентльмены?

— Нет,— сказал Джозеф Мак-Коннор.

— Нет,— сказал я.

— Я против,— сказал Петер Штульпнагель.

— Предложение принято, ваше мнение будет своим порядком занесено в протокол,— подвел итог председатель и закрыл совещание.

Народу на казни присутствовало немного. Прежде всего, конечно, четыре члена комитета и палач, который должен был действовать по нашим указаниям. Кроме нас, присутствовали федеральный судебный исполнитель, начальник тюрьмы, священник и три журналиста. Происходило все в небольшом, выстроенном из кирпича подсобном помещении Центральной электрической станции. Когда-то это была прачечная, и у стены стояла печка и медный котел, никакой мебели, кроме стула для осужденного, не было. Перед стулом в ногах положили металлическую пластинку, от которой шел толстый изолированный провод. Другой провод свисал с потолка, он соединялся с металлическим стерженьком на шлеме, который должен быть надет на голову преступника. Когда этот провод и стержень соединят, Дункан умрет.

Стояла торжественная тишина: мы ждали появления осужденного. Поблудившие техники нервно возились с проводами. Даже выдавший виды судебный исполнитель чувствовал себя не в своей тарелке: одно дело — вздернуть человека, но совсем другое — пропустить через живую плоть мощный электрический заряд. Что до журналистов, то лица у них были блее, чем бумага, на которой они собирались писать. Только на маленького чудака немца эти приготовления не производили никакого действия; улыбаясь и затаив в глазах злорадство, он подходил то к одному, то к другому, несколько раз даже громко рассмеялся, и суровый священник упрекнул его за неуместную веселость.

— Как можно до такой степени забытья, мистер Штульпнагель, чтобы шутить перед лицом смерти!

Но немец несколько не смутился.

— Если бы я был перед лицом смерти, я бы не стал шутить, — отвечал он. — Но в том-то и дело, что я не перед лицом смерти и могу делать, что пожелаю.

Священник хотел было выговорить ему за этот дерзкий ответ, но тут дверь распахнулась и вошли два тюремщика, ведя Дункана Уорнера. Не дрогнув, он огля-

делся вокруг, решительно шагнул вперед и сел на стул.

— Включайте! — сказал он.

Было бы варварством заставлять его ждать. Священник пробормотал что-то у него над ухом, палач надел шлем на голову — все затанли дыхание — и включил ток.

— Черт побери! — закричал Дункаи Уориер, подпрыгнув на стуле, как будто его подбросила чья-то мощная рука.

Он был жив. Более того, глаза стали блестеть сильнее. Одио только изменилось в нем — что было совсем неожиданно: с его головы и бороды полностью сошла чернота, как сходит с луга тень от облака; они стали белые, точно снег. Никаких других признаков умирания. Кожа гладкая и чистая, как у ребенка.

Судебный исполнитель с упреком взглянул на членов комитета.

— Какая-то неисправность, джеитльмены, — сказал он.

Мы трое переглянулись.

Петер Штульпнагель загадочно улыбнулся.

— Включим еще раз, — сказал я.

Снова включили ток, снова Дункаи Уориер подпрыгнул в кресле и закричал. Ей-ей, не зная мы, что на стуле Дункаи Уориер, мы бы решили, что это не он. В одно мгновение волосы у него на голове и на лице выпали. И пол вокруг стал, как в парикмахерской субботним вечером. Глаза его сняли, на щеках горел румянец, свидетельствующий об отличном самочувствии, хотя затылок был гол, как головка голландского сыра, и на подбородке тоже ни следа растительности. Он пошевелил плечом, сначала медленно и осторожно, потом все смелее.

— Этот сустав поставил в тупик половиину докторов с Тихоокеанского побережья, — сказал он. — А теперь рука как новая, гибче ивового прутника.

— Вы ведь хорошо себя чувствуете? — спросил немец.

— Как никогда в жизни, — лучезарно ответил Дункан Уорнер.

Положение становилось тягостным. Судебный исполнитель метал в нас испепеляющие взгляды. Петер Штульпнагель усмехался и потирал руки. Техники почесывали в затылке. Полысевший заключенный удовлетворенно пробовал свою руку.

— Думаю, что еще один заряд... — начал было председатель.

— Нет, сэр, — возразил судебный исполнитель. — По-дурачились и хватит. Мы обязаны привести приговор в исполнение, и мы это сделаем.

— Что вы предлагаете?

— Я вижу крюк в потолке. Сейчас достанем веревку, и дело с концом.

Снова потянулось томительное ожидание, пока тюремщики ходили за веревкой. Петер Штульпнагель нагнулся к Дункану Уорнеру и что-то прошептал ему на ухо. Сорвиголова удивленно встрепенулся:

— Не может быть!

Немец кивнул, подтверждая.

— Правда? И нет никакого способа?

Петер покачал головой, и оба расхохотались, словно услышали что-то необыкновенно смешное.

Принесли наконец веревку, и судебный исполнитель собственноручно накинул петлю на шею преступнику. Потом он, палач и двое тюремщиков вздернули его в воздух. Половину часа проболтался несчастный под потолком — зрелище, доложу, не из приятных. Затем торжественно и молча они опустили его на пол, и один из тюремщиков пошел сказать, чтобы принесли гроб. Представьте себе наше удивление, когда Дункан Уорнер вдруг поднял руки, ослабил петлю у себя на шее и сделал глубокий вдох.

— У Пола Джефферсона хорошо идет торговля сегодня. Сверху оттуда всю очередь видно, — сообщил он, кивнув на крюк в потолке.

— Вздернуть его еще раз! — загремел судебный ис-

полнитель.— Мы все-таки вытряхнем сегодня из него душу.

Через секунду жертва снова болталась на крюке.

Они держали его там битый час. А когда спустили, он был бодр и весел в отличие от всех нас.

— Старик Планкет что-то зачастил в «Аркадию». Три раза за час сбегал, а ведь у него семья. Пора бы ему бросить пить.

Это было чудовищно, невероятно, но это было. И ничего нельзя было с этим поделать. Дункану Уорнеру давно полагалось умереть, а он разговаривал. Мы подошли поближе и с разинутыми ртами уставились на него, но судебный исполнитель был не из тех, кто легко сдается. Он жестом попросил отойти всех в сторону и остался с заключенным наедине.

— Дункан Уорнер,— начал он медленно.— У тебя своя игра, у меня своя. Ты хочешь любой ценой выжить, а я — привести приговор в исполнение. С электричеством нас постигла неудача. Один ноль в твою пользу. Тогда мы решили повесить тебя. Но и тут твоя взяла. И все-таки я исполню свой долг. На этот раз ты будешь побит.

Говоря это, он вынул из кармана шестизарядный револьвер и одну за другой всадил все шесть пуль в свою жертву. Помещение наполнилось дымом, но когда он рассеялся, мы увидели, что Дункан Уорнер с сожалением разглядывает свой пиджак.

— В твоих местах пиджак, должно быть, гроши стоят. А я тридцать долларов за свой отдал, понял? Шесть дыр спереди, да четыре пули насквозь прошли, так что и спина не лучше!

Револьвер выпал из рук судебного исполнителя. Он должен был признать свое поражение.

— Может, кто-нибудь из джентльменов объяснит, что все это значит? — пробормотал он, растерянно глядя на членов комитета.

Петер Штульпнагель шагнул вперед.

— Я объясню, что это значит.

— Вы, кажется, единственный, кто кое-что смыслил в электричестве.

— Да, единственный. Я пытался предупредить этих джентльменов. Но они не пожелаали выслушать меня, и я решил: пусть убедятся на собственном опыте. Знаете, что сделало ваше электричество? Оно так увеличило жизнеспособность этого человека, что он будет жить века.

— Века?

— Да, потребуются сотни лет, прежде чем истощится колоссальная нервная энергия, которой вы его начинили. Электричество — это жизнь, вы зарядили его жизненно до предела. Пожалуй, лет этак через пятьдесят можно попробовать казнить его снова, но я отнюдь не ручаюсь за успех.

— Черт побери! А что же мне делать? — вскричал вконец расстроенный судебный исполнитель.

— Может быть, нам удастся разрядить его? Что, если повесить его за ноги?

— Нет. Ничего не получится.

— Но все-таки он не будет больше нарушать покой жителей Лос-Амигос, — сказал судебный исполнитель. — Отправим его в тюрьму. Я сгною его за решеткой.

— Как бы не так! Скорее тюрьма сгниет.

Это было полное фиаско, и мы несколько лет старались обходить в разговоре этот прискорбный случай. Но теперь о нем знают все, и вы можете, если хотите, записать его к себе в записную книжку.

ПОДВИГИ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ БРИГАДИРА ЖЕРАРА

В 1894 году Конан Дойль находился в Соединенных Штатах, где выступал с публичными чтениями своих произведений. На одном из них, в нью-йоркском театре Далай, он предложил слушателям еще не опубликованный рассказ «Медаль бригадира Жерара». В декабре того же года рассказ появился в журнале «Стрэнд мэгэзин». Работу над «Жераром» Конан Дойль продолжил на швейцарском курорте, в Давосе. Как всегда у него, дело двигалось быстро. В январе 1895 года Конан Дойль сообщал матери: «Я закончил два новых рассказа из серии о Жераре. Первый из них — «Как бригадиру достался король». Второй — «Как бригадир достался королю». Оба довольно удачны... Надеюсь закончить все к исходу зимы — по два рассказа в месяц. Мне кажется, это нечто новое». С апреля по сентябрь 1895 года «Подвиги бригадира Жерара» печатались в «Стрэнд мэгэзин».

Конан Дойль сомневался при выборе общего заголовка для всех жераровских рассказов. Редактор журнала предлагал «Приключения», Конан Дойлю хотелось — «Подвиги». «Приключения нынче ценятся дешево», — считал он. Однако, как было и с шерлок-хоолмсовской серией, ограничиться «Подвигами» Конан Дойлю не удалось. Читатели не желали расставаться с бравым бригадиром и требовали новых его походов. В результате в августе 1902 года на страницах «Стрэнд мэгэзин» появился первый рассказ из «Приключений бригадира Жерара». «Приключения» печатались до мая 1903 года.

В последние десятилетия прошлого века «наполеоновская» тема довольно широко распространилась в европейской литературе. Война, сотрясавшая Европу в начале столетия, Бонапарт, его приспешники и противники, перемещение армий, битвы и жертвы — все отодвинулось по времени на расстояние, позволяя рассмотреть

себя в перспективе. Полемика в 60—70-х годах в России вокруг «Войны и мира» вспыхнула так горячо, будто только и ждали повода, чтобы начать спор о 12-м годе. Еще могли высказаться ветераны, участники событий. П. А. Вяземский дал свой очерк («Воспоминание о 1812 годе», 1868), замечательный и как мемуар и как живая картина, хотя и направленный полемически против толстовского романа. В Лондоне в эту пору молодой Томас Гарди вынашивал идею «наполеоновской» эпопеи, приступил же он к исполнению замысла только в конце 90-х годов. Конан Дойль уже печатал рассказы о похождениях Жерара.

В 1902 году, в то время, когда журнальная публикация «Приключений Жерара» еще не была закончена, издатель Смит Илдер выпустил обе части «Жерара» отдельной книгой, но очень ограниченным, так называемым «авторским», тиражом. В предисловии Конан Дойль говорил прямо: «Читавшие Марбо, де Гонневля, Куанье, де Фезенака, Бургоня и других французских воинов, которые поделились своими воспоминаниями о наполеоновских походах, узнают тот источник, из которого я почерпнул похождения Этьена Жерара».

«Мемуары» Марбо Конан Дойль получил в 1892 году из рук Джорджа Мередита, маститый романист советовал прочитать их. В библиотеке Конан Дойля сохранилось это сочинение в трех томах с многочисленными пометками. Воображение писателя тотчас заработало под воздействием Марбо. Его самоуверенность, бравада, высокое мнение о своих достоинствах и вместе с тем неподдельная искренность — все это Конан Дойль придал и своему Жерару. Тут уловил он интонацию, ставшую сквозной для всего повествования.

Своего героя Конан Дойль сделал кавалеристом. «Кавалерии, — писал он, — особенно везло на авторов воспоминаний. Так, «Воспоминания о походе французов в Испанию» Де Рокка — рассказ гусара, а Де Найли в «Воспоминаниях о войне в Испании» повествует о той же кампании, только с точки зрения драгуна. Кроме того, имеются «Военные воспоминания полковника де Гонневилля», где та же цепь войн, в том числе в Испании, прослежена из-под стального, увенчанного конским хвостом кирасирского шлема».

Собирая материал, Конан Дойль прочел множество подобных книг, но по-прежнему выше всего он ставил «Мемуары» Марбо. Исследователи сравнили их с «Подвигами и приключениями бригадира Жерара», обнаружив довольно много сходных эпизодов, описаний, характеристик. Это не заимствования, а близкое следование манере рассказа. Впрочем, в двух случаях: взятие Сарагоссы и «Как бригадир померялся силами с маршалом Одеклоном» — Конан Дойль прямо воспользовался соответствующими главами из книги Марбо.

В «Подвиги и приключения бригадира Жерара» вошел не только материал «Мемуаров» Марбо. Конан Дойль невольно подчинялся или сознательно подражал бывалому войке в толковании некоторых явлений и событий. Как и у Марбо, в устах Жерара все противники французских завоевателей получили жестокие и отвратительные, а наполеоновские солдаты — «поголовно кавалеры». Бригадир чернит и герильясов, испанских партизан, крестьян и ремесленников, и защитников Сарагоссы, поднявшихся на сопротивление Наполеону. Для него они просто «разбойники». Подобные выпады и выходки Жерара следует отнести за счет его неисправимого зазнайства и хвастовства. «Как не приукрасить рассказа», — объясняет бригадир очередной вымысел и постоянно следует этому принципу. Однако даже сквозь его залихватскую болтовню пробивается мысль: «...это ужасно — воевать против всего народа».

Хотя и «подвиги» и «приключения» Жерара главным образом вымышлены, а подчас фантастичны, напоминая временами богатые выдумки барона Мюнхаузена, окружение бригадира, обстановка, в которой он действует, имена крупных военачальников, названия мест и сражений — все это соответствует истории. Здесь Конан Дойль старательно соблюдал точность. Он получил даже письмо от известного историка Арчибальда Форбса: «Дух и ход этих рассказов замечательны, тщательность в соблюдении имен и названий показывает, какой труд был вами затрачен. Очень немногие, я уверен, смогут отыскать какие-либо ошибки. А я, обладая особым нюхом на всякие промахи, так и не нашел ничего за ничтожными исключениями». В самом деле, Форбс указал лишь несколько поправок в написании имен. Сплетение вымышленного с исторически достоверным служило Конан Дойлю приемом, и фантазия обретала убедительность факта.

Успех рассказов о Жераре был значителен. Бригадир мог соперничать в популярности с самим Шерлоком Холмсом. Скоро он завоевал много поклонников и за пределами Англии. Прежде всего среди французских читателей. В России первые переводы рассказов о Жераре в периодической печати стали известны рано — еще до издания в Англии отдельной книги. До сих пор читают у нас «Подвиги и приключения бригадира Жерара». Читают — с улыбкой. Улыбкой одобрительной, когда историческая эпоха выразительно раскрывается на страницах книги. И улыбкой иронической, если бригадир забалтывается до невозможных глупостей, а Конан Дойль не успевает его вовремя остановить или поправить.

Д. У р н о в

СОДЕРЖАНИЕ

ПОДВИГИ БРИГАДИРА ЖЕРАРА. *Перевод Н. Тренивой и В. Хинкиса.*

I. Как бригадир попал в Черный замок	5
II. Как бригадир перебил Братьев из Аяччо	28
III. Как бригадир достался король	49
IV. Как бригадир достался королю	73
V. Как бригадир померялся силами с маршалом Одеко- лоном	96
VI. Как бригадир пытался выиграть Германию	121
VII. Как бригадир был награжден медалью	143
VIII. Как бригадира искушал дьявол	168

ПРИКЛЮЧЕНИЯ БРИГАДИРА ЖЕРАРА. *Перевод В. Хинкиса.*

I. Как бригадир лишился уха	193
II. Как бригадир взял Сарагоссу	214
III. Как бригадир убил лису	234
IV. Как бригадир спас армию	247
V. Как бригадир прославился в Лондоне	269

VI. Как бригадир побывал в Минске	286
VII. Как бригадир действовал при Ватерлоо	305
VIII. Последнее приключение бригадира	342

РАССКАЗЫ

Жени́тьба бригадира. <i>Перевод Д. Жукова</i>	359
Отстал от жизни. <i>Перевод Н. Высоцкой</i>	369
Его первая операция. <i>Перевод Д. Жукова</i>	374
Неудачное начало. <i>Перевод Г. Злобина</i>	381
Любящее сердце. <i>Перевод Е. Сазоновой</i>	395
Успехи дипломатии. <i>Перевод Г. Злобина</i>	402
Фиаско в Лос Амигос. <i>Перевод Г. Злобина</i>	418
Д. Урнов. Подвиги и приключения бригадира Жерара . . .	427



Артур Конан Дойль.
Собрание сочинений в 8 томах.
Том VII.

Редакторы тома
М. Литвинова и Я. Рецкер.

Иллюстрации художника
И. Ушакова.

Оформление художника
С. Пожарского.

Технический редактор
А. Шагарина.

Подп. к печ. 14/1 1967 г. Тираж 626 000
(301001—476 000) экз. Изд. № 192. Зак. 259.
Форм. бум. 84×108¹/₂. Физ. печ. л. 13,5+4 вкл.
иллюстраций. Условных печ. л. 23,1.
Уч.-изд. л. 23,79. Цена 90 коп.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина
типографии газеты «Правда» имени В. И. Ле-
нина. Москва, А-47, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии «Красный проле-
тарий» Политиздата. Москва, Краснопро-
летарская, 16.

Индекс 70667

